

Владимир Корнилов

СЕМИГОРЬЕ

Роман

НКО

Гуманитарный фонд «СВЕТ»

Кострома

2011

Вниманию сегодняшних читателей представляется первая Интернет-публикация первой книги из знаменитой трилогии писателя («Семигорье», «Годины», «Идеалист»), которая с успехом выдержала более шести переизданий. Ибо именно этот роман, как и его герои, всегда и по праву оставался наиболее востребованным и любимым читателями самых разных категорий и возраста.

Он начинает повествование о разных и увлекательных судьбах своих героев на фоне сложных и противоречивых событий, происходящих в нашей стране на протяжении середины и до конца прошлого XX века. Эта книга трилогии - о событиях предвоенных 30х - 40х годов, пропущенных через пытливый ум и чуткую душу главного героя трилогии – Алексея Полянина, которого автор сделал выразителем для своих впечатлений, пережитых за долгую и трудную, но общепризнанно выдающуюся жизнь. В этой книге мы также начинаем знакомиться и со многими другими персонажами трилогии, которые потом пойдут по жизни рядом с Алексеем, либо, так или иначе, окажут своё влияние на становление в нём настоящего Человека...

*Светлой памяти
матери и отца посвящает*

автор

*И пробудился Разум,
И стал Человек.*

Надпись на скале

УТРО

За дрёмными дальними лесами прояснело небо, и Волга, лениво сваливая к берегам туман, обозначилась недвижными в рассветной сумерети плёсами.

В селе, на взгорье закричали первые петухи. Ранний их крик не потревожил пустынную улицу, заглох среди плетней и мокрых от росы крыш.

Солнце высветило холмы, дома, одинокую среди берёз колокольню.

Распахнулся над Семигорьем простор.

Петухи на этот раз запели хором. Щёлкнул на краю села кнут. Звук, как будто стелясь, прошёл над освежённой ночным покоем улицей, эхом отозвался на опушке бора. Дробно, как в барабан, застучал палочками о сухую доску подпасок.

Село пробудилось.

В домах хлопали двери, во дворах бренчали подойники, кокотали и суматошились у колод куры. В громкий говор баб врывались сердитые окрики мужиков.

Из всех дворов выгоняли скотину. Овцы, тесня друг друга, вываливались из распахнутых калиток, сбивались в кучу и замирали, испуганно прядая ушами. Коровы выходили из ворот вразвалку, их выпуклые глаза недоверчиво косили. Широкая улица заполнилась топотом, мычанием, бляньем, наконец стадо, подгоняемое криками, щёлканьем кнутов и собачьим лаем, в туче пыли выкатилось за околицу.

Появились хозяйки с вёдрами, заскрипели колодезные журавли. Слышно стало, как где-то отюкивали топором лесину. От конного двора с мягким топотом лошадей и весёлым постукиванием колёс отъезжали подводы. На задах жалобно мычали привязанные телята. Словом, с этого раннего часа в большом селе Семигорье, век назад вставшем на торговом пути от Волги к Вологде, начался обычный день.

У Гужавиных в то утро выгнала скотину Зойка. Босая, в помятом белом платье, в котором она и спала, с распушенными косицами, Зойка шлепком толкнула свою Красавку за калитку и, потирая кулаком глаз, сладко потянулась, принимая на заспанное лицо, на плечи и руки ясную свежесть утра. Солнце уже глядело из-за леса на село, покатые крыши, подсыхая, дымились. Роса посверкивала на кринках, вверх дном надетых на плетни, на картофельной ботве, на жёлтых лепестках подсолнухов. Тень от домов и деревьев разрезала на полосы залитую солнцем улицу. Зойка щурилась, когда белые куры вдруг выбегали из тени на свет.

А петухи расходились вовсю. Они горланили во дворах, и Зойка, закрыв глаза и хитро улыбаясь, слушала их задорный переклик.

«По деревне-е! Слуша-а-ай...» Это - соседский, лесника, его величества Леонида Ивановича Красношеина! Горлопан надутый! Ишь, разорался! Погоди, пьяной ягодой вот накормлю, поикаешь у меня под плетнём!

Из другого порядка, от маленького, в три окна, домика под соломой, где раньше с приёмышем Кимом, а теперь одиноко жила бабка Грибаниха, нёсся звонкий и печальный, как голос кукушки, крик молодого петушка:

«Зойка, вста-а-ла! Зойка вста-а-ла! Пирог на сто-ол!»

— Ишь ты, какой добрый!.. Фига с два, от Капки дождёшься... — отвечала петушку Зойка.

Два петуха ввязались в разговор. Один, от дома Ивана Митрофановича Обухова, председателя сельсовета, на всё село кричал-спрашивал: «Как живёте-е-е?!» Петух от дома Петраковых глухо, со старческим хрипом, отвечал: «Нелегко-о-о...» «Ещё бы легко! – думала Зойка, слушая петраковского петуха. – Одна крутится, а ртов-то!.. Отец был – за кусками не бегали. Теперь каждому в рот смотрят...»

У дома, под обгорелыми ветлами, кричал петух Жени Киселёвой, первой в округе девки-трактористки. Петух был боевой, голосил на всё село, никого не признавая.

Чей-то петух окликал: «У колодца?! У колодца-а?!» И какой-то другой, незнакомый, напористо его поддерживал: «Неси-и воды-ы! Неси-и воды-ы-ы...»

В общем переклике Зойка услышала ещё один знакомый переливчатый голос. Петушок кричал с дальнего края села, от дома Макара Разуваева, энтээсовского механика. Хоть кричал он вдалеке, за молчаливой церковью, выпиравшей из зелени берёз крестом и потускневшей колокольной, Зойка различала его весёлый голос: «Утро земле-е!.. Ра-адуйте-есь!..»

— А ты что молчишь? – обернулась Зойка к своему петуху, похаживавшему среди кур важно, как продавец сельпо среди товаров. – Что молчишь?! – Зойка топнула ногой и махнула на петуха руками. Петух вскинул крылья, боком шарханул к крыльцу, уставил на Зойку круглый настороженный глаз. И вдруг, вытянув шею, закричал: «Капитолина встала-а-а! Вста-ала!..» — Зойка вскинула испуганные глаза на ещё закрытые окна, укоризненно покачала головой. «Дурак!» — сказала она, выпятила полные, как будто надутые губы, отошла к калитке, умостила ноги на поперечине, чтобы стать выше, и поглядела за жниво, вдаль, где внизу, за открытым взгорьем с сосной, отшатнувшейся от бора, нежилаясь в песках и зелёных луговых тальниках ещё дремотная, ещё косматая от белого августовского тумана Волга. Взглядом Зойка дотянулась до Волги и сразу, как в воду, окунулась в другой мир: и важный сон, который она не доглядела в сене, на своей дерюжке, и петухи-крикуны, избы и дворы с их голосами и хлопотнёй – всё для неё перестало быть. Зойку будто приподняло к высокому чистому небу, и всё заиграло в ней на другой лад. И прихлынули к ней её радости, которые с весёлой жадностью, будто на лету, она хватала у ветра, у земли, у Волги, в лесу и в лугах – везде, куда носили её крепкие быстрые ноги.

Зойка заторопилась, спрыгнула на землю и взялась было рукой за калитку, чтобы распахнуть её и бежать на Волгу, но случившаяся в селе перемена привлекла её внимание. Во дворах лаем зашлись собаки, вдруг оборвались бабьи голоса. Когда Зойка выглянула за калитку, бабы уже спешили к плетням, а ребятня и старухи липли к окнам: мимо сельпо, поспешая, ехали две подводы. Первая подвода была с кладью, накрыта холстиной и туго перевязана верёвками. Из-под холстины с одной стороны высовывался угол чёрного чемодана, с другой – плетёный бок большой корзины. Обгоняя первую подводу, по тропке у самых домов быстро шёл незнакомый дяденька в очках. Он был в чёрной, как у лесника, распахнутой у ворота гимнастёрке, чёрных брюках и в городских ботинках. В руке держал платок и платком часто вытирал подбородок и лоб. Дяденька замечал любопытные взгляды, хмурился и спешил пройти мимо окон, и всё-таки время от времени приостанавливался и нетерпеливо смотрел на вторую, отставшую от первой, подводу, на которой, локтем опираясь на обшитый мешковиной тюк, лежала женщина и рядом с ней, свесив с телеги длинные ноги, сидел парень. Люди были нездешние, по одежде и вообще по виду – городские и, по вещам судя, прибывшие не в гости. А лошадьми правили семигорские мужики Пётр Плохов и Иван Батин.

Пётр Плохов прокатил мимо Зойки, остановил первую подводку у дома лесника. Дяденька в очках перебежал улицу, быстро поднялся на крыльцо, пальцем нетерпеливо постучал в окно.

Вторая подводка остановилась почти рядом с Зойкиной калиткой, и Зойка теперь могла до пуговички рассмотреть парня и городскую женщину.

Зойка наблюдала как парень, заметив её, потянулся к нагрудному карману коричневой вельветовой куртки, вытащил очки, стесняясь, надел их на конопатый нос, рогульки заправил за уши. Сквозь очки он несмело посмотрел на Зойку.

«Ну, смотри, смотри, – милостиво разрешила Зойка. Её глаза от любопытства блестели, будто чёрные камушки-окатыши, вынутые из ручья. – Ну, поглядел?.. Вот ещё на моё ухо посмотри. Ухо у меня, сестра моя Васёнка сказывала, красивое...»

Зойка отбросила расплетённую косичку с уха, повернулась к парню щекой, как будто задумчиво уставилась в даль. «Или вот ещё руку посмотри. Рука у меня тоже ничего...» Зойка уронила руку поверх калитки, покачала полной, золотистой от солнца рукой.

Парень на подводке будто застыл. Сутулясь, он сидел и не сводил с Зойки глаз. Женщина, видно, лежать устала, приподнялась, откинула назад голову с пышными, закрывавшими половину лба волосами, повернула к Зойке красивое лицо. Долгим, внимательным взглядом посмотрела на Зойку, улыбнулась невесёлыми губами.

— Подойди к нам! – позвала женщина мягким медленным голосом.

Зойка вспыхнула, затаилась у плетня.

— Какая милая, здоровая девочка! – сказала женщина. – В Москве редко видишь таких...

Зойка чуть не вскрикнула от изумления. Она думать не думала, что эти люди и парень из Москвы! Она приникла к калитке, по-новому, тревожно и заискивающе смотрела на парня, как будто в этом парне было что-то важное для неё.

Не так давно, когда на этом самом месте, где сейчас стояла подводка, растекался лужами и ручьями последний грязный сугроб, Зойка, томимая весной и мечтами, написала письмо. Три дня она уговаривала Васёнку:

— Васёна, Васёнушка, ну, купи мне конверт с маркой. Ну, купи... Мне так нужно!.. – Она уговаривала, и Васёнка в конце концов развязала свой платочек:

— Ведь на баловство, Зойка. Лучше на платье тебе скопить!

— Платье потом. Васёнушка! А это – сейчас.

Зажав в кулак двугривенный, она понеслась к сельсовету. В тот же день в настоящем конверте с наклеенной красной в зубчиках маркой через почту ушло письмо. Дрожащей от усердия рукой на конверте было написано: «Город Москва, столица, школа № 13, тринадцатому по списку ученику». Зойка упрямо верила, что самое несчастливое число, назло кому-то, обязательно обернётся для неё счастьем! В письме она звала тринадцатого по списку ученика крепко и хорошо дружить. Зойка теперь, нарочно пять раз на дню попадалась на глаза Марусе – почтальону. Ответ не шёл. И вот... — не письмо – сам живой парень из Москвы!..

Зойка тихо вышла из калитки, потупясь, стояла, босой ногой оглаживая траву. Женщина высвободила из-под пальто ноги в туфлях, села.

— Тебя как звать? – спросила женщина.

— Зойкой...

— Как вы здесь живёте, девочка? – как-то печально спросила женщина.

Зойка качнула полными плечиками.

— Кто как... — сказала она неопределённо и, спохватившись, быстро-быстро заговорила: — У нас туточки хорошо! Во-он, за полем, Волга, а перед тем вон бором – Нёмда. А в бору грибов!.. Если все брать, на коне не увезёшь!.. А вы из Москвы? Из самой-самой?.. А ты где там учился? – спросила она парня. – В тринадцатой?

— В сто тринадцатой.

— Правда?! И по списку ты тринадцатый?!

Парень смутился, снял очки, сунул в нагрудный карман.

— Не помню, кажется, восемнадцатый, — пробормотал он.

— Это же близко! – крикнула Зойка. – Письмо тебе не передавали? В настоящем конверте. Красная марка. Отсюда, из Семигорья?!

Если бы парень набрался смелости и посмотрел, он увидел бы, что глаза на круглом Зойкином лице блестят ослепительней, чем река под солнцем. Парень не успел ответить.

Быстрый дяденька в очках как будто вырос у подводы, оживлённо сказал:

— Ну, кажется, всё в порядке! Знакомьтесь: это – моя жена, Елена Васильевна. Это сын, Алёшка, охотник, рыбак, спортсмен и прочее.

Из-за дяденьки выступил лесник Красношеин, и Зойка в изумлении отступила на шаг: он, сосед ли это? Зойка знала лесника как самого важного человека на селе. С ним, молодым, первыми здоровались старики, для него, как дляжданного гостя, хозяйки варили пиво, в их доме даже скупая Капитолина выставляла на стол всё: и огурчики, и грибки, и мёд-слезинку, и копчёное, и варёное, и жарёное...

Лесник и сам чувствовал свою важность: ходил лениво, постукивая пальцами по своей командирской планшетке. И вот – ну и карусель! – лесник шагнул к подводе и согнулся, как коромысло. Фуражку он держал в руке. И когда осторожно здоровался с женщиной на подводе, его всем известная командирская планшетка, которую он носил через плечо на узком ремешке, свесилась и качалась на шее, как ботало на быке. Он долго жал парню руку и говорил: «Рад буду помочь... рад буду... рад...»

Дяденька в чёрной гимнастёрке платком вытер лоб и шею.

— Ну, что же, теперь нам осталось перебраться в посёлок. Это на той стороне?

Лесник живо откликнулся:

— Совершенно точно. Мы это живо организуем!

Он подбежал к первой подводе и скомандовал Петру Плохову:

— А ну, давай к перевозу! – И быстро пошёл вперёд. Обе лошади затрусили рысью к реке. Зойка видела, как парень Алёшка тихонько надел очки, обернулся и долго смотрел в её сторону.

Подводы скрылись под косогором. Пыль, жёлтая от солнца, поднялась с дороги, медленно осела на поле.

«А дяденька, видать, начальник!» — подумала Зойка и вдруг крикнула на всю улицу:

— Ну и карусель!.. – И понеслась через калитку к крыльцу, на сеновал.

— Витька! Витька! Что я видела! – кричала Зойка, в торопливости запинаясь ногами о перекладины лестницы.

Витька лежал в сене, закинув руки за голову. Он не пошевелился, не открыл глаз, но Зойка знала, что брат не спит.

— Витька! Послушай!

Витька молчал. Зойка внимательно посмотрела в деланно-спокойное лицо брата, толкнула в плечо.

— Всё думаешь!.. – сказала с упрёком.

Внизу хлопнула тяжёлая дверь, заскрипели перекладины лестницы.

— Капитолина лезет. Прячься! – шепнула Зойка и, перекатившись с боку на бок, как мышь, юркнула в выкопанную в сене нору. Витька не двинулся, только скосил глаза на лаз.

На сеновал поднялась Васёнка, на плечах платок, ноги босые.

— Капа ругается! – строго сказала Васёнка и, не удержав себя, засмеялась. – Шли бы в дом. Отец уж ест. Ты, Вить, как поешь, приходи на Заовраженское поле. Макар наказывал.

Витька приподнялся, рукой сдвинул упавшую на глаз чёлку.

— Сам наказывал! – спросил он недоверчиво.

— А ты сбегай! Спытай, коли не веришь! Ну, я побягу, уж в колесо звонят...

— Васёнка, как все в округе, говорила мягко и певуче.

Она сняла с плеч платок, повязала голову, наглухо закрыв гладкие тёмные волосы. Теперь на её загорелом, круглом, как у Зойки, лице чернели одни только глаза. Она подняла с сена грабли, перехватывая их ловчее, подкинула на руке.

Зойка высунулась из своей норы, морща нос и сдувая свисающие со лба сенички, завистливо следила за Васёнкой. Вдруг вспомнила про гостей и завопила:

— Васёнка! Что я тебе скажу! – Она выкатилась из норы, села, поджав под себя ноги, и, хлопая ладонями по коленям, торопилась рассказать: — К леснику твоему какой-то начальник приехал! Весь в чёрном, в очках. Красная Шея перед ним и так, и этак, ну, всю важность порастерял!.. А с начальником ещё парень Алёшка, из Москвы, такой... ну, тоже в очках... — Зойка запнулась, уткнула лицо в руки. Васёнка вдруг захохотала звонко, вскинула на плечи грабли, легко сбежала по крутой лестнице. Хлопнула на дворе калиткой.



ВАСЁНКА

1

Васёнку, старшую дочь кузнеца Гаврилы Федотовича Гужавина, долго не звали красавицей – среди бойких деревенских девчат была она неприметна, как уточка в стае. Тонка, ростом не выдалась, плечи худенькие, подобранные. Лицо округлое, будто ладошками оглаженное, казалось маленьким оттого, что Васёнка, как и её матушка, Анна Григорьевна, волосы туго зачёсывала назад и косу укладывала на затылке в узел. Лоб выпуклый, нос сёдлышком, губы в меру полные, на людях стеснительно сомкнутые. Девка как девка! К тому же ещё молчалива и уступчива, и нет в ней совсем того задора, который иную без красоты на первое место ставит. Строгие матушкины руки с детства придерживали её, и Васёнка не знала ни волюшки, ни весёлых игрищ среди сельской ребятни.

У заросшего травой крыльца она баюкала на щепке куклу – морковку, подолгу сиживала на грядке в огороде: матушка, придерживая тяжело нагруженный подол, сажала картошку, а Васёнка гибким пальчиком выковыривала из мягкой земли семечки с белым усиком. Выковырнет – себе на зубок положит, потом безротой кукле подносит. Как-то увидела мать дочкину столовую, принесла из дома горсть белых семечек. «Ты, доча, семя не выкидывай. Ты вот так в землю клади, — показала мать. – Так добрые люди делают...»

И Васёнка, слушая мать, старательно исполнила первую в своей жизни работу.

Чуть поокрепла Васёнка – мать подала ей серп. «Пошли-ка, доченька, в поле. Хлебушко поспел!» Повязала ей голову платочком, взяла узелок с едой, повела на полоску. Васёнка наловчилась жать сухо потрескивающую под серпом рожь, снопы вязала не хуже матери, на току цепом била старательно, боялась, что мать осердится, цеп отберёт.

Батя в ту пору отходничал, с топором и пилой ходил в Питер. Хозяйство из года в год тянули мать да Васёнка. Братика Витьку Васёнка вынянчила, она и Зойку на ноги поставила. И всё-то её веселье было: прибрать, примыть, укачать, накопать, подоить, принести. И думать не думала Васёнка, что может по-другому быть.

Крикнут ей: «Сбегай!» или «Принеси-ка!» - тут же с места сорвётся, будто и нет для неё большей радости, чем кому-то угодить. В девки вышла, а хороводиться не тянулась. Бывало, под вечер по селу гармошка идёт, Васёнка у себя в подворине. Услышит гармошку, обопрётся на лопату, голову на руки склонит, минуту-другую постоит задумчиво и опять за дело. Однажды мать сама собрала Васёнку на сельский «пяточок». Достала из сундука лёгкий платок, ушила свою юбку, подобрала рукава у кофты, с самого дна вытащила привезённые отцом из Питера жёлтые туфли на каблуке – приодела Васёнку. «Иди, доченька, хоть себя покажи», — сказала мать. Васёнка знала, что на «пяточке» парни выглядывают себе невест. Робко подошла к весёлому месту у пруда, где земля была притоптана до звонкости, подолами всех семигорских девчат обметена, будто токовище. «Пяточок» гудел, как в базарный день городская площадь.

Играла гармошка.

Зинка Хлопова с рыжей Фенькой кружились, выкрикивая частушки. С одной стороны их огораживали девки, да все такие гордые – не подойди! С другой – прохаживались парни, в рубахах навывпуск, перетянутые кожаными да шёлковыми поясами, в блестящих сапогах, кое-кто в пиджаках. Девки грызли семечки, парни курили и разговаривали. И как будто девкам не было дела до парней, парням ни к чему были девки.

Васёнка, прижав к плечам руки и опустив глаза, краем обошла «пяточок», забила под зелёную навесь старой ивы и оттуда, замирая сердцем, смотрела, как её одноклассник Зинка Хлопова, никого не стесняясь, улыбаясь яркими губами, легко и ладно плясала «барыню».

Гармошка заиграла вальс. Все пошли кружиться парами, и на «пяточке» как-то сразу всё устроилось, каждый нашёл себе то, что было ему нужно. А кто не сошёлся в пары, стояли по обе стороны гармониста, разговаривали или делали вид, что разговаривают, и поглядывали в круг так, как будто и смотреть-то там нечего.

В самое это время и подошёл к «пяточку» незнакомый военный. С интересом осмотрел девчат, что танцевали, ещё внимательнее – тех, которые стояли рядом с гармонистом и с видом небрежным и независимым кидали в рот семечки, и вдруг заметил Васёнку. Минуту-другую смотрел на неё, как на явившее себя чудо, улыбнулся, поправил на голове фуражку и пошёл прямо к ней. Васёнка, как могла, упряталась в зелёные ветви. Она и желала, чтобы видный собой военный подошёл, и страшилась, что он подойдёт. «Ой, что ему отведу! Я и танцам-то не обучена!» — думала Васёнка, то заливаясь краской, то бледнея, и шептала охолодевшими губами: «Чур меня... Чур меня... Чур...»

Парень в гимнастёрке, при ремне, шёл к ней, на спокойном его лице улыбались широко расставленные, чуть косящие, как у коня, глаза. Каких-то пяти шагов не дошёл он до Васёнки – из круга выскочила Зинка Хлопова. Она метнулась к военному, как стремительная щучка, и встала перед ним, вскинув голову и тряхнув раскиданными по худым плечам светлыми волосами.

— С прибытием вас, Макар Константинович!.. – сказала Зинка дерзким голосом. – Не разучились ли танцевать на службе?.. – и сама положила свои быстрые руки ему на плечи. Гармонист кончил играть, но Зинка не дала отойти военному. Она увела его и что-то говорила с ним, говорила...

Васёнка, чувствуя холодную пустоту на сердце, уже в тёмках отыскала распалившуюся от игрищ Зойку. Обняла за плечи, повела к дому краем улицы. Шли тихо, даже Зойка замолкла под печальной рукой Васёнки. Гармошка играла уже где-то в лугах, и чей-то чистый голос тревожил овлажнённую росой ночную землю:

Много троп заве-етных
У нас в стороне.
Но одной приме-етной
Ходит друг ко мне...
На душе смяте-енье
От любви такой.
Думы и волне-енье
Унесли покой...

Дома Васёнка подала матери туфли, косынку, кофту.

— Приберите, матушка, без надобности они мне, - сказала Васёнка. Виновато улыбнулась, пошла на волю снять с шеста утром стиранное бельё. Собрала в охапку, прижалась щекой, вдохнула свежий запах чистого полотна и успокоилась.

Так бы и жила Васёнка в незаметности, как рябина в лесу. Узришь ли её, тонкую, листом прозрачную, в тени растущую, когда кругом боры да белоствольные в зелени рощи! Но каждому дереву – своя пора. Посрывают осенние ветры с леса богатые шали, и выйдет на вид тихая рябина, жарко запыхает по сирому чернолесью. Тут-то её, огненную, все приметят: и мальчишки, и дрозды-рябинники, и бабы, и мужики. Случается, и медведь заломит, маленькие глазки прикрывая, обсосёт...

Кто знает, как долго была бы в незаметности Васёнка, если бы в самое её девичество не оказался в Семигорье важный человек. К избе бабки Грибанихи человек тот подъехал рано – солнце ещё за лесом было – и тихо, чтобы не потревожить людей. Да невидаль в здешних местах, легковую машину, мальчишки нюхом учуяли. Ещё пухлые от сна, ещё неумытые, они слетелись к избе Грибанихи, как воробьи на просо. И хотя машина быстро уехала, прокатив счастливых мальчишек до выгона, в тот же час все узнали, что у бабки Грибанихи опять важный гость – Арсений Георгиевич Степанов, бывший Сенька-Кнут, когда-то ещё в первую войну с братишкой Борькой-Бореем бегавший по Семигорью. Сенька памятен был тем, что кидал камнями в урядника, за что был сечен в отцовой избе по приказу и под присмотром старосты. И тем, что в семнадцатом году ушёл в Питер делать революцию. А в голодном двадцать первом объявился в селе красным командиром, чтоб похоронить сразу отца и мать да заколотить избу. Потом надолго запропал. О Сеньке-Арсении забыли: мало ли семигорских разошлось по всей России! А он опять объявился, уже из области, да большим начальником! С неделю гостил у бабки Грибанихи, Авдотьи Ильиничны Губанковой, вдовы его погибшего в гражданскую войну друга, и уехал, забрав с собой её приёмьша – десятилетнего Кима. Теперь Арсений Степанов был уже в годах, бритую голову прикрывал фуражкой, держался молчаливо, был сдержан и неулыбчив.

Вместе с председателем сельского Совета, Иваном Митрофановичем, ходил он в поля и в дальние луга, ел из одного котла с семигорскими косцами, долго говорил с Женькой-трактористкой. И всего-то раза два видел Васёнку. Один раз в лугах – стог она метала вместе с бабами и мужиками. В другой раз повстречался с ней у колодца. Достала Васёнка воды, перелила в свои вёдра, легонько присела, цепляя вёдра на коромысло, — два на коромысло, третье в руке, — только распрямилась, голову с туго уложенной на затылке косой вскинула – человек! Тот самый, городской, что по лугам ходил. Лицо крупное, тяжёлое, а глядит по-доброму.

Васёнка глаза опустила, прошла мимо, плечом не шелохнула. В калитке оглянулась. Человек стоял у колодца, взглядом её провожал. Закраснела Васёнка. Зинка Хлопова на её месте виду бы не подала, что любо ей внимание приезжего человека: повела бы гордо подбородком, юбкой крутнула и в дом. А в доме кошкой метнулась бы под занавеску подсмотреть, кто на неё в загляд глядел. Васёнка не могла, как Зинка. Она доверчиво просияла открытым, как небушко, лицом, застенчиво поклонилась человеку. Плавню развернула на плече коромысло с вёдрами, без стука прикрыла за собой калитку, пошла к крыльцу, пружиня загорелыми сильными ногами.

Назавтра всё Семигорье узнало от бабки Грибанихи, что сказал о Васёнке приезжий человек.

«Родит же Россия такую красоту!» - так сказал о Васёнке Арсений Георгиевич Степанов. Степанов уехал, слова его остались.

Дядя Миша, отцов брат, живший на хуторе, у Займища, за обедом прослышал от своей Аполлинаруи разговоры про Васёнку, ладонью отёр свои усохшие на ветру и солнце губы, аккуратно расстегнул когда-то синюю, теперь выбеленную потом рубаху, высвободил из расстёгнутого ворота тощую, будто витую из сыромятных ремней шею, сказал:

— Конешное дело: девку не по гулянке смотрят. Наша Васёнка на работу машистая!..

Тётка Поля согласилась:

— И не говори! Васёнка везде горазда. А погляди, как идет: ровно дымок над лугом!

Сказала своё слово о Васёнке и Грибаниха, баба Дуня, Авдотья Ильинична Губанкова, к которой приезжал большой человек из области. «Сердце у Васёнки доброе, оттого она, девонька, и люба...»

И только одна Зинка Хлопова, два года пожившая в городе, одна на всё село красившая губы и пудрившая длинный нос, явно завидуя подружке, однажды выкрикнула на весь «пяточок»: «Нашли красавицу! В городе такую и в ресторан не позовут!..» На что Женька Киселёва, отчаянная Женька-трактористка, ответила:

— Заткнись, ресторанныя рюмка! Таких девок, как Васёнка, в другой стороне не сыщешь!..

Матушка же, Анна Григорьевна, успевшая отказать двум тайным свахам из дальних деревень, матушка, которая умела всех слушать и не обронить словечка, с глазу на глаз сказала Васёнке: «Не тешь сердечишко, доча. Об руку с красотой счастье не гуливало...»

2

Мать не баловала детей лаской. Молчаливая, ко всем равно строгая, одну Васёнку порой голубила. Случалось, по утрам, приустав у сыто потрескивающей печи, она подсаживалась к дочери, усердно чистившей картошку в большой чугун. Быстрой ладонью накрывала Васёнкино ухо, прижимала её голову к своей горячей от печного жара кофте, шершавыми пальцами, будто украдкой, оглаживала её лоб, волосы, молча отходила.

Однажды, вздохнув, сказала:

— Уж больно покладиста ты, доча. В какие-то руки попадешь!..

Васёнка, сбрасывая в ведро витые картофельные срезки, тихо молвила:

— Не тревожьте себя, мама! Без вашей воли на чужой порог не ступлю!..

Наверное, мать своей твёрдой рукой уладила бы Васёнкину судьбу. Но в будний серенький денёк матушка переломилась, как стожара, не осилившая тяжесть набок огрузнувшего стога. И, как стог, потерявший опору, завалилась, казалось бы, накрепко и умело смётанная гужавинская семья.

В тот серенький денёк мать засобиралась на хутор – не по доброму делу. С утра, как к празднику, прибрала избу: пол протёрла голиком с толчёным кирпичом, мокрой тряпкой два раза прошлась по всем углам, на окнах сменила занавески. Посуду перемыла, составила в горку. В бога она не верила, но в то утро долго стояла перед божницей и, чего никогда не делала раньше, завесила угол с иконой чистым вышитым полотенцем.

Васёнку не пустила на полдни: сходила сама. Вернулась с подойником, укрытым белой тряпицей, по кринкам разлила молоко, снесла на погреб.

За печью мать умылась, надела чистое, надела и застегнула на все пуговицы давно шитое, ещё ненадёванное плюшевое пальто, из сундука достала чёрную бережёную шаль, повязала по самые брови. Деньги завернула в тряпицу, убрала за пазуху. Всё делала строго, неспешно, будто не лежало сердце уходить. Будто ждала: придёт батя, не пустит...

У порога мать приостановилась, оглядела избу, всю, от чистого пола до пообтёртой печи, фотографии на стенах, подняла глаза на угол, хотела перекреститься, но только рукой повела – от себя отодвинула.

Васёнка забилась в угол, руку прикусила, чтоб не заголосить. Не маленькая была: знала, куда и зачем идёт мать. С весны батя спутался с бесстыдной птичницей Капкой, и матушка не хотела больше рожать.

Мать увидела полные слёз Васёнкины глаза, и строгое её лицо отмякло.

— Поди сюда, — позвала она.

Васёнка, вся сжавшись, ткнулась ей в плечо, стыдливо зашептала:

— Не ходите, мама, не ходите...

Мать, губами тронув её затылок, сказала:

— Не грех иду прикрывать. Обиду не могу перенести, доченька.

Мать вернулась поутру, лицом блее полотенца. Васёнка сняла с неё пальто, помогла влезть на печь, накрыла одеялом, поверх прикутала полушубком.

Васёнка металась из избы на двор и снова в избу, не умея успокоить себя ни заботами, ни делом.

Мать неслышно лежала на печи, за весь день не обронила словечка, воды не спросила. Она молчала весь другой день. Среди второй ночи пристонула. Услышала рядом Васёнку, не открывая глаз, с трудом разомкнула чёрные в полутьме губы:

— Слышь, Васюня, помру когда, юбку сыми... резинка страх как режет...

Всё другое – и Зойкины слёзы, и Витькины обкусанные губы, и как хоронили мать – Васёнка плохо помнила. А вот про резинку помнила, как ножом выцарапали те страшные слова.

Гаврила Федотович зиму и всё другое лето не ходил к Капке, пришёл домой нетрезвый, всю ночь сидел на лавке, подперев голову руками, смотрел в угол, никого не видя.

А наутро подсел к Васёнке:

— Ты старшая, тебя прошу. Прими в дом Капитолину...

Васёнка отшатнулась, глянула на отца одичавшими глазами.

— Что вы, батя! – сказала, едва шевеля губами. – Люди знают: матушка через Капку жизни лишилась. А вы в дом... И думать не можно!..

С того дня Васёнка ночи не спала. Чуть ветер-предзимник навалится на крышу, несмело подвоет — Васёнка голову вскинет, слушает. Всё ей кажется: матушка постанывает на печи. А батя день ото дня угрюмел, будто медведь, посаженный на цепь. Как чужой, приходил в дом, до ночи сидел на полу перед горящим подтопком. Васёнка душой изболелась: память о матушке не позволяла жалеть батю, а сердце не слушалось – жалело. Батя выбрал час, пал перед Васёнкой на колени.

— Жалей, Васёна! Живому живое надо. Не по годам в чужих избах утеху прятать... Жалей. В доброе твоё сердце стучусь!..

И Васёнка сдалась.

3

До словечка, до каждого шажочка Васёнка помнила, как батя ввёл в дом Капитолину.

Пришёл с работы, как был: в грязных сапогах, залоснённой кепке – козырёк терялся в спутанных волосах, — скинул стёганку, остался в рабочей широкой рубахе, копотью и горновым жаром заплавленной до железности. Вошёл в избу, впереди Капитолины, с неумытым лицом, с нерасчёсанной бородой, рыжевшей свежими подпалинами. Васёнка глянула, покачала головой, поняла: батя в стыдный час своей жизни ждал, что его пожалеют.

Сел на лавку, рядом с Капитолиной, чёрными пальцами отбил от шеи бороду, сказал глухо:

— Принимайте, дети, хозяйку...

Прижался спиной к печи, вытянулся и задеревенел Витька. Зойка, мостившаяся на табурете у дальнего окна, подсунула под себя ладошки, шарила по Капитолине раскалёнными от любопытства глазами. Васёнка видела, как, перехватив Витькин враждебный взгляд, Зойка взболтнула ногами и безразлично повела взглядом по потолку: дала понять Витьке, что приход этой самой Капки ей тоже ни к чему. Сама Васёнка ещё до прихода бати раскинула на коленях шитьё и не выпустила иглы, так и работала старательно рукой. Чувяла, что братик и сестрица не примут новую хозяйку, и видом своим и Витьке и Зойке внушала, что приход Капитолины в дом – дело будничное и не надобно его переживать. Наклоняясь перекусить нитку, она искоса взглядывала на Витьку, на Зойку, на бату и холодела от недобрых знаков. Она видела, что ни белый кружевной платок, красиво накинутый на голову Капитолины, ни подарки, что выложила она с торопливостью на лавку, ни смирение, с которым она сидела рядом с поникшим отцом, Витьку не смягчили. Он стоял, прижавшись спиной и ладонями к печи, и недобро молчал.

Бате не понравилась тишина. Он тяжело распрямился, оглядел углы, — смотреть на детей не осиливал, — сказал негромко, будто просил поселения:

— Или места в избе не хватает?..

Голос его дрогнул. Дрогнуло и Васёнкино сердце. Но Витька, от печи глядя на чистые сапожки Капитолины, глухо сказал:

— Чужие нам ни к чему...

Отец не донёс пальцев до бороды. Повернул вбок лицо, смотрел на Васёнку. Васёнка обеспокоенно сдвинула с колен на лавку шитьё. Пошла к Витьке, обняла за неподатливые плечи, тихонько позвала:

— Выйдем-ка...

Витька было заупрямился, Васёнка ласково и настойчиво повела его к двери. У порога оглянулась, и сердце сжалось от дурного чувства: из тени кружевного белого платка смотрели им вслед полуприкрытые пухлыми веками глаза, и в каждом холодно мерцал красный отсвет подвешенной под потолком лампы.

Васёнка уговорила Витьку пожалеть отца. Но Витька домой не вернулся.

На третий день Васёнка разыскала его в доме Маруси Петраковой, что жила в маленькой избе, в Семигорье, а ходила через день за реку, в леспромхозовский посёлок, топить баню. Витька был дружок её старшего сына Ивана.

Петраковы сидели за столом, вокруг большого чугуна с картошкой: Иван, сестра его Нюрка, тощий мокроносый Мишка, плотная, как бочоночек, Валька. Нюрка держала на руках ещё младшенькую – Верку. Здесь был и Витька. Маруся, худая, остроносая, с растрёпанными волосами, каждому налила по полкружки молока. Унося за печь опорожнённую кринку, Маруся не сдержалась, быстрыми пальцами вытерла измученные глаза. Витька понурый вышел вслед за Васёнкой на крыльцо.

— Братик! Неужто сам не видишь, в какую тягость им лишний рот!.. – сказала Васёнка и заплакала.

Витька молчал. Потом сказал угрюмо:

— Ладно, поди домой...

На другой день он вернулся. Батя, увидев на пороге Витьку, отложил Зойкины ещё не подшитые валенки, рукавом рубахи смахнул со стола сор, позвал:

— Садись, место твоё не занято. – Строго посмотрел на Капитолину: — Собери поесть!..

Пока Витька ел, батя шил. Шил молча, но по тому, как торопилось шило в его руках и ходила игла с чёрным хвостом дратвы, Васёнка видела: батя полегчало. Витька ел, с усмешкой поглядывал на прибавку в избе: Машенька, Капкина дочь, худенькая и смурая, сидела в углу, на лавке, одевала безрукую тряпичную куклу. Из-под копны волос глянула на Витьку строго, но улыбнулась. Витька ел, выглядывал перемены в доме. А Васёнка чувала, как от печи, где стояла Капитолина, сложив под грудью руки, наносило холодом, как от незакрытого погреба.

4

В жизнь гужавинского дома Капка входила тихо, как зима в безветренный день. Снежок редок, поля широки, думается: «Это ещё не снег!» А снежок падает на траву, на кусты, на комья сухой земли. Наутро глянешь – бело! Холодные зимы начинаются тихо.

Капки в дому не было слышно. В первый год она больше сидела по углам, оттуда поглядывала туманным взглядом на хлопотавшую Васёнку.

За столом держалась гостьей. Ложкой в общую миску, поставленную на стол Васёнкой, не торопилась, приноравливалась во всём к батю. Ссосав с ложки горячие щи, она кусочком хлеба промакивала тугие губы по-детски маленького рта, пальцем стеснительно отирала нос. Ложку на стол клала раньше, чем откладывал свою ложку батя. Батя ещё только правил усы, черенком выдавливал из бороды крошки, а Капка уже складывала на коленях короткие руки.

Васёнка понимала, что Капка ест не по аппетиту, и, переживая за батину подругу, ободряла:

— Да поешьте ещё, Капа!

— Спасибоочки. Вот так наелась! – отвечала Капитолина и кротко взглядывала на батю.

До того как бригадир звякнет в железку у сельсоветского крыльца, Васёнка успевала подоить корову, насыпать в корытце курам, вытопить печь, сварить и нажарить и за большим столом всех накормить. Приготовить и задать корм поросёнку – борова каждый год держали до рождества. Чугун со щами и горшки с кашей составить в печь, чтоб затомились к обеду, замесить тесто и даже наскоро примыть пол. После смерти матушки весь дом приник к Васёнкиным рукам, и Васёнка старалась везде успеть, чтобы каждый был накормлен, одет, обут да ещё словом обласкан. Зойку она заставляла делать самую малость: сбегать по воду, ополоснуть посуду, корове задать сена. Васёнке всё казалось, что дом крадёт у Зойки её девчоночьи радости.

Батя не вмешивался в её заботы. С утра отправлялся в кузню, приходил к вечеру по-молодому нетерпеливый, отмывался под рукомойником, торопил с обедом. А ел не спеша. И, отобедав, не тянулся, как бывало при матушке, взять в руки свой плотницкий или столярный инструмент. Ставил на колено гармонь и, поглядывая на Капку особенным, веселящим её взглядом, наигрывал почти забытые Васёнкой простенькие песни.

Капка к ночи оживлялась, вытаскивала из печурки карты, подсаживалась к батю, стеснительно похохатывая, играла с ним в дурака. Батя, радуясь Капкиному оживлению и совестясь Васёнки, звал:

— Полно тебе суматошиться, повеселись иди...

— Вы играйте, играйте, батя! – успокаивала его Васёнка. – Я уж пошью да вот Витеньке носки поштопаю. На вас-то и глядеть лягко!..

Васёнка догадывалась, что батя и Капка томятся, ожидая, когда все лягут и в избе погаснет свет. Сидела недолго, откладывала шитьё, стелила себе и Машеньке одну постель, провожала на печь Витьку и Зойку, гасила висящую под потолком лампу. Тихо ложась рядом с Машенькой, мысленно велела Витьке и Зойке поскорее заснуть.

Неуступчивый братик вообще был её заботой. Сызмала не терпел, когда его принуждали. Что надобно – делал сам: латал крышу, готовил дрова, новил изгородь. Васёнка знала норы братика и направляла его, не задевая обидчивого сердца. Выбрав минуту, она, лукавя, говорила Зойке:

— Ты, гляди, не очень-то торопись на дворине. Вчерась чуть ногу не повывернула – ступеньки совсем гнилые...

Васёнка учила Зойку, а сама наблюдала Витьку: он поднимал глаза над книгой. Васёнка прятала улыбку, а через день-два легко и быстро сбегала в дворину по крепкой новой лесенке.

В натопленной тёмной избе Васёнка тихо лежала, прижимая к себе худенькое тельце Машеньки, старалась не слышать, как батя милуется с Капкой, перебирала в уме завтрашние заботы, про себя говорила с Витенькой: «Не мирный ты у нас, братик!.. Так прошу тебя – будь, братик, добрее! Вижу я, как не по душе тебе Капа. А что поделаешь? Ты батю жалеи. Кто сердцем-то одинок, ой, худо тому! Отошёл бы ты сердцем братик. И мне бы полегчало... Пошто вот не спите, перешёптываетесь?! Это вот худо! Угрелись на печи – и спите!..»

Васёнка засыпала последней, когда позатихшая изба наполнялась посапыванием, посвистом, сытым батиным храпом. А в заплывшие льдом окна ломил ранний в этом году мороз, и рамы потрескивали, как крыльцо под тяжёлыми шагами.

Капка незаметно перестала ходить на птичник – с кем-то договорилась, подыскала себе замену – и теперь помогала по дому: то приберётся, то сходит по воду, то устроит постируху. Однажды утром, расчёсывая гребнем волосы, недовольно поглядывая в зеркало на своё помятое сном лицо, попросила:

— Ты бы, Васёнка, лук с печи убрала. Не больно глядеть-то с постели...

Васёнка подивилась Капкиной душевной тонкости, но лук перевесила.

Однажды в вечер Капка перехватила из её рук валёк и на глазах у бати начала катать по столу чистое бельё. Вальком она работала не в силу, зато плечами да крутыми боками поигрывала, как на танцах. Васёнка, качая головой, смотрела из-за печи на Капкину забаву: не думала, что и в таком простом деле может быть свой расчёт.

А батя играл свои песенки, поглядывал на Капку затуманенными глазами. Вдруг убрал с колен гармонь, раскинув руки, пошёл к Капке, хватко трепанул её бок. Капка будто ждала: бросила валёк, повернулась в батиных руках, опустила глаза.

— Гляди сам, Гаврила Федотович, — молвила Капка. — В дому нас шестеро. А дом об одну комнату. Горенку отгородить бы!..

Батя на лоб взметнул косматые брови, правой рукой ухватил левое ухо, скосил глаза на Васёнку.

— И то, сделайте, батя! — даже обрадовалась Васёнка. — Покойнее вам будет!

Батя отгородил горенку, не пожалел досок, что припасал и сушил для столярных работ. Сделал всё, как надо, плотно, крепко, даже собрал и навесил дверь. Только лежанку, где спали Витька и Зойка, почему-то досками не зашил.

А Васёнке покоя не давал этот открытый простенок. По утрам она с тревогой заглядывала Витеньке в глаза, старалась по взгляду отгадать, не слушают ли они с Зойкой по ночам чего нехорошего. Истомившись однажды, сказала весело, чтоб, не дай бог, не подумал плохого:

— Давайте-ка, братик, сами довершим бате горенку!

Витька понял её, притащил струганных досок, возился долго, но отгородил лежанку от Капкиной комнаты. И по тому, с какой готовностью он это сделал, с какой силой всадил последний гвоздь в отгородку, Васёнка поняла, что братик ведаёт больше, чем она думала.

5

Из города Капка привезла голубую железную кровать с сеткой. В горенку втаскивали её частями и там собирали. Кровать блестящими шарами, которые Капка тут же надраила мелом и шерстяным носком, упёрлась с одной стороны в стену, с другой в печь. Довольная Капка положила на кровать два пуховика, четыре подушки, застелила синим, как январский снег, покрывалом.

Васёнка возвратилась домой, разгорячённая морозом и работой, когда Капка тащила на поветь старый лежак.

— Ну-ка помоги! — озабоченно сказала Капка. — Тоже мне ложа — тяжельше морёного бревна!

— Пошто убираете, Капа! — удивилась Васёнка. — Спать где будете?!

— Кровать купила. Новую. – Капка нетерпеливо мотнула головой, призывая помочь. Васёнка с готовностью ухватила край лежака и только потом, когда они втоптали его на поветь и втиснули в бок, где была всякая рухлядь, и Капка, торопясь, ушла в дом, Васёнка поняла, что бросили они на поветь матушкин лежак.

Память о матушке нет-нет да и прихватывала болью Васёнку. Знала она, что батя не ходил к матушке на могилку даже в поминальный день, светлую и печальную радуницу. Переживала, а корить батю не смела: Капитолине не по сердцу были разговоры о матушке. И Васёнка в себе терпела боль, чтобы ненароком не порушить улаженную в доме жизнь.

А тут одна, на холодной повети, с собой не совладала. Сорвала с головы платок, опустилась на край лежака. Увидела тут же, среди старых половиков и рассохшихся кадушек, матушкин сундук с раскрытым замком, хват с колечком на черенке, самый ловкий, обласканный её руками, теперь поломанный и брошенный, лапти-сироты, на мочале свисающие с гвоздя, плетённые матушкой и матушкой не доношенные, и слёзы ожгли глаза.

Закрыла лицо ладонями, клонилась к лежаку, шептала:

— Господи, да что это такое! Будто не было матушки. Будто не матушкой дом ухожен, будто не она была хозяйкой! Из дома уносим – саму память гоним. Да что же это такое, господи! У бати глаза и сердце застлало. А я-то что матушку гневаю?! Да что же это, неужто в своём доме распорядиться не могу? Вот-ка возьму лежак да и внесу в дом! – Васёнка, удивляясь собственной решимости, заторопилась. – Вот сейчас возьму и снесу и накажу всем, чтоб не трогали!

Васёнка вытерла глаза, поднялась, даже ухватила за гладкие, словно восковые, доски лежака. И тут поняла, что матушкин лежак ей не под силу. Нет, она могла бы позвать Витьку, Зойку, вместе снесли бы в дом и поставили лежак, и она спала бы на нём, успокоенная памятью о матушке.

Другое чувствовала Васёнка – не под силу ей через себя переступить, не под силу поперечить Капке, не под силу самой порушить в дому хоть и не весёлый, а всё же лад. «Простите меня, матушка, — руки Васёнки ослабли. – Не могу я так. Я потом. Я по-доброму! Я улажу с Капой. Вы сами, матушка, говаривали: доброе сердце добром осиливает...»

Васёнка платком утёрла глаза, спустилась в дом, открыла дверь и ахнула: в доме – война! Братик Витька прижимал к себе этажерку для книжек, а распалившаяся Капка вырывала этажерку из его рук.

— Капа! Витенька! – в отчаянье закричала Васёнка. – Что делаете?!

Капка отпустила самоделку, широко расставила локти, пошла к Васёнке.

— Скажи ему, скажи! – кричала она, кулаком тыкая в сторону Витьки. – Хозяин объявился! Что ни возьму – его! Полку хотела в горенку перенести, так он меня чуть не прибил... — Капка всхлипнула и заслонила передником глаза.

— Братик! – Васёнка смотрела с укоризной. – Неужто пожалел!

— Не пожалел! А в каждом доме свой порядок! – Витька, бледный от пережитого волнения, поставил этажерку в угол, настороженно щурясь и раздувая ноздри, собирал сброшенные на постель книги.

— Успокойтесь, Капа, — попросила Васёнка. – Всё уладится!

Она подула на замёрзшие пальцы, стала расстёгивать шубейку. Капка тяжело дышала. На её возбуждённое лицо наплывали красные пятна. Она наклонила голову, морщила низкий лоб, заросший на висках жёсткими волосами.

— Всё уладится, Капа, — сказала Васёнка, улыбкой стараясь смягчить Капитолину.

Капка вдруг притихла, оправила на себе платье, тяжёлыми шагами ушла в горенку

Вечером Васёнка словила на дворе Витьку. Оставила на земле фонарь, ухватила за борт старенькой, уже тесной ему стёганки, из рукавов которой почти до локтей торчали его худые руки, и, тревожась предчувствием идущей в дом беды, заговорила:

— Витенька, братик мой милый, прошу тебя – уступай! Не копи, братик, зла, от зла люди портятся... Ты ведь добрый, заботливый. Ты верь: добром всё сладится, а к непокорным одни беды ладятся! Уступай, так прошу тебя, братик!

Витька грустно смотрел в добрые глаза сестры, усмехнулся толстыми губами. Как взрослый, прижал к себе голову Васёнки, погладил по платку, пошёл в дом.

В канун того памятного чёрного дня Капка молчала. Вечером, когда все были дома, отужинали и Васёнка, стоя за печью, домывала посуду, Капка зашла в узкую кухоньку, молча заглянула в печь, на уложенные Васёнкой поленья, потрогала нащепанную лучину. Прицеливающимся взглядом проверила чистую посуду в горке, увидела неполные вёдра, послала Зойку за водой. Потом пролезла в красный угол, за стол, подпёрла щёки тугими кулаками и, так сидя, не поворачивая головы, молча следила, как Васёнка, легко приседая на молодых ногах, подтирала на кухне пол, стелила постель и укладывала Машеньку, перед окном расчёсывала волосы.

Васёнка, откинув голову, заправила расчёсанные волосы за спину, вынула из губ шпильки, потянулась положить на подоконник и разронила. Руки её не слушались. Она чужая, как неотрывно смотрит на неё Капка, и сердце замирало от страха. Подбрав с полу шпильки, Васёнка распрямилась и вдруг повернулась к Капке. Стояла, открытая, беззащитная, и смотрела прямо Капке в глаза, будто спрашивая: «Ну, скажите, что вам надобно, Капа? Скажите – я сделаю...» С минуту они смотрели друг на друга. Васёнка, чувствуя, что долго нельзя вот так смотреть и не говорить, тихо попросила:

— Ложились бы, Капа. Поутру и думы светлее...

Капитолина отняла от щёк кулаки, засмеялась:

— И то, — сказала она. — Ложись, Васёнушка, пора, пора!

Она вылезла из-за стола, покачиваясь, будто затекли у неё ноги, пошла в горенку.

Васёнка привернула в лампе свет, легла неслышно, как это умела делать только матушка.

Машенька во сне вздохнула, чмокнула губами, повернулась на бок и вдруг прошептала: «Плохая кошка... Ух, плохая...» Васёнка лицом уткнулась в копну её пахнущих попом и летом волос.

К утру Васёнка заснула, не слышала, как из своей горенки прошла в кухню Капитолина, затопила печь. Услыхала уж, как потрескивают горящие поленья, вскочила, с распущенной косой встала у рукомошника.

— Заспала, — сказала виновато. — Разбудили бы, Капа!

Капитолина не ответила. Нагнувшись, она шевелила в печи сковородником.

Ничего не понимая, Васёнка потолкалась вокруг невозмутимой Капки, взяла ведро, пошла доить корову.

Капитолина сама подала на стол. Семейную сковороду с томлёной в молоке и залитой яйцом картошкой поставила ближе к батиному краю, сама нарезала хлеба, не как резала Васёнка, в кучу, на всех, а каждому из своих рук дала по куску. Растерянная Васёнка первый раз гостьей сидела за столом. Она замечала, как переглядывается с Витькой и пожимает плечами Зойка, заливалась стыдом, слушая, как похваливает готовку батя, казнила себя за то, что проспала утро. После еды схватилась мыть посуду, Капитолина остановила её.

— Зойка помое! — сказала она властно. — Ступай в контору. Там баб собирают картошку перебирать...

Васёнка едва устояла на ногах. Плечом нащупала печь, прислонилась, стояла, будто застёгивая кофту, спиной к бате, к Витьке, чтоб не показать лица. Дождалась, пока из глаз ушла темь, накинула на голову платок, вышла на холодное крыльцо.

Поняла Васёнка: отныне в доме она не хозяйка.

6

Бабы идут с поля. В руках пустые жбанчики, узелки. На плечах тяпки, как у солдат ружья. Босыми ногами ступают в осевшую в колеях, нагретую полдненным жаром пыль дороги.

Пыль выстреливает из-под ступней, белёсым облачком переваливает обочину, ложится на траву.

Идут бабы, переговариваются, перекликаются, звонкие голоса стелются над чутким в вечерющем воздухе полями.

Открылось село. И усталые, напечённые солнцем, озабоченные лица ожили, каждая взглядом ухватила свой дом.

Умолкли бабы, скинули на плечи запылённые платки, торопят и без того спорый шаг. За день соскучились по ребятам, по мужикам, по домашним заботам.

Приноравливается к бабам и Васёнка. Ускоряет лёгкий шаг, уже не ловит, не оглаживает приклонённые к дроге колоски, глазами ищет левее тёмной церковной колокольни с погнутым, будто сгорающим на солнце крестом знакомые берёзы, под которыми по матушкиной воле и на Васёнкиной памяти был поставлен их дом. Высмотрела берёзы и как будто споткнулась на ровной тропке. Жалобно улыбнулась, остановилась с прижатой к груди рукой.

А бабы спешат, уходят. Спустились в лог перед селом, ни кофт, ни платков не видать.

Васёнка покинуто стояла, не зная, куда идти. Вздохнула, себя укорила: «Ведь не хозяйка! А всё к дому тороплюсь!» Поправила на плече обёрнутую тряпицей тяпку, перешла дорогу и знакомой межой ржаного поля, прямо по белому раздолью ромашек, сошла в луг к лесной речке Туношне, задумчивой и тихой, как ночь в сенокос. В траву положила тяпку, села на свой бугор, поджала под себя и юбкой накрыла босые, с мозольными пятками ноги, чтобы не очень-то жигали злые допокосные комары, упрятала руки к животу и затихла, радостными глазами оглядывая всё, что полюбилось ей в это горестное в её жизни лето.

На лесное левобережное крутогорье светило низкое солнце. Лес ещё только набирал летнюю важную полноту и на тихом ветру шевелился. Васёнка, затаившись, с лукавством в карих глазах, смотрела, как берёзы и осины, довольные теплом и светом, как будто щекочут себя зелёными ладонями листьев.

«Угрелись, лесовушки! – думала, взглядом лаская берёзы. – А сосенкам что свет застили! Экие вы, право!..» У сосен, росших по верху горы, едва виднелись над зеленью берёз и осин тёмные мохнатые маковки. Пятна их стволов, как подсвеченные огнём лица, проглядывали сквозь сплошную завесь листьев. «Экие вы, право!.. – укоряла Васёнка. – Полгоры вам мало. Солнышко-то одно на всех!»

Из-под яра вылетел и прокатился над речкой, будто перевёртываясь в воздухе, звонкий голос иволги. «Вот она, певунья! Медвяночка моя, укрытная... — Васёнка радостно насторожилась, ожидая песни, — иволга молчала. – Ну, что же ты? Водицы склюнула, пугнул ли кто? Что смолкла? И соловей не голосит. Соловью-то рань. Вот чуток потемнеет, тогда только слушай! Такое диво — мураши по спине бягут!»

Васёнка плотнее укутала ноги юбкой, перевязала на голове платок. Глядя меж черёмух на светлые переливы Туношны, едва слышно, будто стыдясь, запела:

Мой костёр в тумане светит,
Искры гаснут на ляту-у...

Она и в песне смягчила слова. Голос Васёнки похож на тихое журчание Туношны на перекатах. И, может быть, оттого, что, кроме речки, ей не с кем горевать, печаль её так открыта. Песня допета до последнего грустного словечка. Васёнка упрятывает подбородок в колени и, опечаленная песней, глядит, как, припадая, пьют воду из Туношны белоголовые облака.

Васёнка даже себе не признавалась, что у речки она кого-то ждёт. Не дай бог, заметили бы её здесь бабы – тут же покатались бы по селу озорные байки! Пылать бы Васёнке, как маковому цветку. Кто поверит, что девка на бугре время просиживает, а не милого ждёт? А у Васёнки и милого-то нет, одношенька, как эта вот речка!

Таилась от себя Васёнка, а кукушке всё же загадывала, сколько ещё денёчков ждать судьбы. И хоть пять и десять раз прошли откукованные сроки, Васёнка всё одно каждый вечер ходила на бугор. Ждала. Ждала терпеливо. И случилось: будто в сказочном зеркале, объявился в Туношне парень!

Парень стоял в распахнутой куртке, в сапогах, головой подпирал белое облако, смятую кепку держал в руке. И волосы, как у цыгана, путались на лбу.

Васёнка ладонь прижала к тонкой шее, качнулась ближе к воде, чтобы рассмотреть, и дух у неё перехватило, закрыла глаза. А когда снова глянула, в речке, как прежде – синь да облачко одинокое, как заплутавшая ярочка. Васёнка взглядом заметалась по лугу, встала на бугре, беспокойная, как лозина на ветру. А парень – вот он! По-за кустами обошёл, к ней путь держит. Подошёл, цыганские свои волосы ладонью со лба набок пригладил, послушались волосы, легли. Потный лоб открылся, чумазый, будто нарочно подкоптили. И руки копчёные, кузнечные, как у бати, и на широкой скуле, видать, от копчёного пальца, мазок. Парень куртку пошире распахнул, переступил стоптанными сапогами, порыжелые голенища в гармошку сошлись – ладно не заиграли! Смотрит вроде бы не робко, но и не дерзко. А Васёнка стоит, рукой шею придерживает, истомилась, краснеючи: молчун, что ли, перед ней – слов не говорит!

Парень улыбнулся широким ртом.

— Откуда такая добрая? – спросил.

— Пошто добрая-то? – потупилась Васёнка.

— По носу. Нос у тебя добрый! – сказал парень. А Васёнка обиделась: смеётся парнице! Из-под своих цыганских волос на неё смотрит, так смотрит, будто вот сейчас охватит да поцелует!

Васёнка онемела. Увидела – глаза у парня раскосые, узнала – тот военный, что на «пяточке» к ней шёл! К ней шёл, да Зинка-одногодка перехватила, в круг увела. Тот самый! Глаза до того широко на лице стоят, будто и впрямь косят! И смотрит открыто, взгляда в сторону не ведёт. Тот парень!

Васёнка голову опустила, замерла, судьбы ожидаючи.

— Ладно, добрая, — сказал парень, будто её успокаивая, — свет не велик – свидимся! – Услышала Васёнка, как шаркнули по траве сапоги, гуднула земля от тяжёлых шагов. Пришла в себя, схватилась крикнуть вслед: «Гужавина я! Кузнеца Гаврилы дочь!» — а голоса как не было.

Домой шла Васёнка, будто поцелованная. Сказать бы кому! А кому такую важность поверишь? И радость не в радость, когда про себя. Увела Зойку на крыльцо, обняла.

Сготовилась шепнуть словечко и затомилась. Сказала, будто чужую новость:

— Парень тут ходит, такой чумазый. На цыгана похож. Не знаешь чей?

Зойка поскребла коленку, деловито осведомилась:

— Такой вот, раскосый?..

— Он, он, — радостно вскрикнула Васёнка и в страхе почувствовала, как в полымя обратилось сердце. Ладно ещё тёмки на дворе. Хоть и летние, а всё же тёмки...

Зойка смирененько подождала, когда Васёнка успокоится, раздумчиво сказала:

— Знаю. Тётки Анны Разуваевой парень. Летось вернулся с отъезда. А работает в новом энтээсе. А зовут его... — Зойка помедлила и, растягивая сверкающее и оглушающее Васёнку слово, пропела: — Зовут его Макар...

Зойка повертела головой, сказала, как будто обижаясь:

— Что это ты мне плечи жгёшь? Волдыри вот вскочут!

Васёнка, не узнавая себя в радости, сдавила Зойку и зацеловала её хитрое лицо. Зойка вылезла из Васёнкиных объятий, приглаживая за ушами волосы, со вздохом спросила:

— Записочку снести, что ли?

— Ой, что это? — спохватилась Васёнка. — Ишь чего надумала! И не говори! И не думай!

— А я не думаю. Я знаю... И ты не бойся. Снесу и — как копеечку в колодец, никто не достанет!

Записки Васёнка не послала. А на Туношну с того дня бегала каждый вечер. И глядела на луг, на речку, на ту сторону, откуда объявился чумазый парень. Чумазый не шёл. И летние зори угасали в пустой непо потревоженной воде.

Как-то к вечеру Васёнка села на свой бугор и вдруг замерла. На берегу пригнулись кусты, закачались ивы, листья посыпались в воду, как в осеннюю ветреную пору. В светлой Туношне вычернился человек.

Васёнка встрепенулась, как птица на взлёте, и не взлетела. В кустах, радостно сияя загорелым лицом, стоял лесник Леонид Иванович.

— Здорово, соседка! — крикнул оттуда, с того берега, да прямо по воде тяжело пошагал к Васёнке. Сбуровил воду, будто сохатый на водопое! Вышел на берег, сел рядом на бугор, стащил с ног мокрые сапоги. Вылил воду из голенищ. Играя желваками крепких скул, натуго выжал портянки, навернул на широкую, в синих жилах ногу. Поглядывая на Васёнку, натянул, скрипя мокрой кожей, один сапог, потом другой. Чёрную фуражку с медными жёлудями над козырьком снял, пристроил в траве, на фуражку положил свою командирскую планшетку, как будто задумал сидеть тут до ночи.

— Вот так, соседушка! Ради ягодки чего не сделаешь?! Не только сапоги, репутацию подмочишь!.. – Лесник захохотал, округлив рот, придвинулся близко к Васёнке. Рукой потирая затылок, метнул воровской взгляд по лугу. Настороженная Васёнка вскочила, негодуя и пугаясь, замахала руками, как будто лесник уже её обнимал.

— Что ещё придумали? – задыхаясь, говорила Васёнка. – Ступайте себе... Ступайте, Леонид Иванович!

Лесник пригнулся, играя – раскинул руки. Как раскрытые клещи, они сошлись у ног помертвевшей от страха Васёнки.

В лесу зашумело, звякнули ботала, щёлкнул кнут, стадо, треща валежником и разламывая кусты, вывалилось на луг.

— Эх, с девкой поиграться не дадут! – сокрушаясь, сказал Красношеин и встал. Надел фуражку, поднял с травы планшет.

— Моё почтение, дед Аким! – крикнул он пастуху и пошёл навстречу. – Лес-то ломаешь, будто свой!

Пастух, придерживая на плече короткое кнутовище, шёл к леснику, мягко перебирая обутыми в лапти ногами. Поздоровался за руку, внимательно поглядел на Васёнку, беззащитно стоявшую на бугре, поднял неморгающие глаза на лесника и молчал, будто ждал, что лесник объяснит ему про Васёнку.

Красношеин накрутил на руку узкий ремешок, потрянул перед пастухом командирской планшеткой.

— Что, говорю, лес ломаешь? – крикнул он деду, как глухому.

— Да ведь скот! – рассудительно сказал Аким. – Животное, оно запрету не понимает...

— Пасёшь-то ты! Смотри, акт составлю! Ну, ладно, ладно, пошли, старый! – лесник обнял пастуха за плечи, как бы торопя его от Васёнки, повёл через луга вслед за стадом, к селу.

Васёнка проводила их невидящим взглядом, упала на бугор, зажала руками горящее стыдом лицо.

— Матушка, родная! – шептала она. – За што так-то? За што?!



НА НОВОМ МЕСТЕ

Полянины устраивались, пока временно, в отведённом им доме бывшей конторы. Вещи вносили в большую комнату, ставили в беспорядке. Чтобы подойти к окну, взглянуть на луг и речку, приходилось раздвигать чемоданы и перешагивать через тюки. Вторая, гулкая комната, пока пустовала.

Иван Петрович обежал квартиру, с удовлетворением отметил, что к его приезду стены, потолки и печи заново побелили, пол покрасили, даже в кладовочке вымыли квадратные окна, с подоконников стёрли пыль. В кухне стояло ведро чистой воды, у подтопка лежали мелко наколотые сухие дрова, на полешках – кучка надранной бересты. Чья-то заботливая рука сделала всё возможное, чтобы угодить незнакомому директору будущего лесного техникума

Иван Петрович, утомлённый долгой дорогой и жарой, жаждал одного – горячего чаю. Раздражённый медлительностью людей, он нетерпеливо ходил из кухни в комнату, выбегал через широкое крыльцо во двор, видом своим поторапливая мужиков-возниц. Мужики поругивались, отходили к колодцу напиться, от колодца окрикивали беспокойно стоявших на жаре лошадей. Наконец, кряхтя усерднее, чем требовал груз, они внесли в дом последнюю дорожную корзину и, старательно отирая картузами лбы, встали у порога. Рыжеватый мужичок по имени Иван Батин, к хозяйственности и хитроватости которого Иван Петрович пригляделся за двое суток пути, одобрительно подмигнул и северной скороговоркой сказал:

— Барахлишка-то порядком нажили...

Крышка чайника выпала из рук, звякнула о керосинку, покатила по полу. Иван Петрович сквозь очки уставился на мужичка.

— Труд, говорю, таскать-то... — пояснил Батин, несколько потерявшись под взглядом хозяина.

Иван Петрович наконец сообразил, о чём речь, и рассердился на то, что обжёт руку, и на этих людей, которые тянули время, теперь вытягивали деньги.

— Леспромхоз, товарищи, с колхозом рассчитался за подводы! – сказал он и сделал нетерпеливое движение к двери.

— Мы ж для вас постарались! – сказал Батин, не двигаясь с места. – На чай после такого дела сам бог не осудит...

В другое время Иван Петрович выстоял бы перед несправедливым напором рыжеватого мужичка, но сейчас ему так хотелось хотя бы минутного покоя, что молча он вынул бумажник и протянул три рубля.

— Вот теперь интерес соблюден, — удовлетворённо сказал Батин, с достоинством принял деньги. — Благополучия вам на новом месте...

Примостившись к свободному уголку кухонного стола, Иван Петрович налил из чашки в блюдце горячего чаю. Он всегда блаженствовал над стаканом крепкого чаю с кусочком сахара вприкуску, но сейчас пил с блюдечка торопливо и хмурился. Выпил чай, отодвинул чашку от края.

— Гм... соблюден интерес... - вспомнил он рыжеватого возницу. — Там Днепрогэс, Магнитка, Чкалов пролетает над Северным полюсом, а здесь всё тот же извечный «свой интерес»...

И всё-таки техникум мне строить здесь. И детей Батина учить и выводить в люди. И ничего не поделаешь: новь и старь. В который уж раз вот так, начинаю почти с нуля!..

Иван Петрович заглянул в комнату. Елена Васильевна сидела на дорожной корзине среди груды вещей, как печальная дева над разбитым кувшином. Иван Петрович смущённо кашлянул.

— Пойду представлюсь, — сказал он.

Елена Васильевна промолчала.

— Чай горячий, уже пил, — сообщил Иван Петрович, виновато глядя на жену. — Вы тут без меня не разбирайтесь!

Елена Васильевна, разомлевшая от духоты и беспорядка, с досадой отмахнулась.

— Иди, пожалуйста, я сама всё сделаю!..

Иван Петрович помялся у вещей, потом с той же виноватостью, но и с твёрдостью, надел чёрный китель, фуражку и, сказав «ну, я пошёл», тихо прикрыл за собой дверь.

Алёшка тоже не усидел.

— Мам, я в лес, сказал он и выскочил вслед за отцом.

Елена Васильевна сидела среди сгруженных вещей, безвольно опустив руки на чемоданы. Она всегда медленно обретала способность к действию. И даже после того, как осталась в доме одна, некоторое время пребывала в том грустном и покорном расположении духа, которое охватило её ещё в Москве, в ту ночь, когда Иван Петрович сообщил, что они уезжают из столицы.

Наконец она открыла замок чёрной сумочки, достала ножницы, не вставая и не спеша, с тщательностью чертёжника, шов за швом распорол старые Алёшкины штаны, курточку, мешковину – всё тряпьё, в которое неделю назад зашила свой столик. Отпоротые тряпки сползли на пол, и среди пустых стен и хаоса вещей вдруг солнечно сверкнули великолепной полировкой и бронзой тонкие, изящно изогнутые ножки. Глаза Елены Васильевны на какой-то миг оживились. Она высвободила из вещей и тряпок весь столик, поставила его и, поджав губы, с усилием перетащила в заднюю, смежную комнату. Столик осторожно вдвинула в угол, напротив окна, отошла и опустилась на железную, кем-то уже принесённую для них кровать. Оживление оставило её. Она прислонилась щекой к холодному железу, с грустью смотрела на круглую поверхность столика, сияющую чем-то далёким и невозвратным. Этот туалетный столик красного дерева с бронзовыми инкрустациями на ножках был единственной достойной вещью в домашнем хозяйстве Поляниных. Он был как память, как последний свидетель того далёкого времени, когда Елена Васильевна безумно поверила в свою счастливую звезду и стала женой заметного даже в Петрограде красивого молодого человека. Иван Петрович в то время был уже партийцем-большевиком, и его, студента четвёртого курса Лесного института, удачно организовавшего по специальному заданию лесозаготовки в Тихвинском уезде, выдвинули на руководящую работу. Учреждение, где он работал, снабжало дровами весь Питер. А топливо в те годы было как хлеб. Что значило тогда тепло живого огня в печурке, Елена Васильевна увидела однажды воочию, на концерте, который давали для работников топливного фронта солисты петербургского оперного театра.

«Облтоповцы», как звали их тогда, после концерта преподнесли артистам не розы и хризантемы, даже не астры, — каждому солисту они выдали по маленькой вязанке дров. И знаменитые артисты, перед именами которых млело её восторженное сердце, с радостью – она видела это, — с радостью и благодарностью несли в дома подаренные им щепки, прижимая их к своим собольим шубам. Её потрясла тогда переоценка ценностей, которой она была свидетель. Может быть, именно в тот вечер обаяние высокого искусства померкло в её глазах перед возможностью простого домашнего тепла. Лена оставила занятия в киностудии, овладела машинописью и заботами Ивана Петровича была устроена к нему секретарём.

За Леной ухаживал Саша, юноша с грустными глазами Есенина и руками пианиста. С Сашей они занимались в киностудии, и Лена, кажется, любила Сашу. Даже после того, как она ушла из студии, они продолжали встречаться в Таврическом саду.

Судьбу её решил Кронштадтский мятеж.

Среди тех, кто пошёл по льду Финского залива на крепостные стены, под огонь пушек и пулемётов, был Иван Петрович Полянин. И, когда мятеж контрреволюционеров был подавлен и к ней, прямо в дом, Иван Петрович пришёл в ремнях, с револьвером на боку, пришёл с вокзала, пропахший морозом, порохом и победой, Лена забыла, что на свете есть юноша Саша, с грустными глазами Есенина. Она бросилась Ивану Петровичу на грудь и пылающим лицом уткнулась в красный бант в петлице его пальто.

Саша уехал на Дальний Восток добровольцем-пулемётчиком. Когда он вернулся, Лена уже ждала будущего Алёшку.

Ивану Петровичу отвели огромную квартиру, реквизированную Советской властью у какого-то царского сановника. В квартире была обстановка из красного дерева с бронзовыми инкрустациями. К тому времени Иван Петрович оставил институт. Он считал, что Революция – не время книг и теорий, надо практически строить новый мир.

Через год он преспокойно оставил роскошную квартиру на Петроградской стороне, бросил всю обстановку красного дерева и увёз Елену Васильевну вместе с маленьким Алёшкой на Урал, в Екатеринбург, в старый кирпичный дом, где не было водопровода, но был сосед-пьяница, который каждую ночь поднимал в доме дебош. На Урале кто-то почему-то проваливал лесозаготовки, и кто-то где-то решил, что там нужны ум и энергия Ивана Петровича. С тех пор Елена Васильевна потеряла счёт дорогам, городам и посёлкам. И всё-таки, как ни трудны были переезды, как ни выходил из себя Иван Петрович, убеждая её избавиться от лишних вещей, Елена Васильевна каждый раз обшивала столик тряпками и везла с собой. Столик тихо светил ей в её жизни, как в сумеречной комнате светит луч закатного солнца. И пока столик был, не угасала в ней надежда на то, что когда-нибудь Иван Петрович образумится, они вернутся в Ленинград, на её и Алёшкину родину.

Елена Васильевна встала, прошла в комнату, где были вещи, из той же чёрной сумочки достала ключи, открыла замки на дорожной корзине. Из-под слежавшихся в дороге платьев вытащила и бережно высвободила из белой шали свой портрет в широкой тёмно-вишнёвой раме. Это тоже было прошлое: петербургский фотограф запечатлел её накануне замужества. Елена Васильевна поставила портрет перед собой и острее почувствовала щемящую боль утраты.

Как она была хороша! Эти полуобнажённые плечи в мехах (меха специально для фотографа дала старшая сестра Марина), и тонкая девичья шея, и высокая причёска, и локон, как будто случайно упавший сбоку на чистый открытый лоб (волосы ей укладывал знакомый по киностудии парикмахер), и этот нежный овал подбородка, скромно опущенные, затемнённые ресницами глаза, красивая, чуть поджатая губа, и даже вот эта мочка уха с жемчужной серьгой (серьгу ей одолжила вторая старшая сестра Анна) – всё юность, ожидание, прелесть невозвратимого теперь девичества!..

Елена Васильевна вдруг заволновалась, достала из корзины зеркало, поставила рядом с портретом, поправила волосы, тревожно вгляделась в себя. Нет, нет, всё ещё хороша, если не обращать внимания на усталость в глазах, беспокойный взгляд, истончившиеся, в горечи изогнутые губы. Прежней девичьей нежности – увы! – нет. Прожитая жизнь как будто отретушировала её лицо: резче обозначились линии носа, рта, подбородка, нервная напряжённость изменила выражение лица, но, слава богу, она ещё не потеряла привлекательности, не огрубела, как грубеют женщины в этих бесконечных лесах и посёлках...

Елена Васильевна протёрла стекло и рамку, отнесла портрет в комнату, на кухне разыскала гвоздь, утюгом вколотила его в стену. Портрет повесила над столиком, отступила к окну, прикидывая, всё ли хорошо у неё получилось. Взглядом она сразу охватила всё: и столик, и свой портрет, и ещё не распакованные вещи среди голых, с конторским запахом стен – и уронила руки. Ей вдруг показалось, что в этой, ещё чужой для неё квартире сгрудилась вся её жизнь. «Да, да, — думала она, — вот здесь вся моя жизнь в миниатюре! От сверкающего, дорогого сердцу столика и портрета до вот этой груды развалившихся чемоданов, протёртых одеял, старых штанов и рубашек! Ни одного хорошего костюма, ни обстановки, ни своего угла! Всё казённое, всё временное: кровати, дом, работа, знакомства, — всё, как на вокзалах! Мне воздано за моё девичье упрямство! – с горечью к тому, что сейчас было перед ней, думала Елена Васильевна. – Как не хотела моего замужества мама, как отговаривали сёстры, как молча страдал папа, боясь своим вмешательством повредить счастью любимой младшей дочери! Я же видела, что Иван Петрович чужой для нашей семьи. Он и сам не скрывал этого. «Я не чувствую у твоих родственников революционного духа», — сказал он, когда уже был мужем...

Елена Васильевна, сцепив руки и до хруста заламывая пальцы, в волнении прошлась по комнатам. «Но почему я здесь? – вдруг подумала она, останавливаясь в раскрытых дверях. – Что держит меня около неуживчивого и вечно занятого человека?.. Любовь?..» Если бы она любила!.. Держит её любовь Ивана Петровича. Он любит её трудной и нетерпеливой любовью. До сих пор она не может понять, чего больше в его чувствах – доброты или самолюбия, бережливости, неумелой чуткости или мужской несдержанности. У Ивана Петровича она одна, это она знает. Если бы она ушла от него, так, в одиночестве, он и дожил бы свой век. В этом она убедилась за шестнадцать лет жизни с ним. Ей всегда было приятно сознавать, что она у кого-то единственная. И, оправдываясь в дни своих коротких наездов в Ленинград перед сёстрами, жалеющими и ругающими её за цыганскую жизнь и бесхарактерность, она, краснея, лепетала: «Но Иван Петрович не может жить без меня...» Ревнивую опеку, с которой он оберегал её красоту, она принимала со скрытым удовлетворением и в грустные минуты очередных переездов утешала себя мыслью, что Иван Петрович, срываясь с обжитого места, подстёгивает себя ещё и страхом потерять её. Ей казалось, что, ревнуя, он увозит её даже от невиданных знакомств.

Пока Елена Васильевна была молода и наивна и Алёша подрастал, требуя её забот и материнских чувств, она примирилась с любовью Ивана Петровича и семейными хлопотами. Но Алёша мужал, его душевный мир становился сложнее, всё больше он замыкался в своих интересах и пока ещё робко, но всё определённое тянулся к отцу. Елену Васильевну это не только огорчало, она страшилась потерять свою власть над душой сына. Она хотела видеть Алёшу в его будущей жизни другим, она ещё плохо представляла, каким именно, но только не таким добровольным неудачником, каким был в её глазах Иван Петрович.

После того как Алёша с глупым мальчишеским восторгом поддержал Ивана Петровича в его неожиданном решении уехать из Москвы, сменить высокую должность и столицу на незаметное директорствование где-то в лесной глуши, Елена Васильевна в первый раз так остро и определённо почувствовала, что в семье она одинока. И теперь, стоя в дверях пустой, ещё чужой для неё квартиры, она с необычной для себя обнажённостью чувств и мыслей видела и заново переживала всё, что долгие годы составляло её семейную жизнь.

«Что наша семья? – думала Елена Васильевна. – Три разных человека под одной крышей. Потолок, стены, стол – у нас одни, песни у каждого свои. Что Ивану Петровичу до моей жизни? Что ему до интересов Алёши? Вместе мы только за столом...»

У Елены Васильевны и прежде возникали подобные мысли. Они на время печалили её и уходили. Но никогда прежде её возбуждённые воспоминаниями чувства не были столь определёнными и мысли столь решительными, как сейчас. Елена Васильевна была не в силах одолеть волнение и ходила по комнатам, нервно потирая тонкими пальцами виски.

«Ведь пишет же мне мама – приезжай! – думала Елена Васильевна. – Ведь ещё можно, если не всё, то хотя бы себя возвратит к той жизни, которая мне дорога!..»

В дверь постучали. Елена Васильевна вспыхнула, засуетилась, как будто она делала что-то нехорошее и её могли сейчас уличить в этом нехорошем.

— Да, да, пожалуйста! – крикнула она и пошла на кухню, на ходу оправляя платье и волосы.

В дверь просунулся маленький человек в кепке, с длинным унылым носом.

— Маликов. Зав. хозяйством! – отрекомендовался он и с уважением посмотрел на Елену Васильевну. – Кровати доставил. Куда прикажете?..

С крыльца в кухню одну за другой он втащил две железные кровати, точно такие же, как та, что уже стояла в комнате. Вслед за кроватями внёс четыре волосяных матраса.

— Зачем же четыре?! – удивилась Елена Васильевна.

Маленький человек в кепке почтительно улыбнулся.

— На вашу кровать велено положить два матраса, — сказал он.

Кровати, по указанию Елены Васильевны, он расставил в комнатах, положил на них матрасы. Откуда-то принёс кринку молока, десяток яиц, два каравай хлеба.

— Не извольте беспокоиться, Елена Васильевна, расчёт произведён. Может, подтопок растопить? – заботливо спросил он.

— Нет, что вы, я сама!

— Как вам желательно.

Человека в кепке звали Иван Петрович.

— С Иваном Петровичем мы полные тёзки! – сообщил он с достоинством и, поклонившись, вышел.

Елена Васильевна в растерянности ходила по кухне, зачем-то отодвинула железную заслонку, заглянула в пустое и холодное отверстие русской печи, сплела и до боли сжала пальцы, тяжело вздохнула, прошла в комнату. Присев на корточки, она стала покорно развязывать верёвку на помятом в дороге чемодане.

Всё встало на свои места.



ВОЛГА

— Ой, Витька, думаешь не вижу?! Думаешь, не знаю? Всё вижу, всё знаю. И, пожалуйста, не строй из себя!..

Зойкин голосок как будто старался ущипнуть за больное место. Витька лежал лицом вниз. Ему было хорошо и лениво, как бывает только на горячем песке у Волги, и Зойкины слова были даже приятны, как отдалённое жужжание пчелы.

— Думаешь, не вижу, как замаривает тебя Капка? Ломтя путного не отрежет, так и выхватит в середке. Молока дома напиться не даёт! Точит тебя, как короед. А ты... Ишь, тихохонький какой! Смотрю на тебя. Вот-вот молиться начнёшь! Что молчишь, христосик несчастный?! Думаешь, не знаю, что голубя на костре варил? И что картошку на огороде подкапываешь?..

Витька плотнее прижался к песку: Зойка нащупала-таки больное место.

— Молчишь? – Она ударила Витьку по спине.

— Больно, Зой!

— А! Больно?! А мне, думаешь, не больно? За тебя переживать не больно? Слушай, Витька, если будешь молчать, я сама устрою такое! Сегодня же. Как обедать сядем, я ей скажу, бессовестной! И бате скажу. Это что такое, всё на глазах, а он не видит!

— Бате не смей говорить. – глухо сказал Витька.

— Как это не смей?! Привёл в дом Капку, так пускай строжит!

— Говорю, бате не сказывай, – ещё глуше, в песок, сказал Витька. Зойка рванула Витьку за плечо.

— А ну, повернись! А ну, посмотри на меня!.. Это почему не говорить? Ты трус, Витька!..

Зойкино лицо пылало, её взгляд из-под сузившихся век и дрожащих густых ресниц жёг таким презрением, что Витьке стало не по себе. Зойка отпихнула его, охватила свои ноги руками, сжалась в тугий непримиримый комок.

Витька сидел, прижимаясь подбородком к колену, горестно думал: «Ну, что ты, сеструшка, понимаешь? Батя теперь ничто. Сам теперь от людей бегает. Капка матушку извела. Васёнку покорила. Нас с тобой к полу гнёт. Нет, Зойчик, батя ни тебе, ни мне не защита. Самим надо в белый свет выкарабкиваться».

Витька положил руку на разлохмаченную Зойкину голову, как всегда делал, когда хотел помириться, но Зойка отпрянула от его руки.

— Не смей меня трогать! – кричала Зойка, её голос и плечи дрожали. – Ты – трус, трус! – Зойка опять уткнулась лицом в колени. Витька хотел снова погладить Зойкину голову, но раздумал, встал, охватил плечи широкими ладонями, щурясь, оглядел Волгу. Он видел её сейчас всю, от песчаных островов и кос, тёмных среди сверкающей солнцем воды там, где Нёмда вливалась в Волгу, до лугового берега, где ходило стадо. Луговой берег был так далёк, что коровы казались с овцу: опустив к земле головы, они паслись, будто пили зелёную воду.

Вся речная ширь от Разбойного бора за Нёмдой до низкого берега, где ходило стадо, млела в жарком полдне. На стрежне вода морщилась от течения и слабого ветра, рябь полосой тянулась снизу, от далёких отмелей. За Волгой, в густом, как пыль, мареве, прорисовывались багрово-белые края облаков.

Зойка всё ещё сидела, уткнувшись в колени, её согнутая спина с бугорками позвонков под загорелой кожей выражала непримиримость.

Витька вошёл в воду. Шёл медленно, потом быстрее, торопясь пройти отмель. Но, когда дно круто упало вниз и вода плеснула под грудь, он почувствовал идущую из глубины опасность и, как от холода, поджал живот, остановился.

«Волга не любит шутить!» — не раз говаривали старые люди. А с прошлого лета Волги остерегались даже выдавшие виды семигорские мужики. Витька помнил тот ветреный день, разорванный отчаянным криком рыжей Феньки, когда на телеге привезли в село укрытого холстиной Костьку, молодого Фенькиного мужа. Лихой парень выпил на берегу с косцами да на беду назвался храбрецом. Выловили его уже неживого...

Волга напирала на Витьку; он переступал под водой, чтобы устоять на ногах, и даже отступил к берегу, где было помельче.

Плыть не хотелось.

Повернув голову, он смотрел наверх, где на горбу широкого холма, выше зеленеющего льнами поля, открыто и вольно стояли избы Семигорья. Окна изб, обращённые к Волге, на солнце дружно светили неподвижным измятым пламенем. Только их, гужавинский дом, примостившийся в тени двух старых берёз, настороженно посверкивал холодком затенённых стёкол. Витька поглядел на дом, на Волгу, сжал зубы и нырнул прямо в багровый край завалившегося в Волгу облака.

Он плыл быстрыми саженками, стараясь забраться как можно дальше против течения. Рябь разгулялась сразу же на ширине, мелко и надоедливо плескала в лицо. Голову приходилось тянуть вверх, плечи от напряжения немели. Он опустил руки, теперь плыл, разгребая перед собой волну, по-лягушачьи отталкиваясь ногами.

На стрежне он почувствовал, как понесла его река. Он видел дуб на берегу, где ходило стадо. Дуб, словно лёгкий пароход, всё быстрее и быстрее уплывал вправо, а берег был по-прежнему далёк.

Витька помнил, что ниже Нёмды, в узком фарватере, за перекатом, Волга заваливалась в круговёрты. Если он не успеет пересечь стремнину, там его закрутит, и тогда ему несдобровать. Он чувствовал грудью, под отяжелевшими ногами текучую глубину реки. Волга несла его и расступалась под ним, медленно, как топляк, он оседал в воду.

В лицо плеснула волна, наглухо закрыла рот. Он увидел, как ослепительно белая чайка метнулась к нему, тут же, косо вскинув крылья, с криком взмыла вверх. Витька, задыхаясь, барахтался, отворачивал от волн лицо, яростно отбивался от влекущей его глубины. Наконец перехватил жёсткий, царапающий горло воздух и, обессиленный, повернулся на спину, раскинул руки, пустыми глазами уставился в небо.

Вынесло его на косу, ниже Нёмды. Он выполз на песок, уронил голову на руки, лежал, не шевелясь, ни о чём не думая, — ждал, когда вернутся силы.

Отлежался, встал, дошёл до Нёмды, переплыл её. Взобрался на бугор, увидел бегущую ему навстречу Зойку. Зойка остановилась, глядела на него дикими, одуревшими глазами. Витька молча прошёл мимо, на зубах у него скрипел песок. Он поднимался вверх по берегу, не убыстряя и не замедляя шаг. Зойка видела, как Витька вышел на далёкий, рассекающий Волгу мыс, забрёл в воду и снова поплыл.

Теперь он плыл не спеша.

Он знал, что плыть ему долго, и плыл на боку, левую руку выбрасывая вперёд головы, отталкивался ногами и на какое-то время расслаблял тело, отдыхал. Изредка он поднимал голову, взглядом отыскивал дуб над качающимися горбами волн. Оба берега теперь были одинаково далеко. Среди воды он был один.

Волны бежали навстречу, им не было конца.

Когда волна подбегала и, как будто натолкнувшись на его взгляд, приостанавливалась, по-кошачьи выгибалась и падала, Витька сам поднимался из воды ей навстречу. Волна промахивалась: закипев у груди, с шумом проносилась мимо. Подходила другая, он бросался на эту другую. Он одолевал волну за волной и знал, что будет плыть, пока не выйдет на тот берег или, обессилив, не пойдёт на дно...

Долго Витька отлёживался на траве, его худой живот поднимался и опадал, как бока запалённой лошади. Суетились на ногах рыжие муравьи, он не чувствовал их, — лежал, смотрел в небо, устало и счастливо улыбался.

Далеко, на береговой круче, дрожал листьями дуб. Витька поднялся и, будто хмельной, размахивая руками, пошёл к нему.

Дуб на ветру гудел. Волга казалась земистой от тучи, заслонившей солнце. Среди почерневшей воды то и дело вспыхивали шипящей пеной соловцы.

Предгрозовая суета на земле и на воде веселила. Витька победно смотрел на свой пустынный берег и не думал, как вернётся домой: на крайний случай оставался перевоз — три версты не путь...

Ветер крепчал. Видно было, как за Волгой, над мощёным трактом, пыль поднялась выше берёз, оседая и растягиваясь, понеслась в поле. Листья, сорванные с дуба, летели стремительно, как ласточки-касатки, далеко от берега падали в воду. Даже под крутым берегом, где он стоял, морщилась и плескалась вода.

Туча накрывала Волгу.

Витька давно приметил чёрный буксир, тащивший снизу баржу. Буксир пробирался против течения так медленно, что казалось — стоял на месте: только-только поравнялся с Нёмдой. На перевоз идти не хотелось — далеко; да и стыдно одному, в одних трусах. Он раздумывал, не поплыть ли ему обратно. Ветер попутный, силы вернулись, да и тот, свой, берег казался теперь не таким далёким. «Вот пройдёт буксир и поплыву», — решил он.

Ударил гром, ливень стегнул по берегу. Поёживаясь под ветром и секущими струями, Витька искал, где укрыться. Встал под ветви, но одинокий дуб не укрывал от грозы. Озираясь и вздрагивая от ударов грома, он сбежал по мокрой глинистой круче и окунулся в спасительную воду.

Он плыл в волнах, накрытый хмарью низкой тучи, в шумящей навеси сплошного дождя, и было ему жутко и хорошо. Волга прикрывала его и как будто согревала неведомым раньше теплом. Вспыхивала молния, падал гром, Витька, играя, головой погружался в воду, как будто прятался под подушку. Никто не знал, что воображал, что вспоминал он в эти жуткие восторженные минуты, скрытый от всех на свете глаз!

Он был уже где-то на середине Волги, когда сквозь шум волн и дождя услышал короткие тревожные гудки. Он поднял голову и, как сквозь туман, увидел, что его пронесит близко от идущего вверх буксира. Буксир тревожно гудел, около чёрной высокой его трубы суматошно вырывался пар. На барже люди в чёрных блестящих от дождя плащах бежали к корме.

От баржи отделилась лодка, качаясь в волнах, взбрызгивая вёслами, стала приближаться. Витька понял, что это его заметили с буксира и спешат спасти. Он попытался удрать, но лодка настигла, едва не пристукнув мотающимся носом, — пришлось руками ухватиться за борт.

Дядька в плаще с откинутым на спину капюшоном, с мокрыми усами, с косицами прилипших к вискам волос, неуклюже полз по дну лодки к носу, подбадривая Витьку криком: «Держись, сынок, сейчас я. Сейчас...»

Он ухватил Витьку за руку и с неожиданной силой втащил в лодку. Парень на корме изо всех сил подгрёбал коротким веслом и орал: «Фролыч! Заливает..!» В истошном вопле испуганного матроса был такой открытый ужас перед бурей, что Витька, пойманной рыбиной лежащий на стланях, засмеялся.

Парень замахнулся веслом.

— У-у, скажённый! Зубы ещё скалит... Из-за тебя, паразита, сам концы отдашь!..

Он развернул лодку против волны, с натугой работая вёслами, правил к барже. Витька с приятным чувством превосходства наблюдал за парнем на корме. Лодку швыряло с волны на волну, парень качался, как на качелях; то и дело взмахивал рукой и хватался за борт. Порой вода ядрёно шлёпалась ему под ноги. Парень откидывался, прижимал весло к мокрому животу, круглыми бегающими глазами смотрел вокруг.

«Тоже мне матрос...» — думал Витька. Он уже наполовину лежал в воде, но это несколько его не страшило. Он готов был хоть сейчас уйти в волну.

Баржа приближалась. Витька понял, что его потащат туда, наверх, и начал беспокоиться. В другое время – пожалуйста, он с охотой прокатился бы на барже! Но сейчас это было, ни к чему: тащат, будут глазеть, как на утопленника!..

Витька сел, поджал к груди ноги.

— Дяденька, а мне домой надо! – сказал он жалобно.

— Эва что! – сказал усатый дядька, не переставая работать вёслами, и пригрозил: — Вот сдадим, тебя в Костроме куда следует, будешь знать, как в бурю на Волгу выходить...

— В Костроме-е? – удивился Витька. – Как же я оттуда назад-то?

— А как знаешь... Лодку-то, где переверотило?

— Да я без лодки. Я так...

Фролыч даже вёсла бросил, зашебуршился, как ёж под листьями.

Волна плеснула через борт, парень-матрос закричал. Фролыч схватился за вёсла, тужась, подгробал и, задыхаясь от усилий, сипел, как испорченный пароходный свисток:

— Сорога пустоглазая... Щенок! Сопля зелёная... Это в бурю! Вот уж погода!

Крутой бок баржи замывали и били волны. Наверху, наклонясь, стоял матрос с накинутой на руку верёвкой. Витька понял, что время удирать.

— Спасибо, дяденьки! – крикнул он, легко поднялся и прыгнул в волны. Он долго плыл под водой, вынырнул, услышал разорванный ветром крик: «Куды-ы ты-ы... Чё-ёрт водяной!» Снова нырнул. Потом поплыл к своему берегу.

Туча обогнала его, ушла вверх по Нёмде, за лес. Волны потеряли силу, перекачивались с ленцой, покачивали. Берег был недалеко, и Витька, радуясь своей силе и тому, что он совершил, плыл не спеша, разгребая воду усталыми руками.

В волнах, с правой стороны, он давно заметил что-то постороннее: буй не буй и не бревно, что-то вроде плывущей коряжки. Коряжка, однако, не уплывала, а приближалась. И когда они сплылись, Витька ясно увидел голову парня с прилипшими ко лбу космами волос. Он шурился и смотрел на Витьку. Витька не утерпел и крикнул:

— Ты откуда это?

— Да оттуда! – парень поднял над водой руку, махнул на дальний берег.

Витька как-то сразу ослабел, неловко забултыхал руками, с трудом догрёб до берега, сел на песок, лицом к воде. Он видел, как парень в синих плавках пошёл к тальникам, пружиня сильными ногами, на ходу растирая ладонями плечи. Тело у него, на вид крепкое, было без сколько-нибудь заметного загара, почти белое, и Витька догадался, что этот не из местных. Всё ещё тяжело дыша, он с молчаливой враждебностью наблюдал, как парень, подставляя проглянувшему солнцу то грудь, то спину, отжимал плавки, потом достал из-под нависшего над берегом конца колоды сложенные брюки и майку, оделся, туго затянул на поясе ремень. Майку он не стал надевать, перекинул через плечо, вынул расчёску, стал расчёсывать и укладывать густые волосы. Парень всё делал не торопясь, заметно было, что он старается, чтобы всё у него выглядело красиво. Он, как иная девчонка, без зеркала видел себя. «Тоже мне, волгарь... Маков цвет на грядке!» — думал Витька, не в силах примириться с чужаком.

Парень, сам того не зная, испортил ему радость одержанной победы.

Витька не слышал, как подбежала Зойка. Она с бега тяжело упала к нему на колени, ткнулась ему в живот головой и затихла, не в силах ни говорить, ни плакать. Витька молча привлёк к себе Зойкину голову, всю в смешных мокрых косичках, гладил, винясь и успокаивая напереживавшуюся за него сестрёнку.

Нездешний парень подошёл к воде, в руке держа за ремешки сандалии. Зойка подняла голову, увидела, заморгала мокрыми ресницами, быстро вытерла ладошками глаза.

— Витька! Это он – Алёша! Про которого давеча я сказывала... — Зойка шептала, не сводя с парня глаз, и толкала Витьку локтем. – Из Москвы... Из самой-самой Москвы!.. Витенька, миленький! Ну, подойди к нему... Ну, заговори!.. Витенька!.. Ну, уйдёт сейчас... Гляди, обулся уже!.. – Зойка умоляла.

Витька не шевелился. Тогда Зойка толкнула его и, округлив глаза, в отчаянье крикнула:

— Ты можешь для меня?!

Витька угрюмо усмехнулся, сказал:

— Я, Зой, лучше Волгу переплыву. Ещё раз. Для тебя.

— Вить! Ну, зачем?.. Ты – одно, он – другое... Ну, Вить! Витенька!..

Витька встал, нехотя пошёл к парню.

— Откуда будешь? – спросил он, разглядывая пухлые, будто у Капиной Машки, губы: верхняя губа у парня была заметно пухлее нижней.

— Да вон из посёлка! – Парень вежливо улыбнулся, показал рукой на Нёмду. Витька настороженно и недоверчиво глядел в приветливые бледно-голубые глаза парня.

— Ты в самом деле был там? – он кивнул на Волгу.

— На том берегу? Был. А что? – парень вопросительно смотрел на Витьку.

— Да так. Волга – дело не шутейное!

— А, ты вон о чём! – он засмеялся. – Да нет, ничего. Плавать меня учили. Водный марафон, слышал?..

Витька промолчал.

— К нам надолго? – спросил он.

— Наверное, навсегда! – сказал парень с какой-то важностью в голосе и сам смутился этой своей важности.

Оба замолчали, оба не знали, что же должно быть дальше. Парень вглядывался в Витьку, прищуривая глаза, как будто плохо его видел.

— Как зовут тебя? – спросил он.

— Витькой!..

— Если хочешь, Виктор, приходи сюда утром, пораньше. Научу тебя плавать.

— Да я вроде научен, - усмехнулся Витька.

— Нет! Ты трудно плывёшь. Я смотрел! – парень вдруг загорячился. – Техники нет! Упорство есть, техники нет. Я тебе покажу. Придёшь?.. Ну, до завтра!..

Парень шёл берегом к Нёмде, придерживая на плече белую майку. Уходил он медленно, красиво, как будто смотрел на каждый свой шаг со стороны.

Всё время, пока Витька разговаривал с Алёшкой, Зойка с безразличным видом стояла в стороне, у воды, ногой чертила на песке дуги. Ветер утих, но волны ещё плескали, и она никак не могла услышать, о чём говорят они. Как только Алёшка ушёл, она подбежала к Витьке.

— Ну, что? Что? О чём он говорил? – Она теребила Витьку, а Витька стоял и бесчувственно смотрел на Волгу.

— Чудной он какой-то, Зой. Честное слово!.. А Волгу он в самом деле переплыл. Зой, ты не знаешь, что такое марафон?

— Знаю. Это когда один дурень плывёт за другим! Оба вы дурни! – крикнула Зойка и вдруг сорвалась с места и быстро понеслась к Семигорью. Витька покачал головой – такое с Зойкой случалось – и пошёл по берегу, к тому месту, где оставил штаны и рубаху, на ходу разминая, как тот парень, мускулы рук: он всё-таки хотел почувствовать себя победителем.

Небо свалило тучу, от мокрого леса доносило запах берёз. У Волги было свежо и светло, как всегда после хорошей грозы.



В ПОЛЕ

Комбайн стоял, придавив хедером рожь. С мотовила на перебитом стебле свисал и покачивался на ветру колос. Чёрные цепи лоснились. От горячих железных боков пахло краской.

Витька любил эту умную машину, к концу лета приходившую на семигорские поля. В иные дни до вечерних сумерек выстаивал на мостике в пыли и грохоте, терпеливо выжидая, когда приветивший его Макар Разуваев подзовёт и положит его руки на штурвал, рядом со своими руками.

Вчера он не пришёл к Макару и теперь чувствовал себя виноватым.

У Семигорья рокотал трактор: разгневанная Женька ещё не доехала до села. Он только что повстречал её. Женька приостановила трактор, повернула к нему укрытое до глаз косынкой, серое от пыли лицо, сквозь грохот мотора крикнула:

— Батка в кузне?

И, не дождавшись ответа, ругнулась, махнула рукой, погнала трактор к селу. Что-то у Макара случилось.

За комбайном слышалось постукиванье: Макар был там. Витька переступил босыми ногами, поскрёб грудь – подойти он робел.

— На сухом месте забуксовал? – услышал он знакомый негромкий голос.

Витька оправил рубаху, подошёл.

Макар сидел на корточках, из ведёрка щепкой доставал и задавливал в шприц солидол. Навернув на шприц крышку, он прибрал ведёрко в ящик и только теперь взглянул на Витьку.

— Ну, здравствуй! – сказал он и улыбнулся широко поставленными весёлыми глазами.

— Здравствуйте, — хмуро ответил Витька и подумал: «Чего уж – «здравствуй!», давай ругай...»

Макар чистой тряпкой отёр шприц, будто мокрое яичко полотенцем, передал Витьке.

— На-ка держи...

Витька обеими руками принял шприц, ладонями ощутил тепло гладких боков, но не поверил Макару и стоял, выжидая.

— Чего же ты? Работай!..

Витька быстро и осторожно подлез под разогретую недавней работой и солнцем машину.

— Что случилось-то, Макар Константинович? – спросил он.

— Серьга на тракторе полетела. Работай пока.

Витька медленно пробирался среди цепей и шестерён, тряпкой очищал маслёрки, старательно шприцевал. Временами он видел Макара. Макар стоял на мостике, глядел из-под руки туда, где на краю поля женщины вязали снопы. Витькиного любопытства он не замечал. Зато Витька снизу хорошо видел его широкое лицо с резкими буграми скул, ровно, почти дочерна, обожжённое солнцем, и даже глаза, всегда ясные, спокойные, сейчас затенённые заботой.

Многих парней и мужиков знал Витька в своём Семигорье и в окрестных деревнях, но Макар был всем мужикам мужик.

В какой-то праздник вместе с другими мальчишками Витька толкался среди народа, гуляющего по селу, и увидел, как у магазина, на людях, сошлись в драке два приезжих подвыпивших мужика. Размахивая руками, они тупо колотили друг друга, всё больше зверея от ударов и крови.

Бабы грызли семечки, смотрели на драку, как на представление. Потом почуяли неладное, подняли крик, подталкивая своих мужиков разнять очумевших. Мужички отшучивались, под шуточками скрывали свой страх перед смертной дракой.

Тут и появился Макар Разуваев. Одетый на выход – в кожаной куртке, в зимней, с кожаным верхом шапке, при галстукке, он не задерживаясь прошёл сквозь толпу, вклинился между рычащими, растрёпанными мужиками и, став как будто выше, расшвырнул их по сторонам. Мужичонка пониже тут же приостыл, стоял, рукавом отирая разбитый рот. Другой, похудее, повыше, взъярился, длинной рукой подхватил с земли кирпич и, набежав на Макара, сунул кирпичом ему в лицо.

Бабы враз ахнули и взвизгнули: все видели, что Макар упал. А Макар словно вырос сбоку озверевшего мужика, как-то незаметно и как будто не сильно ударил его под бороду. Не торопясь, будто ничего не случилось, поднял с земли шапку, отряхнул, надел, подошёл к тому, что был пониже. Оглядывая лошадей у коновязи, коротко спросил:

— Которая твоя?

— Она... — Мужик, всё ещё отплёвываясь и отирая рот, показал на свою лошадь, запряжённую в телегу.

— Садись, езжай, куда ехал, — приказал Макар. — Да пораздумай в пути, что ко всему прочему ты ещё и человек... А вы, граждане, помогите этого долговязого в телегу перенести, не ровен час застудится. — Мужик, которого ударил Макар, всё ещё без движения лежал на земле.

В тот день появился в Семигорье человек, за которым Витька готов был идти на край света...

Витька, то плечом, то голым локтем елозя по горячим железкам, прошприцевал все узлы. Несмазанным остался один, самый нудный подшипник. Тянуться к нему было неловко — всё равно что рака в норе щупать. Тупым носом шприца Витька всё-таки достал головку маслёнки, но солидол внутрь не проходил. Лепился сверху на кожух. Занемелой рукой Витька ещё раза два давнул на шприц и вылез из-под комбайна. Следом и Макар спрыгнул с мостика.

— Всё? — спросил Макар. Он нагнулся, пучком соломы чистил свои солдатские штаны.

— Вроде всё... — сказал Витька. Он знал, что Макар не любил незаконченных дел, но не нашёл в себе сил сказать, что недоделал самую малость.

Макар молча достал из ящика ключ, не глядя на Витьку, полез к тому самому недоступному подшипнику. Долго висел под барабаном, как летучая мышь под застрехой, порой ударяя ключом по гулкому железу. Наконец вылез, держа в пальцах вывернутую маслёнку. В консервную банку плеснул керосину, прочистил маслёнку медной проволочкой, промыл.

— Намертво позабило. Вчера душу мотала...

Макар поставил маслёнку на место.

— Теперь смазку примет, — сказал он, вылезая. — Поди, побалуйся ещё разок.

Витька не смел поднять глаз, пальцами босых ног ковырял землю. Макар подкинул ключ, поймал, едва приметно улыбнулся. Из жестяного бачка они умылись. Макар расстелил на травяной меже полотенце, выложил из сумки яйца, хлеб, поставил жбан с квасом. Еды у Макара было явно больше, чем на одного.

— Садись, — позвал он.

— Спасибо, Макар Константинович. Я сыт, — как можно твёрже сказал Витька и для убедительности провёл ладонью по шее. — По горло!

— Ну, горло своё оставь. Держи хлеб. Яйца, картошку сам чисти. Ближе садись!..

Макар следил, чтобы Витька поел как следует. Заставил выпить две кружки квасу. Остатки еды прибрал в сумку лишь после того, как убедился, что Витька сыт, — парень отяжелел, глаза повеселели.

— Теперь признавайся: что вчера не пришёл?.. Васёнка сказывала?

— Сказывала. Не управился, Макар Константинович. С Волгой тягался.

— Это зачем понадобилось?

— Судьбу пытал. Всё думаю: судьба надо мной или я сам по себе?

— Так, — сказал Макар. На его тёмных пальцах охвативших колени, напряглась и побелела кожа. — Так. Значит, в Волгу головой — и чему быть?.. Не силён, мужик, прямо скажу!

— Не утоп же я!

— Вижу, что не утоп. Потонешь — учить поздно. Знать пора, друг-товарищ: судьбу не пытаются, судьбу вытравливают!

Он встал, сдёрнул с сиденья брезентовую куртку, бросил под бункер, в тень.

— Садись! — приказал он.

Они сели рядом, почти касаясь друг друга.

Макар охватил свои плечи, его сильные пальцы как будто ощупывали мускулы под выгоревшей добела гимнастёркой.

— Судьба, Витя, — не случай, — сказал он серьёзно. — Это как человек уладит свою жизнь.

— Сам уладит?

— Ясно дело, сам. Каков человек, такая и судьба.

— Значит, если человек плохой, и судьба плохая?

— Значит, так...

— А если человек хороший, а судьба у него плохая?

— Значит, человек — тряпка!

Они замолчали, как будто недовольные друг другом.

С поля, где бабы вязали снопы, дошла песня. Песня, словно ветром, обдувала тихое, усталое от жары поле с поплёскивающими ворохами соломы на стерне. Жаром исходящая земля не давала голосу воли, голос звучал вдали глухо, но в знакомой песне Витька угадывал слова.

Много тро-оп заве-етных
У нас в стороне-е-е.
По одной при-име-етно-ой
Ходит друг ко мне-е-е.

Макар, как только песня дошла до комбайна, встал. Он напряжённо слушал далёкий голос, как будто боялся, что песня затихнет, но песня окрепла голосами и придвинулась.

Макар быстро одёрнул и оправил под солдатским ремнём гимнастёрку. Витьке даже показалось, что прямой короткий нос Макара побелел, когда из-за комбайна вышли бабы и девчата с граблями и серпами на плечах. Они охватили Макара и Витьку полукругом, перебивая друг друга, зашумели:

— Смотри-ка, у наших мужичков и мотор молчит, и сами помалкивают!..

— Работают – как отдыхают, отдыхают – как работают!..

— Что, Макарушка, стоишь? Или в сердце перебои начались?

— А Витька уж не за доктора ли?

Насмешки сыпались на Макара гуще, чем зёрна в бункер. Макар молчал. Он стоял, крепко расставив ноги, сбывчив шею, как будто сам себя поставил на бабий расстрел. На тёмное лицо упали волосы, спутались на лбу, но губы кому-то улыбались.

Среди девчат Витька увидел Васёнку. Она стояла, склонив к плечу голову, и смотрела на Макара, как будто радовалась, что все вокруг шумят и смеются и она может вот так, на людях и незаметно, смотреть на Макара.

Витька видел, что Макар тоже смотрит на Васёнку, что его вовсе не трогают насмешки, которые летят в него, как пули. Но вот кто-то из женщин с отчаянным задором крикнул:

— Бабы! Закройте от него Васёнку: он её глазами съест!..

Бабий смех охнул, как залп. Макар вздрогнул, и все увидели, что слова попали в цель.

Васёнка вспыхнула, сорвала с шеи платок, уткнулась в него лицом.

Бабы и девчата, хохоча, пошли к селу. Голоса затихли, Витька робко поднял глаза на Макара. Какое-то время они пытливно смотрели друг на друга, потом оба враз улыбнулись.

— Вот так, друг-товарищ, — тихо сказал Макар.



ЛЕСНИК

1

Первым Алёшку навестил лесник Красношеин.

— Где тут ваш охотник?! – сказал он громко и радостно, скидывая с плеча ружьё. Снял с головы фуражку, дважды поклонился Елене Васильевне. – Разрешите самолично! – Засунув фуражку под мышку, он двумя руками осторожно пожал пахнущую тонкими городскими запахами руку.

Алёша с книгой в руке выскочил в кухню.

— Собирайся! – грубовато сказал Красношеин. – Лес покажу.

Елена Васильевна всегда терялась, когда в доме появлялся гость, она терялась даже тогда, когда знакомый водовоз, толкнув дверь, объявлял: «Вода приехала!» Она и сейчас, с веником в руке, растерянно стояла перед молодым лесником. И хотя в доме уже было прибрано, и кухня была в порядке, и чистые кастрюли и вымытые тарелки блестели на плите, Елена Васильевна всё равно быстро и обеспокоенно всё оглядела, извинилась:

— Вы уж не обращайтесь внимания, никак не успеваю! Как за уборку, так гость!

Лесник деликатно кашлянул, понимающе промолчал.

— Поели бы на дорожку! – предложила Елена Васильевна, когда Алёшка выбежал в кухню уже в сапогах и с ружьём.

— Благодарствуем! – с достоинством отказался лесник, – мы что-ничто и в лесу сообразим. У нас в лесу, как в дому, – не пусто. Верно я говорю? – он подмигнул Алёшке.

Действительно, в лесу Красношеин был как дома: рассказывал, показывал, будто товары перед Алёшкой раскидывал.

— Здесь рябцов много, — говорил он, кивая на поблёскивающий бочагами внизу, в еловом урочище, ручей. – А вон там, на бугре, в осиннике, зайцы прижились... Под этими вот липками груздей наломаешь. Под стаканчик его, солёненького, — пирогов не надо! В листопад отца сюда приведёшь. Скажешь, место я показал... Батяка-то балуется? – Красношеин пальцем щёлкнул себя по шее.

— Нет, не пьёт.

— Больной, что ли?

— Да нет... Глупость, говорит, всё это. Преступная трата здоровья, времени.

— Н-да... Заучил! – Лесник хитровато смотрел на Алёшку, в непонятной радости потирал свою крепкую шею. – Соломоны!.. А что, Алексей, говорят, батька твой в Москве большим человеком был?

— Что-то не замечал! – Алёшка улыбался, его забавляла тяжеловатая хитрость лесника.

— А сюда по своей воле прибыли?

— Разумеется!

— Убей – не пойму, что за интерес у твоего батьки до наших горушек!

— Здесь же Волга! Места для отца родные. Дед тут похоронен.

— Вот оно что! – удивился лесник, на это раз, кажется, искренне. – А матушка у вас, скажу я тебе, человек! Не обращайтесь, говорит, внимания на беспорядок. Это мне-то?! Видна столица!..

На старой вырубке лесник остановился.

— Во, здесь – черныши, - сказал он. – Стадион их тут. Играются. Вишь, гладь какая? Ни пня, ни валежины. И зелень будто стрижена... Та вон берёза и эти вот ёлки – трибуны... С них тетёрки наблюдают, как петухи друг друга щиплют! Заводят петухов, как бабы нашего брата!

Он неожиданно хохотнул, Алёшка стыдливо отвёл глаза.

— Сами-то вы охотитесь? – спросил Алёшка.

Лесник не успел ответить. В бору тягуче треснуло. Перекрывая ветровой шум, где-то глухо пало дерево.

— Я службу несу! – строго сказал Красношеин. Он медленно стащил с плеча ружьё и замер, выслушивая необычный звук. Его лицо ещё больше заострилось у подбородка, глаза щурились, большое ухо от напряжения шевелилось. – Это не повал. Это порубщик! – с какой-то зловещей радостью проговорил он. – Пошли.

Два мужика топорами споро отюкивали сучья у распластанной сосны. Рядом обмахиваясь хвостом, стояла лошадь, впряжённая в передок. Задок был уже отведён и подтащен к сосне. Мужики торопились.

Красношеин приложил палец к губам, поставил Алёшку за дерево. Он ждал и не мешал порубщикам работать. Мужики пилой замерили и быстро отпилили два кряжа, вырубленными тут же берёзовыми слегами с кряком и сдержанным уханьем накатили на дроги. Когда молодой мужик верёвкой перехватил и туго всё затянул, а мужик постарше и посолиднее перекрестился и взял под уздцы лошадь, Красношеин мигнул Алёшке и вышел на дорогу.

— Бог в помощь, работнички! – сказал он весело и, не торопясь, как хозяин в своём доме, пошёл к возу.

Молодой, как стоял, так и сел, прямо на обод колеса. Второй отшвырнул узду, в сердцах посулил чьей-то матери чёрта.

— Ну-с, приземляйтесь, работники. Обговорим, – сказал Красношеин. Он присел на корни, спиной к стволу, размашистым движением перекинул командирскую планшетку себе на колено. — Билетик на порубку при вас?..

Мужик, тот, что посolidнее, долго и неумело крутил папиросу, языком зализывал край газеты, взглядом незаметно прощупывая Алёшку.

— Дело-то оно такое, Леонид Иванович. До конторы не добраться было. Сам знаешь, время летнее. Одно ухватишь, другое горит. А тут ворота завалились... Вот мы с Митюхой и подались. Всего делов — то: пара стояков. С раскрытой двориной в зиму не пойдёшь...

— Совершенно справедливо. Мне только билетик на порубку и... — Красношеин пальцем постучал по планшетке.

Мужик, прищурился левый глаз, закурил от спички, правым глазом опять примерился к Алёшке.

— Как тебе сказать?.. Давеча я с лесничим говорил. Он вроде бы согласный был. Посулил написать. Опять же время горячее...

Красношеин откинул крышку планшетки, достал бумагу, огрызок карандаша. Порубщик настороженно покосился на бумагу.

— Ты что это писать удумал?.. – спросил он.

— Протокол.

— Какой такой протокол? – он зашёл к леснику с одной стороны, потом с другой. – Спрячь бумагу. От греха спрячь...

— Не могу, Севастьяныч. Закон!.. – Красношеин, локтем прижав к планшету бумагу, медленно чинил ножом карандаш. Порубщик, будто замороженный, глядел, как у карандаша острится чёрное грифельное жало.

— Ты погоди! Ты погляди, — он говорил и толкал Красношеина в плечо. — Кабы я посаженное губил. Эвон деревьев-то сколько!.. А ты одну лесину в документ пишешь! Спрячь бумагу, не грехи...

Красношеин положил в карман нож, не торопясь стал писать.

— Иди-ка, Севастьяныч, подпиши протокол, — позвал он. Мужик затравленно поглядел на лесника, отшвырнул недокуренную папиросу.

— Не обучен писать! – сказал он глухо и пошёл к лошади.

Красношеин поднялся, не спеша подошёл к брошенному окурку, каблуком втоптал в землю.

— Это во-первых, — сказал он спокойно. — Огонь бросать в лесу — покушаться на народное добро. Можно и под суд попасть. Во-вторых, брёвна придётся свалить.

Мужик качнулся, будто его толкнули.

— Как это свалить?! — сказал он оторопело. — Ты же в бумаге всё описал! Всё одно платить... Отдай лесину-то!

Он склонился с протянутой рукой, будто просил о милости.

Алёшка увидел протянутую, запачканную смолой и землёй руку, и сердце его сдавила жалость.

Он подошёл к Красношеину.

— Отпустите их! Пускай едут, — тихо сказал он. — Сосну не вернуть. А билет потом возьмут...

Порубщик в изумлении вскинул голову, его скорбное лицо осветилось надеждой.

— Во! — закричал он леснику, показывая рукой на Алёшку. — Видишь? Это — человек!

Алёшка заметил, как странно улыбнулся Красношеин. Он сложил протокол, убрал в планшет. Не изменив голоса, спокойно сказал:

— Помочь? Или сами брёвна свалите?..

Когда потные и грязные порубщики сели в пустые дроги, мужик, тот, что вёл разговор, дрожащими руками перебрал вожжи, сказал:

— Не узнаю тебя, Леонид Иванович. Не узнаю!

— Езжай, езжай, Севастьяныч! — Красношеин размашистым движением закинул за плечо бердану. Лицо его блестело, как после трудной работы.

— Видал нашу службу? — сказал он Алёшке, когда они вышли на дорогу. — Это, говоря политически, ещё Лига наций. Бывает и Хасан!..

Алёшка промолчал.

2

— Что, Алексей, спал плохо или ел плохо? Что смурый?..

Красношеин сидел, привалясь к сосне. Одну ногу вытянул по земле, другую подогнул к животу. Фуражку сдвинул к затылку. Довольно щурился от невысокого солнца, светившего сквозь прохладные стволы бора косым расколотым светом. От его тяжёлых рук, широких плеч, короткой шеи исходила мужицкая ленивая сила, и Алёшка, вот уже часа два ходивший с ним по лесу и ожидавший от него исповеди и покаяния, чувствовал, что эта сытая лесниковская сила ему не подвластна.

То, что Красношеин сделал с филинскими мужиками, было правильно. Но Алёшка не понимал, зачем расчётливо он заставил мужиков работать. Он стоял за деревьями, ждал, когда мужики распилят сосну, взвалят тяжёлые кряжи на телегу, потом заставил разгружать. Зачем? Можно было выйти к мужикам, когда сосна была ещё не распилена. Открыто подойти, составить протокол. А Красношеин выжидал. Травил мужиков, как дичь! Это было нечестно, Алёшке это не понравилось. И всё-таки это полбеда.

Гром с ясного неба грянул наутро, когда Алёшка пришёл к тому месту, где ещё вчера хозяйничали порубщики.

Исчезло всё. Ни веток, ни зелёной вершины, что вчера лежала, как отрубленная голова. Чернело лишь огромное огнище, покрытое белёсым, ещё не остывшим пеплом. Свежий пенёк, вчера открытый, как рана, теперь был воровски укрыт пластами рыжего мха. Кряжи с дороги исчезли. «Ловко, — думал Алёшка. — Как в книге! Злодеи заматают следы...»

Он ещё не знал, какой бурей чувств обернётся для него эта украденная сосна! Он бежал в посёлок и в отчаянье твердил: «Мерзко. Подло... А я ещё жалел тех мужиков!..»

Красношеина в конторе он не нашёл. Где-то на стройке был отец. Алёшка в нетерпении метался по коридору и, наконец, решившись, пошёл к лесничему.

3

Лесничий Бронислав Феликсович Громбчевский не ожидал увидеть в своём кабинете Алёшку. Он вышел из-за стола, полуобнял его за плечи.

— Здравствуйте, Алёша. Чем обязан?.. Прошу, садитесь...

Алёшка, сдерживая дыхание, досадливо смахивая с подбородка пот, сказал о своей просьбе.

Бронислав Феликсович был высок, худ, стремителен в движениях и вежлив. Он внимательно просмотрел книгу отпуска леса, тонким аккуратным пальцем отчёркивая каждую запись.

— Нет, Алёша, — сказал он. — Мы запретили рубку в разбойном лесу. Летом вообще не отпускаем лес. Заготовки идут только зимой. Протокол на порубщиков был. Но предъявил его на прошлой неделе Студителев... Что вас так взволновало?

— Хочу знать правду, — Алёшка сказал это почти сурово.

— О, вы правдоискатель? — изумился лесничий.

Алёшка покраснел.

— Нет, не правдоискатель, — сказал он, — просто хочу, чтобы люди поступали справедливо...

— О, тогда во мне вы обретёте искреннего союзника!

Бронислав Феликсович встал. Он был серьёзен. Только в краешках его прищуренных глаз таилась грустная улыбка. «Странно, — думал Алёша. — Ни протокола, ни лесника!» Он ждал Красношеина до полудня, потом не вытерпел, прихватил из дома бинокль и пошёл в Филино.

У деревни, на дороге, дождался прохожую женщину, узнал, что дом мужика Севастьяныча — четвёртый от леса. С опушки в бинокль он хорошо видел всё: и дом, и высокое крыльцо, и ворота длинного подворья, крытого свежей дранью. Он разглядел главное: наглухо закрытые ворота, тёмные от времени, тесно прижимались к новым стоякам. Отёсанные стояки вызывающе белели по обеим сторонам ворот, как часовые при полном параде.

«Вот он и вор! — шептал Алёшка. — Вот она и сосна!.. Вот моя жалость. Вот справедливость...»

Он лежал, укрываясь в ёлочках, полный негодования и презрения к мужикам. Он ещё не ведал, что увидит в следующую минуту. Не ведал и того, через каких-то пять лет с жуткой точностью жизнь повторит эту, но уже роковую для него минуту. Повторит не под мирным, тихо остывающим в пополудни небом Семигорья, но под небом войны, на опалённой огнём Смоленской земле, у притихших изб русской деревни Знаменки...

В раскрытых окнах мельтешили тени. Кто-то давил гармонь, даже сюда, на опушку, долетал топот весёлых ног. На крыльцо вывалился человек в белой рубахе, прижался в угол, стал мочиться с крыльца. Алёшка с любопытством следил, как человек, пошатываясь, с видимым удовольствием справлял нужду, стараясь попасть именно на парадно отсвечивающий белой сосновой плотью стояк. Держась за стену, человек выступил из угла, животом повис на крыльцовой поперечине, с трудом поднял голову. Прямо в кружочки бинокля, как будто в упор, тяжёлым пьяным взглядом смотрел лесник Красношеин...

Два дня Алёшка не видал Красношеина. И вот снова они в лесу...

— Что смурый, спрашиваю?..

Алёшка видел, что его молчание явно не нравится леснику.

Какое-то время Красношеин задумчиво смотрел в небо, потом перекинул себе на колено планшет, пальцами постучал сухо, как дятел по суку. Так же сухо спросил:

— Ты, случаем, не замечал, которое дерево крепче?.. То, которое среди своих стоит. Сосна – в бору, берёза – в роще. Осина – в болоте. Не замечал?..

— Нет, не замечал, — ответил Алёша. — К чему эта философия?

— Так, к слову... Ну, домой двинем? А то, гляжу, ты от дум дурнеешь... О чём думаешь? — вдруг спросил Красношеин.

— Да вот не могу понять, откуда у Севастьяныча из Филина новые стояки на воротах...

— А, ты вот о чём!.. — Красношеин нащупал под собой шишку, покидал её на ладони. — Тебя-то с какого боку это задевает?

Алёша рывком повернулся к леснику.

— А я ненавижу, когда лгут! Вы сами отдали брёвна мужикам. И прячете протокол! Вы играете передо мной, как базарный фигляр... Почему вы не отдали протокол лесничему? Я всё знаю...

На лице Красношеина ничего не изменилось. Полуприкрыв глаза, он разглядывал шишку, повёртывая её на толстых пальцах.

— Ни хрена ты не знаешь, Алексей! — спокойно сказал он. — Тут дремь, у нас медведь — хозяин. Наш мужик, чтобы шишку достать, дерево рубит. А ты протокол... — Он швырнул шишку за плечо, ленивым движением открыл планшет. — Вот протокол. Он самый. На, держи. Держи, держи! Бумажка эта что-нибудь да весит. Вот ты её и взвесь. А я погляжу, осилит ли твоя совесть бумажкой человека прихлопнуть... Ты вроде бы жалел того мужика. Вот и покажи, кто есть Алексей Полянин, что ему по сердцу: бумага либо мужик, живой, можно сказать, страдающий человек! Вот протокол. Сам и положи на стол батьке...

— И положу! — упрямо сказал Алёшка.

Красношеин застегнул планшет, откинул его на сторону, посмотрел на Алёшку равнодушным взглядом.

— Не положишь! — сказал он. — Нет у тебя интереса дружбу со мной терять. А бумагу спрячь. Походи. Подумай. Неволить не буду. А поглядеть погляжу. Интересно мне, как ты бумагой распорядишься! — Он лениво постукал пальцем по планшетке. — Только вот знай: от того поруба, что Севастьяныч допустил, отговориться — раз плюнуть. В крайности, в свой лес зачту, с весны у меня выписан. Так что учти, когда думать будешь.

Красношеин встал, сладко жмурясь, потянулся и вдруг воздел к небу свои тяжёлые руки.

— Эх, Лёха, замудрённый ты человек! Ты гляди, жизнь-то, вот она! Небо. Солнце. Земля. Все по земле, по этой вот самой, ходим. Все одного хотим: чтоб не зябко было, да сытно, да под охотку бабёночку сголубить. Вся она тут и мудрость недолга! Ну, подымайся. Айда к Красной Гриве! Там сегодня свиданьице сготовлено!

4

Алёшка видел, как среди стволов мелькает и приближается белое пятно кофты. Женщина легко и спокойно шла по тропке, на её согнутой руке покачивался кузовок. Она поглядывала вверх, на золотистые верхушки сосен, шурилась, улыбалась. Лесник предупреждающе поднял палец, спрятался за молодыми сосенками. Когда женщина поравнялась, он залихватски свистнул и встал.

— Здорово, Фенька!..

Белый платок упал на плечи. Алёшку ослепило полыхнувшим огнём волос. Женщина испуганно схватилась рукой за грудь.

— Ох, Леонид Иванович! – с тяжким вздохом сказала она, опуская от груди руку. – Разве так можно! Сердце зашлось!..

Красношеин хохотал.

— Лесник в лесу – молодкам покой! – крикнул он.

— Уж какой тут покой! – вздохнула женщина. Она была молода, чуть полновата в плечах. И чем-то непонятно влекла: Алёшка не сводил глаз с её рыжих волос и конопатин, рассыпанных по её лбу и щекам.

Женщина уже совладала с собой, повела обмякшими плечами, сбросила с руки на землю кузовок с дымчато краснеющей малиной. Одёрнула кофту спереди, с боков, перекинула руку к шее, но расстёгнутый ворот не застегнула, а неуловимым движением даже чуть раздвинула на груди. Алёшку она оглядывала насмешливым взглядом, поигрывая за щекой языком.

— Смену привёл, что ль? – вдруг спросила она с вызовом.

— А что, скажешь, плох парень? – Лесник подтолкнул Алёшку к Феньке. – Что смотришь? – сказал он. – Нового директора сынок...

— Ух ты! – сказала женщина и засмеялась. – Городские, говорят, слаще деревенских...

— Ну, ты не очень-то! – остудил её Красношеин. – Я ещё полномочий не сдал.

— Нет, Леонид Иванович! Сами вы свою волюшку узлом завязываете! Слышали мы о ваших ухаживаниях!.. – Фенька говорила, не тая обиды, и Алёшка видел, что леснику не в радость горькие её слова.

— Ладно, ладно, — сказал Красношеин. – Иди-ка, посиди с нами...

— Как же, только мне и сидеть... Солнце уж макушку греет! На полдни бежать надо!

Фенька подняла с земли кузовок, заглянула близко в Алёшкины глаза.

— Звать-то как? – спросила она.

— Алёшкой...

— Ласковое имя! – сказала Фенька. – Смелый, так заходи! Угощу. А может, и поцелую! – добавила она с вызовом и, вскинув голову, поглядела на лесника. Она сдвинула кузовок к локтю, пошла тропкой прочь.

— Фенька! – крикнул Красношеин.

Фенька остановилась, слегка повернула рыжую голову.

— Ты... это... не очень-то! – Лесник сердился.

Алёшка, замерев, ждал, что ответит Фенька. Фенька не ответила. Её белая кофточка среди солнечных, снизу подпаленных давним пожаром сосен то тускнела в густой, падающей на тропу тени, то ослепительно вспыхивала, когда Фенька выходила на солнце. Алёшка, не отрываясь, следил, как белая кофточка уплывала в лес.

Красношеин толкнул Алёшку плечом.

— Что, отца-мать забыл?.. Баба, скажу тебе, — во! Ушла, а в руках дрожь. Будто кур воровал. Севастьяныча сноха. Вдовая... Чёрт меня путает с Васёнкой!..



ЧУВСТВА

Уроки не шли Алёшке на ум. Открытая тетрадь и учебники лежали на столе, а мысли были далеко, где-то там, вокруг белой Фенькиной кофточки.

Берёзы перед окном, у ребристого заборчика, трогала осень, жёлтые листья падали в траву. А сосны за берёзами пылали в закатном солнце, вызываясь рыжели прямые, сильные стволы.

Алёшка смотрел на сосны, но видел один только рыжий, ослепляющий его свет. Казалось, там, в бору, само солнце и бор горит, и жарко от его огня.

Снова он повстречал Феньку. Бродил по лесным дорогам и тропам, пробитым из соседних деревень в Филино, в злой упрямой надежде стоял на Красной Гриве и дождался: среди стволов замелькала, как и в прошлый раз, кофта, потом появилась и сама Фенька, на это раз в белой кофте с горошками.

— Уж не меня ли ждёшь? – спросила Фенька.

Подошла, глядя рыжими жгучими глазами, её веснушчатое лицо так близко, что Алёшка спиной и руками прирос к сосне.

— Меня дожидался? Или другую на свиданку зазвал? – спрашивала Фенька певучим, чуть играющим голосом. Глаза её смеялись. – Я-то, дура, думала!..

Фенька вдруг вздохнула.

— Мне б молчать, а я всё туда же! Ладно, до лучших времён, кавалер! – Она сделала движение уйти, Алёшка испугался, что она уйдёт, и вскинул руки.

Он хотел удержать её, но Фенька как-то повернулась, что рука легла ей на грудь. Алёшка замер. Он ждал, что Фенька сейчас шлёпнет его и, разгневанная, уйдёт. Но Фенька чуть отстранилась, смотрела на него пристально каким-то странным, тревожным взглядом. Потом протянула руку, медленно провела по его щеке от подбородка к уху, и Алёшка почувствовал своей нежной кожей её жёсткую сильную ладонь. От руки пахло коровами и ещё чем-то незнакомым ему, и это её запах был для него как запах весенней земли. Алёшка почувствовал, что способен на дерзость. Он потянулся поцеловать Феньку, но Фенька пальцами сдавила ему губы, шутливо похлопала по щеке.

— Лё-ёшка-а! Не дури-и! – пропела она и, тихо смеясь, отошла, поправила волосы. – Приходи-ка лучше в гости. Придёшь?..

... Сосны пылали от закатного солнца, рыжий свет ослеплял Алёшку. Он сидел за столом, водил пером по бумаге, без мысли, без цели, не в силах заслониться от жаркого огня, — жар был внутри, он перекалял Алёшкино сердце. Читать учебник он не мог, но какой-то выход он должен найти! Лихорадочно перелистнув тетрадь со столбиками алгебраических примеров, Алёшка, торопясь, не справляясь с нахлынувшими чувствами, ёрзая на скрипучем стуле, вороша и спутывая на себе волосы, начал писать на последней странице исповедь про своё рыжее солнце.

Исповедь обнаружила Елена Васильевна. Алёшка почувствовал это вечером, за чаем. Мать была беспокойна, отец дважды с любопытством смотрел на него поверх газеты, назревал разговор. После третьей «баночки» чая отец сложил газету, бросил на край буфета. Некоторое время осматривал на своих руках ногти — он всегда так делал, когда затруднялся начать разговор, — и вдруг спросил:

— Сказку хочешь послушать? — он надел очки. — Ты, Ли, меня извини, — обратился он к Елене Васильевне, — но я скажу, что думаю... Словом, так. Где-то на земле, предположим, через нашу речку Чернушку, перекинут мост. Через этот мост ходит женщина, и встречаются с этой женщиной люди. Однажды женщину встретил старик. Глядит на красавицу, за спину держится, кряхтит: «Помогла бы, милая, через мосток перебраться!» Ну, женщина добрая, перевела старика. На другой день встретил женщину юнец, лет этак пятнадцати. Женщина ему улыбнулась. И юнец, конечно, вообразил, что перед ним — богиня!.. Пока юнец складывал оду, которой подобает говорить с небесами, его богиня того... ушла. Ничего поделаешь, и богини бывают нетерпеливы!.. Наконец ту красивую женщину встретил мужчина.

Елена Васильевна опустила глаза, нервными движениями пальцев разглаживала клеёнку.

— Ваня, сказала она, — я прошу тебя...

— Подожди, дай досказать!.. Встретил женщину настоящий Мужчина. Женщина шла ему навстречу, как богиня. Но мужчина знал, что если богиня идёт по земле, то она...

Елена Васильевна разволновалась.

— Чему ты учишь сына! — она сказала это с упреком, в её глазах блеснули слёзы.

— Я не учу, я только констатирую возрастные факты, — сказал Иван Петрович. — У каждого возраста свои радости. Не признавать это — значит не признавать жизнь. Явись сейчас Мефистофель и скажи: «Директор Иван, на берегу вас ждёт Елена Прекрасная...» — думаешь, пойду? Не пойду, пропади она пропадом! А Алёшка понесётся. Ему сейчас кажется, что и смысл-то жизни в любви! И его не переубедишь. Надо, матушка, трезво смотреть на некоторые вещи. Мы слишком усложняем жизнь, во вред себе. Кстати говоря, и Алёшке.

Алёшка боялся взглянуть на отца. Он боялся, что, если отец увидит собачий восторг в его глазах, он одумается, осмотрит свои ногти и скажет: «Впрочем...»

В этот вечер все молча разошлись по комнатам. Утром, после завтрака, когда Иван Петрович ушёл, Елена Васильевна задержала Алёшку за столом.

— Алёшенька, — сказала она. — Ты не должен следовать тому, о чём говорил вчера папа. Характер у него, сам знаешь, не очень-то уравновешенный. Всё у него зависит от настроения. Сам думает по-другому, главное, живёт по-другому, и вдруг наговорит себе и всем назло! Знаю, — слава богу, изучила его, — сегодня он жалеет о том, что сказал вчера. Алёшенька! — Елена Васильевна старалась говорить так, чтобы её голос звучал мягко и убедительно. — Я очень хочу, чтобы ты понял самое главное: всему своё время. Подожди, не торопись, всё придёт само собой. Тогда и радость у тебя будет другая, настоящая, сильная. Сейчас, как это тебе сказать, ну, ты ещё не готов к такой жизни! Главное, духовно ты не созрел, не окреп. Из-за минутной радости, даже не радости, а сумасшествия, ты можешь огрубеть на всю жизнь. На всю жизнь, Алёшенька! Ты ещё не знаешь, как важно первое чувство!.. И ещё: прошу тебя, Алёша, не упрощай свою жизнь. Человеческие отношения сложны, горе, если когда-нибудь ты сведёшь их только к таким вещам, как еда, постель. Сейчас ты можешь и не понять, но ты запомни: чем сложнее, труднее, чище отношения между мужчиной и женщиной, тем выше в человеке человек. Я не хочу верить, что ты можешь быть грубым, что на тебя может налипнуть житейская грязь... — Елена Васильевна страдала, Алёшка слушал, томился её разговором и думал, что мама никак не хочет его понять!..

2

Робея, он поднялся на крыльцо, постучал в незапертую дверь. Большой дом лесника не отозвался на стук. Из будки, звякнув цепью, вылез пёс, не поднимая морды, посмотрел скучными глазами.

Алёшка постоял, сошёл с крыльца. Идущая мимо женщина, любопытствуя, приостановилась.

— Нету лесника, нету, – быстрым говорком сказала она. – Иди, милый, в ту вон избу, к Гужавиным.

Алёшка открыл калитку, вошёл в незнакомый двор, от плетня пугнув заквохтавших кур.

Должно быть, его увидели в окно, потому что в сенях тотчас хлопнула дверь и на открытое крыльцо выпрыгнула босоногая девчонка. Как пугнутый козлёнок, выпрыгнула и замерла на высоком крыльце так, что серенькое с короткими рукавчиками платье подолом захлестнуло коленки. От яркого солнца девчонка зажмурилась, на её разгорячённом лице, будто яблоки, блестели круглые щёки. Зажмурясь, она стояла миг и распахнула огромные глазищи.

Алёшка узнал девчонку. Это она, круглощёкая, тогда была у калитки, разглядывала и смущала его своим любопытством. Здесь остановились их подводы. Он запомнил её, глазастую. Запомнил, как весело она прыснула в ладонь, когда он снял, потом снова надел очки. А когда подводы тронулись, вдогонку ему показала язык.

— А где твои очки? – лукаво спросила девчонка. Она сошла с крыльца и встала перед Алёшкой бочком. От её растрёпанной по лбу чёлки пахло дымом, на загорелых руках сохла мыльная пена. Девчонка разглядывала Алёшку радостными, блестящими глазами. – Опять спрятал в карман?..

Алёшка засмеялся.

— А ты помнишь?!

— Я всё помню, — важно сказала девчонка, ладошками провела по своим бокам сверху вниз, гордо выпрямилась. – И всё знаю. Тебя зовут Алёшка, верно? А я – Зойка. Ты пришёл к леснику, к Красной Шее, верно?..

— Верно!

— Вот, видишь, говорила тебе, что всё знаю? Только его дома нет. У него, у бедного, дела...

Сказав: «у него, у бедного, дела...», Зойка сощурила свои глазищи и так выразительно покривила нижнюю губу, яркую и оттопыренную, будто кончик языка, что Алёшка понял: Зойка лесника не любит.

— А Витька у Петраковых. Тебе надо Витьку? – спросила Зойка и, тут же вскинув голову, настороженно вгляделась в Алёшкины глаза. – Постой, а зачем тебе Красная Шея?..

Алёшка как будто только сейчас вспомнил, зачем ему нужен лесник, смутился.

— Так зачем тебе лесник?! – пролепетала Зойка, бледнея. Проклюнувшись девичьим чувством она угадала, что к леснику он шёл не за добром. – Он тебя куда-нибудь звал? – Зойка потерянно смотрела на Алёшку, вдруг рукой зажала рот, как будто не дала вырваться горьким и злым словам.

Алёшка хотел усмехнуться, сделать небрежное лицо, как это делала перед ним Фенька, но понял, что не может ни усмехнуться, ни уйти. Он почувствовал, что эта с надеждой выбежавшая ему навстречу, как будто настезь распахнутая девчонка с крендельком косичек на шее по какому-то высшему праву чистоты и открытости может так говорить с ним.

А Зойка, поникнув, ногой царапала землю. Вот сейчас уйдёт, — думала она. – И всё, всё. Уйдёт и не узнает, так и не узнает, как она считала дни вот до самого этого часа! Всего-то два разочка она видела Алёшку, а думала о нём не переставая. И насмешки терпела, а всё равно выпрашивала каждого, кто хоть самую малость знал о нём. И противного лесника выпрашивала!..

Зойка заметила, как нерешительно топчется перед ней Алёшка, и надежда пробилась в её отчаянные мысли. Она вскинула сверкнувшие глаза и как только могла быстро заговорила:

— Ты не ходи с Красной Шеей. Не ходи!.. Я тебе сама лес покажу. Я всё там знаю, всё, даже то, что Красной Шее в жисть не узнать!

Ты видел, как ночь на землю приходит?.. Нет? А я видела! Стояла вон там, у Нёмды, и смотрела. Я думала, ночь с неба спускается, а она, как туман, из-под земли выходит. Будто кто подымается, чёрный и бо-оль-шо-ой, как лес! Вылезает и крадётся. Сперва по лугу, свет на кустах гасит. Потом на деревьях. Когда на земле уж ничего не видать, начинает горбиться, пухнет и пухнет, — всё закрывает, до самого-самого неба!..

Только, знаешь, летом ночь слабая. Летом поверх ночи завсегда свет пробивается. А вот к осени только звёзды через ночное чудище светят. Проколют насквозь и светят... Правда!..

Раз стою я так, перед ночью. А что, думаю, раз ночь, так уж всё на земле черно? Неужто где-то на краешке, в лесочке, у горушки, хоть махонький светик да не остался?! И такая меня забота взяла узнать, что там, за ночью, что сбегла я к Нёмде, переплыла и пошла. Прямо через ночь пошла...

— Одна?!

— Одна! Совсем не одна... — Зойка откинула от шеи крендельки-косички, радуясь, что Алёшка слушает её, призналась: — Страх со мной был. Иду и страх свой уговариваю: «Не пугай, не пугай, всё одно дойду!..» Так и прошла через ночь...

— И что там, за ночью?..

— День! Опять день, такой светлый, такой хороший!.. Дошла я и так обрадовалась, что снова день встретила!..

— Смешная ты, - сказал Алёшка, — и хорошая...

— Правда?! – Зойка вспыхнула. И тут же, совсем по-взрослому, понимающе покачала головой. – Это ты просто так сказал... И совсем не смешная я. Просто всё знать хочу. Витька говорит: кто много знает, тот сильнее того, кто не знает, даже если у дурака и кулак здоровее. Умный что-ничто, а придумает. Только мне хочется узнавать вот так, чтоб дотронуться... — Зойка вытянутым пальцем робко коснулась Алёшкиного плеча.

Алёшка смутился. Стараясь скрыть смущение, невпопад сказал:

— Не всякое тронешь. Можно обжечься...

— Ну и что? Обожгусь – заживёт. Вот, смотри... — Зойка приподняла над коленкой платье, вывернула ногу. – Видишь? Теперь – что. А было – страх!.. Это я в кузне у бати на калёные щипцы села. Батя напугался, шумит. А я сразу придумала: это самураи меня пытаются! Приказала себе: «Молчи, Зойка!..» Слёзки не обронила, два дня в себя ревела. Зато уж знаю: боль, какую ни есть, стерплю!..

Зойка торжествовала. Она видела, как от пережитой ею боли светлые Алёшкины брови сошлись к переносью и глаза расширились. И весь он был такой добрый и внимательный, что бери за руку и веди!..

Хлопнула калитка. Но уже прежде чем калитка хлопнула, Алёшка вдруг ощутил, как дрогнул и потемнел тот удивительный мир, в который только что его ввела девчонка. Что-то случилось с лицом Зойки: от щёк отхлынул румянец, нос побелел.

Он обернулся: в калитку входил лесник, здоровый, сильный, уверенный в себе.

— Вот это гость! – сказал он, торопясь подойти. – Здоров, здоров, Лексей! – Красношеин цепко охватил его плечи, похлопал дружески, повернул так, что сам встал между ним и Зойкой. Он держал Алёшку за плечи, заглядывал в глаза, улыбался и подмигивал, как будто знал, зачем Алёшка к нему пришёл. Покинутая Зойка отступила к крыльцу, глаза её застыли, как лужицы в мороз. Алёшка улыбался леснику и мучился своей предательской покорностью.

— Что тут выстаиваем? Пошли ко мне. Пошли, пошли. – Он вёл Алёшку улицей, в обнимку, как девушку, и радостно спрашивал: — Ну, как, был?.. Заробел? Я бы на твоём месте не отступил! Спелая-то ягодка – ох, сладка!..

Алёшка слушал, краснел, хотел и не смел обернуться – рука Красношеина дружески сдавливала его плечо.

3

К Феньке он всё-таки пришёл.

Дом её был открыт и тих, в огороде, под распахнутыми окнами, сварливо скрипели куры, петух терпеливо оговаривал их. Деревенская улица, насколько он видел её из окон, была безлюдна. И рыжая Фенька была перед ним в той белой простенькой кофточке с синими горошками, к которой он посмел притронуться тогда в бору.

Фенька сидела перед печью, на лавке, широко расставив колени, горстью брала из корзины чернику, ловкими пальцами выбирала из ягод сор, сыпала ягоды на противень. Её ладони были в пятнах, как в чернилах!

— Пришё-ёл! – радостно сказала Фенька, и веснушки с солнечного Фенькиного носа расплылись по лицу. Лукаво щурясь, она смотрела на Алёшку. Потом опустила голову, пальцами долго ковыряла в ягодах, цепляя листик. Алёшка видел, как её рыжие волосы, выше лба перехваченные голубой лентой и свободно раскинутые на шее, медленно сползали на плечо, накрывая пылающее ухо.

— Ягод хочешь? – не поднимая глаз, спросила Фенька. Она рукой водила по ягодам, будто не знала, что с ними делать. Острыми синими зубами она покусывала губы.

— А!.. – вдруг сказала Фенька и толкнула от себя противень. Ягоды плеснули поверх края, раскатились по чистым половикам.

Алёшка, как будто только и ждал себе дела, бросился подбирать.

— Не смей! – крикнула Фенька. – Поди-ка вон на скамью! Да у окна не сядь... Бабы увидют – рёбрышки-то тебе переберут!..

Ногой она сдвинула под лавку корзину, встала, закинула за голову руки, со стоном потянулась так, что под кофточкой, как голые, выставились груди.

Алёша послушно сел на скамью, украдкой наблюдал, как Фенька замечает рассыпанную чернику. Когда она переступала босыми ногами и наклонялась, Алёшка видел ямочки под Фенькиными коленками и отводил глаза.

Фенька не спешила. Она как будто нарочно оттягивала то, что должно было быть между ней и Алёшкой, долго умывалась за печью, звякая железным соском умывальника, оплёскивая воду в таз. Алёшка слышал, как шуршало полотенце. Потом Фенька полезла в подпол. Алёшка, неловко улыбаясь, смотрел, как, сдерживая в плотно сжатых губах улыбку, она ставила угощение. Когда Фенька подходила, он сжимался, как клеверок перед дождём, краснел и смотрел в пол.

— Может, выпьешь для храбрости? – спросила Фенька, её лукавые глаза смеялись.

— А что? И выпью!.. – с вызовом сказал Алёшка и выложил кулаки на стол.

Фенька медленно подошла, положила руку на его голову, её жёсткая ладонь скользнула по щеке, закрыла ему рот. Алёшка сквозь запах земляничного мыла опять уловил идущий от её ладони запах молока и коров, и, как тогда, в бору, этот уже знакомый ему запах не оттолкнул, а повлёк его к Феньке. Пряча лицо, он прижался к её покорному телу так, что хрустнуло у неё в рёбрышках.

— Тише ты! – сказала Фенька радостно.

Не отводя Алёшкиных рук, она взяла поблёскивающий стеклом графинчик. Графинчик звякнул о стакан.

— Может, не надо... – неуверенно сказала Фенька.

Алёшка протянул руку, ладонью сдавил стакан, холодным гранёным краем решительно раздвинул свои мальчишеские губы.

На скамье они сидели рядышком. Алёшка захмелевшей головой ткнулся Феньке под руку, щекой и плечом прижался к её тёплому боку. Он не открывал отяжелевших глаз, и когда Фенька, ласково поглаживая его, осторожно спросила: «Что же так и будем сидеть?», он капризно мыкнул, как телочек, и крепко прижался к ней.

Алёшка чувствовал, что с Фенькой что-то происходит. Она украдкой вздыхала. Сердце, стук которого он слышал прижатым к её боку ухом, билось всё сильнее и ближе, как будто торопилось пробиться к Алёшке. Ладонь, которой Фенька всё быстрее и быстрее гладила его волосы, повлажнела и холодила лоб.

Фенька вдруг нагнулась, дрожащими губами поцеловала Алёшку.

— Светленький ты мой! – шептала Фенька. – Бровки-то, как у младенчика... Нос в конопушках... Глупой, ой, глупой... – Фенька нашёптывала и покачивала Алёшку, как ребёнка.

Осторожно она высвободила себя из Алёшкиных рук, отошла к высокой кровати с горой подушек.

Алёшка видел, что Фенька пошла к кровати. Он наклонился, локтями оперся на колени, в горячие ладони упрятал щёки и глаза и так сидел, терпеливо ожидая, что будет дальше.

Фенька молчала. Алёшка раздвинул перед глазами пальцы. Кровать нетронута голубела покрывалом. Фенька стояла у печи, заложив руки за спину, и молча смотрела на него. Алёшка ничего не понимал, он не узнавал Феньку! Лицо её как будто выболело за тот час, пока она сидела с ним рядом, опало в щеках, глаза казались больными.

У Алёшки сжалось сердце.

— Фень, ты что?

Фенька откинула голову, прижалась затылком к печи.

— Слушай, Лёшка... Слушай. Я – девка грешная. Мне ништо тебя приласкать... Только не надо тебе этого!.. Ты же не любишь, тебе всё одно: я, другая ли... Тебе, по первому-то разу, полюбить надо. Себе равную, Лёшка, полюбить! Чтоб всю сладкую сладость от неё понять. А не так вот, ни за што, её, первую-то, прогулять. Я-то знаю! Костька мой в Волге потонул, года с ним не жили. Был бы жив, я б всех этих мужиков... Я – что, я – вот она! Хочешь, поди, приласкаю. Поди, коли хочешь!.. Только обкраду я тебя. И то, что обкраду, в жизнь не возвернёшь! Присохнешь ко мне, что я с тобой, младенчиком, делать буду? Да и ты, вон какой ладненький, сердце мне переверотишь!..

Фенька головой жалась к печи, и волосы её, сдвинутые наперёд и перехваченные голубой лентой, на белом зеркале печи были как рыжая корона.

— Ступай, Лёшка!.. Боюсь к тебе подходить. И ты ко мне не ходи... Иди, горюшко моё сладкое. Уходи, ладненький мой!..

Алёшка поднялся, шагнул к Феньке. Фенька лицом стала белой, как печь. Губы её приоткрылись.

— Уходи! – приказала Фенька.

Алёшка стоял, склонив голову. И вдруг бросился за порог.

Дверь хлопнула. Дом дрогнул, как от выстрела.

Когда Алёшкины шаги затихли, Фенька подняла руки, медленно провела ими по лицу, шее, сползла вдоль печи на пол, уткнулась в колени и заревела на всю избу.



Из дневника Алексея Полянина, год 1937

Папа как-то сказал: настоящего нет без прошлого. Я думал над его словами. Наверное, и в моей жизни было что-то, что сделало меня таким, какой я есть!..

Когда мы жили в Ленинграде и заканчивался девятый год моей жизни, бабушка, мамина мама, сказала: «Завтра твой день. Родился ты как раз на серёдке, между зимой и летом. Солнышко в этот день зиму одолевает, пылу набирает, землю к теплу поворачивает. Хороший день! Ночью к тебе спустится ангел, навевет сон. Смотри хорошенько, что снится! Сон будет вещий...»

Бабушка меня перекрестила и сунула мне в рот конфету.

Все ушли в большую комнату играть в карты. Я лежал в кровати, один, и думал: что мне приснится?

И мне приснилось.

Будто скачу я по Ленинграду на белом коне. Конь, как у Ворошилова, — на тонких ногах, грива и хвост развеваются. И заворачиваю я в переулок, где мы живём. А в переулке ребята гоняют мяч, и девочки стоят на тротуаре, на ребят смотрят. Среди них Наденька, сестра зануды и задиры Пряшки. Конь по булыжнику подковами — «цок, цок...». Подъезжаю я, с коня легко, как в цирке, спрыгиваю и прямо к Наденьке. «Я за тобой, — говорю ей с поклоном. — Я хочу увезти тебя в свой штаб...» Наденька голову вскинула, смотрит на меня удивлённо. «В какой штаб?» — спрашивает. Я нахмурился, вспомнил, что об этом говорить нельзя. Меня назначили Начальником Земли, чтобы я следил за справедливостью и никому не давал никого обижать, но об этом никто не должен знать. Люди должны поступать справедливо не потому, что кто-то за ними наблюдает. Я молчу, а Наденька смотрит на меня и ждёт. Тут подскакивает её брат, задира Пряшка, и замахивается на меня. А смотрю на Пряшку и усмехаюсь. Ни один мускул не дрогнул на моём лице. «Пряшка ты, Пряшка, думаю, не знаешь ты, что я кровью дракона обмыт, и меня ни нож, ни пуля не берёт! И учёные так сделали, что тот, кто по-злому дотронется до меня, того током отшвырнёт на пятнадцать шагов». Не знает того Пряшка, сжимает кулаки и толкает меня. В тот же миг его отшвыривает на пятнадцать шагов, он валится на каменную тумбу и ноги задирает вверх. А у меня даже веки на глазах не дрогнули. «Решай, Наденька, говорю. Работы у меня много, мне надо спешить». А Наденька, хоть и смотрит на меня восхищённо, говорит: «Не могу я с тобой ехать, пока не знаю, что у тебя за работа и где твой штаб...»

— «Не могу, — говорю я, — открыть тебе тайну. Ты должна верить мне. Нет в тебе веры, прощай!» Вскочил я на коня, и конь будто не конь, как самолёт, полетел по улице. Красные трамваи отставали от меня и машины тоже. Я спешил, потому что за справедливостью следить – очень трудное дело!..

Когда утром я рассказал бабушке сон, она ахнула: «Ангел вразумил тебя! На всю жизнь быть тебе добрым, как сам бог!»

Папа, узнав про сон, посмотрел на меня сквозь очки и ничего не сказал.

Мама обняла меня и шепнула: «Ты будешь хорошим человеком, Алёша!»

... Бабушка напекла куличей и сделала пасху. Вечером собрались гости. Олька, моя двоюродная сестра, вместе со взрослыми села за карты. Мне папа запретил играть в карты, и я сидел в другой комнате, рассматривал «Ниву», старинный журнал. Потом мне надоело, и я стал ходить по коридору. Сказал себе: «Там, в комнате, штаб, важное совещание, я – часовой, охраняю штаб». Взял табуретку, подставил её под вешалку, встал на неё и замаскировался в висевших пальто и макинтошах. В коридор вышла Олькина мама, тётя Муся. Напевая, постукивая каблуками, она прошла в кухню. Потом вышел гость: волосы напояжены, пиджак расстёгнут, по жилетке блестящая цепочка от часов. Покачивая головой и сам покачиваясь, он тоже прошёл в кухню. Я был доволен, что меня не видно. В кухне началась возня и шёпот. И гость, и тётя Муся оба шептали: «Умоляю... Умоляю...» Мне было интересно, я высунул голову и полетел с табуретки. Гость и тётя Муся отбежали друг от друга, тётя бросилась ко мне. «Какой ужас!» — крикнула она. Подняла меня и быстро ушла в комнату. Гость закурил, через нос выпустил дым, швырнул папиросу в раковину и тоже ушёл в комнату.

Охрана штаба не удалась.

Читать не хотелось, я пошёл в комнату, где были гости, и сел у окна. Все были в большом азарте, на меня не обращали внимания. Только гость с напояженными волосами поглядывал на меня, как на злого мальчика. Мне стало не по себе. Я не мог жить, когда кто-нибудь на меня сердится. Я всегда шёл и объяснялся: лучше сразу всё выяснить! Я долго сидел у окна и набирался мужества. Наконец встал и подошёл к дяде с блестящими волосами. «Пожалуйста, не сердитесь на меня, — сказал я. Мне трудно было говорить, я знал, что я стою красный, но глаз не опускал. — Если я что-нибудь не так сделал, вы лучше скажите. А сердиться не надо...»

«Боже, какой ужас!» — опять крикнула Олькина мать. Гость побледнел, руки у него засуетились, он нервно посмеивался и всех уверял, что «к мальчику у него претензий нет». «Ты мальчик очень хороший!» — сказал он и даже погладил меня по голове. А мне казалось: если бы не папа, не мама, не люди, он оторвал бы мне голову...

Выяснять отношения трудно, даже со взрослыми!

Мама потом долго объясняла мне, что я сделал неприлично.

А папа буркнул: «Молодец, Алёшка...»

... Пряшка, невыносимый Пряшка, брат Наденьки, зажал между колен маленького Лёньку и краской размалевал ему лоб и щёки. Лёнька вырывался, плакал, а Пряшка кричал: «Терпи, человек, индейцем будешь!..»

Я не мог видеть несправедливость. Я выбил краску из Пряшкиных рук. Пряшка медленно поднялся. Я видел его прищуренные глаза и дрожащие от ярости губы. «Стыкнемся?.. А?!» — сказал он.

Много раз у нас с Пряшкой дело доходило до этого страшного слова, и всякий раз я отступал. Я не очень уж боялся драки. Правда, костлявый и длиннорукий Пряшка бил многих мальчишек. Просто я думал, что лучше всё решать по-доброму. Потом я помнил, что у Пряшки есть сестра Наденька. Пряшка знал, что я всегда уступаю, он двинул меня острым плечом и повторил: «Стыкнемся?..»

Сам не знаю, как это со мной случилось, но я тихо ответил: «Пошли».

Дрались мы на заднем дворе в окружении всех мальчишек дома. Нас поставили друг против друга. Я выставил перед собой левый, крепко сжатый кулак и подумал, что всё сейчас зависит от моего кулака. Справедливости не будет, если мой кулак окажется слабее.

Как я дрался, не помню. Я только знал, что должен победить. Ребята остановили бой, когда у Пряшки под глазом расплылось пятно, и кровь потекла из разбитого носа.

Вечером с примочкой на скуле я сидел дома и страдал. Я жалел Пряшку и боялся, что Наденька не поймёт, почему я дрался. Утром побежал мириться, но Наденька не пустила меня на порог. Она сердито крикнула: «Хулиган!» — и вытолкнула меня за дверь.

Все смотрели на меня, как на хулигана, потому что все видели разбитый нос и чёрный синяк Пряшки. Никто не видел синяков в моей душе.

Помню, маленький Лёнька сказал: «Не переживай, Лёш... Ты же знаешь, что правый – ты. Ну и всё!..»

Да, я знал, что прав – я. Но другие об этом не знали! И сейчас я думаю о справедливости. И прошлое живёт во мне.

... В деревянной школе, где я теперь учусь, маленькие классы, между партами пройдёшь только боком. Случилось так, что после уроков я выходил из класса и толкнул парту, за которой сидела Нюрка, сестра Ивана Петракова, моего нового товарища. Когда меня окликнули и привели из коридора в класс, я увидел белую как мел Нюрку. Она стояла в проходе, расставив локти, и держала перед собой подол платья, залитый чернилами. Я смотрел на Нюрку, все, кто был в классе, смотрели на меня. Как они на меня смотрели! Я не понимал, почему они так на меня смотрят. Ведь я же нечаянно толкнул парту?! Из школы я шёл один. На развилке, от которой одна тропка шла к Семигорью, другая – к нашему посёлку, я сел на камень. Решил дождаться Ивана, поговорить с ним, может быть, извиниться. Думал: «Ведь не нарочно я толкнул парту. Должен он это понять!.. Не ссориться же нам из-за девчонки!..»

На тропке я увидел Ивана, он шёл вместе с Нюркой. Встретаться с Нюркой мне не хотелось, и уходить было поздно. Я скользнул в ложбину, по-солдатски залёг прямо в засыпанных снегом сосенках.

Иван и Нюрка шли медленно, как больные. Нюрка молчала, Иван что-то ей говорил.

Вдруг Нюрка всхлипнула: «Как же в школу теперь!.. Платья другого нету-у...» Я видел сквозь ветки её опухшее от слёз лицо. Иван неуверенно сказал: «Небось отстирается.. А то заработаю. Справлю тебе новое...» Они прошли мимо, слепые в своём горе. Иван шёл позади Нюрки, часто останавливался, как будто ему трудно было идти. Его одежда, похожая на шинель, была подпоясана верёвочкой, горбилась на спине, длинные полы путались в ногах. Он под мышкой держал завёрнутые в тряпицу книги, руками приподнимал к коленям полы. Я видел большие, с загнутыми носами ботинки и худые ноги в чёрных солдатских обмотках.

Домой я пришёл, когда в окнах уже горел свет. Сидел в кухне, за обеденным столом, передо мной остывала тарелка супа. Я не мог смотреть на хлебницу, полную хлеба, на маслёнку с маслом, сахарницу, на банку с вареньем, темневшую на полке. Я вспоминал что ели у Петраковых в тот день, когда я попал к ним на обед. На столе стоял чугунок с горячей картошкой, на размокшей газете лежали куски селёдки.

Мать Ивана, хмурая, крикливая, с голыми худыми руками, отрезала по ломтю чёрного хлеба. К концу обеда каждого оделила куском сахара. С сахаром пили кипяток из большой жестяной кружки, все по очереди: сначала Иван, потом Нюрка, за ней младшая Валька. Маруську, только что вылезшую из пелёнок, Нюрка поила с ложки. Так было в тот день, так было в другие дни, когда я приходил к Петраковым в дом и заставал их за едой. В получку, помню, появилось повидло. Иван резал его ножом на кусочки со спичечный коробок, каждому — свой... Мать Петраковых — банщица, под выходной топит баню для всего посёлка. Ходит в старых мужицких сапогах, свои ботинки отдала Ивану. Для зимы у них из четверых одни подшитые войлоком катанки. Я сам видел, как однажды Валька бежала к подружкам в соседний дом босиком по снегу.

У нас под вешалкой три пары валенок. У каждого свои.

А Валька по снегу босиком...

Я встал, прошёл в комнату, где отец сидел на стуле, закинув ногу на ногу, и читал. И у нас состоялся такой разговор.

— Папа, скажи, сколько получает мать Ивана Петракова? — спросил я.

— Банщица?.. Сто пятьдесят.

— А ты?..

Отец опустил книгу на колени, посмотрел на меня. Без очков глаза его казались усталыми, и в такие минуты я всегда жалел его.

— Зачем тебе это?

— Мне надо, - сказал я.

— Ну, восемьсот.

— Восемьсот?! Но почему так?.. Их пятеро и — сто пятьдесят, нас трое, у нас — восемьсот?!

Отец закрыл глаза, пальцем сдвинул переносье. Он решал: отвечать на мой вопрос или нет.

— Ты думаешь, — сказал он, — топить баню и руководить, скажем, техникумом — одно и то же?.. Государство каждому платит по труду.

— Но должна же быть справедливость?! — крикнул я.

— А что такое справедливость?.. В буржуазном обществе капиталист, имея завод, нанимает рабочих. Рабочие создают ему богатство, сами живя в нищете. Капиталист считает это справедливым: он даёт рабочим работу. Мы считаем это несправедливым, потому что один присваивает то, что должны иметь все. Поэтому мы прогнали капиталистов и работаем теперь в общий государственный котёл.

И каждый получает из этого котла свою долю, пропорционально своему труду. Пока в этом наша общественная справедливость. То, что справедливо для одного человека, не всегда справедливо для общества. И наоборот. Тебе пора различать это.

— Но у Петраковых на четверых – одни валенки...

— Ты хочешь отдать им свои?.. А кто даст валенки Пищевым, которые живут, как Петраковы? Кто даст Ильиным, Черниковым, Перескоковым?.. Ты дашь?.. Нет, милый друг, даже своей добротой ты государства не заменишь!

Отец бросил книгу на стол, встал, надел очки и ходил по комнате, морщась и потирая грудь. Я жалел не отца, мне было жалко Петраковых.

Я тихо сказал:

— А маленькая Валька у Петраковых босиком... по снегу...

И отец взорвался. Он повернулся ко мне и закричал:

— Ну? Что стоишь?.. Вон под вешалкой, только из мастерской, подшитые... Неси!.. – Он выбежал в кухню и вышвырнул в комнату все три пары валенок.

Отец последнее время часто взрывается, в ярости кричит страшные слова. Только мама как-то его успокаивает. Мама вмешалась и на это раз. Решительным движением положила на готовальню рейсфедер, молча взяла меня за руку и увела в мою комнату. Она ушла к отцу, прикрыв за собой обе двери. Некоторое время я слышал, как отец кричал: «Он должен понимать, что у нас пока социальное, а не материальное равенство!..» Потом голоса затихли.

Утром мама говорила со мной. Мама всё поняла. Папа обещал купить мне велосипед. Я попросил маму взять велосипедные деньги и купить платье Аннушке. Платье я отдал Ивану. Это было трудно, потому что надо было сделать так, чтобы не обидеть товарища. Я сказал: «Ты не говори, что от меня. Скажи, что сам купил, ладно?.. А то ещё не возьмёт...»

Иван долго смотрел на меня серьёзно и без радости. Потом оправил свой пояс-верёвку, сказал: «Ладно. Сговорюсь с Нюркой», — и взял платье.

На другой день я видел Нюрку в новом коричневом с белым воротником платье. Она сияла и боялась даже облокотиться на парту! Никогда ещё я не был так счастлив! Если бы я мог, я бы всем девочкам подарил по платью...

... Нашёл в куртке протокол. Гадко. Стыд! Горел на огне совести, как предатель. Поймал-таки меня лесник!

Отнёс протокол отцу. Сказал, что было. Отец посмотрел протокол, задумался, сказал: «Есть пословица: лучше поздно, чем никогда. Я считаю: «поздно» и «никогда» — одно и то же. Рад, что не скрыл, нашёл силы вернуться к позору.

Но бумажку верни Красношеину. Он составлял протокол, он и должен вручить его лесничему...»

Так вот, товарищ Алексей! Думай!..

Утром ходил к моей сосне. Есть такая сосна, на вырубке. Удивительная сосна! Всегда она бережёт для меня тепло. Даже в холодные дни, где-то внутри, под её старой морщинистой корой, я чувствую тепло, когда крепко-крепко прижимаюсь к сосне щекой. Мне спокойно здесь быть. Думать.

Я стоял под сосной и думал. Думал о том, как должен жить.

Я знаю, что жизнь – это солнце и тучи, огонь и вода, добро и зло. Движение. Борьба. Но как я должен жить? Что я в жизни?

Не знаю.

Мне нужен бог. Да, бог! Не тот, что придуман и сидит на небесах. А тот, который был бы во мне, который не давал бы мне покоя.

Мне нужен бог-человек. Мудрее, лучше, сильнее меня. Пусть он жестоко карал бы меня за слабость. Но вёл. К добру, справедливости. Туда, где мне и всем было бы счастливо.

Мне нужен бог...



ГРИБАНИХА

В один из вечеров заявила к Гужавиным бабка Грибаниха. Откутала шаль с головы, сняла зипун, сложила на лавку. Исподний белый платок ловко развязала, скинула на плечи. Отирая лицо узкой сухой ладонью, весело спросила:

— Все дома? – оглядев каждого, что-то ладящего в особицу, и как будто всё уразумев, сказала:

— Ну, и ладно: хоть порознь, а вместе...

Бабка Грибаниха жила одна, в старой избёнке у ручья. Жила небогато, на те рубли, что получала за уборку большого сельсоветовского дома. Летом прирабатывала у скупщиков-кооператоров: задёшево сдавала им собранные в лесу грибы и ягоды. В город на базар не ездила, бабам, посмеиваясь, говорила: «Стара я торговать, голубушки!..»

Видно, от скупщиков и пошло по селу – «Грибаниха», и забывать стали её настоящее имя — Авдотья, Авдотья Ильинична Губанкова.

Васёнка, завидев бабу Дуню, просияла лицом, подбежала помочь: подхватила с лавки зипун, шаль, повесила к двери на гвоздь. Баба Дуня ладонями подобрала гладкие седенькие волосы, не стесняясь, будто была у себя дома, оправила в поясе длинную юбку, нагнулась, рукой пошарила в кошёлке, вытащила узелок, скорыми шагами пошла к Витьке.

— Глянько, что тебе справила, — сказала она и на ходу ловко раскинула узелок. — Глянько! — она встряхнула и растянула перед собой за рукава серую рубашку-косоворотку. — Что сидишь-то? — прикрикнула она на Витьку. — Прикинь! Ладна ли...

Витька испуганно глядел на Грибаниху, неверной рукой отложил раскрытую книгу, встал нерешительно, как будто его ругали.

— Баба Дуня... Ну, ни к чему это... — бормотал он. Он не решался протянуть руки к рубашке и в замешательстве ощупывал свою грудь.

Грибаниха с укоризной покачала головой, обернулась к Васёнке, будто призывая её рассудить:

— Смотри-ка, принять не смеет! Летось все дрова мне поколол. Поленицы так примостил — полешки прямо с крыльца, как с печи, беру. Угостить хотела — сбежал... Нет, сынок хороший, добро за добром ходит. Прими и носи!.. Ты, Гаврила, береги парня, Витька у тебя ладный, в ум растёт!..

Капитолина подобрала к бокам локти, раздувая маленькие ноздри, ушла за печь. За печью на всю избу громыхнула ведром.

Грибаниха будто не слышала, стояла, приглядываясь острым взглядом к отцу. Отец сидел, примостившись у стола, выпиливал Капитолине ключ к её сундуку. Грохот ведра его потревожил. Он поднял голову, прикидывая, как опасен шум за печью. Шум не повторился. Батя молча склонился к ручным тискам, неторопливо повёл рукой, железка взвизгнула под напильником.

Васёнке неловко было за батю.

— Проходите, баба Дуня! Садитесь вот сюда, здесь мягчее, – звала она.

Грибаниха присела на Васёнкину постель, взяла в руки, оглядела шитьё.

— Всё других обшиваешь! Сама-то когда приданое соберёшь?! Я вот бесприданницей в девках сидела. Потому и замуж поздно вышла. Никто не брал. Длинная была, говорили, много ситца на платье надо! А тебе – будто не срок!.. Что зарделась? Ай не невеста! Ты, Васёнушко, как спелый огурчик на грядке! Всё думаю: чтой-то наши парни зевают. Не иначе, чужак увезёт...

Притихшая было Капитолина шумно выдвинулась из-за печи.

— А я что? Давно долблю... И жених рядом!..

Светлое лицо Васёнки притемнилось, губы задрожали.

Грибаниха это заметила.

— Полно, Капитолина, — сказала она спокойно, — не каждый сосед в женихи годится. Погоди, Васёнушко, приедет сызнова тот хороший человек, ужо вместе тебя сосватаем. Такого ли парня найдём, умного да приветного!.. Самого бы Арсенюшку на тебе оженила! Да женатый он. Не женатый был, всё одно, — годики его не жениховские...

— Ой, баба Дуня! Горазды вы в стыд вгонять... — Васёнка закрылась руками.

— Стыд не стыд, а время, Васёнушко! – Грибаниха улыбалась краями морщинистых губ, тылом ладони любовно разглаживала у себя на коленях Васёнкино шитьё. Зойка подлезла к ней под руку, заблестела чёрными глазами.

— А ты что, курносая? Тебе-то на женихов рано заглядывать! – Она прижала Зойку к себе, покачала, как понянчила.

На крыльце заскрипели доски. Кто-то гулко топнул.

Дверь в сенях стукнула о рубленую стену. Гость, видать, был не из робких.

— Васёнкин жених! – шепнула Зойка. Она высунулась из-под руки бабы Дуни, горящими глазами уставилась на дверь.

Через порог широко шагнул лесник Красношеин. Его ядрёное, нахлёстанное ветром лицо багровело, на щеках, коротких бровях и по краям козырька фуражки блестели капли дождя.

— Хозяйкам и хозяину предпраздничный привет! – крикнул Красношеин и на весь дом хохотнул, уверен был, что пошутил удачно.

Он снял фуражку, отряхнул, стащил через голову тесноватый ремешок командирской планшетки, расстегнул и скинул себе на руку шинель. Всё он делал медлительно, как будто показывал каждую свою вещь, и при этом поглядывал то на Капитолину, то на бату, то на Грибаниху, то на Васёнку и каждому улыбался. Развесив свою амуницию на стене, он на косо́й пробор уложил запотевшие под фуражкой волосы, подул на расчёску, опустил её в нагрудный карман тёмно-синей форменной гимнастёрки, застегнул на кармане пуговичку, сел на лавку, вытянул ноги в кирзовых мокрых сапогах, скрестил на груди руки.

— Лес отпускал! – сообщил сразу всем. – Для школы. День среди сосен туркался, на таком-то ветру! Мужичонки недогадливы попались. «Погреться, говорю, пора». А они: «Сей же час, милчеловек, костерок запалим...» Слышь, Гаврила Федотович, костерок запалим! У меня, можно сказать, мозг костей холодом прихватило. А они – костерок!..

Васёнка видела, как батя мигнул Капитолине. Капка и без того не стояла на месте, а как поймала батин знак, вмиг исчезла за печью. Слышно было, как выхватила с горки миску, в торопливости рассыпала ложки, откинула тяжёлую крышку подпола.

Батя сгрёб железки в ящик, освободил стол. Он, как многие на селе, заискивал перед молодым лесником, хотя свою от него зависимость скрывал ворчливым шутейством.

В хозяйстве, где корова, бычок, овцы, не на каждый год вдоволь накашивали сена. На долгую зиму нужен запас хороших дров, жерди на огород, новый стояк на дворину, дрань на крышу – всё из леса. Да что говорить, даже уголь для колхозной кузни жгли из берёз, что отпускал лесник! И не один Гаврила Федотович, каждый мужик понимал, какая доля в постоянной хозяйственной нужде покрывается добрым расположением лесника.

Васёнка знала нужды дома, всё понимала и не осуждала бату ни за поклоны, ни за богатые угощенья. Она даже с покорностью сносила сватовство Леонида Ивановича, пока шутливое, но с каждым гостеваньем всё более назойливое. Она не хотела худого своему дому и терпеливо ожидала, что лесник поиграет в женихи и отступится.

Привычная суета, которая с приходом Красношеина началась в доме, душевно её не затронула. Васёнка наперёд знала, что Капка выставит сейчас на стол четвёртную бутылку, соленья, холодное мясо и даже мёд – всё, чем каждый раз она щедро потчевала лесника и накрепко прятала от Зойки с Витькой. Сама Васёнка, и Зойка, и Витька с этим смирились и старались не замечать всегда обидной для них суеты с угощением. Но сегодня в доме у них была добрая её сердцу Авдотья Ильинична, и Васёнка страшилась, как бы косые взгляды бати и Капки, накрывающей на стол, не обидели бабу Дуню, не заставили её уйти. И когда батя сгрёб со стола свои железки и, задержав на столе ладонь, строго глянул из-под нависших рыжеватых бровей и коротко бросил: «Васёнка, самовар!», она, привычно вскочив, обернулась к всё понимающей Авдотье Ильиничне и громко, с вызовом, сказала:

— И не думайте уходить, баба Дуня! С нами отужинаете.

И тут же, как будто испугавшись, дерзких своих слов, жалко улыбнулась, попросила:

— Не уходите, баба Дуня! Побудьте...

От печи уже шумела Капитолина.

— Зойка! На погреб за капустой... А ты, книжник, — нацелилась она взглядом на Витьку, — быстро за водой!

Ужинали невесело. Батя с лесником выпили по кружке Капкиного припаса, глотнула, морщась, сама Капитолина, пригубила стопку баба Дуня. Васёнка не притронулась. Она, опершись локтями на стол, уложила подбородок на ладони и с чувством затаённой враждебности наблюдала, как лесник, не спеша, руками разрывая куски, ел мясо.

Вытерев осаленные пальцы о стол, он ногтем мизинца прочистил зуб, поймал Васёнкин взгляд, подмигнул. Васёнка отвернулась.

Батя пока молчал. Склонив над столом голову, он с какой-то угрюмостью медленно жевал, но по тому, как взглядывал он на бабу Дуню, Васёнка чувствовала, что в бате зреет недобрый к ней разговор.

Она не ошиблась. Замочив усы уже во второй кружке, отяжелев головой и языком, батя вдруг поднял голову и взглядом будто вцепился в спокойно сидевшую рядом с Васёнкой Грибаниху.

— Авдотья! Тебя спросить хочу... Пётр, твой мужик, голову за власть сложил. Вот ты скажи: для тебя, как ты вот есть, что важнее: чтоб рядом твой мужик был, землю пахал-сеял, тебя кормил-грел, дом ладил? Или больше тебе тешит тебя та общая жизни перемена, что с нынешней властью пришла?..

— Вот это вопрос! – хохотнул Красношеин. – Почешешься, пню не быть деревом!..

— Ответь, Авдотья! Скажи как на духу!..

Грибаниха приоткрыла рот, как будто задохнулась от услышанных слов, метнула взгляд мимо бати, на ослеплённое теменью окно. Наверное, одна Васёнка видела, как тень неизжитой тоски прошла по её глазам. Тут же взгляд её прояснел, сомкнулись в спокойствии губы, она протянула руку к поставленной перед ней стопке, взяла её.

— Давай-ка, Гаврила, за твоих детей! – сказала она тихо.

— Не-ет, Авдотья, глаз своих ясных за рюмку не прячь! Ты за правду стоишь. По домам ходишь, людям душу бередишь! Вот и скажи... Скажи: нужно человеку своё? Что вот так, рядом, — батя рукой охватил, придавил к себе Капку, — что сердце твоё греет? Нужно своё?!

— Что за слова говоришь, Гаврила! – Грибаниха, не пригубив, поставила стопку на стол... — Нужно. И детям своя мать нужна!..

Батя сморщился, будто схватил ртом горчицы, потряс лохматой головой.

— Жгёшь, Авдотья, меня жгёшь. А волдыри на твоей коже пухнут! В чужую жизнь не лезь, свою гляди. Что твоя жизнь? Обёртка от конфетки! Поманила, а конфетку другой сосал! Петра из земли не подымешь. Пацана... Как его? Имя-то не православное... Кима! – тьфу ты, придумали такое — тоже, считай, в поминальник записала. Увёл твоего сердечного Сенька, извиняюсь, товарищ Степанов! Для меня всё одно – Сенька, будь он хоть ещё на пять стульев выше! Вместе овсяной кисель хлебали, в одних норах раков шарили, бок о бок землю ковыряли, одной ночью укрывались. Слышь, Авдотья, одной ночью укрывались, когда коней пасли! Будь он хоть в области, хоть в Москве – для меня всё одно – Сенька...

— Вот даёт! – сказал лесник. – Промоем мысль, Гаврила Федотович! – он подхватил со стола тяжёлую бутылку.

Васёнка, и без того обеспокоенная недобрым разговором, с тревогой следила, как Леонид Иванович с блестящими от возбуждения глазами лил из бутылки в кружку бате, заодно и себе. Она следила за хлопотами лесника, но остановить, сказать, нужное слово не смела. Батя сам не принял кружки. Он даже как-то в сердцах отвёл руку лесника.

— Погоди, — сказал он. — Я с Авдотьей говорить хочу... Увёл Сенька от тебя пацана? Увёл. Как бычка проданного. Небось и деньгами не суживает? Своим горбом рубль добываешь. И живёшь в чём? В хоромах — дверью хлопни, угол завалится... Где ж твоя светлая жизнь, Авдотья? На общую ты мне не кажи. Я про твою, про личную твою жизнь! Где она, светлая твоя жизнь, за которую твой Пётр «ура» кричал? И ты, сестра милосердная, — люди небось не врут — рядом с ним у Байкал-озера кровь пролила. Свет завоевала, а своё-то счастье в кулак уместила, да и оно, как вода, меж пальцев ушло. Воротилась ты к пуповине своей, к землице семигорской. А с чем воротилась? С пустом. С пустом, Авдотья! Кто у тебя теперь? Кто греет твои посохшие бока? Людям головы замудряешь, души бередишь. А у самой ни света, ни доброго куска, ни тёплого угла!.. Чего глядишь? Ты мне молчком душу скребла. Теперь я тебе своё выложил. Зри!..

Васёнка, бледная от переживаний, крикнула голосом, дрожащим от обиды:

— Батя, как вы можете?!

— Не встречай, Васёна! — осердился Гаврила Федотович. — У нас с Авдотьей свои, невидные тебе, счёты... — Он сидел, грудью и локтями навалившись на стол, притихнув, ждал, что ответит Авдотья.

А Грибаниха, как будто все батины раскалённые слова прошли мимо, её не поранив, молчала и глядела на батю каким-то далёким и жалеющим взглядом. И батя, хотя и держал себя за столом хозяином, не имел сил — Васёнка это видела — выдержать её взгляд.

Баба Дуня вздохнула, и все услышали этот её трудный вздох, но никому она не дала успеть выразить ей сочувствие и как-то совсем спокойно попросила сидевшую у самовара Васёнку:

— Налей-ка мне чайку, Васёнушко. Заварки не пожалей, покруче...

Двумя руками она бережно приняла блюдце с чашкой, до краёв полной, не расплеснув, поставила перед собой. Отхлебнула глоток, посмотрела на батю, сказала даже вроде бы задумчиво:

— Гаврилушко, ты ведь не на меня, на себя злой!

— Это как понимать? — Батя откинулся от стола, затылком упёрся в стену.

— А вот так и понимай. Я одна живу, да миром богата. У тебя дом полон людей, а ты — один. Среди людей, а — один, Гаврилушко. Потому и зол...

Грибаниха, откусывая от маленького кусочка сахара, с блюдца, не торопясь, выпила чай, опрокинула пустую чашку вверх доньшком, не глядя на растерянно молчавшего Гаврилу Федотовича, вышла из-за стола. Убирая седые волосы под платок, сказала Васёнке, будто в доме они были одни:

— Приходи, Васёнушко, ко мне. Девки-то на праздник в моей избе беседу собирают! – Укладывая на голову поверх платка шаль, одной ей шепнула: — Всё брось, а приходи. Радость тебе готовлю...

Лесник Красношеин вышел из-за стола, встал, покачиваясь, рядом с Васёнкой.

— Как же это вы, Авдотья Ильинична! Её зовёте, а до меня ваша доброта не доходит? Или я для гуляния негодж?..

Он покачивался с носков на пятки, заложив руки в карманы штанов, смотрел на уже укутанную в шаль Грибаниху хмельными улыбающимися глазами. Васёнка опустила голову, не смея шепнуть бабе Дуне своё слово.

Грибаниха из-под надвинутого на лоб платка покосилась на поникшую Васёнку, на отяжелевшее от сытости лицо лесника, лукаво засветились её глаза.

— Ну, что это ты на себя наговариваешь, Леонид Иванович! – сказала она, как будто в огорчении всплеснув руками. – Гож ты, гож для гулянья, сокол перелётный! А не зову я тебя потому, как ты уж зазван. Девки сказывали, к Феньке ты гостевать собрался!..

Красношеин перестал качаться, оглянулся в неожиданной оторопи на Гаврилу Федотовича, на Капитолину.

— Ты, бабка, не того... — сказал он сразу охрипшим голосом. – Дура сболтнула, ты по домам носишь!

— Так ведь, Леонид Иванович, все на людях живём!.. Ладно, уж, не серчай на старую!.. – Она обняла, потрепала по спине Васёнку, за руку попрощалась с Витькой, Зойкой, молчаливую Машеньку погладила по густой копне волос и ушла.

Все слушали, как Грибаниха прошла сенями, спорыми шагами спустилась с крыльца. Когда шагов не стало слышно, Капитолина будто очнулась.

— Ишь, набрякала костями! Хоть бы сказала чего путное... — Она поддёрнула рукава платья на тугих коротких руках, ухватила бутылку. – А ну, чтоб на том свете с ней не повстречаться!..

— погоди! – Гаврила Федотович поднял разлохмаченную голову, шурясь, будто не узнавая, смотрел на лесника. – Как это она сказала?.. Ты, говорит... А? Сама одна, как... А чем в меня тычет?!

Красношеин почесал затылок, грузно подсел к столу.

— Ладно, друг Гаврила Федотович. Замоем наши скорбные чувства.

Все трое сдвинули над столом руки, кружки звякнули. И Васёнка, услышав этот дружный звяк, задрожала. Быть за столом она больше не могла. Оделась, зажгла фонарь.

— Ты куда? – остановил её Гаврила Федотович, он не успел сунуть в рот огурец, рассол капал ему на бороду.

— Корову проведать...

— Гость за столом!

Васёнка взяла фонарь, вышла. На дворе, в привычном запахе, тихом квохтанье потревоженных светом кур, шелесте соломы под ногами, доверчивом мычании коровы ей стало спокойнее. Она повесила фонарь на жердину, провела овец, беспокойно посверкивающих зелёными глазами. Корове сунула в губы корочку, погладила по тёплой шее. Пошла за сеном, набрала охапку, понесла в стайку. Сено покалывало шею, царапало ухо, но сладко было вдыхать его летний запах, и Васёнка, осторожно шагая по соломе, прижимала к себе сено и улыбалась. И если бы кто-то мог увидеть Васёнку в это самое время, он понял бы, что не одному отошедшему лесу, которым пахло в её руках сено, улыбалась успокоенная Васёна. В её робкой улыбке было что-то новое, затаённое.



ЖЕНЬКА

У Женьки Киселёвой своих праздников не было. Общий для всех Октябрьский праздник она считала своим и ждала этого всегда светлого для неё дня, как невеста выданья.

Накануне сбросила несменные свои сатиновые шаровары, до тверди замасленные и пропылённые, такую же кофту и кепку, порыжевшую от солнца и пыли, помылась в баньке. С утра расчесала коротко стриженные волосы, прихватив их сзади скобкой-гребешком, надела красное шерстяное платье, — отрезом на платье колхоз одарил её на май, — чулки, новые туфли без каблука, повязала голову кумачовой косынкой и, так и не посмотревшись в зеркало, — а поглядеть на себя этот раз хотелось, но в доме даже маленького зеркала Женька не держала, — пошла к сельсовету, радуясь, что на воле не по-осеннему тепло и можно стоять и слушать праздник в платье.

Встать у трибуны Женька застеснялась — Иван Митрофанович в своей речи опять нахвалит её! — походила в сторонке, пока вся луговина не заполнилась народом, и пристроилась с краю, среди запоздавших мужиков и баб.

Быть в праздник на людях, слушать умные, горячие слова — для Женьки было таким же обязательным и важным делом, как пахать землю. Слово Советской власти в Женьке, кругом одинокой, отзывалось трижды: голосом не выжившего после гражданской отца, вздохом недавно умершей матери, заботами неродных ей людей, которых в Семигорье звали сельсоветчиками.

Поэтому Женька не терпела всякие посторонние разговоры в толпе и понимала их как неуважение к митингу.

Через головы баб и мужиков она взглядом тянулась к украшенной кумачом трибуне и досадовала, что ей неловко глядеть: головы колыхались, мужики ходили, разговаривали, кого-то уже пошатывало.

Подшли бабы, встали позади, что-то не поделив, тарахтели, как пустые вёдра под телегой.

— Не долдоньте, бабы! Речи начинают! — нетерпеливый Женькин голос осадил баб. Они было попритихли и тут же схватились пуще прежнего.

Женька ростом выдалась выше многих мужиков и видела лицо и фуражку Ивана Митрофановича. Но бабы мешали ей слушать. А тут ещё в обнимку с низеньким кривоногим Батиным влез к бабам Красношеин. Батин шарил по оттопыренному лесникову карману, вытащил чекушку, в пьяной радости стал бить кулаком в доньшко. Женька заметила его старание, не стерпела.

— А ну, убери! – сказала грозно. – На чистое место грязь роняешь!..

Батин заморгал глазами, посмотрел на лесника, видом своим выпрашивая защиты. Лесник лениво отмахнулся. Батин понял и снова ударил по доньшке.

— Кому говорено? – крикнула Женька. – Совесть свихнул, так я тебе сейчас вправлю...

Лесник, как бы удивляясь и призывая людей в свидетели, сказал:

— Ну, времена, от баб хода не стало! – и, не глядя на Женьку, посоветовал: — С властью женихаешься, так лезь к трибуне, невеста!

Ударили Женьку обидные слова. Случись такое в поле – не уйти бы леснику от её кулаков. Но здесь, на празднике, она себя удержала. А сердце кипело, злые слова разрывали стиснутый рот, и Женька, вытянув худую шею, без голоса, в себя, закричала первую в своей жизни речь.

«Совести в вас нет, балаболы безмоторные! Власть нашу попрекаете?.. Так слушайте тогда про мою бабью жизнь! Всё как есть выложу...»

И почудилось Женьке, что прошла она сквозь толпу и, вздрагивая от гулких ударов сердца, встала на трибуне.

«Как щупала мои худые бока неладная моя жизнь, сказывать не стану – сами знаете, на глазах росла. Из девок ещё не повылазила, а уже девчоночки мои радости ветром по полям раскатало. Бог, видать, не в тот час спать надумал: не удалась я ни в отца, ни в мать, ни в сестричек своих – царствие им земное! Это про меня старухи нашёптывали: «Мужиком задумали, девкой выродили!»

Девке без парня – что дню без солнышка. Я всё же девкой была, тоже парня ждала. Жду, а парни все – прочь, все мимо, будто не девка я, а сохлый плетень, — пруток обломить и на то рука не тянется! Забралось тут в мою тугодумную голову удивление. Где-то, думаю, огрехов наворочено! Зеркало раздобыла. Дождалась пустой избы, приложилась. Как к материнной руке приложилась! А оно-то, зеркало, мачехой обернулось, по глазам, по самому что ни на есть, сердцу вдарило! Насмотрелась, наревелась да и зеркало об печь!

Мать-то всё ведала. В сундуках пороется, сестёр принарядит. На гулянье отправит, вслед им спины перекрестит. А мне скажет: «Сиди-ка дома. Ладно уж...»

Я молчу, А что ни дальше, то горше. Вижу – и ждать-то нечего. И такая меня злость взяла! Неужто, думаю, цена девке – красивая вывеска! Неужто, думаю, без красоты баба не баба, человек не человек?

Думаю: я вам, красоткам, ещё покажу!

Ни фи́га не показала. Сёстры, одна за другой, замуж повылетали, распорхались по разным концам. Мать будто того и ждала: помолилась в угол, слегла, да двух недель не прохворала – померла в больнице от неоткрытой болезни.

Осталась я со своим богатством. Всё богатство за спиной – пятнадцать зарёванных годочков!

Потуркалась по пустой избе, в последний разочек наревелась до одури, нашла топор, доски, заколотила избу и пошла по чужим домам нянькой.

Годочка два мыкалась, вроде бы и злость пообломала. Раз в хорошем доме нянчила. Сижу, помню, у печи с не своим дитём на коленях – погода к осени уже заворачивала – и думаю: «Может, впрямь тебе, Женька, несчастье на роду записано? Ждала – не дождалась, искала – не нашла. Притулиться бы тебе где ни то да притихнуть: не своё дитё на коленях, не от своей печи и тепло?!»

Покорись я тогда своей обидности, так бы себя безрадостью и спеленала!

На другой день повстречала свою судьбу: за избами, в поле увидала трактор. Пахал он, стелил над рыжей пашней пыль, и дым, и гул. Что тогда сотворилось со мной! Стою середь поля, за ручку дитёнка не своего держу, а всю-то меня, как от мотора, трясёт.

И то сказать: семнадцать годков сама с собой горюхалась и вот отыскала своё. Чуть дитё не бросила. Подхватила на руки да к дому, сдала хозяевам, за хлеб-соль поклонилась и в тот же час вприпрыг сюда вот, к позабытому Семигорью. Добежала до колхоза, до нашего председателя. До чёрной ночи его терпеньё пытала, — и с глазу на глаз, и на людях. Под конец треснула табурет на серёдку, говорю: «С места не сшевелюсь, пока в ученье не пошлешь!» — и табурет под себя.

Председатель подёргал-подёргал бровями, хлопнул дверью, ушёл. Поутру взходит, я – сижу. Вижу – лицом и туловом набряк, как пузырь бычий, молчком за бумаги. Я – сижу. Чую, теперь он меня пытается. Мне – что, отходить некуда, ему – терпеть. Я ему как сорина в глазу.

Тут мужики поднакопились, он с мужиками говорит, будто меня нет, да вдруг как рыкнет: «Вон девку!»

Вцепилась я в табурет, зубы выставила, ору, как на собрании: «А ну, подходи, кто смелый!»

Может, уволокли бы меня от председателя, только не живую...

В тот час и взошёл Иван Митрофанович.

Слово за слово с председателем, со мной. Понял, в чём собака зарыта, говорит: «Что же это ты, Михайло Иваныч, девке поперёк судьбы бросаешься?.. Ну и что, что из нянек! Ну и что, что мужиков хватает! А война случится? Мужики на войну уйдут. Паше Ангелиной одной, что ли, пахать?.. Мужики мужиками, а девку посылай учиться!»

До нынешних пор понять хочу: сама ли добилась, Иван ли Митрофаныч за меня схлопотал? Как училась – стыд рассказывать. Буквочки-то за свои три класса вызнала, а как в слова их ставить – так запутаюсь. Куда ловчее из железок и болтов узлы собирала!.. А всё ж в занятиях часа не проморгала. По картинкам заучивала. Где книжку не обойти, к соседу, мальчонке, бежала – с голоса запоминала.

И что я скажу, хоть верьте, хоть не верьте! С того самого часу, как качнуло меня на железном сиденье и трактор пошёл-покатил от моих рук, не стало в Семигорье Женьки-сироты. Ни матери, ни жениха, самого чёрта не надо – трактор да я! Всё было в этой живой железяке – и тепло, и моя сила...

Поцарствовала я на полях. Да, говорят, у царицы власть, пока её сила держит. Забарахлил мой тракторишко! И чёрт будто учуял – нет у меня трактора, и опять я – баба...

Ездил у меня в прицепщиках Васька-балабол. Дали на мою головушку молодого, да ленивого, да гуляку беспросветного! Заглохнет трактор – я рукоять кручу, аж руки из плеч выдёргиваются! А ему – ничто, привалится к плугу, покуривает. Нашумишь на него – он этак лениво, через рваную свою губу, сплюнет, скажет: «Мне-то что за интерес? Ты на тракторе, ты и крути...»

Раз заставила, другой, на третий вроде сам пожалел. А на четвёртый... - «Погреешь, говорит, заведу...» Сгоряча кулак под нос ему сунула. Да день на дне не кончается: другой день, третий да пятый. Очумела я от своего железяки, живого-то и ублажила... Тут-то баба из меня и выперла: «Что же, говорю, красившее не нашёл?» А он слюну цыкнул этак через зубы – говорит: «Мне с лица воду не пить – ты в работе красивая...»

Купил балабол! Бабье сердце купил! Сработались, к слову сказать. Жить ко мне перешёл. Муж не муж, не расписывались, а почувяла я себя женой. Корову купила, ждала дитё. Забыла, дура, что моё бабье счастье чёрт вилами на воде рисовал. С дитём не остереглась: трактор на ремонт поставила да вгорячах под колесом снатужилась. Родилось дитё без жизни.

А муж не муж, балабол мой распрекрасный, гулянку на гулянку менял. Я в поле – он к девкам, я в дом – он из дома. Миловались этак мы с ним, да в этих-то радостях я и подумала: «Да что я – не человек?» — и порог ему указала. И злость и горе – дождичком по мне прошли. Ну, думаю, всё: отшумело, и к брошенной землице благодать пришла. Снова я да трактор, да рабочая моя радость.

Рано загадала: свинью от полного корыта не отгонишь. Полыхнул пожар в Семигорье.

В ту ночь пахала Заозёрный клин. Близко лесок, глухой, не шибко приятный, к селу для глаз открыто. Через поле увидала, как в аккурат под крайним тополем ночь, будто зорькой, подсветило. Остановила трактор. А зорька силу набирает, и вижу – вроде бы жёлтая рука тополь щупает. Смахнулась я на пашню к дому бежать, да на лесок-то и оглянулась.

Что было с тракторами в ту пору! Части запасной не сыщешь. Поломается – тут тебе и стоять. Кулаки в ту пору уже не стреляли, нет, а вот ловкие люди не хуже кулаков орудовали. Заезаешься – трактор оберут, как липку. Магнето, ремни – что в карманах да руках удержится – всё унесут. Потом через десятые руки за десять твоих шкур из-под полы тебе же сторгуют.

Оглянулась я на лесок, и в голову вдарило: дом подожгли, теперь трактор стерегут!

«А, думаю, пускай вся моя бабья жизнь вместе с домом спылет! Без дома – не баба, а без трактора я не человек!.. Влезла на своего коня, в мотор рёву поддала, даже набата не слышала. Кончила пахать, к дому на тракторе подкатила. Черно на костерище. Головни дымятся, из печи пустой чугунок бок кажет. Даже корову не вывели. А тополь, без листа, без суков, из погорелья, как чёрный палец, в небо указывает. Тут-то я и вспомнила балабола своего, губу рваную: уходил – пригрозил: «Пожалеешь ещё, кость железная...»

Присиротила меня в своём доме тётка Анна, мать Макарушки Разуваева. Ближе к осени она же углядела в московской газете: описал кто-то про меня, мол, подвиг я совершила. А я, сказать по-честному, трактор пожалела.

Через малое время, под самые Октябрьские праздники, зовёт меня в сельсовет Иван Митрофанович.

— Вот, — говорит, — тебе, Евгения Петровна, от государства. За твой мужественный поступок. За безотказную твою работу. На эти деньги дом себе поставишь и корову выберешь...

Вот как оно обернулось: ждала сиротства в чужом доме, а меня Советская власть в свою родню взяла!..»

Женька отёрла кулаком слезину, тихонько огляделась: ни лесника, ни Батина рядом не было. Иван Митрофанович ещё говорил, говорили и бабы, стоявшие позади. На Женьку никто не смотрел. И Женька теперь жалела, что люди не слышала её горячей исповеди...

Митинг закрыли. Толпа в нерешительности колыхнулась, раздалась по сторонам. Потом луговину как будто наклонили, толпа хлынула к одному краю и потекла, сначала медленно, потом скорее.

Женька в этом живом потоке стояла, как упёршийся в отмель корытень, не в силах уйти от того, что сейчас в себе пережила. Люди шли мимо, она знала их всех, от сопливых стригунков с озороватыми глазами до молодух, баб и густобородых плотных стариков строгого староверского обличья. По лицам, по взглядам, по движениям она видела, что заботы, от которых они не ушли даже в праздник, торопят их к домам и гостям.

Женьке, стоявшей на притоптанной луговине, улыбались, махали руками, кричали: «К столу приходи! Пива ныне наварили...», «Что зачужалась-то?! Пошли гулять!..» Но Женька, простоволосая, коротко стриженная, стояла, наматывая на пальцы красную косынку, и отвечала на приветы непонятной улыбкой. Сегодня ей не хотелось бездумья. Она желала праздника чистого, светлого, хотела умно и по душам говорить с хорошими людьми.

Последними уходили с луговины Гужавины – Васёнка и Витька. Остановились. «С праздником вас, Женя!» — поклонилась Васёнка. Мягкий Васёнкин голос будто пригладил угловатую Женькину душу.

— Нынче скоро праздник отбыли, — говорила Васёнка. — Должно, гулять долго будут! К нам приходите, Женя. Всё веселей, чем одной!

Женька презирала всех красивых девок, но добрая красота гужавинской дочки смиряла её, как тишина тёплого вечернего поля. Золотистое, будто обласканное солнцем, лицо Васёнки, доверчивый взгляд её захороненной нежности. Голосом, сиплым от подступивших чувств, Женька сказала:

— Спасибо, Васка. Случится быть рядом – притулюсь к вашему застолью. Покуда вина не хочу. А ты, Витюха, куда путь держишь? – Женька любила говорить с ним о жизни, и теперь ей хотелось Витьку придержать, хоть малость погореваться другому сердцу. Витька пожал островыпирающими даже под отцовским пиджаком плечами.

— Может, к дому, Витенька, пойдём? – несмело позвала Васёнка. Встревоженными глазами она смотрела на Женьку, будто молила не задерживать братика. Ни Витька, ни Женька не знали, как металось её сердце, как не хотелось ей идти в свой приготовленный к гулянке дом.

— Пойдём, Витенька! И вы, Женя, с нами! Право, все пойдёмте, пойдёмте к нам!.. – упрашивала Васёнка.

Женька вдруг озлилась. Всегда близкая обида на свою одинокую судьбу ожгла ей душу.

— Ну что ты парня тащишь на пьяную маету глядеть! – закричала она. – Айда, Витька, со мной, к Макару! У него завсегда праздники чистые. Умные у Макарушки праздники!

От слов Женьки Васёнка зарделась, как заря от близкого солнца. Потупилась. Улыбнулась жалко и незащитно.

— Да уж что, Витя. Поди побудь, — сказала она. – А я побягу. Гости, того гляди, найдут!.. — Покоряясь одной ей известной необходимости, Васёнка пошла лёгкими шагами, остановилась. – Братик, прошу тебя, вертайся поскорей! – В тихом её зове была такая одинокость, что даже у Женьки дрогнуло сердце. Зло щуря поблёскивающие глаза, она глядела, как Васёнка с колыхающимися за плечами синим платочком быстро и плавно, будто гонимая ветром, уходила в улицу. Когда Васёнка скрылась за домом, Женька надрывно крикнула:

— Витя! Не умею я сказать, что есть во мне... Но ты-то веришь, что у Женьки Киселёвой тоже сердце, а не мотор? Ладно, молчу. Пошли к Макару. Ему, как богу, выверну свою разэтакую душу!..

В тёплом и чистом доме Макара уже сидел за столом Иван Митрофанович, по-домашнему раздетый до рубашки. Женька, с ходу пообняв тётку Анну, погладив по сутулой спине хлопотавшую у печи Грибаниху, бочком, будто стесняясь, прошла в горницу, на цыпочках обошла стол, с шутливым почтением села на лавку, рядышком с Иваном Митрофановичем. В улыбке широкого рта обнажив красные влажные дёсны и белые крупные зубы, она проговорила сиплым, надорванным в грохоте мотора голосом:

— Вот не думала, не гадала, что в праздник усядусь за стол с самой Советской властью!

Иван Митрофанович шилом провернул в поясном ремне дырку, глянул на Женьку.

– Не тот счёт, Евгения Петровна! Ты уже двадцать лет с Советской властью за одним столом!

Женька рассмеялась:

— А ведь в точку угодил, Иван Митрофанович! Сегодня и моей жизни аккурат двадцать. Мать будто ведала, что в тот год в Петрограде «Аврора» гукнет. Так что считай – я вместе с революцией рождённая...

— А этого не знал, — сказал Иван Митрофанович. — Промашку мы с Макаром тут явную допустили... Ладно, Женя, дай нам денька три, обмозгуем.

— Да разве об этом речь! – обиделась Женька. – Я тебе про жизнь толкую, а ты про подарок!.. ты лучше в моей вот обиде помоги.

— Что за обида? – Иван Митрофанович затянул и оправил на рубашке-косоворотке ремень, передал Макару шило, повернулся к Женьке. Женька затруднялась начать разговор, клонила к полу, кулаком постукивала по ладони. Сказала наконец:

— Прослышала я, будто с Мадрида детишек в Ленинград привезли. Люди сказывали, по семьям их раздают. Чтоб, значит, не было среди них сирот. Ты не слыхал, на Волгу не прибывает такой пароход?.. – Женька смотрела на Ивана Митрофановича с ожиданием. – Не слыхал?.. Она вот тоже говорит – знать не знаю! Дора наша, Дарья Кобликова, что в райкоме сидит. Была я у ей в кабинете... Говорит, если б даже привезли, на руки не дали. «Почему, спрашиваю, не дали?» — «А потому, говорит, что не каждому можно доверить воспитывать испанских детей!..» Слышь, Иван Митрофанович? Не каждому. Понимай – мне не дано. Ты ответил бы так? Можешь ты думать, что я малого вырастить не сумею?.. Одну и обую, и молоком и драничками накормлю. Сама, если что, стерплю, а ему – первую ложку... И ягодок в бору собираем. Пахать, сеять вместе будем. О фашистах вспомнить не дам, клухой над ним растопырюсь... И земля семигорская ему полюбится. С места не сойти – полюбится! Не веришь?

Иван Митрофанович не скрывал, что растроган Женькиной печалью.

— Верю, Женя! Как в самого себя верю. Ты чистый, горячий, правильный человек. Только хорошую твою мечту не смогу я поддержать: нету у меня испанских детишек...

— Понятно. Кукушке гнезда не свить.

— Не обижай, Женя. Ты не кукушка, я – не бог!

— Ладно. Будто не понимаю! – Женька вскинула голову, обвела всех затуманенным взглядом. – Навела я на вас скукоту! Другого дня не выбрала... Ругайте, штрафуйте, негодную!.. – Она подняла руки.

— Ну, к столу, что ли? – сказал Иван Митрофанович. – Подвигайся ко мне, Евгения Петровна! За тебя и таких, как ты, хочу первое слово молвить... И ты, Гужавин-младший, не тихонься у окна. Знаю, человек ты уже рабочий! Садись-ка в красный угол...

Иван Митрофанович распорядился за столом, как у себя в доме. И ни тётка Анна, ни Макар, ни Грибаниха не удивлялись: Иван Митрофанович говорил, что всех хороших людей давно записал в родню. Он взял ржаную горбушку, приложил к губам бережно, глубоко вдохнул.

— Родной запах! Люблю! – сказал и сощурился, как будто что-то припоминая. – А ты не думала, Евгения Петровна, что ты – первый представитель рабочего класса на селе? В партию вступать тебе срок...

— Ух, хватил, Иван Митрофанович! – Женька развела руками, покачала головой, а сама лицом распалилась, будто в гору вбежала. – Мне ли речи людям говорить? Языком я – вон как Витькин батька кувалдой по железу. Ушибить – ушибу, а чтобы душу подлечить или мозги кому вправить – на то не научена. Нет, мил человек, быть мне беспартийным большевиком при вас с Макаром...

— Слышь, Макар? Она считает, что мы только языком и горазды!

— Э, Иван Митрофанович, не в ту сторону ручку крутишь! – Женька улыбалась и грозила худым мозолистым пальцем. – Слово – это я по себе знаю, — когда оно горячее, двух, а то и трёх дел стоит! Без горячего слова сердце пустеет. А с пустым сердцем не наработаешь. Так, Макарушка?..

— Так, Женя, — сказал Макар. – А всё-таки за тебя я бы поручился – ты делом говорить умеешь.

— Полно вам! – хрипло сказала Женька. – Лучше ругайте. А то зареву... Ну что, за праздник, что ли? – Женька осторожно взяла гранёную стопочку. – Витьке-то налейте. Работник! И помощник – дай бог каждому!..

Витька в смущении рвал с ладони жёлтые бугры мозолей. С трудом поднял глаза, поверх стола встретился с внимательным взглядом Макара. Макар от своей тарелки переставил налитую стопку.

— Чокнись с нами за праздник! А пить – не пей, повремени, — сказал он. – Садитесь, мама! Авдотья Ильинична! Вас что, печь заколдовала?!

— Сейчас, Макарушка! Вот уж пирог подрумянится... — откликнулась баба Дуня.

Когда она появилась в горнице. На ходу приглаживая растрёпанные волосы, и села на лавку рядом с Витькой, улыбнувшись ему и обдав его жаром печи и запахом горячего масла, Макар сказал:

— Ну что же, Иван Митрофанович, тебе речь?..

— Куда денешься! Такая уж должность... — Подумал, сказал: — Мирно лет бы ещё сто нам землю пахать да хлеб сеять. Но коли воевать случится – чтоб все воевали, себя не жалеючи. Как ныне работаем! Такое моё слово...

Уже за самоваром, в неторопливом чаепитии, Грибаниха, с доброй хитрецей глядя на Макара, сказала:

— А что, Анна, вроде бы за столом человека не хватает!.. Не думается тебе?..

Тётка Анна, мать Макара, седыми, ровно зачёсанными назад волосами и ещё чем-то — достоинством своим, что ли? – очень похожая на Грибаниху, только на голову ниже высокой бабы Дуни, лицом пошире и поглаже, затеплела глазами, её руки зашарили по столу, метнулись к груди, — видать было, она хорошо поняла Грибаниху и взволновалась её словами. Радуюсь, тревожась, смущаясь чего-то, она сказала:

— Жду того дня, Авдотья. Устала ждать! Всё кажется, не даст бог внучков голубить. Вон глядите на него! – она направила палец на Макара. – Смеётся! А до смеха ли?! Двадцать седьмой годок! Прячешь глаза, неторопь бессовестный! «Я, говорит, мама, человека на всю жизнь выбираю!» Будто мы за своих мужиков шли не на всю жизнь!..

— Ты, Макар, слушай мать! – неожиданно строго сказала Грибаниха. – Выбирай – не спеши, но коли выбрал... Не за тебя тревожусь. Горлинке от коршунов самой не отбиться!..

Слова бабы Дуни накрыли Макара, словно тенью. Он перестал смеяться, весь подобрался и сосредоточенно, будто собираясь встать, смотрел на острый кончик лежащего на столе ножа.

— Извините, товарищи женщины, что в ваш разговор встречаю. Но... — Иван Митрофанович большим пальцем провёл по жёстким усам, — большое торопить – на малом споткнуться. Человек новый пиджак надевает – и то нужен срок пообвыкнуться. А тут не пиджак!.. Ты что, Анна, Макара своего не знаешь? Он восемь раз меряет, потом уж – и то не сразу! – отрубает. Но что отрубит, то навек!.. Дело, как я понимаю, у Макара залажено. Так что давай-ка ещё по рюмочке за твоё материнское спокойствие, Анна, за основательность, за крепкость всего вашего рода! И чтоб посажёного отца другого не искали – сам буду!.. Женья? Ты что?.. Ну, ну, девонька, негоже на праздник кулаками глаза мять! Я ещё не всё сказал. К тебе своё слово обращаю. За твои, Женья, двадцать героических лет, за душевную твою красоту, которую ты не скроешь от нас даже махоркой, которую, назло неизвестно кому, куришь! И знай, на всю жизнь пойми, что родня ты нам самая что ни на есть близкая. И до тех пор, пока мы есть на земле. А что на земле не мы, так родня наша будет вечно – это ты сама знаешь! Ну, выше голову, Женья!..

Иван Митрофанович ложкой выловил в глиняной миске солёный груздок, положил на ломтик хлеба. В какой-то далёкой задумчивости он жевал, и впалые щёки его шевелились под выпирающими скулами. И когда дожевал, остался в прежней задумчивости, Витьке даже показалось, что у Ивана Митрофановича сменилось настроение.

— Да, люди мои хорошие, — сказал Иван Митрофанович уже без прежней оживлённости. — Спешить никогда не след. Ни перед лицом жизни, ни перед лицом смерти... Даже Чапай... Только раз Чапай на глазах заспешил. А мог бы. Мог!.. Урал-то я переплыл...

Грибаниха даже как будто вздрогнула от этих слов Ивана Митрофановича.

— Погоди, Иван, - сказала она. — ты про то не говаривал...

— Не спрашивали, потому и не говаривал! А был я в тот день... в Лбищенске был.

Витька даже про пирог забыл.

— Так рассказали бы, дядя Иван! В кино-то разве не так? — с неожиданной настойчивостью спрашивал он, забыв, что минуту назад не посмел бы сказать слова. Иван Митрофанович не глядел ни на Витьку, ни на Грибаниху, но видно было, что он сам взволновался тем, что вспомнил, — его щёки будто нагрелись изнутри.

— Нет, кино я не хую, в кино правду показали. — сказал он. — Правду. Да не всю... В Лбищенске наши тылы стояли. Фронт, считали, был не ближе сотни вёрст. Ну, и настроение соответствующее. Снабжение туго шло, в основном из-за реки. А на понтонах много ли доставишь?.. Мне приказали ладить мост. Строили ходко, сваи догнали почти до той стороны. Тут в Лбищенск и приехал Чапаев со штабом. А часа в два ночи началось... Часов до десяти отбивались. Потом Чапаева на берег доставили. Рубаха в крови, рука — плетью. А всё горячится. «Назад!» — кричит. Потом, видать, понял, что нет другого ходу, кроме как на ту сторону, за Урал. Гляжу: через реку, вплавь, наши последние уходят, а сверху, с берега, вдоль воды, казаки из пулемётов бьют. Тут и сошлось всё на той самой минуте, что до сих пор сердце жгёт... Кричу: «Василий Иванович, за мост! Все за мост! За сваями переправимся...» Хоть и страшный момент, а прикинуть можно было. Не вышло. Всё, будто рекой заворожены, орут: «К воде его, к воде!...»

И Чапай, разгорячённый, оглушённый, поторопился. Оттолкнул от себя всех, поплыл. Под пули поплыл... До моста всего-то шагов двести было. За сваями хоронясь, переплыл я Урал. А Чапаев не переплыл. Так-то вот... Может, и случай. Да не всё случай! Около десятка со мной перебралось. С винтовками...

И Женя, и Грибаниха, и тётка Анна, и Макар слушали Ивана Митрофановича не шевелясь. У Витьки от напряжения занемела шея. Но он и сейчас, после того как Иван Митрофанович замолчал и, выложив на стол руки с широкими кулаками, задумчиво глядел в тот день своего прошлого из-под серых встопорщенных бровей, не мог повернуть головы, отвести глаз от человека, который был рядом с Чапаем.

Макар сидел напротив и тоже молчал, пальцами потирал прямой напористый лоб.

— Как оно, брат! – сказал он, вроде бы ни к кому не обращаясь. – Чапай, а в горячности не нашёлся!

— Как видишь! – сказал Иван Митрофанович. – Мне уж не придётся, если что. А вам с Витькой помнить о том надобно...

На улице и в доме стемнело. Макар зажёл фонарь проводить гостей. С открытых звёздных небес стекал холод. Тётка Анна набросила на плечи Жене телогрейку, хотела накинуть Макаров пиджак на Витьку, но Витька стеснительно увернулся. Он ещё не чувствовал себя у Разуваевых как дома, хотя все относились к нему, как к своему.

— Гляди-ко, — сказала, выходя на крыльцо, Грибаниха. – тепло-то только до праздника выстояло. Будто заказал кто!

Хмельная Женька плечом сдвинула Макара в сторону, с горьким вызовом спросила:

— В кино небось с Васёнкой пойдёшь?

Макар смолчал. Витька слышал, как Женька трудно хлебнула воздух, будто не хватало ей простора, что был вокруг от чёрной земли до звёзд.

— Эх, Макарка!.. ладно, не сердчай на меня, на дурру. Это я так, — от вина поослабла... Тётка Дуня! Иван Митрофанович! Где вы там? Вместе айдати! – Женька отошла от Макара, по-мужски грубо, с сипотцой, запела:

Хаз Булат удалой,
Бедна сакля твоя...

И, оборвав песню, крикнула из темноты:

— Эй, Разуваевы! Прощевайте!..



МАКАР

На второй день праздника показывали кино. От набившихся в клуб людей трещали дверные косяки, под скамьями подламывались ножки, неудачники с визгом и хохотом валились на чужие ноги. Пламя в керосиновых лампах, развешанных по стенам, шаталось, струйки копотиплыли к потолку.

Васёнка с Макаром сидели рядом. Люди сжали их так плотно, что Васёнка чувствовала напряжённое плечо Макара: он старался оттеснить соседа, чтобы хоть чуток прибавить Васёнке воли. А Васёнке было хорошо в этой тесноте. Она ждала, когда погасят лампы и Макар станет её обнимать: девки сказывали, что парни всегда обнимают в кино.

Пока налаживали ленту, Зинка Хлопова пробралась через ряды и уселась к своим подружкам позади Васёнки. Васёнка, не оборачиваясь, чувствовала взгляд Зинки, и, хотя лампы, наконец, задули, она переживала, что от синего луча стрекочущего аппарата в зале видно, как при луне, и уж кто-кто, а Зинка всё углядит!

«Сказать, чтобы не обнимал?» — думала, мучаясь ожиданием, Васёнка. Зинки она боялась.

На последней «беседе», что собралась в избе бабы Дуни, Васёнка весь вечер ожидала обещанной радости. А радости всё не было. Парни и девчата уж наплясались, все хорошие песни перепели, в «почту» наигрались. Васёнка про себя печалилась, уж к дому собралась, и вдруг — Макар! Встал у порога, снял шапку, поприветствовал всех зараз и — будто не знал деревенских обычаев! — вышел на пустую серёдку избы и, не таясь, не спуская с Васёнки весёлых глаз, пошёл к ней.

Вот уж натерпелась она страху!

Видела — к ней идёт Макар, чувствовала — не остановить его. И молила широко раскрытыми глазами: «И подойди. И сядь. Но молчи. Сядь рядом и молчи. Дай совладать с собой. Ну, прошу... Так прошу!..»

Макар подошёл близко, жарко было от его горячих косящих глаз. Он уже готовился о чём-то спросить, но тут взгляд его дрогнул, как будто он услышал её мольбу. Молча сел рядом, локоть опёр на своё колено, поигрывая шапкой, с какой-то лукавостью оглядел притихшую избу.

Васёнка теперь видела, что все смотрят на Макара и на неё.

Макар, улыбаясь, оглядывал всех, спокойно и легко на себя принимал колкие взгляды девчат, сгрудившихся вокруг сдвинутого в угол стола.

— Беседу собрали, а что не пляшете? – просто, будто здесь он был хозяином, спросил Макар.

Зинка Хлопова качнула ногой в модном шнурованном ботинке, с вызовом спросила:

— Сам-то плясать будешь?

— А как же! — с готовностью ответил Макар.

Зинка встала.

— Давай, Иван, играй цыганочку! Потрафим редкому гостю!

Постукивая то носками, то каблуками ботинок, она вразвалочку и, в то же время, легко пошла серединой избы.

Макар наблюдал, как пляшет Зинка, а сам незаметно клонился ближе к все еще замиравшей от страха Васенке. Дождавшись, когда на него и на Васенку перестали смотреть, он тихо и быстро сказал:

— На праздник кино обещали. Не откажи, Васенка, приходи. У клуба тебя дождусь... Сегодня хотел побыть, да никак – в МТС бегу!..

Зинка, разгоряченная пляской, громко и зло топнула перед Макаром ногой. Макар подскочил мячиком, в своей кожаной куртке, в сапогах, вприсядку прошелся вокруг Зинки. Будто боясь, что Зинка его сейчас схватит, он прыжком отскочил к двери, смеясь, еще раз взглянул на Васенку, махнул шапкой и выбежал за порог.

Зинка, покачивая острыми плечами, прошла мимо не смевшей пошевелиться Васёнки, крикнула, чтоб слышали все:

— Смотри, на всё село ославит такой ухажёр!.. – и поджала свои сто раз целованные губы!..

Вот что случилось на «беседе». Васёнка понимала, что Зинка неспроста пробралась через набитый людьми зал и уместилась позади. Теперь ей было не до картины.

Не поворачивая головы, Васёнка покосилась на Макара. После светлого экрана она вдруг разглядела, где у Макара лицо. А когда разглядела – дух прихватило: Макар не смотрел на картину, низко нагнувшись, он сбоку глядел на Васёнку, и глаза у него светились.

Макар так и не обнял Васёнку.

Когда механик вставлял в аппарат новую часть, мальчишки, забившие весь перед клуба, завозились, засвистели, пошвыряли шапки в потолок, и рассерженные мужики потащили мальчишек к выходу. Макар разглядел войну у дверей, шепнул Васёнке: «Я сейчас...» — и быстро-быстро пробрался через ряды туда, где шумела обиженная ребятня. Васёнка видела, как Макар обратно привёл вытолканных из клуба озорников, усадил их и, громко крикнув: «А ну, ребята, ша!..», угомонил сразу всех и сам сел среди мальчишек. Так до конца кино она и не видела Макара.

Макар отыскал её в расходящейся толпе, пошёл рядом. Васёнка крепилась, хотя Зинка Хлопова успела её обидеть: впереди неё, пробираясь среди сдвинутых скамеек, Зинка обернулась, насмешливо обронила:

— Сбежал от тебя твой-то!..

— Уж и прилепила! – испугалась Васёнка, а сердце ожгло неожиданным словом – «твой!».

Васёнка одна сошла с высокого клубного крыльца, уже стыдась, что она – одна.

— Пошто ушёл-то?! – попрекнула Васёнка, радуясь что Макар снова рядом с ней.

Макар развёл руками.

— Ребятня в плен взяла! – и, понимая Васёнку и винясь перед ней, сказал: — Малые ведь! Выгнать, понятно, легче...

Они шли, поотстав от всех. Народ дорогами и тропами разбежался по селу. Какое-то время слышалось, как по обеим сторонам улицы гулко колотили в дверь, кто-то стучал в дребезжащее окно, кто-то кого-то кликал. То у одного, то у другого дома взлаивали потревоженные собаки. Наконец, всё утихло, и Васёнка с Макаром остались одни, в одной заботе: чтобы дорога, по которой сейчас они шли, была длинной, как ночь.

От околицы, с полей, от стылого леса шла тишина, такая ясная, хрупкая, что Васёнке казалось: хлопни она в ладоши – и с неба, как этот первый иней с деревьев, посыпятся звёзды. Засверкают, посыпятся на тёмные дома, на острые крыши, на дорогу, на идущего рядом «её» Макара...

Среди звёзд Васёнка увидела едва прочерченный тоненький серпик и обрадовалась, тут же поверив, что новорождённый месяц сулит ей счастье.

— Глянь-ка!.. Месяц родился!..

Замерев, она ждала, что ответит Макар. Ей даже не важно было, что он ответит, важно было, как ответит, и она, вот сейчас, сразу, узнает, о чём он думает.

Макар почувствовал на плече робкую Васёнкину руку и посмотрел вверх, куда смотрела Васёнка. Он увидел затерявшийся в звёздах серпик. И, хотя этот краешек будущей луны никак не мог вмешаться в его жизнь, Макар был рад, что именно сейчас он появился в небе, потому что из-за этого лунного краешка Васёнка своей рукой тронула его плечо.

Он почувствовал, что Васёнка связала с народившимся месяцем что-то важное в своей жизни и, угадывая это важное, радуясь и стараясь дольше задержать на своём плече Васёнкину руку, осторожно сказал:

— На счастье...

Васёнка засмеялась, отвернулась, закрыла лицо варежкой.

Они много раз прошли село от околицы до околицы, наконец, остановились под берёзами, у Васёнкиного дома.

Васёнка встала у калитки и сразу увидела, как тоненький месяц отблёскивает в крайнем, её окне.

— Макар! – позвала Васёнка. – Пошто тогда, на «беседе», ты прямо на виду ко мне подошёл?..

Макар долго не отвечал, глядел на Васёнку, потом сказал:

— А к чему скрываться? Пришёл тебя повидать, вот и ...

— А я чуть разума не лишилась!..

Макар тихо, как будто про себя, засмеялся, положил ей на плечи свои тяжёлые руки, бережно притянул к себе. Сердце у Васёнки заметалось. Она не уходила от его рук, не отворачивала лица. Беззащитная перед силой Макара, она, едва шевеля испуганными губами, попросила:

— Не обижайте меня, Макар Константинович!

— Как можно обидеть тебя! – сказал Макар дрогнувшим голосом и с осторожностью прижал свою горячую щеку к её холодной щеке.

Васёнка отвернула запыхавшее лицо, чуть отступила, загадав ещё раз увидеть ясный серпик в окне, и не увидела. Торопясь, осторонилась, даже привстала на плетень – плетень, прихваченный молодым морозцем, заскрипел, ломая чуткую тишину. У лесника залаяла собака, где-то взвыла другая, в доме глухо стукнуло, как будто в тёмках уронили скамью. В окне сдвинулась занавеска, к стеклу прилипло бледное пятно – Капитолина!

У Васёнки в груди захолонуло, как перед бедой. А Макар спокойно стоял, плечом подпирая ствол берёзы, смотрел на Васёнку, улыбался.

— Погоди, утихнет сейчас... — сказал Макар.

И правда, ночь утихла.

Васёнка повернулась к Макару. Ещё бы чуток смелости – и кинула бы она ему на плечи руки, зажмурила глаза, чтоб Макар не видел её стыда и тоски, зашептала бы: «Веди меня, Макарушка, отсюда! Беду чует сердце... Хочешь моей жизни – веди!» И ушла бы с ним, на Капкиных глазах ушла, не оглянувшись. Не хватало Васёнке смелости: девичья доля застыдила. Будто над ухом услышала строгий окрик матушки: «В уме ли ты, доча?! Да можно ли самой-то на парня кидаться! Парню делать, девке ждать...»

Никогда не перечила матушке Васёнка, не ослушалась и на этот раз. А Макар стоял под берёзой, полный спокойствия и силы, смотрел на неё горячими глазами и молчал, как будто они всё уже обговорили и уладили, и дело было только за сроком. Не ведал он её страхов, не знал, что Васёнке нужны были надёжные слова, за которые она могла бы ухватиться в своей неулаженной девичьей жизни.

Васёнка подождала, теребя концы завязанного у шеи платка, улыбнулась потерянно, робко поклонилась и пошла по тропке к дому.

У Макара тревожно стукнуло сердце, он шагнул в калитку. Васёнка дошла до крыльца, обернулась, и Макар, нарушая тишину, позвал:

— Васёна! Васёнушка!.. Ты не затворяйся в дому. Завтра же к клубу приходи!

— Приду-у... — шёпотом ответила Васёнка и уже с крыльца махнула Макару варежкой.



ЮРОЧКА

1

Странно, но ещё в прошлую осень Алёшка не знал, что на свете есть Юрочка Кобликов. Среди семигорских ребят Юрочка не появлялся, он жил в районном городке, за Волгой, и судьба свела их уже в новой для Алёшки городской школе.

Когда Алёшка стоял перед незнакомым классом, близоручко выглядывая свободное место, в отчаянье готовый сесть на первую ближайшую к нему парту, он вдруг почувствовал на плече тяжёлую руку и близко увидел знакомые, цвета спокойной летней зелени глаза Васи Обухова.

— Что, оробел? – басок у Васи стал поглуше, взгляд, как всегда, усмешливый. – На своей земле робеть не положено. Ребят в классе восемь, с тобой – девять. Девчат – двадцать шесть. Так что держись к нам поближе... Пойдём, покажу тебе место. Вот по ряду – последняя, по положению – особая. Парты Юрочки Кобликова. – Вася качнул блестящую парту, как будто пробуя на прочность. – Кобликова сейчас нет. На соревнованиях. Через денёк-другой явится. Хочешь испытать свой характер – садись. Обижать будет – скажешь...

Алёшка улыбнулся наивной заботе Васи Обухова и решительно положил портфель на парту. Он ещё не знал, что очень скоро Юрочка чёртом войдёт в его жизнь, накидает ему в душу горячих углей. И не раз за годы жизни Алёшка обожжёт о них своё сердце.

День, когда Юрочка появился в классе, Алёшка помнил и сейчас. Нахмуренный, с надутыми губами, ни на кого не глядя, он подошёл к парте и бросил свою сумку прямо на Алёшкины учебники.

— Двигайся к краю. Я у окна сижу, — приказал он. За парту сел шумно, как большая птица на дерево, расставил локти и затих. На втором уроке Юрочка долго косился на скромно молчавшего Алёшку и вдруг ногтем прочертил границу поперёк парты, отхватив от Алёшкиной территории полосу в два сантиметра шириной. Кровь бросилась к щекам Алёшки, но он сдержал себя. Он решил выстоять перед Юрочкиным напором и добавил Юрочке ещё сантиметр своей территории.

Три дня прошли в обоюдном и твёрдом молчании. На четвёртый день Юрочка убрал широко расставленные локти. Хмуро уставившись в беспросветное, мокрое, как река, небо за окном, отрывисто спросил:

— Откуда?.. Где живёшь?.. Почему не в городе?..

— Живу там, где отец работает, спокойно пояснил Алёшка.

— Охотник?

— Кто, отец?

Юрочка медленно повернул свою красивую голову с пышными, как у девчонки, волосами.

— Ты что – чудак? – спросил он, разглядывая Алёшку не моргающим взглядом. – Твой отец мне до кисточки... Сам охотник?

— Охотник.

— Без шуток? Может, так, ворон пугаешь?

— Без шуток... — сказал Алёшка и рассмеялся. – Ну, хватит дурить, Кобликов! Уж знакомиться, так по-человечески... — он протянул Юрочке руку.

Юрочка крутнул головой, отвернулся, тут же выставил острый локоть.

Два урока он каменно сидел, не замечая Алёшку. На третьем подобрал руки, уткнул подбородок в кулак, угрюмо спросил:

— Кем работает?

— Кто?

— Отец...

Алёшка ответил, стараясь, чтобы даже тень улыбки не проскользнула в его глазах. Но Юрочка и на этот раз не оценил его стараний: он сердито провёл рукой по своим волосам и отвернулся к окну, подперев кулаком побледневшую щеку. Алёшка тогда ещё не знал, что Юрочка живёт без отца.

— Ладно, — сказал, хмурясь, Юрочка. – Ты, чудик, мне по душе. По крайней мере, не хочется вlepить по твоей физиономии. Зайдёшь ко мне домой, поговорим...

На следующий же день Алёшка отыскал на тихой улочке с деревянными мостками-тротуарами дом Кобликовых, очень похожий на все другие дома: обшитый тёсом, с простыми наличниками, глухим забором и закрытыми воротами. На всех трёх окнах горшки с гераньками, наполовину раздёрнутые занавески, как у всех – на глухой тёсовой калитке железное кольцо с лязгающим запором. За воротами – маленький двор с гусиной травой, запущенный садик с пятью яблонями и кустами малины вдоль забора, огород с уже пустыми осенними грядками. У сарая лежали и мокли под дождём берёзовые дрова.

Юрочку Алёшка застал на кухне, за столом. Он, как на троне, восседал на широкой лавке, по-деревенски наглухо прибитой к стене. Перед ним на старенькой клеёнке стояла четвертная бутылка с молоком и тазик, выше краёв набитый свежими огурцами.

— Здорово! – сказал он. – Раздевайся и проходи...

Из-за стола Юрочка не встал, он просто не мог встать, — к столу он лип, как муха, хоботком нащупавшая сахар.

— Давай, садись! Будем лопать... — Юрочка в нетерпении шевелил пальцами над столом. – Не думай отказываться! От удовольствий отказываются только дураки! – Он достал кружки, в обе налил молока. – Садись...

Юрочка склонился над столом, разгорающимся взглядом нацелился на тазик с огурцами. Осторожно, как изюминку из булочки, вытянул приглянувшийся ему свежак, приложился носом к его травянисто-матовому, тронутому желтизной боку, с наслаждением втянул в раздувшиеся ноздри огуречный запах и вдруг жадно, с хрустом откусил. Он сжёвывал огурец за огурцом, запивал молоком и, проглатывая это немислимое в глазах Алёшки месиво, в блаженстве жмурил глаза.

— Юрка, ведь животом намучаешься! – Алёшка почти в ужасе смотрел на белые от молока Юрочкины губы и зелень огуречной кожуры, застрявшую в его неровных зубах. Юрочка, вытягивая очередной огурец из тазика, вздохнул:

— У тебя мамаша случайно не доктор?.. Моя мамочка, например, не боится за мой живот... Ей кажется, что я нарушаю умственную диету... Запомни, чудик, приятное не может быть человеку во вред. Завтра буду наедаться селёдкой с белым хлебом и сладким чаем...

Юрочка дожевал огурец, с сожалением посмотрел на остаток молока в бутылки.

— Всё. Под шнурок!.. На сегодня отхотел...

Он вылез из-за стола, поиграл мускулами рук и плеч, как будто в животе у него не болталось почти полчетверти молока, прошёлся по кухне.

— Я тебе сразу скажу, чтоб ты на меня очки не паялил... Я – такой. Я давно понял, что жизнь не то чтобы скучная. Она, понимаешь, жмёт на нас разными делами. И всё чересчур важными, нужными, самыми нужными... Насмотрелся я на свою мамочку. Спит с портфелем под подушкой! А ты вон понаблюдай – курица и та не всё подряд клюёт, выбирает, что хочет. Гвозди, например, не клюёт, хоть они и на червяков похожи! Ты как на это смотришь?

— Не знаю. Не думал, - сказал Алёшка. – А радости всякие люблю!..

— Во, я в тебе это почуял! – Юрочка удовлетворённо похлопал себя по животу. – А вообще... Славу мою показать?..

Юрочка повёл Алёшку в комнату, выложил на стол альбомы с фотографиями.

— Это я на соревнованиях. На стадионе... Это – в области... Эти призы городу добыл! Я ж чемпион области по лыжам и бегу!.. Не знал? Пора бы знать. Я в области загорал, когда вы учиться начали. Меня с двумя гавриками в Москву готовят! Зимой – кросс. Летом с братьями Знаменскими на одну дорожку выйду! Серафим, тот, понятно, бог – не одолею. А Георгию пятки покажу. Не веришь? Десять секунд на полуторакилометровке осталось добрать, будем нос к носу... Ты как насчёт спорта?

Алёшка неопределённо пожал плечами.

Юрочка оглядел его фигуру, пощупал мускулы.

— Заняться бы тобой... впрочем, не обещаю... Слава требует времени. И характер нужен. Зато свободы больше, чем у любого смертного... А вообще-то меня другое захлестнуло. Что наострился?! Нет, Полянин, об этом с тобой рано говорить. Ещё неизвестно, что ты за фрукт! С виду зайчик. А что у тебя там, за твоим травоядным видом?!

Алёшка обиженно закрыл и отодвинул от себя альбомы.

— Ну, не девочка! – примирительно сказал Кобликов. – Съедем с тобой хотя бы фунт соли, тогда...

Он сел на один из чинно стоявших вдоль стен старинных стульев с прямыми спинками, заплетёнными рогожкой, ногу закинул за ногу, поиграл бровями.

— Случайно, не ты погоду заказывал? Сколько ещё лить будет – год, два?..

Алёшка засмеялся. Юрочка менялся на глазах, как осенний день, невозможно было сердиться на него.

— Что тебе погода? В лесу и в дождь хорошо!

— И никакого удовольствия!

— Я ходил.

— Ну и как?

— Двух из глухариного выводка взял...

Юрочка руками охватил спинки рядом стоящих стульев, в задумчивости сидел, вытянув хоботком сочные губы, покачивая ногой.

— Нет! – сказал он, вздохнув. – У дождя есть одно неприятное свойство: он мокрый...

Алёшка услышал в сенях медленные твёрдые шаги. Кто-то открыл и плотно прихлопнул за собой дверь. И от этого по-хозяйски плотного хлопка в доме что-то сразу изменилось. Вещи остались на местах: и стол, и старинные стулья, и гераньки на окнах, и не подходящая к общей обстановке, сурового вида железная кровать, накрытая серым суконным одеялом и отгороженная от комнаты самодельной этажеркой с книгами и журналами, — всё осталось на местах. Но Алёшка ясно почувствовал напряжение, которое вдруг установилось в сыром, пахнущем геранькой воздухе комнаты. Он видел, как Юрочка поспешно сбросил ногу с ноги, подобрал руки, на его беспечное лицо легла хмурая тень ожидания.

В напряжённой тишине отщёлкивал секунды тяжёлый маятник старинных часов.

Заскрипела половица, медленные шаги приблизились к порогу комнаты, и Алёшка невольно встал: слишком властным был вид невысокой полной женщины в чёрном строгом костюме, остановившейся в дверях. Женщина без улыбки смотрела на Алёшку — так смотрят усталые люди на ещё одного явившегося просителя. Ни руки её, ни заметно припухшие под глазами веки, ни властно сжатые губы не сделали ни единого движения, пока она смотрела на Алёшку. Юрочка пошевелился, привлекая внимание женщины к себе.

— Мама, это Полянин, Алексей... Новенький в нашем классе. Из Москвы.

— Полянин? — низкие брови на невозмутимом лице женщины приподнялись и опустились, как крылья медленно летящей птицы. — Слышала... — Голос её и взгляд смягчились. — Я рада, что у Юрочки, наконец, появился друг. Меня зовут Дора Павловна...

Звук «р» Дора Павловна выговорила с такой металлической чёткостью и силой, что струны испорченного боя в массивном футляре часов, висевших на стене, отозвались сквозь ритмичное щёлканье маятника дрожащим резонирующим звоном. Дора Павловна подошла к зеркалу, чётким движением руки поправили в костюме воротничок.

— Всё-таки, Юрочка, я недовольна тобой. — Она сказала это, не отходя от зеркала, строго глядя себе в глаза. — Ты обещал убрать дрова в сарай. Дрова у всех на виду, под дождём... Не думаю, что надо ждать, когда тебе или мне скажут об этом люди. Посидите здесь. Я приготовлю чай.

Дора Павловна вышла в кухню.

— Кажется, пронесло... — прошептал Юрочка. Шёпот прозвучал за спиной Доры Павловны, и Алёшка поморщился.

В поведении и словах Доры Павловны не было ничего, что могло бы Алёшку обидеть или унижить, и всё-таки он не сразу освободился от напряжения и ощущения какой-то душевной зябкости.

— Слушай, Юрка. Пойдём дрова в сарай перекидаем! – Он сказал это тихо, Дора Павловна не могла его слышать, но глаза Юрочки тут же по-зверюшечьи сверкнули. Не сводя с Алёшки взгляда, он с каким-то наивным удивлением протянул:

— А ты, оказывается, в паиньки лезешь?! Ладно, чай ты себе и так заработал. А таскать мокрые поленья – бррр!.. Ты лучше приготовься: у мамочки даже чай с политикой! Так что... — Юрочка пальцем покрутил у лба, — соберись...

Дора Павловна пила чай редкими медленными глотками. Алёшку она не угощала. Всё, что сочла нужным, она выставила на стол: хлеб, масло, пряники из магазина, вазочку яблочного варенья. Алёшка мог брать то, что хотел, мог ничего не брать – Дору Павловну это не волновало. Она сидела напротив, уперев локти в стол, в ладонях перед собой держала чашку, как будто сразу грела озябшие руки и подбородок, и глазами, полными дум, напряжённо разглядывала за окном серое низкое небо.

Юрочка уже два раза ронял на пол нож, звякал в чашке ложечкой, нервно покашливал, а Дора Павловна всё смотрела на обрызганное дождём стекло, изредка приближала к губам чашку, отпивала глоток и не замечала ни Юрочку, ни затихшего в углу Алёшку. Юрочка наконец потерял терпение.

— Мама, кажется, мы тоже за столом!..

— Да, я это знаю, Юрочка, — отчётливо произнесла Дора Павловна. — Бывают, мальчики, в жизни дела, когда всё, буквально всё отступает на второй и даже на третий план... Тебе, Алёша, налить чаю? Стесняться не надо. Ложный стыд порой толкает на поступки, которые человек в ясном сознании не совершает... Дай чашку... Я хочу сказать вам, мои мальчики, что нам всем надо иметь очень ясную и очень холодную голову. Наше время – время жестокой борьбы. На наших плечах свинцовая тяжесть туч. Сердца мы должны держать в холодных и крепких ладонях целесообразности... Ты, Алёша, конечно, в комсомоле? Да, в этом я не сомневалась. Ты кем думаешь стать?..

Алёшка от неожиданности обжёгся горячим чаем, неловко отставил чашку, с мольбой взглянул на Юрочку. Юрочка был безучастен. Как только Дора Павловна заговорила, он успокоился и теперь, локтями навалившись на стол и закрыв глаза, с наслаждением тянул сладкий, густо заправленный вареньем чай. С Дорой Павловной Алёшка был один на один и, смущаясь её вопроса и изучающего взгляда, краснея, ответил:

— Ну, прежде всего, добрым, справедливым...

— Вот! – с каким-то скорбным удовлетворением сказала Дора Павловна. – Душевность, доброта, благородство!.. А мы в ваши годы ловили бандитские пули. Пожарами устрашали нас кулаки. Но мы знали, кто мы, знали, что должны. И никто не делал за нас чёрную работу. Никто!.. Добренькие уступают поле боя врагу...

— Я не совсем понимаю вас. – Алёшка упрямо выдержал взгляд Доры Павловны. – Я не понимаю, зачем сталкивать дело и благородство?.. Разве благородные душевные качества мешают человеку жить? Если я делаю добро, я делаю плохо?

Дора Павловна слегка отстранилась от стола, с удивлением даже с некоторым интересом, смотрела на Алёшку. Пальцы её лежащей на столе руки нащупали кусочек хлебного мякиша и, как будто обрадованные находкой, слегка придавили к клеёнке. Взглядом удивлённым, с лёгкой усмешкой по краям строгих губ, Дора Павловна разглядывала Алёшку, а пальцы её с какой-то привычной неторопливой последовательностью мяли и прикатывали хлебный мякиш, пока он не скатался в плотный, податливый движением её пальца шарик. Удовлетворённо ощутив шарик, Дора Павловна сочувственно сказала:

— Я понимаю, Алёша, благородные устремления юности. Но юность – вам и Юрочке следует это знать – проходит. Жизнь человека складывается из сотен, из тысяч самых будничных и не всегда благородных, но необходимых дел. Да, молодость, а вместе с ней и пустые мечты, — повторила Дора Павловна с каким-то внутренним ожесточением, — проходит. Но... — глаза её сузились, в них как будто отразилась тяжесть хмурого неба, — бесконечная борьба! Мы несём на своих руках вышедший из пелёнок, ещё орущий, требующий хлеба и защиты новый мир. И не хочу, чтобы мой сын, принимающий из моих рук этого ещё не окрепшего ребёнка, размягчал свою душу вздохом о всеобщем добре и ложно понятым благородством. Я хочу, чтобы он дрался за будущее. Дрался как солдат!..

Дора Павловна властно положила сжатую в кулак руку на стол. Кулак как раз пришёлся на обкатанный хлебный мякиш, наглухо примял его к клеёнке. Торжественно и строго она смотрела на Алёшку, проверяя, какое впечатление произвели её слова.

— Даже за тихим рабочим столом мы – солдаты, — повторила Дора Павловна.

Она встала. С неожиданной для её фигуры лёгкостью прошла по кухне, остановилась у окна – руки закинула за спину, накрепко сцепила пальцы.

— Вы скоро убедитесь, мои мальчики, в неотвратимой правоте моих слов! — голос её упал почти до шёпота.

Алёшка не знал, о какой неотвратимой правоте думала и говорила Дора Павловна, и с интересом ожидал, что она скажет. Но Дора Павловна подавила искушение сказать о том, чрезвычайной важности, письме Сталину, которое она долго писала и которое, как она ожидала, повернёт её судьбу. Привычным волевым усилием она возвратила себя к реальности и уже по-деловому сказала:

— Юрочка, завтра я уезжаю в командировку. Четыре дня тебе придётся хозяйничать одному. — Она посмотрела на Юрочку и, не заметив огорчения на лице сына, сухо добавила: — А теперь проводи своего друга. Перед командировкой мне необходимо поработать.

На крыльце Алёшка постоял, пряча волосы под кепку и не сразу решаясь выйти под дождь. Юрочка смущённо переминался, пальцем тёр нос, наконец, с виноватой улыбкой признался:

— Чёрт разбирает мою мамочку! Говорит правильные вещи, а слушать неловко. Будто против воли кормит! Ты того... Не очень-то дуйся...

Он поёживался на холодном ветру и в своём огорчении и смущении был так хорош, открыт и доверчив, что Алёшка едва удержался, чтобы влюблено его не обнять. Именно тогда, на крыльце, он решил, что Юрочка станет новым его другом. Успокаивая Юрочку, волнуясь ещё неясными чувствами, он сказал:

— Всё хорошо, Юрка. Понимаешь, всё!.. Теперь, обязательно приходи ко мне!.. — И руки их, как будто сами собой, сошлись в крепком пожатии.

2

— Мама! Это — Юра!

Алёшка, радуясь другу, отступил от дверей и, не умея принять гостя, смущённо стоял перед ним, с мольбой поглядывая на мать.

Елена Васильевна только что посадила в печь хлебы, железной заслонкой прикрыла чело, с разгорячённого, озабоченного лица мизинцем отвела волосы — руки её по локоть были в муке.

— Здравствуйте, Юра! — сказала она. — По рассказам Алёши я давно знаю вас. Теперь рада видеть... А я вот совсем по-деревенски: даже хлеб пеку! Горе, а не хлеб!..

Юрочка вежливо улыбнулся, сказал осторожно, как будто знал, что задевает болезненное место в чувствах Алёшкиной матери:

— В городе нас избавили от подобных забот...

— Что говорить! В городе я не знала таких мук! – Елена Васильевна скорбно посмотрела на печь. – Проходите, пожалуйста, — попросила она. – Алёша, будь хозяином!.. Я сейчас, только приведу себя в порядок.

Юрочка шагнул в пронизанную светом комнату, зажмурился.

— Ну и солнца у вас! – сказал он, ладонью отгораживая от яркого света глаза.

Он отошёл в тень, с любопытством оглядел комнату, где спал Алёшка.

— Даже берлога своя!.. Ты в рубашке родился... — в его голосе слышалась зависть.

Юрочка откинул с окна колышущийся прозрачный занавес. В белых брюках, с копной курчавых волос на голове, стройный, как грек, он легко и небрежно стоял, локтем загорелой руки опираясь о косяк, его розовая шёлковая рубашка трепетала на сквозном ветру.

— Вид, скажу я тебе! Мать у меня райкомовский работник, а такого, — он щёлкнул пальцами, — нет!..

От чая Юрочка отказался.

— Если можно – потом, — сказал он вежливо. – Показывай, чем богат. Люблю, когда меня удивляют!..

Алёшка повёл друга по посёлку.

Старые леспромхозовские бараки с конторой, гаражом, конюшней и силовой электростанцией стояли по одну сторону маленькой речки Чернушки, запруженной у впадения в Нёмду. Новый техникумовский посёлок врезался в бор и разрастался молодыми срубками домов и учебных корпусов на другом берегу, со стороны Нёмдинской поймы. Срубы располагались широким кольцом, вокруг ровной площадки, отведённой под стадион. Будущий стадион был завален брёвнами, кучами глины и песка, пирамидами красного кирпича, ворохами приятно пахнущей свежей щепы, но Юрочка всё-таки остановился, взглядом окинул пространство уже недалёких спортивных поединков, сказал покровительственно:

— Тебе будет где развернуться...

В окружении людей, среди которых Алёша видел высокого худого Громбчевского и суетного завхоза Маликова, куда-то спешил по краю стадиона Иван Петрович. Он сердито что-то говорил, размахивал рукой, очки поблёскивали, он весь был в заботах и даже не заметил Алёшки.

Юрочка спросил:

— Кто это? Отец?.. И всем, что тут командует он?.. Позавидуешь тебе, чудик... Ну, ещё что покажешь? – спросил Юрочка. Он хмурился.

— Может, в гараж? Там мотоцикл...

— Уж не сам ли едешь?

— Сам.

Юрочка оттопырил мизинец, выдавил из глаза соринку, посмотрел на неё, прилипшую к пальцу, вытер палец о рубашку.

— Ну, а что ещё?

— Может, на конюшню? Верхом по лесу не хочешь?

Брови на снисходительно-спокойном лице Юрочки поднялись к колечку спадающих на лоб волос.

— Лошадки?.. А знаешь, моё любопытство ты разжёл!..

Алёшка обрадовано повёл Юрочку в старую часть посёлка.

Среди сосен завиднелась покатая крыша конюшни. И только тут Алёшка с досадой вспомнил, что с конюхом Василием отношения у него не совсем хорошие. «Чёрт его знает! – думал Алёшка, чувствуя, что начинает нервничать. – Он и при Юрочке может показать себя!»

Отношения с конюхом были действительно сложными. Алёшка страдал от молчаливой неприязни Василия и на конюшню всегда приходил с настороженными и недобрыми чувствами. Не зная за собой вины, не понимая, откуда такая неприязнь к нему, он вёл себя с Василием то до дерзости независимо, то до противности робко.

А началось с того, что отец, делая свой обычный вечерний обход, — он каждый вечер обходил посёлок, как бы итожа рабочий день и прикидывая дела на завтра, — однажды позвал с собой Алёшку и зашёл вместе с ним на лесхозовскую конюшню. «Василий Иванович, — попросил он конюха. — Научите сына хоть держаться на коне. Парень, можно сказать, в деревне живёт, а коня не знает... Пригодится когда-нибудь...»

Лесхоз был придан будущему техникуму как опытное хозяйство, и просьбу директора Василий принял как приказ. В лошади он не отказывал Алёшке, но в том, как выводил он из стойла директорскую Майку, как молча и хмуро затягивал на седле подпруги, как выходил на двор с метлой, когда Алёшка появлялся у конюшни, во всём он чувствовал сдерживаемую неприязнь Василия.

В то утро, когда Василий в первый раз подсадил его на коня, он понял, что конюх его не любит. Он вложил ремешок повода ему в руки, сказал: «Натянешь – в рысь пойдёт. Надо остановить — повод ослабь, голосом прикажи... — Он поглядел мимо Алёшки, с убеждённостью добавил: — Остальное к заднице приложится...» Скупым движением отряхнул рукава своей застиранной рубахи с чёрными заплатами на локтях, пошёл починять снятую с колёс телегу. На обиженный вид Алёшки, на его негодующий взгляд, которым он пытался пронзить Василия, Василий попросту не обратил внимания.

Алёшка не мог не видеть, что Василий в деле строг. Он даже лесника Красношеина не пускал в конюшню. «Обожди, Леонид Иванович, — говорил он твёрдо. — Сам коня выведу». И лесник покорялся, ожидал на дворе, принимал лошадь из рук конюха.

Порядки, заведённые Василием, Алёшка знал. Тем с большим удовлетворением входил он в конюшню, понимая, что Василий не решится остановить его, шагал по чистым, скоблёным половицам, гладил лошадиные морды, подносил к их осторожным губам кусочки хлеба и сахар. Это была своего рода месть Василию за его молчаливую неприязнь.

Алёшка был далёк от того, чтобы посвящать Юрочку в сложность своих отношений с Василием. Он знал, что в лошади ему не откажут, и вошёл в конюшню с твёрдостью хозяина, похлопывая прутиком по штанине.

— Василий Иванович, нам бы лошадок! — сказал он не своим обычным, замирающим от смущения, голосом, а голосом чужим, громким и небрежным.

Василий сидел на чураче, в фартуке, чинил хомут. Он поднял от работы голову, внимательно поглядел на Алёшку, на чистенького, похожего на молодого гусачка, Юрочку. Не выпуская из рук шила и кривой иглы с чёрным хвостом дратвы, он ещё некоторое время шил, стягивая залоснённую кожу хомута. Потом снял хомут с колен, приставил к стене, молча пошёл выводить Майку. На дворе он закинул ей на шею повод, с руки сбросил на жердину седло, пошёл обратно в конюшню. Алёшка наблюдал каждое движение Василия, в каждом его движении видел скрытый недобрый знак и всё-таки, перебарывая робость, с той же небрежностью в голосе сказал:

— Нам бы, Василий Иванович, ещё лошадь...

Василий приостановился.

— Лошадей, хозяин, нету! — Он взял метлу, шаркая, стал обметать порожек.

Алёшке легче было бы провалиться сквозь землю, чем вот так, глупо и жалко, стоять перед Юрочкой. Он не смел поднять глаз.

— Вахлак твой конюх! – сказал Юрочка, он с осторожностью гладил золотистую Майкину шею. – Пёс с ним. На одной укатим!..

Часа через два, разгорячённые и взбудораженные, они привели Майку на двор. Алёшка сорвал у изгороди пук травы, на ходу, как после жаркой работы, отирал пропахшие лошадиным потом руки. Василий молча принял лошадь, ладонью отёр её мокрый потемневший пах, не отнимая руки от широкой Майкиной шеи, тяжело посмотрел прямо ему в глаза. Алёшка в замешательстве отступил от Василия, заторопил Юрочку к воротам. Но Юрочка вежливо остановил его.

— Подожди. Так оставить это нельзя, — сказал он и подошёл к Василию. — Вы, собственно, чем недовольны? – спросил он. – Лошадь – не машина, она должна потеть! – Глаза Юрочки смотрели холодно, на ярких красивых губах стыла усмешка.

Василий повернулся к Юрочке спиной, молча отстегнул подпруги, повёл Майку в поводу к конюшне.

— Вахлак. Ни на грамм вежливости!..

— Пойдём, пойдём!.. – звал Алёшка. Он чуть не плакал от обиды. Василий испортил ему хороший день.

— Ты не очень-то перед ним, — советовал Юрочка. – Твоё дело сторона. Взял конягу – и всё тут!.. Покажи мотоцикл! – вдруг сказал он, и Алёшка постепенно успокаиваясь, повёл Юрочку в гараж. Мотоцикл стоял на цементном полу, вызывающе поблёскивал металлом.

Юрочка опасливо сжал пальцами резиновую рукоять руля, как бы между прочим спросил у хлопотавшего у полуторки шофёра Гриши:

— Он в самом деле на мотоцикле ездит?

— Алёшка-то? Умеет! – сказал Гриша. – И на моей руль крутит!.. – Он гулко ударил по раскрытому капоту машины, дружески подмигнул Алёшке.

Мимо домов мягкой песчаной дорогой они шли к Нёмде на переправу. Алёшка умерил свою радость и сдерживал шаги: он был удовлетворён тем, что удивил друга.

Юрочка был задумчив, на встречных, знакомых Алёшке людей смотрел насуплено. Люди здоровались, и когда они проходили, Юрочка ревниво спрашивал: «Кто это?..»

У парома, на пологом песчаном берегу, как оспинами умятом следами людей и лошадей, Юрочка постоял, прищурено вглядываясь в переливающуюся солнечной рябью воду. Вздохнул, сказал:

— Тебе да не жить! Отец у тебя – чин!.. – Он сказал это с неодоленной тоской, как будто с чем-то смиряясь, и тут же улыбнулся своими лучистыми глазами. – Ладно, давай лапу, — сказал он. – Скоро на охоту двинем. И вот ещё что. Ты не можешь взять конягу и поехать, скажем, за грибами?.. Что смотришь? Не доходит? У меня, понимаешь, девчонка есть. Да знаешь её – Ниночка...

— Денежкина?!

— Ну!.. Никак не могу из города вытащить. А тут лошадка, лес, жёлтые листья – не устоит!.. Можешь?

— Конечно! Хоть завтра...

— Ну, всё. Будь здоров!

Юрочка разбежался, с дощатого причала легко прыгнул на отходивший паром. На пароме он встал спиной к Алёшке и ни разу не обернулся, как будто забыл, что Алёшка стоит на берегу.



ВАСИЛИЙ

1

Алёшка возвращался домой и от чувств, переполнявших его, запрыгивал на пни, стоявшие по обочинам дороги, и даже пробовал петь. «Молодые... капитаны...поведут...наш караван...» — выкрикивал Алёшка. Мальчишками они любили играть: прыгали с досок на щепки и дальше на камни, на скамейки, с обязательным условием перебежать двор и не коснуться земли. Радуюсь детской радостью, увлечённый воспоминанием игры, Алёшка прыгал с пней на корни, с корней на разбросанные сучья и снова на пни. На повороте, стараясь перескочить дорогу, он сорвался и обеими ногами оказался на земле. Досада проступила в его лице. Он было снова вскочил на пень, но та радостная приподнятость игры, которая только что была, к нему не вернулась. Он шёл теперь по дороге, чувствуя беспокойство, и хмурился, не понимая, откуда оно? Плохого как будто он сегодня не делал. Ни дома, ни в посёлке никого не обидел. Откуда же это нудное, как стон комарья у самых ушей, беспокойство?

Алёшку обогнала подвода. На порожней телеге, свесив ноги в пыльных сапогах, сидел возница. Он поглядел на Алёшку, чему-то усмехнулся, крутнул вожжами. Лошадь понесла. Телега наезжала колёсами на корни, подпрыгивала, стучала, удаляясь. Подпрыгивал, дрожал плечами и спиной — как будто хохотал! — незнакомый возница.

Лошадь, телега, мужик скрылись, а перестук колёс всё ещё гулко и хохотно разносился по лесу.

Алёшка остановился. Приятные события дня, которые до самой этой минуты он удерживал в себе, распались, обнажив то, от чего он пытался уйти. Конюшня. Василий. Его ладонь на взмокшем боку Майки, осуждающий взгляд. Да, вот она, та воспалённая точка, от которой шло беспокойство!

В детстве Алёшка свято верил, что все люди — добрые. И зло между ними возникает только от того, что люди не успевают вовремя объясниться.

«Когда всё ясно, открыто, откуда тогда взяться злу?» — думал Алёшка. Он чутко улавливал малейшую нелюбовь к себе и объяснялся с любым человеком тотчас, как только чувствовал с его стороны даже скрытую нелюбовь. Мир, в котором он жил, был добр к нему, и самой важной заботой Алёшки-отрока было прояснить отношения, если почему-либо они затуманивались, скорее возвратить доброе расположение к себе окружающих его людей.

Теперь, когда Алёшка повзрослел и границы его мира отодвинулись далеко от дверей их квартиры, городского двора и ближних улиц, он начал понимать, что не всё просто и ясно в отношениях между людьми. Нет, он по-прежнему верил в добро и по-прежнему хотел и старался, чтобы люди хорошо относились к нему и друг к другу. Но теперь он научился сдерживать себя, он наблюдал и думал и далеко не сразу и не к каждому спешил со своим откровением.

Василий был едва ли не первым человеком в его жизни, с которым Алёшка боялся открыто говорить. И хотя давно он тяготился нелюбовью Василия, он всё откладывал своё объяснение с ним. Чувства отвращали его от Василия, ничего доброго от разговора с ним он не ждал.

«Так нельзя, — думал Алёшка. — Так дальше нельзя! Надо объясниться. Надо завтра же с Василием объясниться!» — думал он и в возбуждении не замечал, что ускоряет шаги, почти бежит к посёлку.

Утром, проснувшись, он сразу вспомнил о Василии. Но желания пойти на конюшню и объясниться — на что вчера он настроился столь решительно — теперь не было. Алёшка подумал, что сегодня он может обойтись без Василия.

Он нежился в кровати, щурился от солнца, льнувшего к распахнутым ветром занавескам, с приятным чувством вспоминал Юрочку и, в общем-то, ничем не примечательную Ниночку, в судьбе которой должен был теперь принять участие он, Алёшка. Мысли были приятные, Алёшка улыбался в синеву потолка. Он не хотел портить себе выходной день и решил идти на рыбалку.

Но едва он оказался на берегу Нёмды, услышал стук топоров, голоса, шелест пил, — на стройке работали каждый день дотемна, — вернулось в его жизнь «вчера». Алёшка почувствовал, что не сможет спокойно сидеть за удочками, радоваться обычным своим радостям, пока не объяснится с Василием. Он вернулся, занёс удочки в сарайку, пошёл на конюшню.

Василий сидел на скамье, курил. Двор с плешинами выбитой травы был выметен, телеги расставлены в ряд, из раскрытых настежь ворот несло прохладой, острым крепким запахом лошадей и навоза. От сильных рук Василия, от его тела под рубахой без пояса, с раскрытым воротом, исходил жар. Косички жёлтых волос на висках и шее были мокры и темнели. Василий молча остывал, как перегретый мотор.

Алёшка решительно и хмуро сел рядом на скамью, подошвами ботинок долго приглаживал землю, наконец спросил:

— Василий Иванович, почему вы меня не любите?..

— А за что тебя любить? – Василий разглядывал тлеющий конец самокрутки, зажатой в широких пальцах, как будто обдумывал, продолжать разговор или довольно сказанного. – Веза не вывезешь, сам на возу едешь. Жеребёнок, тот, ладно, не зря прыгает – конь будет. Из тебя не знаю, что будет... — Он докурил, окурыш бросил в бочку с водой, поглядел, угас ли окурыш. – За отцом живёшь, парень. Барчук, одним словом!.. Ну что, лошадь тебе подавать?..

Он встал, пошёл в конюшню. Тяжёлые солдатские ботинки Василия отчётливо и неторопливо ступали по чистой земле.

Алёшка сидел, закрыв лицо руками, но слышал каждый шаг Василия. И каждый его шаг отдавался в гудящей голове болью, как будто голову трясли.

Алёшка не помнил, как добрёл до бугра на вырубке и опустился к подножью своей сосны. Сидел, тупо смотрел на бурую от опавшей хвои землю, морща лоб, слушал, как в малиннике маленькая птица чекан как будто чеканила по камню: «Чок-чек... Чек-чук...» «Барчук...» — слышал Алёшка и, отирая мокрые щёки, думал: «Всё. Конец. Теперь всему конец».

Из дневника Алексея Полянина, год 1938...

Я помню, почему-то до сих пор помню одну страшную для меня ночь. Было это на Урале. Мы жили в леспромхозе, и отец вёз меня на лошади из больницы домой. Случилась метель. Снег лепил. Всё стало бело: дорога, лес, небо. Лошадь с трудом одолевала несущуюся на нас снежную реку.

Отец закутал меня в тулуп. Он стоял на коленях, спиной к лошади, и прижимал меня вместе с тулупом к себе, не давал ветру распахивать полы. Вожжи он привязал к саням, лошадь понукал криком. Я сделал в тулупе дырочку, и когда сани дёргались и отец наклонялся, я видел в сумраке его мокрое лицо и залепленные снегом очки.

В тулупе, под отцовскими руками, было тепло и весело, как дома, в согретой постели, и было даже любопытно подглядывать шипящую, как пар, метель.

Где-то среди поля лошадь встала. Отец вывалился из саней, побежал что-то подправлять. Я встал на ноги и повертел головой, высвобождаясь из намокшей овчины. И тут ветер вдруг как будто разорвал на мне тулуп. Метель набросилась, выла, свистела, стегала лицо и грудь заледенелыми жгучими кнутами. Отца я не видел за белой спиной лошади. И подумал, что отец не вернётся из метели.

Я испугался одиночества и брошенности и, не успев даже вытереть слёзы, дико закричал:

«Па-па!..»

Я успокоился и затих, лишь когда отец снова впрыгнул в сани, закутал меня и прижал к себе. Тогда, наверное, тогда, я понял, как невозможно без отца... Я до сих пор помню Урал, ту страшную снеговую ночь.

Ну, как мне быть без отца?! Зачем Василий хочет вытолкнуть меня в метель?..

2

Юрочка разыскал Алёшку на берегу Волги. Алёшка сидел в тальниках на песке, уткнув подбородок в колени. Юрочка с ходу подвалил к Алёшке, его глаза сияли.

— Здорово, человек! Ну как, жив? С коня не слетел? Шею не сломал?! – Он пристроился рядом, отгородив Алёшку от приятного, ещё тёплого осеннего солнца, удобно вытянул ноги. – А у меня удача, — сообщил он. – Ниночку уговорил! Расписал ей про лошадку, как мы с тобой по лесу гарцевали, она и ручки кверху! Глазки заблестели, губки заулыбались. Видел бы ты Ниночку, когда она улыбается! Только знай, — лицо Юрочки стало угрожающим. – Ни единой роже чтоб! Ниночка с придурью. Волков так не боится, как славы... Да ты что, топиться пришёл, что ли?!

— Так, думы всякие, — нехотя отозвался Алёшка.

— Думы!.. У него думы, а у меня что – хвост от репы? – Юрочка лёг на спину, закинув руку под голову, лежал, сердито покусывая тальниковый лист. – Ладно, бес с тобой, — сказал он, поворачиваясь на живот. – Думай, если голова большая... Давай договоримся, где ты нас с Ниночкой встретишь? Помни, без чужих глаз!.. Ну, где? В десять мы на переправе будем...

Алёшка, не отрывая подбородок от колен, тоскливыми глазами смотрел на приподнятую над песками гладь Волги. «Вот дунет сейчас ветер, — отрешённо думал он, — и покоя на Волге как не бывало. Вот скажу я сейчас Юрке, что я надумал, и наша дружба, как лодка – вверх дном. Но я могу и не говорить?! Василий обидел меня, сказал жестокие слова. Но в моей жизни он ещё ничего не переменил. Он сколько угодно может меня не любить, может как угодно обо мне думать, но лошадь он всё равно выведет, если завтра я приду на конюшню.

Он выведет мне лошадь, потому что у меня есть отец. Но я не хочу жить в чужой одежде, не хочу сидеть в тёплом тулупе за спиной отца! И об этом я сейчас скажу Юрочке. Скажу, и раздену себя, и стану как голый король из сказки! И сразу всё переменится, Юрочка первый от меня уйдёт. Он просто потеряет ко мне интерес, потому что без отца я – ничего. Для всех! Для лесника Красношеина, для шофёра Гриши, для всего посёлка! И в классе будут смотреть на меня по-другому, потому что Юрочка всем расскажет, что я — голый король! Он расскажет...»

— Да что ты молчишь?! – Кобликов в сердцах толкнул Алёшку плечом.

— Юрка!.. Я должен тебе сказать... Юрка, ты знаешь... — Алёшка сидел бледный, слова не шли на язык. Они были слишком тяжелы, чтоб их произнести. — В общем, я не могу достать лошадь... — глухо сказал Алёшка.

Юрочка на какое-то время замер, потом рывком сел.

— Почему? – спросил он быстро.

— Всё. Отъездился... — с трудом выговорил Алёшка.

Глаза Юрочки наполнил страх. Огромные зрачки смотрели на Алёшку, как наставленные ружейные дула.

— Отца забрали?! – выдохнул Юрочка.

— Куда забрали?.. — Алёшка не понимал, о чём говорит Юрочка. Наконец понял, сказал устало: — Глупости! Отец работает, как работал. Понимаешь, Юрка, я понял, что не имею права ни на лошадь, ни на мотоцикл. Мне всё дают из-за отца. Отцу положено, я пользуюсь. Я не хочу так. Надо как-то, ну зарабатывать, что ли, радость...

Юрочкины губы, скорбно сжатые, растянулись в улыбке, глаза засияли.

— Значит, у тебя всё по-старому?.. А я чёрт-те что подумал. Ты уж не пугай людей своей совестью!..

— Нет, Юрка. Для меня это серьёзно.

— Ну и человек!.. Неужели ты не понимаешь, что отказываться от того, что можно, — это, извини, быть хуже дурака... Лопуховский разумный эгоизм, хочешь знать, выше всяких там самоограничений. Твоё благородство – не благородство! Тебе плевать, что другу ты свинью подкладываешь. Как же, ты доволен своим спокойненьким «я»! Вот он, твой эгоизм! Только не разумный!

— Рахметов готовил себя к революции и спал на гвоздях. Наверное, тоже для своего удовольствия...

— Ты, чудик, хоть отличай землю от неба! Рахметов – литература. Идея!.. А мы говорим про жизнь. Вот про то, на чём сидим... Мы с Эдькой, сыном предрика, на рыбалку на машине ездим. Раз предрику положена машина, он не будет ходить пешком, чтоб показать своё благородство. Сам ездит и меня и Эдьку возит!.. А ты как чуха деревенская, хоть и в столице жил. Теперь даже девочки о спасении души не думают. О приличиях, правда, думают. Да и то не из-за совести – так положено... Ну, уразумел?

— Уразумел.

— Где нас завтра встречать будешь?

— На переправе.

Юрочка поморщился.

— Не то, людей там!.. А мы на тарантасе, как барчуки!..

Алёшка до боли прикусил губу, как только мог спокойно сказал:

— Зачем на тарантасе? Пешком.

— А лошадь?

— Лошади не будет, Юрка...

Тонкое лицо Кобликова вспыхнуло и погасло, стало серым, как пепел. Алёшка видел в глазах Юрочки отчаянье, в сжатых губах – злость.

Юрочка с трудом разомкнул губы.

— Но ты понимаешь, что я договорился с Ниночкой?.. Можешь ты на один день забыть про свою идиотскую совесть?.. Я же сказал ей!.. Ну?! Мне завтра нужна лошадь. Только завтра!..

— Нет, Юрка. Если хочешь, я сам извинюсь перед твоей Ниночкой. Но лошадь больше не возьму.

Юрочка как будто застыл. Потом медленно высыпал из горсти песок, отряхнул руки, сказал как будто даже задумчиво:

— Чуха интеллигентная, вот ты кто! В святые метишь! Не попадёшь. Нив святые, ни в герои. Пуп у тебя не тот, надорвёшь. Чуха! Тьфу!..

Юрочка вскочил.

Алёшка видел, как в бешенстве он взбирался на берег и песок летел из-под его новых жёлтых сандалий, точно из-под копыт коня.

— Алёшенька, ты... влюбился?..

Елена Васильевна положила руку на плечо сына и, не вполне уверенная в своей правоте, легонько прижала Алёшку к себе.

Открытый, весь ещё в мальчишеских веснушках, Алёшкин лоб покраснел, покраснели тёмные от загара, похудевшие щёки, высокая шея, с резким выступом гортани. Он стоял у плиты, вытирал только что вымытую посуду. Елена Васильевна видела, как его лёгкая, с широкой кистью рука замерла, зажав в полотенце ложку. Он молчал и не поднимал глаз, потом вытер ложку, осторожным движением, не тревожа на своём плече её руку, положил ложку на плиту.

— Было бы лучше, если б влюбился, — сказал он и усмехнулся непривычной горькой усмешкой.

Елена Васильевна, как свою, почувствовала лежащую на душе сына тяжесть. Она хотела спросить, что тревожит его, но сын мягко попросил:

— Не надо, мама... Я попробую разобраться сам, ладно?..

Он почти касался пухлыми губами её щеки. Елена Васильевна неожиданно для себя увидела, что всегда голубые Алёшкины глаза потемнели до серости, взгляд их был тревожен и как будто направлен в себя.

Алёшка изменился после того, как побывал у них в доме Юра Кобликов. Вот уже почти неделю Елена Васильевна с тревогой наблюдала за сыном. В то необычное утро он вышел из комнаты поздно, когда Иван Петрович уже отправился на работу, робко вошёл в кухню. Лохматая голова с зализом на виске, угрюмое лицо, помятое в беспокойном сне, какие-то неуверенные движения, — это был другой Алёша. Комкая в руке полотенце, он на цыпочках шёл к умывальнику, как будто боялся в своём доме кого-то разбудить. У стола он увидел Елену Васильевну, смутился. «Доброе утро, мама», — сказал он и поспешно прошёл в уборную.

Скородку каши он съел молча. После завтрака взял из её рук мочалку, начал мыть посуду. Сердце у Елены Васильевны дрогнуло. С любопытством и растущей тревогой она наблюдала, как Алёша мыл пол у себя в комнате и на кухне, вечером с вёдрами ходил на пруд, поливал их небольшой огородик и цветник перед окнами, — это всегда было её заботой, она смирилась с ней, как и со многими другими домашними заботами.

На следующий день Алёша переколол груды дров, снова мыл посуду, пол.

Елена Васильевна пыталась разгадать, что так изменило Алёшу. То, что он делал, её радовало, но тревожило другое: она не видела радости на лице сына.

Однажды он налил в корыто воды и стал стирать свои носки и рубашку. Елена Васильевна, увидя, как старательно он мылит и простирывает рубашку, с облегчением подумала о девушке. Но горькая усмешка, проступившая на лице сына, заставила её смутиться.

По утрам Алёша стал исчезать из дома. Он поднимался раньше Ивана Петровича, едва слышно проходил в кухню, тяжёлую наружную дверь открывал так, чтобы не потревожить их, и уходил. Возвращался к завтраку усталый, но с упрямой, затаённой в лице улыбкой. И пахло от его рук и ботинок лошадыми и навозом.

Елена Васильевна успокаивала себя, думала, что у сына новое увлечение – лошади, и, встав однажды пораньше, вслед за Алёшкой пошла к конюшне. Не подходя к ограде, она наблюдала незнакомую ей жизнь конного двора. На дворе видела только конюха Василия Ивановича. Он на руке нёс хомут и сбрую. Всё сложив на телегу, он вывел лошадь, стал запрягать.

От конторы к конюшне косолапо шёл низенький, как мальчик, возчик Чувакин. Он поленился идти к калитке, перелез прямо через изгородь. У конюха принял лошадь, сел в телегу, поехал из ворот, Следом появился водовоз. Василий Иванович вывел ему чёрную, знакомую Елене Васильевне лошадь, но запрягать не стал. Водовоз сам запряг лошадь, встал на телегу позади бочки, быстро поехал по дороге вниз, к речке. Василий Иванович закрыл за ним ворота, сел на лавочку, закурил.

Алёши нигде не было видно. «Ну вот, уже в лес уехал!» — подумала Елена Васильевна. Она хотела подойти к Василию Ивановичу, поговорить о сыне, но в это время из задних раскрытых ворот вышел Алёша. В согнутых напряжённых руках он держал вилы с большой кучей навоза на них. Видно было, что нести вилы ему тяжело, он часто и мелко переступал и даже клонил голову. Он свалил навоз у изгороди и сразу ушёл обратно, и опять вышел, неся на вилах навоз. Работал он старательно, затем поставил вилы к стене, взял метлу и ушёл в конюшню. Потом вывел лошадь, привязал к столбику и долго её чистил, будто был конюхом! Василий Иванович сидел на лавочке, курил, с каким-то подчёркнутым равнодушием поглядывал в сторону работавшего Алёши. Елена Васильевна возмутилась и направилась к конюху сказать какие-то очень резкие слова, но в это время Алёша снова появился на дворе.

Елена Васильевна с трудом остановила себя, она боялась, что своим вмешательством оскорбит сына.

Домой она вернулась расстроенной. Иван Петрович выслушал её, пожал плечами. «Хорошо, узнаю», – сказал он.

С работы Иван Петрович пришёл молчаливый. Ходил по квартире, перекидывал с места на место книги, газеты, стоял у окна, барабанил пальцем по стеклу.

— Вот что, Лен, — сказал он наконец. — Попробуй не вмешиваться в отношения Алёши с Василием Ивановичем. Что-то мы проглядели с тобой. Забыли, что в его возрасте не только ловят рыбу... Я говорил с Василием Ивановичем. стыдно мне перед ним!.. Я был благодарен ему за то, что взял на себя смелость поправить нашу слепоту...

Елена Васильевна не сразу поняла, о чём Иван Петрович говорит. А когда поняла, прижалась к спинке стула, охватила плечи, упрятала на груди подбородок и так сидела немо, как будто в комнате была одна. Иван Петрович видел, что Елена Васильевна замкнулась, хуже – он чувствовал её враждебность тому, о чём он говорил. Но уступить не мог: он был убеждён в мудрой правоте конюха.

Елена Васильевна не поняла и не приняла его доводы. Она раскрыла книгу, сделала вид, что углубилась в чтение.

...Василий был в холодке, под навесом для телег, в окружении всех малых Петраковых. Неторопливыми пальцами тяжёлых рук он ловко плёл маленькие, на детскую ногу, лапотки и тихо приговаривал: «Росла липка на бугорочке. Отняли у липки лычко. Отняли не по злу, для дела: сплести лапоточки, обусть босые Валькины ножки. Чтоб Валькины ножки могли бегать по холодной дорожке...»

Маленькая Валька, плотная, как бочонок, смотрела на Василия и счастливо смеялась. Старшая Нюрка держала на коленях младшенькую Верку, завистливо смотрела то на лапотки, то на Вальку, то на доброе лицо Василия и, рывком подтягивая к животу сползавшую с колен Верку, всё порывалась и не решалась о чём-то спросить. Но Василий всё видел и понимал. Он плёл и досказывал свою сказку, как того ждала робкая большеглазая Нюрка. «Обуем мы Валькины ножки, — говорил как будто своим рукам Василий, — заладим лапотки и сестричкеньке Нюше. Потом Мише, брату Ивану. И самые крепкие и завидные заплетём нашей мамке Марусе...»

Алёшка от конной загороди с изумлением смотрел на просветлённое лицо Василия. Откуда тут малые Петраковы? Что за сладость нашли они здесь, на конюшне?..

Алёшке удивительно было видеть Василия в окружении счастливых пацанов. И не верилось, что этот неприятный ему человек может быть добрым.

По-за кустами, чтобы его не заметили, он обошёл конный двор, с другой стороны вошёл в конюшню и остановился в ещё большем изумлении: в проходе с его лопатой в руках усердно выскребал пол Иван Петраков.

С недобрым чувством Алёшка подошёл к Ивану.

— Здорово! – сказал он, даже не стараясь смягчить свой неприветливый голос. – Ты что, в работники пошёл?..

Иван беззащитно стоял, стеснительно шевелил лопатой.

— Не, не в работники... — сказал он, глядя в пол. Шмыгнул носом, утёрся ладонью и вдруг вскинул на Алёшку счастливые глаза:

— Дядя Вася нас всех в дети взял!.. Отцом он нам теперечи! – Иван неумело засмеялся и отвернулся. – Ты не серчай! – сказал он. – Лопата вон вторая есть. Коли охота – помогай!..

Алёшка опустил голову, молча стоял перед Иваном. Что-то вокруг грохотало, сотрясая мир. Он слышал грохот и удивлялся, почему ничего не слышит Иван?

Иван покачивал лопатой, шмыгал носом и томился ожиданием. И чуткие лошади в стойлах, за его спиной, спокойно переступали ногами, хрупали сено...

В один из последних дней лета Алёшка подошёл к Василию, сел рядом, сцепил руки, глядя, как от напряжения белеют суставы на пальцах, сказал с обрётённой решимостью:

— Спасибо вам, Василий Иванович. За меня, за Ивана, Вальку, Нюрку. Я плохо о вас думал! Думал, вы не добрый человек!..

Василий жёлтым пальцем снял пепел с самокрутки, долго молчал, разглядывая свою мозолистую ладонь. Сказал, как будто бы не к делу:

— Майка-то застоялась. Оседлать?

Алёшка покачал головой.

Василий молча докурил, бросил окурыш в бочку с водой, как и в тот раз, поглядел, пока он не угас, сказал, не одобряя:

— Напрасно, Алексей! Лошадь ты заслужил.

— Нет, Василий Иванович, даже не знаю, отработал ли то, что раньше взял. — Алёшка встал. — Больше, наверное, не приду. В город перебираюсь, до зимы в общежитии буду. Прощайте, Василий Иванович!..

Он поклонился и пошёл.

Алексей уже был за воротами, а Василий всё смотрел вприщур вслед ему, задумавшись, как будто житейским своим чутьём ведал, что их дороги разошлись только на время, что где-то там, впереди, в недалёких годах, на другой срок, сойдутся они в одну дорогу, на этот раз в долгую и тяжёлую дорогу войны.

Из дневника Алексея Полянина, год 1938

К нам в квартиру забрался вор. Собственно, не забрался, а прямо днём вошёл через открытую дверь, когда дома никого не было. Вора поймали: лесник Красношеин встретил его на переправе, заподозрил по биноклю и чёрной форменной фуражке. Какой-то чудной вор: надел на себя папину фуражку, на грудь повесил бинокль!

Но дело не в воре — им оказался бродяжка с плывущего по Волге парохода. Дело в том, смешном и грустном, что открылось вдруг.

Когда вора привели в папин кабинет (народу там набралось!), он, вор, и говорит: «Что у вас за начальник?! Украсть нечего! Всё богатство — бинокль и фуражка...»

Бинокль да фуражка! И те казённые... Другими глазами смотрю на отца. Кто он? Что он? С утра до вечера в делах и заботах, и всё там, на строительстве, будто этот лесной техникум — вся его жизнь! Чего-то добивается, с кем-то ругается, требует, просит, нервничает и очень редко радуется. Только и слышишь: «Надо, надо...» Корпусам нужно оборудование, общежитиям — бельё, посёлку — клуб и радиоузел, техникуму — преподаватели.

А что нужно ему самому? Час покоя. Вечером, за газетой, чашку крепкого чая. Да чтоб мама была уж если не довольна, то, по крайней мере, не расстроена.

Я теперь замечаю то, что не видел раньше. Отец любит чай с вареньем из чёрной смородины. Но если мама ставит к ужину смородину, он кладёт себе на блюдце три маленьких ложки варенья и выпивает с ними две чашки чая. Я вижу, он хочет продлить удовольствие, но он сдерживает себя. Вкусное он вообще не ест, всё — мне и маме.

Мне он отдал для охоты свои крепкие болотные сапоги, сам в ботинках прыгает по грязи. Я не видел, чтобы он что-то купил для себя: второй год ходит в чёрном суконном френче и в потёртой шинели лесника. И в Москве-то он не роскошествовал, а здесь, в Семигорье, упрямо старается, быть как все.

Отец: «человеком не рождаются, человеком становятся».

Мама: «главное в человеке – воспитанность».

А что такое воспитанность? Умение сдерживать себя.

В первом и во втором случае требуется волевое начало.

В школе учительница анатомии возвестила всему классу: «Вы не воспитаны. Полянин!..» Это после того, как изверг Коханов, с прилизанной медовой чёлочкой на лбу, десять минут исподтишка тыкал мне в бок указкой, испытывая мою железность. В конце концов, я вырвал у него указку и с треском сломал о кохановскую подленькую руку. Дело было, конечно, на уроке и, конечно, анатомии.

Куда ни ступи, жизнь везде требует сдержанности.

Вопрос, может ли человек, в себе удерживая взрывы чувств, САМ сотворить себя по своему идеалу?

Лев Толстой в молодости ставил перед собой задачу быть человеком *comme il faut**. Задача казалась ему важной, он к ней стремился и, в общем-то, достиг. Правда, комильфотность он послал потом к чёртовой бабушке, опростился и стал жить не блеском манер, а мудростью. Но это уже после того, когда он понял пустоту и никчёмность внешнего блеска.

А что, если я хочу быть и красивым, и мудрым, сильным и мужественным, добрым и справедливым?

Можно ли сознательно добиться в себе такого единства? Ну, не всё зараз. Для начала хотя бы быть добрым и справедливым?..

Я открылся Юрке Кобликову. Он прищурил глаз, посмотрел на меня с сожалением. «Ты — идеалист, — сказал он. — Ель хоть сто раз сажай на песке — не вырастет. Сосна — вырастет. Об этом знаешь у кого? — у Сталина есть. На, читай...» Он подвинул мне книгу.

«Всё зависит от условий, места и времени», — читал я отчёркнутые слова, и Юрочка следил за выражением моего лица. Когда я дочитал, он сказал: «ВСЁ. Понял?..»

* *Comme il faut* – благовоспитанность (фр.).

Цитатой он пришиб меня, как оглоблей.

Выходит, бейся над собой не бейся, а попадёшь в другие условия, и всё? Всё, что в тебе воспитали или ты сам в себе воспитал, всё это, как пух с одуванчика: дунули – опять голенький? Начинай сначала?! Среди умных – ты умный, среди воров – вор, среди дураков – дурак? Но если я уже был умным, я не могу стать дураком?! Наоборот – могу. А надеть шкуру и снова стать дикарём – не могу!

Нет, обстоятельства не могут быть сильнее человека. Я даже вот о чём подумал. Я – на охоте. Полез в болото за уткой, и болотина всосала меня. По Юрке – я должен замереть и ждать, когда изменятся обстоятельства: или разыщут меня, или болото высохнет. Буду я ждать? Чёрта с два! Пока хоть палец торчит, пока зубы могут за что-нибудь ухватиться, буду драться за себя! Да и сам Юрка в болоте сидеть не будет. Для сосны это, может, и так. Для неё условия – вопрос жизни. А человек способен понимать, выбирать, способен изменять то, что не по нему. Нет, человек выше обстоятельств! И Сталин, говоря об условиях, месте и времени, наверное, думал о другом. Надо проверить силу обстоятельств. На себе.

Сегодня 5 октября, ближе к ночи. НЕЗАВИСИМО ОТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, я должен пройти через лес до пересечения просек (квартальный столб 74-75/91-92). Два километра туда, два обратно. БЕЗ ОРУЖИЯ. Выход 22.00. Чтобы иметь цель и лишить себя отговорок, три часа тому назад, когда уже смеркалось, я воткнул в квартальный столб свой кинжал с рукоятью из ножки косули, одну из самых дорогих для меня вещей, подарок старого уральского охотника Сергея Львовича Ушакова. Если обстоятельства окажутся сильнее меня, и я струшу, я потеряю кинжал – на рассвете просекой пройдут лесорубы. И мне будет больно. На всю жизнь больно!..

Сейчас 9 ч. 30 м. За окнами темень. Начался дождь. Отец читает. Мама шьёт. В комнате топится печь. Дверка приоткрыта. Сухие, охваченные пламенем дрова уютно, потрескивают. И никуда не хочется идти.

Выхожу, как есть в курточке, чтобы не обратить на себя внимания.

Ну вот дописываю. Зубы ещё стучат от холода и переживаний. Однако по порядку.

Бывать в лесу ночью, одному, мне ещё не приходилось. И вот честно: никогда не думал, что ночь и лес так страшны. Днём я всё вижу, знаю каждый голос, будь то зверь или птица. И оттого, что я вижу и знаю, страха нет. А тут, в ночи, как в погребке, меня обливает дождь.

И лес, наглухо запахнутый, чёрный и дикий, гудит и воет на меня, как на чужого! Все мои чувства как будто встали на дыбы, я беспомощно стоял на краю посёлка и не решался переступить страшную черту. А лес шумел и плескался водопадным плеском, и я понимал, зачем мне надо покинуть огни посёлка и броситься в холод и мрак, в омутную неизвестность осенней ночи?!

Волосы мои намокли, по лицу и за ворот стекал дождь, куртка прилипла к спине. Я чувствовал: ещё пять, десять минут бездействия, и я побегу домой. И торжествовать тогда буду не я, торжествовать будут ночь и Юрочка.

Я прижался мокрой спиной к сосне и заставил себя думать. Я мысленно шёл туда, где на пересечении просек стоял нужный мне квартальный столб. Воображением мне удалось раздвинуть тьму. И когда мысленно я перепрыгнул знакомый ручей и под увешанными мхами, бородатými сучьями наконец-то прошёл сумрачное, даже днём пугающее меня еловое урочище, я почувствовал, что теперь могу войти в лес. Я шёл короткими настороженными шагами, но шёл. Дорогу угадывал по едва заметным просветам между деревьями. Но чем дальше уходил от посёлка, тем труднее было идти: как будто пристегнули ко мне тугие резиновые вожжи, и каждый мой шаг до невозможности натягивал их. Я попытался бежать, но бугры корней подламывали мои ноги, я спотыкался, в конце концов, тяжело шлёпнулся в мокрую впадину у ручья. И в то же мгновение угрожающе вспыхнула тьма, я услышал быстрые грузные удары – кто-то тяжело бежал, охватывая меня.

Не помню, как очутился в посёлке: видно, те вожжи, что тянули меня, сработали в бешеном темпе. Моё сердце явно искало способ вырваться из груди, чтобы хоть раз-другой глотнуть воздуха, потому что сам я безнадежно задышался. До того безнадежно, что не мог стоять, и опустился у изгороди, прямо на землю.

Так я сидел, приходил в себя, пока жаркий стыд за дикий свой страх не пронизал меня от ушей до пят.

Тогда я встал, сжал кулаки и зубы, всё во мне закаменело в упрямой решимости дойти. Я был в таком состоянии, что если бы меня рвали на куски, я всё равно бы шёл, пока не свалился мёртвым.

Но тут я сам остановил себя. «Нет, милый друг, — сказал я себе. — В таком состоянии, может, ты и дойдёшь, ничего не видя, не слыша, сжавшись перед ночью, как мышь перед котом. Твоё упрямство — тот же страх наоборот. В слепости и глухости над обстоятельствами не поднимешься! Давай-ка, милый друг, всё с начала...»

Даже в ту, трагическую, минуту я понимал, что должен не просто пройти – должен пройти хозяином по этой тьме. Только тогда я мог бы считать, что обстоятельства побеждены.

Я спросил себя: чего я боюсь? В лесу нет ни чертей, ни леших. Их вообще нет на земле? За них хохочет филин, кричит сова, стонет сохатый, подвывает волк. Но все эти звери и птицы сами боятся человека! Так чего же бояться мне?!

И я пошёл. По дороге зацепил ногой и поднял увесистую валежину, которая вполне могла бы сойти за дубину. Подержал в руках, отбросил, — свой путь я должен был пройти без оружия. Что говорить! – страх я чувствовал, но звуки слышал, и глаза мои были открыты. И когда впереди или сбоку что-то трещало и всё сжималось во мне, я не бежал. Останавливался, овладевал собой и шёл на треск, и узнавал, что и почему трещит. У ручья нарочно задержался, походил вокруг, попытался разглядеть следы, но чернота и дождь укрывали землю.

Я вышел к просекам и выдернул из квартального столба мокрый и холодный кинжал. Гул прокатывался по лесу, скрипели деревья, падали на землю капли, щёлкая по невидимым листьям. Я слышал гул леса и радовался своему спокойствию.

Домой шёл быстро, — не от страха, оттого, что продрог. В кухню вошёл мокрый. Мама всплеснула руками. Отец сердито взглянул и, пока я раздевался, вешал сушиться куртку, штаны, бельё, он молча ходил из угла в угол.

Я ничего не объяснял: мне казалось, ни мама, ни отец не поймут моей победы.



БАНЬКА

— Зинка! Подь сюда! – Капитолина высунулась из баньки, махала рукой. Пар валил из приоткрытой двери, клубился вокруг головы и голых рук.

Зинка Хлопова, притопывая ботиками, проскользнула в низкую дверь. Знала: когда Капка топит гужавинскую баньку, даже Васёнка не смеет туда войти! Бабы прямо-таки умирали от любопытства, говорили: Капка в баньке любовь колдует! Видели, и не раз, как, уже отмывшись, Капка выводила из баньки своего Гаврилу Федотовича. Могучего Гаврилу пошатывало, а Капка поддерживала его за спину и, как ребялёнка, утешала ласковыми словами. Видать видели, а разгадать Капкино колдовство не разгадали: оба оконца Капка плотно завешивала дерюжками, а тяжёлую дверь запирала на крюк.

Зинка, ожидая чудес, скинула пальто, торопясь, сняла фетровый берет, тряхнула высветленными перекисью, у плеч подзавитыми волосами. Даже со своим худым лицом Зинка могла бы сойти за красавицу, если бы не её тонкий нос, как будто кем-то в шутку оттянутый книзу. Вислый кончик носа и маленькие круглые глаза придавали её лицу острое куриное выражение. Зинка знала про свой нос и перед зеркалом заучила особенную улыбку. Улыбаясь, она приподнимала верхнюю губу и тем прихорашивала доставшуюся ей от рождения досаду. Сейчас Зинка улыбалась заученной улыбкой, хотя видела, что Капке не до неё.

Капка была в своей стихии. В прилипшем к мокрому телу старом платье она голиком скребла полки, и Зинка с завистью смотрела, как её могучие груди колышутся, вздувая платье.

— Сымай одёжу, помогай! – кричала Капка, пальцем скидывая с лица пот. – А то иди так посиди! Не угарно? Не чуешь?..

— С чего угару-то быть! Не впервой топишь... — Зинка, оберегая своё городское бельё, разделась, сложила всё на лавку в узком предбанничке и прошла к Капке, притворив за собой дверь. – Ух, и парко у тебя! – Зинка даже остановилась. От жара затомилось тело, поплыло перед глазами. Зинка покачнулась, ухватила край бочки, почувствовала, как пальцы окунулись в приятный холод воды. Наклонилась, поплескала себе на лицо.

— Что, худо? – удовлетворённо сказала Капка. – Не каждому мужику такое выдюжить!.. Поди на лавку. Да склонись – понизу не так палит...

Зинка села на лавку, с любопытством оглядела баньку. Старая банька была ухожена, как горница перед праздником. Пол выскоблен до жёлтых подпалин. Лавки блестели на свету маленького, тоже отмытого оконца. С углов свисали веники, привядший их лист томился в сухом жару. Стоило поддать парку – и чистую баньку от пола до низкого потолка заполонил бы густой берёзовый дух! На оконце стояли припасённые для какой-то цели банки, будто бы с вареньем, два гранёных стакана и миска, укрытая тряпицей.

Зинка старалась догадаться, для какой такой цели сделан на оконце припас, но Капка не дала раздумывать.

— Слышь, Зинаида, — окликнула она. — Ты не видала, кто вчерась нашу Васёнку из кино провожал?

Зинка вспыхнула, как только могла вспыхнуть в такой жаре, с небрежностью сказала:

— Приставлена я глядеть за каждой девкой!..

Капитолина оплеснула полок, бросила на пол таз, ногой толкнула его под лавку. Села рядом с Зинкой, оперев мокрые руки о колени.

— Мы, милая, здесь одни. Две бабы. Даже бог сквозь этот потолок не видит! Вот и попечалься, покуда я к тебе расположена.

— Это что ещё за печаль?!

— Эх, девка! — Капка качала головой. — Не кошки-мышки мы с тобой. Знаю ведь! Макарка, хоть тоже городу посмотрел, а твоё городское обличье его чего-то не приманивает... Васёнка против тебя — телушка безрогая, а поди ж ты — бычок-то нашу телушку обхаживает!..

— Ай, какая ерундовина! — Зинка почти искренне возмутилась. — Я уж отучилась по парням вздыхать. Мне они так, чтоб было с кем время убить...

— Ой ли? — Капка смотрела на Зинку жалеющими глазами. — Знала и я мужичков. А сердце захлестнулось на Гавриле. Увидела — стой, говорю, Капитолина, дальше не греши, мужик из мужиков явился! «Мой будет!» — сказала себе. А когда такая баба, как я, чего захочет, ни чёрт, ни бог мне не поперечат!.. Мой Гаврила-то! Мой! Так ты, Зинаида, на гордость и глупость не заводись. И Макарку в другие руки не пускай. Это говорю тебе я. И есть на то у меня свой интерес!..

Железный ковш сорвался с бочки, дребезжа, кувырнулся по полу.

— Тьфу, проклятый! — Капка испуганно смотрела на Зинку. — Крюк-то на той двери ты заложила?

— Вроде бы, — Зинка встала, выглянула в предбанник. — Всё ладно. — Плотно притворив дверь, осторожно ступая босыми ногами, пошла к бочке, подняла ковш, положила на лавку. Нагнувшись, долго что-то высматривала в оконце. Капка, щуря глаза, следила за ней.

— Ну и тонка же ты, девка! — сказала она, в голосе её слышалось сожаление. Зинка распрямилась, неожиданно зло отрезала:

— Тонкая, зато звонкая! Поняла?

Капка поджала губы, невозмутимо поскребла себе бок.

— Так-то оно так, а всё одно: мужик любит, чтоб было за что потрепать... — Ладно, не норовись, — она видела, что задела Зинку за живое. — Ну, поди сядь! Что я тебе думала сказать? Вот послушай-ка... погоди, наперво побожись на угол, что никому словечком не обмолвишься! Ну!..

Зинка повернула к Капке лицо, глаза её загорелись, как у кошки в темноте. Она быстро перекрестила рот.

— Так, ладно, — сказала Капитолина. — А дело такое. Ты пойми, я к тебе с добром. Всё к тому поворачивается, что лесника Леонида Ивановича буду на Васёнке женить!

Зинка от изумления издала звук, похожий на смех, но тут же рукой зажала рот. Капка даже внимания не обратила на Зинкин всхлип.

— Для меня дело ясное: Васка по глупости нос от него воротит. Дура! Понимает в жизни, как свинья в картах!.. Макара грех хаять. А не по мне! В родне нам не ужиться. Смекаешь, о чём речь? Я об Васёнке маюсь, твоё счастье тоже не чужое — ты мне по нутру. Что скажешь, Зинаида?

Зинка, руками охватив тощие плечи,гнулась низко к полу. Капка не видела её лица, упавшие волосы закрывали её глаза и щёку.

— Кабы чужому сердцу указать! — наконец выговорила она. — Своему не прикажешь, а чужому?! — В голосе её пробила такая надрывная боль, что даже Капитолина сочувственно поглядела на Зинку.

— Приказать не прикажешь, — сказала она. — А завлечь — дело бабье. Жизнь, Зинаида, что там в книжках ни пишут, надвое поделена. На одной половине жизни бабы, на другой — мужики. А половина, она половина и есть. Нешто радость в одной туфле ходить? — одно беспокойство! Ты вот обличье принарядила. И волосы поотпустила вроде русалочьих, губы живишь и всё такое, а перед Макарой робеешь. Будто не знаешь, что мужику надо! Эх, девка!.. Показать тебе, как дорогу к мужику мостят?!

Капитолина выждала, пока Зинка не вскинула голову и не вцепилась в неё нетерпеливым взглядом. Тогда она легко поднялась и встала посреди баньки.

— Ты думаешь, банька у меня спину мылить? Такую баньку каждая баба стопит. Ты вот этакую баньку выходи! Вот она, чистилище и рай, свиданка и весёлая ярмонка! Здесь я мужика к рукам прибираю!..

Капитолина упёрла руки в бока, стояла, усмехаясь, взбудораженная своей бабьей силой.

— Важность, Зинаида, не в том, как в баньку войти, важность, как ты из баньки выйдешь! Иная баба обруганная да оплёванная из баньки за своим мужиком идёт, таз постирухи тащит и недотёпывает, дура, чего это мужик на неё, как на пустую бутылку смотрит!..

А я своего мужичка, как дитя покорного, из баньки на руках вывожу, да он ещё ко мне, ладушка, клонится, моей заботы да участия ищет! Сам бы меня на руках понёс, да силов уж нет, всю свою скопленную силушку отдал. Вот когда ты – царь-баба! – мужика уломала, себя возвысила! Такому, девка, никто тебя не научит, а Капка вразумит. Ну, гляди!..

Капка пошла в угол, пришлёпывая короткими, полными в икрах ногами, сняла со стены веник, ловко, с жиканьем стала сбрасывать в пустой таз листья. Заметив взгляд Зинки, улыбнулась тугим маленьким ртом.

— Нет, голик не для мужика припасая. Мне лист нужен!.. Прежде чем положить мужика на кутничек, доски кипятком ополосну да на парные те доски этот вот лист покидаю. Вот этак... Потом увидишь к чему. На лист и ложу мужика!

Теперь пару ковшиков на камни. Да не простой водицы! С малиновым вареньем развожу, сладенькой на камни брызгаю! С тем паром дух по баньке ползёт ядрёней, чем по мокрому лесочку опосля грозы! Дух тот ползёт, а в мужике и в тебе будто кружение... — Капитолина рукой покрутила у груди. – Тут берёшь свежий веничек, в горячей водице его купаешь – и к мужичку. Начинаешь его, голенького, по-тихому, со спины, тёплым веничком трогать. Раз вдаришь да погладишь, вроде бы к себе располагаешь. Но себя не роняешь – время не вышло! Пройдёшься этак со спины, живот ему веничком разметёшь, опять повторишь. Теперь уже раз погладишь, два вдаришь. И давай хлестать-вертеть без продыха, до тех самых пор, пока ухать, ахать уж ему не вмоготу! Так ухожу его, боровка, что огрузнет он, как в тёплой луже, и в доски хрюкает:

— Ох, Капушка, ох, заморила...

Тут всё, мужику надо в обратную силу войти. Пирог готов, да есть погоди – ему, горяченькому, время под укрыткой отлежаться! Тут я его со свежего веничка кроплю – охлаждаваю. Брусники мочёной с низа несую, мокрую бороду отодвину и лью живую водицу ему под усы! Вина негоже давать, свянет мужик! Это потом, в предбанничке на выходе, стопочкой его ублажишь. Вливаю ему брусничку под усы, а сама его, ухоженного, бочком, будто от неудобства придавливаю. Глядишь, он у тебя под бочком заворочался, оживает мужичок, руками начинает тебя прихватывать. Тут не грех и похитрить. Мужик добрый, пока бабу не уломал. Вот и тяни бабий праздник, будто впервой тебе к мужику идти! То кружку в предбанник снесёшь. То малинового парку поддашь. То воду в таз по полковника наливаешь. Мужик на кутничке ворочается, кряхтит, а ты у лавки стоишь, волосы намыливаешь. Волосы мылишь, да будто невзначай про дело, какое тебе надобно, помянешь.

Говоришь, будто сама с собой, а глазом востришь туда, на кутничек. Не дай бог мужику перегореть! Время пропустишь – всей твоей бабьей хитрости конец!

Пока мужик кряхтит, на приступочку поднимаюсь. А мужик-то! – весь в банном листу, что лепёха в муке! И начинаешь тот лист с мужичка обирать. А банный лист – что оса в меду. Тут щипнёшь, там прихватишь. Мужик аж добела калится! И ты вроде слабеешь... Тут уж, как говорится, и смех и грех, и пар, и дым!..

Капка, багровея от переживаний, отошла от полка, с низкого лба отбросила мокрые волосы.

— Вот так, Зинаида, баба своё прихватывает! Умелая баба влипнет в мужика, как тот банный лист, и не отдерёт мужик ту бабу ни в баньке, ни в дому! Разумей, девка!..

Один разумник из городу верно сказывал: «Дорога к мужику идёт через брюхо». Это так понимается: когда надо, себя забудь, а мужика ублажи. Бывает, баба в доме, а мужик голодный ходит. Ещё как бывает-то!.. Она думает, раз она баба да ещё, не дай бог, лицом картинка, так ей только и дела, что картинку свою казать! Картинку свою она кажет, а того не ведает, что пирог не румянностью сладок. Мужик-то на её картинку насмотрится, а жрать в другой дом бежит! Знаю я этих мужиков! Сама румяной корочкой зазывала, да кто нужен был, на мой румянец не польстился. К другой, умной бабе ушёл. Она-то и вразумила. Чем слабая баба мужика держит и, как надо, поворачивает! – Капка крепким кулачком с зажатым в нём берёзовым листом как бы рванула невидимую вожжу. – Повернёт, а он ещё и скажет: лучше моей бабы на свете нет!

А не скажет – всё одно мужицким своим телом запомнит тебя, бабу. Тоской лютой нальётся, коли ты от него уйдёшь...

Капка опустилась рядом на лавку, раскинула ноги, подолом платья утёрла лицо, шею, грудь. Она тяжело дышала, и Зинка, отпрянув от её пышущего жаром тела, с восхищением смотрела: как, утираясь, Капка медленно остывала, взбулькивая разгорячённой утробой, как снятый с огня чугунок. За оконцем смеркалось, в затемневшей баньке руки Капки белели и шевелились, будто рыбины в глубине текучей воды.

— Так вот, Зинаида, — сказала Капитолина устало. — Хочешь себе радости да мне добра, прибирай к рукам Макарку. Тебе он нужен, мне мешает. А с Васёнкой сама управлюсь. А теперь, Зинаида, по-скорому ополоснись да давай улепётывай. Мой Гаврила сейчас придёт! И чтоб про баньку — никому! Секрет в себе запри. Сгодится ещё моя бабья наука!..



В ПРАЗДНИК

Каждый, кому приходилось видеть большие праздники в сёлах, наверное, примечал, что на время праздников всё как будто сдвигается с привычных мест. Люди выворачивают наизнанку не только свои дома, не только вспоминают дальних забытых и полузабытых родственников и идут по домам и деревням покаяться и отмолить свою забывчивость, а заодно и погулять за родственным столом, не только съедается и выпивается то, что трудно припасалось месяцами. Сдвигается что-то в самих людях. Люди как будто запоминают прошлое: недруги пьют за одним столом, обидчики чокаются и целуются: всё вне и внутри людей переменяется, как будто на время праздников перестаёт быть установленный порядок, и гуляющие люди позволяют себе и другим то, чего не дозволили бы во все другие дни. В праздники, как в распутицу, нет дорог, и хмельные люди колесят по всей широте земли и делают, что только душа заявит!..

Первое мая в этом году пришлось на великий пост. И отметили май сдержанно, без лишних выпивок, с речами, с концертом городских артистов в клубе. На другой день с утра мужики на лошадях уже пахали подсыхающие бугры.

Село как будто выжидало. Но запахи лука, горячего масла, сладкой ванили шли из домов на улицу. С каждым днём запахи густели. Печные трубы дружно дымили, окна светились допоздна – в домах шла скрытая внутренняя суетня. Ребятишки у завалинок уже хвалились и стучались крашеными яйцами, мужики выходили из домов довольные, отирали губы, были подозрительно добры и разговорчивы. А друг Гаврилы Федотовича, пасечник и охотник Федя, по кличке «Нос», мужик до крайности несамостоятельный, имеющий слабость до всяких праздников, ещё за два дня до срока сошёл, покачиваясь, с крыльца, обратил лицо со своим раздутым, похожим на две сросшиеся картофелины, носом к густеющей тёплой небесной сини и, подняв палец, возвестил истово орущим на берёзах грачам: «Христос воскрес...»

Алёшка первый раз в жизни видел, как готовится к празднику село, и дивился всему, что творилось в эти дни в большом гужавинском доме. Дом, как старую шубу, дружными усилиями выворачивали наизнанку: тащили во двор одеяла, подушки, развешивали на плетнях зимнюю одежду, палками выбивали половики, внутри отмывали, чистили, новили.

Потом дом как будто выворачивали обратно – всё втаскивали, укладывали, каждую вещь ставили на своё извечное, всем привычное место. В этой яркой работе, которую все Гужавины делали вместе, было столько азарта, старания, убеждённости, что Алёшка, теперь почти каждый день гостивший у Витьки, не мог не броситься в эту общую суету, как в весёлое купанье на реке в жаркий день.

Вместе с Витькой он вытаскивал набитые соломой матрасы, палкой колотил половики, починял изгородь и калитку, белил печь. Он знал, что Витьке трудно жилось под началом властной Капитолины, и радовался, наблюдая, как согласны они сейчас, в общих заботах, как приятна Витьке её быстрая похвала или короткий, даже какой-то заискивающий зов о подмоге. Алёшка, отбеливая печь или прибывая на место посудную горку, радовался тому трудовому ладу и всепрощению, которое он видел в эти дни у Гужавиных. Бывало даже такое: Васёнка шаркает по мокрому полу тугим голиком, крыло тёмных волос на её взмокшем лбу бьётся, как живое, её босая сильная нога так и ходит взад-вперёд, распалившись, она рывком отбрасывает табурет или сдвигает скамью и крепко задевает при этом Капитолину. И Капитолина, с подоткнутым подолом длинной юбки исступлённо скоблящая ножом стол, даже не выговаривает Васёнке – только чертыхнётся в азарте работы да подёргает ушибленной ногой. Стремительная Зойка, блестя глазами, мечется из горницы в сени и обратно, обжигает Алёшку взглядом и с охотой выполняет всё, что скажет Капитолина. И Гаврила Федотович, прилаживая к высокому крыльцу новые перила, одобряет каждого словом, как будто, делая своё дело, боится порушить желанный его сердцу мир, не частый в работающей его семье. И замечал Алёшка, что каждый из Гужавиных, стараясь в полную меру своих сил, нет-нет да примеривался беспокойным и ревнивым взглядом на соседские дома: а как там, у соседей, не опережают ли они их? Упаси бог углядеть себя в нерасторопных!

Пасху в Семигорье всегда гуляли шумно. И хотя церковь и её пустая колокольня с облупившимися кирпичными стенами молчала, как покойница, всё равно, охраняя вековую веру, старухи со стариками и бабами собрались и упрямо потянулись за семь вёрст в Покровское ставить свечи и святить куличи.

В первый день с утра гуляли по домам. К полудню вывалились на улицу, ходили толпами по селу, на ходу приплясывали, пели, выкрикивали частушки, по дороге забегали то к куму, то к свату, снова собирались на улице и шли нарядные, растрёпанные, горластые. Бабы, сверкая глазами, с визгом налетали на встречных мужиков, валили на землю. Распалившиеся мужики хватили баб, наминали им бока. Улица шумела, перекрывая грачиный грай. Все гармонии и балалайки, что были в селе, играли враз и каждая своё.

В этой бесшабашной кутерьме было тревожно, весело и даже как-то жутковато, как в грозу.

Алёшка и Витька ходили по шумному селу, стараясь не замечать наплывающие из открытых окон запахи еды и сладких куличей. Васёнка успела сунуть Витьке большой кусок пирога, но всё равно он был голоден, голоден привычно, и потому старался не заглядывать в окна, где за столами ещё сидели, кричали, выпивали.

Они ходили по селу, оглядывали гуляющие толпы, с загадочными улыбками приглядывали принаряжённых девчат, которых на улице копилось всё больше и больше, и с нетерпением ожидали, когда, наконец, снова появятся подводы. С ними рядом уже ходили Иван Петраков и Нурла, сын плотника татарина Шайхулина, а лошадей всё не было видать.

— Ну, что они там! – горячился Витька.

— Да ведь не сразу: пока отвезут! Одно, другое... — успокаивал Иван.

Наконец с околицы в село ворвались шумные подводы. Кони, с красными лентами на дугах, неслись по ещё не просохшей дороге, копытами отшвыривали тяжёлые комья земли. На телегах, держа в руках струны-вожжи, стояли парни-комсомольцы в кепочках, с кумачовыми бантами на пиджаках, с глазами хитрыми. Их залихватские крики: «Ооо-эй», — хлестали по гуляющим толпам.

Пролетев к концу села, обоз развернулся. Теперь парни лихо осаживали коней, вежливо приглашали девчат прокатиться, подсаживали на телеги, покрытые чистыми половиками и попонами, и тут же, усадив любопытствующих девчат, срывали лошадей с места. Витька на одну из телег ловко посадил Нюрку Петракову с двумя подружками, Иван, Нурла и Алёшка устроили на следующей ещё шестерых, и вся вереница подвод с гиком и свистом помчалась из села.

У бора уже горели огнища, по всей подсушенной солнцем опушке игралась молодёжь. Здесь был свой праздник: под гармонь девки пели про тот приказ, который «дан ему на запад, ей в другую сторону», у протянутой между деревьями сетки парни в азарте шлёпали по мячу. Женя Киселёва с наглухо завязанными глазами под хохот всех, кто был вокруг, кружилась и хватала дубинкой по земле, стараясь угадать по горшку. Двое парней наперегонки бежали по склону, придерживая у пояса мешки. Весело было глядеть, как парни, торопясь, перебирают в мешках ногами, путаются в них, как в длинных юбках. Один из парней смекнул и широко, по-заячьи, запрыгал к заветной черте. И всем этим весельем заправлял невозмутимый Вася Обухов.

Ростом ниже Витьки, но сбитый ладно и крепко на долгие годы, он выделялся среди принаряженных парней и девчат своим будним видом: кирзовые сапоги, всем знакомый, коротковатый в руках пиджак, под пиджаком, как всегда, аккуратно застёгнутая на все пуговики серая рубаха; но в этой его будничности не было вызова общему гулянию – он всегда так ходил. В одежде и поступках он спокойно и серьёзно подражал своему отцу Ивану Митрофановичу. Старенький пиджак и рабочие сапоги не мешали Васе Обухову быть хозяином веселья. Веселье нуждалось в нём. И если где-то что-то не залаживалось, кто-то кого-то обидел или не хватало придумки – звали Васю Обухова, и Вася налаживал, мирил, придумывал – и пылали огнища, и шумело веселье!

Когда Алёшка и Витька подъехали к игрищу, Вася Обухов с Зойкой натягивали между деревьями шнур. На нитках свисало со шнура десятка полтора забавных и полезных вещиц – карандаши, конфеты, соски, зеркальца, даже маленькая кукла. Кто-то уже хотел награды, держал большие ножницы, и ему завязывала глаза – готовься, милок, отсчитывай шаги и щёлкай ножницами! Не угадаешь по нитке – режь, на радость зрителям, воздух!..

Вася Обухов сам подошёл к Витьке и Алёшке, как всегда невозмутимый, но по весёлой хитринке в глазах и ухмылке, растягивающей его плотные усмешливые губы, видно было, что Вася доволен.

— Ну, умыкнули невест? – спросил он.

— Гляди! Человек двадцать доставили... Может, ещё разок заехать? – стараясь утишить кипящее в нём возбуждение, говорил Витька.

— Хватит муравейник ворошить. Пасхальное застолье и так поредело. Парни всё одно за девчатами потянутся. Отводите лошадей да сами погуляйте!

От конюшни они возвратились к бору.

Алёшка загорелся желанием постучать по мячу, но Витька, пряча глаза, отвёл его в сторону, с робостью, смешной для парня, стоял перед ним, комкая в кармане бумагу.

Алёшка догадался, что друг позвал его для откровения, и сел под сосну, на выпирающие из земли, согретые первым настоящим теплом корни. Торопить в таких случаях не положено, и Алёшка терпеливо ждал, покалывая палец острием жёлтой сосновой иглы.

— Об этом даже Зойка не знает, — с трудом сказал Витька. — А тебе давно хотел показать... Если что, не жалея – прямо в глаза, ладно? Я, знаешь, стихи написал. Витька глядел в сторону, его большие неуклюжие губы мучительно кривились, смотреть на него было неловко. Алёшка прикрыл глаза рукой, чтобы не смущать друга.

— Читай! – сказал он. Витька, срываясь с голоса на шёпот, прочёл:

Как подумаешь – что-то странно:
Слишком быстро годы летят!
Это было совсем недавно –
Года два тому назад.
Года два, и никак не боле.
Мы учились с тобой вдвоём
В деревенской маленькой школе,
Выходящей к реке двором.
Летом двор зарастал крапивой,
А весной мы, мальчишки, сюда
Прибегали во время разлива
Посмотреть, прибыла ли вода.
И бежали быстрее ветра
Поразить известием класс,
Что на целых три сантиметра
За урок вода поднялась...

Витька замолк. Алёшка отнял от глаз руку, внимательно и очень серьёзно смотрел на покрытое пятнами волнения лицо друга – под крутыми выпирающими надбровьями ожидающе вздрагивали опущенные светлые Витькины ресницы.

— Вить, не прими за обидную жалость мои слова, но это – здорово. Честное человеческое! Никогда не думал, что ты и стихи... Что ты можешь думать стихами!.. – Алёшка сам волновался и не мог выразить то, что сейчас чувствовал. – У тебя есть ещё? Прочти!

Витька, торопясь, вытащил из кармана ещё листок, разгладил на ладони, про себя начитал, шевеля губами, и, остановив глаза на сосне, голосом вдруг отвердевшим заговорил:

Товарищи наши в далёком Мадриде,
Смелее, смелее в атаку идите!
Пусть много народа погибнет в бою,
Но вы отстоите столицу свою!
Наёмники Франко, убийцы народа,
Хотят, чтоб в Мадриде погибла свобода.
Собравшись полками, к Мадриду идут,
Они просчитались! Они не пройдут!..

Алёшка не успел ничего сказать, как из-за сосны выскочила Женя Киселёва, возбуждённая общим весельем, простоволосая, с широкой улыбкой на мальчишеском лице.

— Захоронились, соколики! – Она широко расставила руки, как будто намеревалась схватить зараз Витьку и Алёшку, её шальные глаза искрились смехом. – Что это – выступаете, а зрителей нет? Уж не про любовь ли песни ладите?! – Она потеряла листок в Витькиной руке. Алёшка не мог после удивительных Витькиных стихов тут же настроиться на шутливый лад Жени-трактористки. Он поднялся, машинально отряхиваясь, задумчиво сказал:

— Витя сейчас про Испанию свои стихи читал!..

Как будто кто рукой провёл по лицу Жени, снял с её играющих глаз и распалённых щёк беззаботное веселье.

— Витька покосился на Алёшку, взглядом осуждая его за ненужную откровенность, опустил голову, потёр кулаком лоб – сделал вид, что вспоминает.

— По сводкам, — сказал он, — над Мадридом был воздушный бой. Самый большой за всю историю земли и человечества. Фашистские самолёты вынуждены были удалиться...

— Так им, паукам, – оглобля под ребро! – сказала Женя. – А стихи?

— Стихи?.. Стихи – это так. Ни к чему, Женя!

— Витя! Не обижай. С одного поля нам с тобой хлеб убирать... Давай, Витя!

Витька поколебался, тихо и сурово, по памяти, ещё раз прочитал стихи про Мадрид. Женя слушала, сжав губы, углы её рта подёргивались, когда Витька голосом выделял какое-то слово: стихи как будто опаляли её, и молча и страстно, она принимала этот жгущий её жар слов.

— Крепко надоумило тебя, Витя! – сказала Женя, когда Витька дочитал. – От моего сердца, от души моей сказал! И всё в лад. Как бы мне уцепить эти твои слова?.. Ты, Витя, сбереги их, потом мне наговоришь. Слышишь?!

Открытая хвала и растроганность Жени смутили Витьку. Но Алёшка видел радость на его разволнованном лице и радовался Витькиной радости, как своей.

— Но айдате-ка в круг, соколики! Ведь меня девки прислали, горюхаются без вас! Вон и Зойка бежит, не иначе за вами... — Женя взяла своими сухими железно-крепкими руками руки Алёшки и Витьки и повлекла обоих к общему веселью.

Алёшка всё-таки ушёл к волейболистам: у сетки, в знакомых и определённых правилах игры, он чувствовал себя увереннее, чем в стихии вольного гулянья. Витька остался среди девчат и парней, досыта напрыгался и наигрался в разные весёлые игры и теперь, остывая, прохаживался по окраине бора. Тут и вышел из гуляющей толпы навстречу ему худой и высокий, на голову выше всех других Иван Митрофанович.

Как и Вася Обухов, он был в серой рубашке, пиджаке, сапогах, только голову его прикрывала кепка с широким козырьком. Глаза его хитровато щурились, довольную усмешку он даже не старался загнать под усы.

— Ну, молодцы, парни! – говорил Иван Митрофанович, как взрослому пожимая Витьке руку. – Вашу контрпасху в историю Семигорья надо записать. Ну, молодцы, ребята!..

После того ноябрьского дня, проведённого у Макара, Иван Митрофанович как-то выделил Витьку, как будто записал себе в родню, и Витька это чувствовал, и радовался, и смущался. И теперь, смущаясь, спросил:

— Макар-то Константинович не объявился?..

— Нет, понимаешь! К севу обещал. А сев – вот он: день-два – и трактора пускать!.. Как бы не запоздал Макар!..

Макара не ко времени направили в область учиться на механика. Уехал он под Новый год, без охоты, обещал скоро вернуться, по расчётам должен был уже быть. Витька связывал с его возвращением перемену в своей неулаженной жизни и ждал, очень ждал Макара. Вместе с ним ждала Макара и Васёнка.

Из города Макар писал, и тётка Анна после каждого письма передавала поклон Васёнке и привет ему, но самого Макара не было, и почти целую зиму Витька сиротствовал.

Иван Митрофанович положил на плечо Витьке руку, сказал, утешая:

— Объявится Макар. Не по своей воле в городе сидит. Тут, братец, ничего не попишешь – дело, оно повыше нас с тобой!.. Васёнка — то где? Смотрел – не видать!.. – и, заметив, как переменялся в лице Витька, как заметался его взгляд по гуляющей толпе, настороженно спросил:

— Что с тобой, братец?..

— Иван Митрофанович... Я сейчас. Я – мигом!.. — Витька засуетился, будто пожар увидел над домами, сорвался с места и побежал к селу.

Витька не знал, что задержало Васёнку дома, но беду он сторожил не первый день. Беда ходила где-то рядом, он чувствовал её.

Как уехал Макар, Васёнка при малой возможности рвалась на люди. В доме она как будто задыхалась и по своей воле остаться гулять с Капитолиной не могла. Всё больше встревоживаясь, Витька бежал, и ноги его разъезжались по грязи. Он помнил, что Капитолина ещё с вечера собрала батю в Заозерье, к дяде Мише. И утром с какой-то странной, играющей улыбкой задержала Васёнку дома, велела готовить стол. А ведь гостей в доме не ждали!.. Ох эта Капка, батина утеха! На своём бы шестке сверчала! А то к каждому руку тянет. То медова, то ледова, всех норовит до пола согнуть...

Алёшка видел, как Витька вдруг побежал к селу, догнал его уже у дома лесника, спросил, с трудом переводя дыхание:

— Что случилось, Вить?..

Витька уже не бежал, быстро шёл, на побледневшем лице Алёшка читал беспокойство.

— С Васёнкой кабы чего не стряслось! Одна она...

Вбежав в сени, он с такой силой рванул дверь, как будто уверен был, что дверь заперта.

За столом, застланным скатертью, сидела Капитолина, лесник Красношеин, Зинка Хлопова и Васёнка.

По тому, что стол уже был в беспорядке, и лесник, по-домашнему распахнув ворот своей форменки, лицом и шеей багровел, как сосна на закате, и Капитолина, устроившись между лесником и Васёнкой, держала в руках и клонила к кружкам полувёдерный жбан с домашней брагой, можно было догадаться, что гулянье в доме началось не сейчас и затеяно всерьёз.

Лесник, увидев Алёшку, поднял руки, крикнул:

— Вот это гость! – шумно поднялся, по-медвежьи облапил, усадил рядом с собой. – Капитолина, прошу чистый стакан близкому моему другу!

Витьку он как будто не заметил, и Витька тоже не проявил интереса к гостям. Он как бы мельком взглянул на Васёнку, убедился, что она одна из всей компании глядится чистой и непьяной, и успокоился, прошёл в угол, взял книжку, сел на скамью у окна.

Зинка Хлопова, щуря замутнённые хмелем зелёные глаза, с интересом уставилась на Капитолину, заострённый кончик её не в меру длинного носа, словно оттянутый книзу невидимой гирькой, хитро блестел, — её как будто забавляла заминка, случившаяся с приходом гостей. Капитолина видела смеющийся Зинкин взгляд, но ничем не выдала своего недовольства. Она подала леснику чистый стакан, мягко ступая, пошла к Витьке, обняла за шею, попыталась поднять, приговаривая: «Посиди уж с нами, неучёными, книжник! Сегодня грех читать. Праздник ведь...»

Витька вырвался из-под её руки, пересел на Васёнкину постель и смотрел так, что Капитолина больше не решалась подойти.

— Васёнка! — крикнула она, стоя посреди горницы. — Приглашай братца за стол! Чего это он праздник не уважает!

Васёнка быстро и покорно встала, подошла, прижала к себе Витькину руку.

— Посиди с нами! Прошу тебя, братик, — звала она. — Поди хоть поешь! — Она упрашивала и тянула его к столу, и Витька покорился её зовущей руке.

Васёнка подвинула ему сковороду с жареной картошкой и мясом. Алёшка видел, как от вида даже остывшего жаркого Витька сглотнул слюну. Он взял ложку, но Капитолина его остановила.

— Э, погоди, милоч! Наперво у нас пьют, — сказала она, наполнила кружку брагой, поставила перед Витькой. Налила Алёшке, Красношеину, Зинке, себе. Перед Васёнкой стоял чуть початый стакан.

— Ну, — сказала она и посмотрела на лесника.

Красношеин поднял кружку, слегка ударил по Витькиной кружке.

— За праздник и боевой натиск, парни! — сказал он, подумал и разъяснил: — Во всяческом деле!

— Правильное слово! — поддержала Капитолина и ближе к Витьке подвинула нарезанный ломтями шпиг, белеющий и розовеющий, как молодой снежок.

Витька отложил ложку.

— За пасху комсомольцы не пьют, — сказал он. Хмурясь, добавил: — И вообще не пьют...

— Смотри-ка, в дому монах объявился! — изумилась Капитолина. — Ну, а ты как, дорогой наш гость Алёша?..

— Я тоже предпочёл бы не пить. У меня и у Вити, как вы знаете, положение одинаковое... — Алёшка сказал так и смутился своего путаного объяснения. Ему хотелось быть по-мужски решительным в чужом застолье, и в то же время проявленная Витькой твёрдость его стыдила и останавливала.

— Вот молодёжь пошла! Народный праздник, а не чтут! — Лесник сокрушался и мотал головой, как лошадь на жаре. — И ведь не то чтобы не чтут, — пню не быть деревом! — боятся! На людях все мы как сжатые пружинки! Во! — Он сдавил пальцами воздух. — Вот в лесу, без прочих глаз, там — да! Там и ты выпил бы, Алексей. Выпил бы, а? — Он толкнул Алёшку плечом, наклонился. Лицо у Красношеина было пьяное, а глаза — трезвые, взглядом он будто боталом крутанул в душе.

Алёшке стало не по себе.

— Ладно, молодёжь ещё не знает, где трава укусистей! — сказал лесник. — А вот красна девица, хозяйюшка молодая, должна знать, где косят с прибылью. Покажи, Васёнка, гостям пример!..

— И то: люди просят! А ты с полдня мычишь, не телишься. Чего уж! — корила Васёнку Капитолина.

Зинка Хлопова, пальцем покачивая на столе кружку, прикрыла глаза, поджала жидкие, словно измятые губы.

— В праздник и матушку не грех вспомнить, — сказала она, будто между прочим. Она знала, что сказать! Васёнка кинула на Зинку испуганный взгляд, посмотрела на Витьку, — её нежный девичий подбородок беззащитно дрожал. Винясь перед всеми, она поднесла стакан к губам, покорно, как нужное лекарство, выпила всё.

— Вот за это хвалю! — сказал лесник, чокнулся с Капитолиной и выпил сам.

Васёнка сидела, руками горестно закрыв лицо.

— Тебе, братик, не надо пить. Ты ешь, ешь! И вы, Алёша, ешьте! — говорила она, не отнимая рук от лица. Голос у неё дрожал, Васёнка совсем расстроилась.

Капитолина подмигнула Зинке, обе, вроде бы по нужде, скрылись в сених. Когда они вернулись, у Зинки был такой вид, как будто её пугнули мешком из-за угла: она хохотала и ничего не могла сказать. Она влезла за стол, поковыряла вилкой яичницу, бросила вилку, откусила пирога и от разбиравшего её смеха вздрагивала угловатыми плечами. Капитолина взглядом строжила её, но Зинка ни на кого не обращала внимания — она была вся в себе.

— Ну, мальчики, — сказала она вдруг, — проводите меня на ваше гулянье. А то у меня в голове всё кружится, кружится — дорогу не найду!..

Алёшке уже порядком надоело сидеть за чужим столом, он с готовностью поднялся. Витька с беспокойством смотрел на Васёнку. Видно было, ему тоже хотелось уйти, но оставить Васёнку одну он не решался.

— Я с вами пойду. Погодите малость, сказала Васёнка. Она всё ещё прятала в ладонях лицо, её маленькие аккуратные уши на фоне чёрных волос траурно пунцовели.

— Куда это пойдёшь? — крикнула Капитолина. — Гость в доме. Чай, не ко мне пришёл!..

Лесник, казалось, был безучастен ко всему. Он отвалился к стене, большие пальцы рук засунул под ремень, свободными пальцами лениво постукивал себя по животу. Он был сыт, уважен, глядел сонно. Казалось, здесь, за столом, он сейчас и всхрапнёт.

— Что ж, пойдём, Васён, — осторожно позвал Витька.

— Пойдём, братик, пойдём... — Васёнка попыталась встать. Капитолина с силой надавила ей на плечи.

— Сиди, сказано!.. А ты, если такой беспокойный, — кричала она на Витьку, — поди вон Зинку проводи. Уйдёт гость — тогда и Васёнку отпущу!..

Зинка нагнулась, пощекотала ему шею носом.

— Ну, кавалер. Пошли! Две свободных руки у меня, на каждую по ухажёру!.. — Она вытянула из-за стола Витьку, подхватила под руку Алёшку, озорую, крикнула: «Праздничка вам весёлого!..» — и вместе с Витькой и Алёшкой вывалилась за дверь.

Зинка шла, даже не покачиваясь, цепко держала обоих парней при себе и даже подшучивала то над одним, то над другим, как будто вся её забота в том и состояла, чтобы развлечь провожатых. Не прошли они от села до боа и полдороги, как Витька решительно вырвался из-под Зинкиной руки.

— Лёшка, — сказал он, — не могу гулять. Пойду за Васёнкой! Если что, подожди у бора...

Зинка попыталась ухватить Витьку, но он с твёрдостью отвёл её руку.

Зинка растерялась, потом вдруг озлобилась.

— А ну вас всех с вашими кобыльими баньками! — крикнула она. — Сами разбирайтесь!.. — и побежала к выходящей из села весёлой компании.

Алёшка и Витька переглянулись, пожали плечами — им показалось, что хмель ударил Зинке в голову.

Едва Витька вошёл в калитку, на крыльцо вывалилась Капитолина, гулко топая по ступеням, сбежала навстречу. Она тяжело дышала, рукой держалась за грудь.

— Витёк, Витёк!.. Авдотья у нас. Сказывает, батя сильно пьяный из Заозерья шёл, у моста через Вотгать свалился. Без памяти, говорит, лежит. Беги, милоч, спасай батю! Как бы хуже чего не стряслось!

Убитый вид Капитолины, жалобные её слова, а главное батя, — не раз приходилось выручать его из подобной беды, — подействовали на Витьку. Он, не раздумывая, повернулся, высоким краем улицы, через всё село и дальше полем побежал к Заозерью.

До Заозерского хутора было шесть вёрст. Дорога шла большей частью лугами, вдоль Нёмды, и через две деревни – Колесово и Починки. Бежать всю дорогу по непросохшей скользкой земле Витька не мог, да и по гуляющим деревьям, чтобы не привлекать к себе внимания, шёл шагом, — к мосту через Вотгать, неширокую, но глубокую речушку, впадающую в Нёмду, он добрался не быстро. Бати ни у моста, ни поблизости он не нашёл и, чувствуя, как от тревожности заходится сердце, побежал к уже близкому хутору, к батиному брату дяде Мише.

Большой дом с полуподвалом и надстройкой в ещё одну горницу под крышей с крытым, единым с домом двором и поветью, со своим колодцем у крыльца и невиданным узорочьем по карнизам и наличникам – узорочьем украшал дом батя – встретил Витьку гульбой: песни, голоса, крики пьяно толклись у раскрытых окон, выпадали на дорогу, баламутили всегда стоявшую здесь тишь.

Дом шага на четыре выступал из общего порядка других шести домов хутора и почти упирался кирпичным фундаментом в дорогу. Ни одна подвода, ни единый человек, даже собака, не могли проехать или пробежать по дороге, не замеченными из дома. Заметили, надо полагать, и Витьку, потому что, когда он вбежал по ступенькам на мост, там уже стоял дядя Миша, дожидаясь его. Не в пример бате, он был невысок и не худ, а сух и крепок, как свилеватое дерево, руки держал за шёлковым поясом чёрной сатиновой рубахи и часто моргал, как будто плохо видел Витьку.

— С чем пожаловал, молодец? – высоким голосом спросил дядя Миша. Он не очень жаловал племянника, и были на то у него свои причины.

— Батя был? – неуспокоенно спросил Витька.

— И сейчас здесь! Во, гляди, — дядя Миша указал через раскрытую дверь. Батя сидел с краю стола, ниже плеч уронив включенную голову, сидел молча среди шумных гостей, тяжело и как-то одиноко. — Со вчерашнего в гульбе и домой не просится!

— И не уходил?

— А куда ему уходить. Как сел за стол, так и не вставал. Ты чего это лицом на себя не похож? Иди поешь!..

Витька не ответил. Путаясь ногами в ступенях, едва не скатился с высокой, не как у всех, дяди Мишиной лестницы и побежал изо всех сил домой. Он бежал, спотыкаясь на гладкой тропе, и глотал на бегу слёзы.

На подгибающихся, ослабевших от бега ногах Витька поднимался на крыльцо, чувствовал в себе холодную, будто застывшую ненависть к Капитолине. Он знал теперь, что Капитолина обманула его, что в доме у них не было никакой бабы Дуни, — всё было придумка, ложь, всё для того, чтобы обмануть его, отправить на сторону. Он не знал, что делала Капитолина в доме, пока он искал батю. Но лишний глаз ей мешал, и ощущение беды, которое он почувствовал ещё на гулянье у бора, и которое улеглось после того, как они с Алёшкой повидали Васёнку, теперь тревожило его сильнее, чем прежде. По мере того как Витька проходил крыльцо и сени, ощущение близости беды росло. И, когда он распахнул дверь и увидел то, что было внутри дома, он задохнулся, как задыхаются от душного жара не в меру топлёной и угарной бани: он понял, что опоздал, опоздал навсегда, на всю жизнь...

Васёнка в помятом, открытом на груди платье сидела у окна, растрёпанные волосы закрывали её мокрое лицо. Она смотрела на Витьку провалившимися глазами и молча глотала слёзы. Лесник Красношеин сидел рядом, засунув руки в карманы штанов, раскинув ноги. Надорванный ворот форменки лежал на его плече, на скуле темнела кровь. Он смотрел в пол и тупо улыбался. У печи стояла Капитолина, прикрыв пухлыми веками глаза. На её тугом лице было такое выражение, как будто она только что молилась.

Окна в доме почернели, будто ночь упала на двор. Цепляясь за косяк, Витька дотянулся до полки, нащупал молоток и боком, медленно пошёл к Капитолине. Капитолина глянула и осела, будто подмытый водой сугроб.

— Люди! — прошептала она.

Лесник встал.

—Ну-ка, ну-ка, ты что!.. – опасно бормотал он, не решаясь подойти.

Витька не смотрел на лесника, он видел отступающую за печь Капитолину и шёл на неё, как раненый медведь идёт на охотника, и ужас был на лице Капитолины. Она нашарила медный таз, шатающимися руками подняла над собой, и Витька, дичая от злобы и мести, что есть силы, всадил молоток в его отблёскивающее дно.

Звон пробитого таза, грохот опрокинутой скамьи, падающих вёдер и тел оглушили дом.

Капитолина билась на полу под неловкими Витькиными ударами, и Витька всё больше озлобляясь за её страх и визг, в исступлении тянулся к её раздутому криком горлу. Он нашёл, сдавил тугую шею, но сзади его крепко обняли горячие руки.

— Не надобно, братик! – сказала Васёнка. – Не губи себя. – Она отвела покорного её рукам Витьку, усадила на лавку.

Капитолина стонала и ухала за печью, как в ночи филин. Васёнка чуть повернула голову.

— А ну, будет! – сказала она тихо, Витька едва услышал. Но в голосе её была такая сила, что Капитолина как захлебнулась – её будто не стало в доме.

Васёнка из-под упавших на глаза волос смотрела на всё ещё стоявшего посреди горницы лесника. Взгляд её был тяжёл и недобр.

— Иди, молодчик, покуда, — сказала она. – Иди и ноги не смей на моё крыльцо ставить, пока сама не скажу... Всё понял?

Красношеин, суетясь, отыскал фуражку, вышел, боясь оглянуться.

Васёнка подошла к Витьке, ткнулась головой ему в плечо, заплакала безутешно, как на похоронах.

Витька плечом чувствовал, как пылает Васёнкина голова, рукой придерживал её за спину и тупо думал: «Нету теперь нам с тобой жизни, сеструха, нету...»



У ТУНОШНЫ

Васёнка сложила бельё в корзину, сверху накрыла мокрой ситцевой наволочкой, подцепила тяжёлую корзину на руку, отправилась на Туношну полоскать.

Лето подошло к вершине. Даже на ходу было горячо ступать босыми ногами по тропе. На ржи колос уже гнул высокий стебель; в спелых травах заходились стрёкотом кобылки, на луговых цветах паровались бабочки. Речные густо-синие стрекозы играли над водой. Вдруг ни с того ни с сего разлетались, рассаживаясь на зелёных хлыстиках свища. Хлыстики покачивало течением, вместе с ними качались стрекозы. Радостный шум зелёных лесов на косогоре полнил речную луговину. Лето было в разгаре, земля в силе.

Васёнка умостила корзину на берегу, зашла в воду, ступнями утонув в прохладном донном песке, и забыла, зачем пришла на Туношну. Обняла плечи руками, как будто вдруг ознобило её в этом жарком, звенящем июльском дне, и, не видя, глядела в пёструю от солнца бегущую воду.

Тут и нашёл её Макар. Сел позади на бугре, свесил руки с колен – большие сильные руки свисали ниже травы – и так в молчаливости сидел. Боком к Васёнке.

Долго не понимал Макар, что случилось. Свидеться рвался, а свиданье не удавалось. И не только оттого, что, вернувшись с курсов, всю посевную пропал в МТС на разного рода срочных ремонтах, — казалось сама Васёнка уходит от встречи. Не раз, умотавшись за день, в летних зыбких тёмках возвращаясь домой, он делал крюк, заходил в село от гужавинского дома, при себе носил завёрнутый в чистую бумагу и плотную холстину подарок – из пуха вязаный платок. Старуха, у которой он сторговал его в городе, сама протянула весь платок через кольцо, снятое с пальца, сказала: «Лучшего не найдёшь, голуба. Такой только матери да невесте дарить...» Он нёс дарить невесте, хотел сам накрыть Васёнкины застенчивые плечи невиданным подарком. Но Васёнку ни у дома, ни в селе не повстречал, не увидел её лица даже в тускло освещённых изнутри окнах. И матушка толком ничего не знала, смотрела на него тревожно. Как на грех, и бабка Грибаниха дорогу к ним в дом запомнила!..

Ходить бы Макару, удивляться – не повстречай он на тракте за селом Витьку. Увидел Витька Макара, заметался по сторонам, выглядывая, куда бы сгинуть, но Макар уже крепко держал его за плечи.

Сели тут же, двух шагов не отступив от дороги. Витька, сразу осипнув, будто залпом хватил ковш колодезной воды, слово за слово рассказал Макару всё.

Дня не прошло – сошёлся Макар с Красношеиным в роще, за селом. С ходу, как медведя рогатиной, поднял лесника, придержал, прикидывая, о какое дерево ушибить. Одумался, бросил на землю. Долго поднимался лесник. Поднялся, стащил с плеча ружьё. «Как оно оборачивается, партийный товарищ! – сказал, задыхаясь. – Твоя не взяла – кулаки в ход?! – Раскрытым ртом он хватал воздух, челюсть его тряслась не то от бешенства, не то от страха. – А это видал? – Он показал ружьё. – Пока молчит. Помолчит, помолчит да стрелит!»

Макар подошёл вплотную к Красношеину, прихватил потёртый френч так, что вспоролось в плечах лесника швы. «Слушай. Ты, лишай еловый! – Макар всё ещё сдерживал себя. – Лежать бы тебе под этой осиной. Лежать – и не подняться. На счастье твоё забыть не могу, что человек я...»

Отяжелел Макар в горе, душа будто чугуном налилась. Домой приходил, садился у окна, молчал, мать боялась с ним заговаривать. Искал дела, а в МТС не ко времени случилась передышка. Через Ивана Митрофановича напросился на общий колхозный сенокос, что объявили по селу, надеялся там свидеться с Васёнкой и вдруг, глазам не веря, увидел у Туношны. Васёнка заметила позади сидящего Макара, напряглась, как лозина на струе, но боль оборвавшегося сердца не выдала. Подтянула корзину, выложила закрученное бельё в воду, корзину ополоснула, поставила на траву. Зашла поглубже, взяла Зойкино платье, стала полоскать.

— Не признаёшь? – тихо спросил Макар.

— Как не признать! – насмешливый голос Васёнки будто ударил Макара.

— Что так-то? – спросил он ещё тише.

Васёнка выпрямилась, обернулась, тылом мокрой руки отвела со лба волосы.

— По привету – ответ, по заслугам – почёт! – сказала с вызовом. Глаза её, всегда ясные, как погожий день, сощурились, смотрели на Макара отчуждённо и холодно.

Васёнка похудела, лицо истончилось, построжело, щёки опали, вокруг рта залегла тень.

Макар всё это видел, тяжесть сострадания не давала ему говорить.

Васёнка тоже не охотилась на разговор, полоскала бельё, быстро и ловко выжимала, складывала в корзину. Всё прополоскав и сложив, она оправила волосы, вытерла руки о фартук, спросила, глядя себе на руки:

— Жалеть пришёл?..

Макар поднял тяжёлые от боли глаза.

— Может, сядешь? – сказал он.

— Некогда сиживать! Да и не к чему, Макар Константинович. – Васёнка вздохнула, в горькой усмешке сомкнулись её губы. – Что ж теперь по полю бегать, руками махать, — отпущенную птицу не ловят!..

Макар, как будто не замечая в голосе Васёнки ни насмешки, ни горечи, смотрел на неё грустными спокойными глазами.

— Я, Васёна, от дел не бегаю, с полдороги назад не возвращаюсь. Нет нужды нам с тобой жизнь разламывать. Что задумано, тому быть.

Васёнка от слов качнулась, руками прихватила высокую шею, будто теснота в груди не давала ей вздохнуть, смотрела на Макара испуганно и незащитно.

— Зачем такое говорите, Макар Константинович! – сказала с упрёком, руки её упали с груди, повисли без сил. – Сами знаете, такое не можно...

— Можно. Нам с тобой жить, Васёна. Двоих нас то касается, никого больше. Огорим.

— Огорим! Значит, горе-то есть?! – Васёнка уже справилась с глупой радостью, что поманила её надеждой. Губы снова сомкнулись горько и усмешливо. – Нет, Макар Константинович, не знаю я людей, которые через такое переступают! Батя на Капкины прежние грехи глаза позакрыв, да разве жизнь у них?! В голодности лютуют, потом смотреть друг на дружку не могут... Это ли жизнь?.. И ты, Макар, помнись про то будешь. Сердцем изболеешь. Как рана в боку, замучает она тебя, случись что не по тебе... Не то, не то, всё не то!.. Сказать тебе надобно: не двоих нас то касается. Как в дом-то твой с дитём на руках приду?.. Вот оно как, Макар Константинович. Батины грехи, видать, на меня обернулись...

Васёнка подняла корзину, напрягая гибкое тело, взошла на бугор. Остановилась позади сидящего в немоте Макара. Постояла, глядя на его крепкие, теперь приспущенные плечи, туго обтянутые белёсой со спины гимнастёркой, сказала помягчевшим голосом:

— Прости меня, Макарушка! Видит бог, о тебе мечтала... Не удалось мне судьбу обойти. Другой ухажёр ловчее тебя оказался. По всему видать, с ним доживать век... Прощай, Макарушка!..

Васёнка шла лугом, опустив голову с узлом тёмных волос над высокой шеей, придерживала рукой висящую на локте корзину, шла медленно, будто ощупывая босыми ногами тропу. Спустилась в низину, поднялась на косогор.

Васёнка уходила по косогору всё дальше, виделась всё меньше и на глазах Макара затерялась в пестроте цветущего луга, как дымок растворилась в раздолье летней земли.



МАЛЕНЬКАЯ СОБАЧКА

1

В квартире Поляниных появился чёрный в рыжих подпалинах щенок. Беспомощное существо на разъезжающихся ножках ползало в углу, сморщенной мордочкой размазывало слюни по крашеному полу и надрывно скулило.

У Поляниных никогда не было ни кошек, ни собак: Иван Петрович и Елена Васильевна в своей кочевой жизни избегали всякой лишней привязанности. Наверное, и эта маленькая собачка не оказалась бы в квартире – не появилась она вдруг.

Щенка принёс колхозный пасечник Федя-Нос, известный Елене Васильевне своим весёлым поведением на праздниках и непонятной дружбой с Алёшей.

Когда Елена Васильевна вошла в кухню, щенок уже был на полу, а Федя, держа в огромных красных руках помятый картуз, откланивался у двери. Елена Васильевна испугалась скулящей собачки, но она не была б Еленой Васильевной, если б не улыбнулась гостю.

Так оно и свершилось, это невозможное в семье Поляниных событие.

— Что вы! Зачем? Собачки нам не надо! – говорила Елена Васильевна и в то же время с милой улыбкой прикладывала руку к груди. И глуховатый Федя-Нос, по своему понимая улыбку и жест Елены Васильевны, во весь рот улыбался в ответ и отгораживался от благодарности рукой:

— Не стоит того, Лена Васильевна! Это вашему Олёше. Зайцев стрелять: «Бух, бух...»

Алёшка застал мать в расстроенных чувствах: она стояла у плиты, около её ног в луже молока, ползал мокрый щенок.

Алёшка всё понял: схватил тряпку, вытер пролитое молоко, вымыл и насухо обтер голопузого щенка. Щенок дрожал, плакал, мордочкой тыкался в ладонь: глаза его, наполовину подёрнутые синей поволокой, ещё плохо видели мир.

Алёшка унёс свою неожиданную драгоценность в комнату, уложил на кровать, прикрыл щенка ладонями. Согретый Алёшкиным теплом, он затих.

В дверях появилась мать. Молчаливую договорённость с сыном она сочла нужным дополнить:

— Учти, Алёша, всё будешь сам: и убирать, и мыть, и кормить. Всё, всё сам!..

Она выждала, желая убедиться, дошла ли до сына вся тяжесть дополнительных неприятных обязанностей, и когда сын ответил: «Сам, всё буду делать сам, мамочка!..» — ушла, в душе осуждая своё безволие.

Теперь только отец мог пресечь счастлиное развитие событий.

Отец, по наблюдениям Алёшки, преодолевал какую-то трудную полосу в своей жизни. И дело было не только в нуждах работы, хотя его часто вызывали в район, и на строительстве он нервничал и раздражался. И домой приходил поздно, усталый и неразговорчивый, — всё это было в порядке вещей, работа, как бы она трудна ни была, никогда не угнетала его.

Алёшка не раз видел отца в тяжёлой задумчивости: развернув перед собой газету, он близорукими глазами невидяще смотрел поверх куда-то вдаль, в распахнутое окно, — в такие минуты он бывал так далёк от дома, что не сразу отзывался даже на обращённый к нему вопрос. Было что-то на душе отца, что не зависело от успехов и неудач в работе, от его здоровья или тревожных событий в Европе, за развитием которых он хмуро и сосредоточенно следил.

Однажды он застал его у письменного стола: отец разглядывал лежащую перед ним небольшую фотографию Сталина. Судя по всему, он хотел повесить фотографию и даже осмотрел стену, но раздумал и убрал в свои бумаги. На его столе всегда была только одна фотография — Ленин, читающий «Правду», — других никогда Алёшка не видел. Он понял, что эта молчаливая сцена с фотографией как-то связана с тем, что было на душе отца.

В таком настроении отец легко мог вспылить и очень даже просто оборвать его радостные мечты о настоящих охотах с собакой.

Томясь ожиданием, Алёшка надумал заручиться поддержкой матери, взял щенка на руки, пошёл к ней в комнату.

Мама, вытащив на стол старые письма, листочки и тетради с записями по живописи, музыке, воспитанию — что только не интересовало маму! — сосредоточенно наводила в бумагах порядок.

Алёшка послонялся вокруг, попробовал завладеть её вниманием.

— Мам, правда, симпатичная мордашка? — он наклонился над столом и приподнял лопухую щенячью голову.

— Гениальная! — вздохнула мама.

Нет, в самом деле. Ты посмотри!

— Алёшенька! — мама даже не взглянула на щенка, как-то очень странно она смотрела на Алёшу. — С отцом разговаривать я не буду. Твоя собака — сам и говори, сам упрасивай. Хватит с меня...

Алёшка давно заметил, что мама как будто сторонится отца. Нет, никто ни с кем не ругался, и жизнь в семье шла по заведённому порядку: мама вовремя их кормила, следила за бельём, прибирала квартиру, знала, когда поставить чайник на керосинку, подать на стол хлеб и масло. Жизнь в семье не менялась – менялась сама мама: такой молчаливой и замкнутой она редко бывала прежде. Очень часто стали приходить к ней письма из Ленинграда. И после каждого письма она уходила одна на речку или в ближний лес и возвращалась ещё более замкнутой и молчаливой, и вот так же странно поглядывала на отрешённого от домашних забот, сосредоточенного на чём-то своём отца.

Мама была чем-то недовольна, но ведь каждый человек бывает недоволен! Он, Алёшка, сам раз десять на дню недоволен собой и другими!

Он ушёл к себе в расстроенных чувствах.

Но отец пришёл, постоял над щенком, в раздумье подняв брови, неопределённо сказал:

— Ну-ну... – и взял газету.

Такого полного счастья Алёшка не ждал. Чтобы щенок не беспокоил родителей, он на ночь укладывал его рядом с собой под одеяло. В тепле щенок вёл себя тихо, но бесстыдно пачкал постель.

Каждое утро Алёшка стирал простыни, вывешивал на двор сушиться, вечером гладил, заново стелил. Мать с любопытством наблюдала за его мужественным поведением, но, кажется, не верила, что терпения ему хватит надолго. Мама, как всегда, оказалась права: на пятый день Алёшка, краснея и пряча глаза, принёс к себе в комнату ящик, поставил у кровати, долго и заботливо выстирал внутри тряпками.

Собачка обрела место, но дом потерял покой: щенок искал тёплых Алёшкиных рук, и одинокий плач был слышен даже через закрытую дверь.

— Отец нервничает, – предупредила мама. Но что он мог поделать?

И гроза пришла.

Ночью щенок заскулил. Сонный Алёшка тянул к нему с кровати руки, гладил, но не мог успокоить ни лаской, ни теплом. В родительской комнате что-то грохнуло. Алёшка вмиг проснулся и замер от предчувствия беды. Раздались шаги. В проёме распахнутой двери появился отец: в нижней рубашке, в кальсонах, страшный, как привидение. Он шагнул, опрокинул стул, нагнулся над ящиком; Алёшка не успел протянуть руку, как отец выхватил скулящего щенка, босыми ногами прошлёпал в кухню. Звякнул, отскочив от двери, крюк, гулко пристукнули на крыльце шаткие ступени, жалобный визг донёсся до Алёшки. Топая по полу, отец прошёл в комнату.

Алёшка медленно приходил в себя. Насилие всегда его подавляло, он цепенел, когда на него обрушивалась неожиданная грубая сила.

За стеной что-то говорила мать. Отец сердито отвечал.

Под раскрытым в кухне окном плакал щенок.

Алёшка оделся, через окно вылез во двор. У крыльца подобрал дрожащего щенка, сунул носом под мышку, прикрыл ладонью, пошёл на берег реки.

Домой вернулся, когда по его расчётам отец был уже на работе. Молча напоил щенка молоком. В рюкзак сложил куртку, майку, полотенце, рыболовные снасти.

Мать поставила на стол сковородку с картошкой, подвинула кринку с молоком, стакан.

Алёшка молча ел. Она стояла рядом, охватив плечи, уткнув подбородок в руки.

Как ни был Алёшка погружён в себя, он почувствовал необычайное состояние матери. С беспокойством взглянул на неё раз, другой, ему стало душно: он понял, что мать одобряет то, что задумал он, мать хочет, чтобы он ушёл, она велит ему уйти!

Может быть, всё обошлось бы, как обходилось в прошлом: до вечера он побродил бы по лесу, лес бы его успокоил, и отец за это время успел бы пожалеть о своём несправедливом гневе. Но мать ВЕЛИТ ему идти. Он чувствовал, как она напряжена, видел, как твёрдо и решительно сжаты её красивые губы, и тяжело поднялся.

— Пойду, мама, - сказал он. — Несколько дней меня не будет...

— Хорошо, сын. Иди. Только скажи, где ты будешь... — её голос от напряжения дрожал.

— Где всегда. У дяди Феди, на озёрах.

Он закинул за плечи рюкзак и взял на руки щенка.

2

Федя-Нос, к которому отправился Алёшка, был человеком ни на кого не похожим: с весны до осенних холодов жил в избушке, в пойменных лугах, километрах в десяти от села, вёл колхозную пасеку да забавлял себя кой-каким ремеслом: плёл корзины, лапти, рыбу ловил.

— Мой дом на озёрах, Олёша, — говорил он. — В Семигорье — зимние квартиры, на постой к своей хозяйке становлюсь...

Хозяйкой он называл свою жену — маленькую, курносую, удивительно спокойную к его чудачествам женщину.

Носом все звали Федю за фамилию — Носонов — и за нос, багровый, с сизым отливом, толстый, как картошка, — так бы отломил да бросил в чугунок вариться!

Сам Федя-Нос, по мнению Алёшки, был составлен из противоположностей. В молодых годах он был силен и сейчас в свои «под шестьдесят» один на плече подтаскивал из лесу трёхметровые лесины. Но в жизни своей, как говорил, напрасно «мышь не обидел». Над погибшей пчелой он мог сокрушаться без меры и хоронил её обязательно в землю, как человека, и в то же время был охотник, и выстрелы его по пролётным стаям бывали опустошительны. «За осень три раза, от силы четыре, беру на себя грех, Олёша. Но без того, чтоб не стрелить, не могу...» — признавался он.

Стрелял Федя-Нос из старинной шомпольной фузеи какого-то пушечного калибра. Порох и дробь засыпал в дуло горстью, крепко запыхивал и где-то уже в октябре, когда земля холодала, шёл на озеро. Там, на мыске, стоял у него шалаш, до половины набитый сеном, в воде плавали струганные из липы чучела. Федя зарывался в сено, выставлял из шалаша фузею и терпеливо, многие часы, ждал. Садилась утка: парами, шестёрками, стайками, — это баловство его не занимало. Но вот с водопадным шумом опускалась на озеро пролётная стая; Федя, едва шевеля руками, подтягивался к ружью и замирал. С собачьим терпением он смотрел и дожидался, и когда с полсотни уток сплывалось, и вся их масса плотно покрывала воду, как муравьи кучу, — фузея изрыгала огонь. Гул, похожий на гром с небес, прокатывался над озёрами. Стая взмывала, оставив с десяток белеющих брюшками уток. Федя вылезал из шалаша, яростно потирал скулу: отдача у фузеи была как у пушки. Потом собирал добычу и шёл в Семигорье. Уток раздавал по домам, чаще и больше других — Петраковым.

К вечеру скулу у него разносило флюсом. Флюс наливался чернотой, потом синел, постепенно желтел, к концу недели опадал. Федя прощупывал скулу большим пальцем, устанавливал между ног фузею и, щуря глаз, снова с горсти сыпал порох в широкое дуло.

Таков был он, Федя-Нос, и ничто не могло его изменить. На праздниках он гулял широко, благо угощали его в каждом доме и не скупилась для хорошего человека. Но только на праздниках. Кончился праздник — и весёлое шатание снимало с Федю как рукой: он загружал в мешок хлебы, виноватясь, что-то говорил своей хозяйке и уходил на пасеку, в одинокую свою избушку.

Алёшка не знал, по какому такому случаю пригрел его около себя Федя-Нос, но бывать с ним любил, и слушать любил, и не к кому другому – к нему шёл сейчас со своей горькой обидой на отца и с каким-то недоумённым чувством к матери. В избушке он отмяк, домашние заботы от него отошли. Федя-Нос подал мёду с чаем и, как всегда, сходу подзадорил:

— Не пойдёшь с удочкой? Какой головель в протоке прихватывает – жутко!.. И ручейники припасены...

Он сопровождал Алёшку на протоку, усадил под «уловистый куст», поставил баночку с ручейниками. Щенка забрал с собой, чтоб «не было шевеленья». Так до вечера Алёшка и мудрил над голавлями, забыв про всё на свете. К ночи, обирая губами мякоть с румяно поджаренных рыб, он разговорился.

— Фёдор Игнатьич, скажите же, наконец, чем вы меня отличили? Привечаете, а за что? Ни сын, ни родной вам. И добра никакого не сделал...

Федя-Нос прибавил в лампе свету, с другого края стола поглядел внимательно:

— Я, Олёша, со всеми одинаков: тепла надо – грейся, голоден – садись, ешь за ради бога, совета спросишь – дам. От добра не беднеют! А в злого человека – что вот есть он такой негодный – не верю. Зло и в добрых бывает. От нужды. Всё зло, Олёша, от нужды... А людей я всё же различаю. Тебя вот различил. Не запомнил, как по весне на сухой гриве свиделись? Ты в шалашике на токовище таился. А я за тобой смотрел. Очень бывает мне интересно человека глядеть, когда он того не знает... Тогда и подглядел, как ты тем старым токовиком распорядился. Ну, красавец, всех петухов поразогнал. И с самочкой так это жалостливо обошёлся – сердце ущемил! Думаю: сейчас ты этого, дорогого мне, кавалера стрелишь. Гляжу на твой шалаш, а солнце пробивает сквозь и на лицо твоё падает. И вижу – очарован ты этой великой птицей и про ружьё не помнишь. Тут я тебя и различил, хотя раньше видел на озёрах. Показался ты мне, вот и рад, когда приходишь...

Смущаясь приятной ему похвалы, Алёшка поднялся, сунулся к умывальнику отмывать замасленные пальцы. Оттуда, из угла, спросил:

— Значит, нет злых людей? А меня отец обидел. На всю жизнь! – он вернулся к столу, рассказал всё, что случилось дома. Федя-Нос сильно расстроился, даже не мог спокойно сидеть на лавке, вставал, снова садился.

— Я-то, старый глухарь, думал, тебя собачкой одарю! От самого Петра Ишутина нёс – в нашем краю лучшей породы нету! Ах ты, едрёна калина!.. Ну, ты, Олёша, на отца сердца не держи. Всяко в житее бывает. Но скажу тебе, и ты меня послушай: ежели человек прогоняет собаку, значит, худо у него на душе.

— Ты вот что, Олёша, щеночка мне оставь. Утихнет дома – возмёмшь. Ах ты, едрёна калина!..

Ночь Алёшка проворочался на сене, не столько от духоты и комарья, сколько от смуты, которую зародил в нём Федя-Нос.

Весь другой день он провёл около избушки, помог перепилить пару лесин, поколол их помельче, вместе сходили на вырубку, нарезали берёзы на веники – Федя-Нос любил париться в баньке, за раз исхлестывал по два веника. Потом поиграл на лугу со щенком и нарёк его именем: отныне собачка стала «Уралом». «На Урале мы долго и, кажется, хорошо жили», — пояснил Алёшка. А к вечеру вдруг собрался домой, и Федя-Нос его не задержал.

— Ступай, Олёша, — сказал он. – Пригляжу за собакой.

3

К посёлку он подошёл уже в сумерках и свернул на тропу, которой обычно ходил к перевозу. На обрыве, против дома, увидел одинокого человека и, чувствуя, как заколотилось сердце, помедлил с шагом.

Случайно отец оказался у знакомой тропы или долго и намеренно поджидал его – Алёшка не понял. Отец стоял, сутулясь, в руках держал очки. Даже в сумеречном закатном свете было видно, как осунулось его лицо. Близорукие глаза смотрели на Алёшку с такой растерянностью и болью, что ещё миг – и Алёшка опустился бы перед отцом на колени.

Отец старался говорить спокойно, но голос его срывался:

— Хотел предупредить... Мама очень взволнована. Я погорячился. Ты – тоже... Глупо, очень глупо: рвётся там, где не ждёшь. – Он судорожно вздохнул, надел очки. Даже стёкла очков не могли скрыть его затуманенных страданием глаз.

Алёшка опустил голову, сказал:

— Прости меня, папа. Щенка я отдам...

Иван Петрович испуганно взглянул на сына, достал из кармана платок, подержал в руке, снова сунул в карман.

— Не в щенке дело. Собачка пусть живёт... — сказал он и беспокойно огляделся. – Ты вот что: иди домой. Мама тебя ждёт. Иди!..

Дрожащие руки отца коснулись его рук, и Алёша почувствовал, как в его груди вдруг всё заледенело. Он понял: дома что-то произошло, что-то гораздо более важное, чем всё, что было до сих пор.

У крыльца отец остановился.

— У меня тут дела. Пойду проверю, — сказал он, ещё раз взглянул на Алёшку и пошёл, почти побежал мимо заборчика, не оглядываясь. Алёшке казалось, что он вот-вот споткнётся – ноги плохо слушались отца.

В доме всё было на своих местах. Мать сидела в большой комнате за столом, писала письмо.

— Я ждала тебя, Алёша. Сядь, — сказала она. Мама всегда встречала его улыбкой, всегда, когда бы он ни переступал порог дома, откуда бы ни возвращался – из школы или с охоты. Первый раз он не увидел маминой приветливой улыбки, она даже не перестала писать.

— Сядь, Алёшенька, — повторила она, и Алёшка, впервые оробев перед матерью, послушно сел.

Маму он не узнавал: лицо её как будто заострилось, было решительным и непреклонным, рука твёрдо лежала на столе. Как будто невероятной силы пружина, обычно закрученная лишь на слабый виток, теперь сжалась в ней до предела. В каждом движении её руки, повороте головы, взгляде звенела эта напружиненная сила.

Мама дописала письмо, аккуратно перегнула, вложила в конверт.

— Алёшенька! – Она смотрела на него решительно. – Я ничего не буду тебе объяснять. Всё мы решим потом. Сейчас я прошу об одном: ты должен поехать со мной в Ленинград...

«Вот оно! – Алёшка замер. – Вот оно, то смутное, тревожное, что передалось ему от отца. Мама хочет уехать! И он, Алёшка, должен...» Он с трудом понимал, что он должен. Как из плывущего над рекой осеннего тумана постепенно проступают очертания прибрежных кустов, песчаных кос, застрявших на отмелях коряг, так в его сознании проступило то, что случилось в доме той, теперь, казалось, далёкой, ночи, когда разгневанный отец выбросил на двор щенка. Теперь он мог понять растерянность отца, знал, почему он не поднялся в дом, а придумал себе дело в посёлке. Он понимал теперь, почему мама в то утро молча ВЕЛЕЛА ему уйти из дома. Туман уплывал. Всё открылось и виделось ясно, с такой пронзительной обнажённостью, что Алёшка закрыл глаза.

Мать положила ему на голову руку.

— Алёшенька! Родной мой! Не время говорить о моей, о твоей жизни. Ты всё поймёшь потом. Сейчас ты должен поехать со мной! Должен. Алёшенька, должен...

Глаза её, полные слёз и отчаяния, молили. Алёшка понял, что мама давно задумала уехать из Семигорья, но у неё не хватало сил начать другую жизнь без него. Маленькая собачка подстегнула время, она подстегнула и мамину решимость.

— Поедем, Алёшенька... Мне надо успокоиться, повидать родных. Папа тоже подумает... Может, ещё всё уладится... Нам надо поехать, Алёшенька... — Она не отпускала, гладила его руку своей горячей, огрубевшей в домашних делах ладонью.

Алёшка не мог выстоять перед её слезами.

— Хорошо, мамочка, поедем, — покорно сказал он, — только не плачь. Пожалуйста, не плачь, мама!

На кухне тихо открылась дверь. Елена Васильевна поспешно вытерла платком глаза, выпрямилась, подобрала локти. Снова она была непримирима, её прищуренные глаза смотрели сухо и решительно.

Алёшка слушал, что делает отец: отец постоял у порога, подошёл к дверям комнаты, заглянул, поспешно ушёл обратно. Остановился, затих. Алёшка напрягает слух, слышит, как отец пальцами постукивает по столу.

Мать неподвижно сидит, охватив щёки ладонями.

В доме так тихо, что хочется кричать.



У РОДНЫХ

1

Алёшка с тёмной лестничной площадки последним протиснулся в узкую дверь и встал у порога. Длинный, стеснительный, с тяжёлым чемоданом в руке, он стоял у большой, окутанной паром, радостно шипевшей плиты и терпеливо ждал, когда притихнут ахи, охи, поцелуи, суматошный говор семейной встречи. Елену Васильевну окружили, обнимали и целовали все разом, потом заново, по очереди: сестра Мария – Мура — Мусенька, самая старшая сестра Марина, или Мома, как звали её по-семейному, муж самой старшей сестры, дядя Саша, хитро подмигнувший Алёшке через поблёскивающие стёкла пенсне, и дедушка Василий, не потерявший достоинства даже в этой всеобщей суеде. Бабушка Катя, такая толстая. Что руками не обнять, но с удивительно молодым гладким и добрым лицом властным жестом отстранила всех, передником вытерла рот и расцеловала любимую дочку в глаза и губы.

Елена Васильевна стояла пунцовая, счастливая. Шляпка её съехала и закрыла ухо, волосы выбились на лоб, глаза повлажнели и блестели от радости. Она, не переставая, смеялась и отвечала сразу всем. Никто ничего не мог понять и не хотел понимать – то, что было самым важным, видели все: их Ленушка снова в кругу родных.

Из общей суматохи, словно мячик из воды, вынырнула Олька, дочка Муры – Мусеньки. Чмокнув Елену Васильевну в щёку, она, словно кошечка, прыгнула к Алёшке и, повиснув у него на шее, жарко поцеловала в губы. Алёшка стоял, с трудом удерживая в руке чемодан, он заметил прищуренный лукавый взгляд Ольки и не знал, что делать. Не отнимая тёплых оголённых рук от Алёшкиной шеи, Олька ещё раз жарко поцеловала Алёшку в губы и опять испытующе заглянула ему в глаза из-под длинных редких ресниц. Она как будто разом хотела почувствовать, каким Алёшка стал за шесть лет разлуки, но так и не почувствовала брата, скинула руки с его шеи и, энергично подталкивая в спину, выставила Алёшку на всеобщее обозрение. Вконец растерянный, Алёшка, вслед за Еленой Васильевной, покорно принял суматошные приветствия и удивлённые возгласы, новые охи и ахи.

После обеда, долгого и сытного до тяжести, за которым все оживлённо разговаривали и с удовольствием напробовались бабушкиных пирогов, Олька увела Алёшку на «свою» половину, в гостиную, и, усадив на мягкую низкую кушетку, потребовала:

— Ну, рассказывай о себе!..

Алёшка пожал плечами, смущённо потрогал волосы. Он не умел «вести разговор», он любил слушать и молчать. К тому же Олька смущала его своей бойкостью и вызывающей независимостью, он чувствовал, что она намного «взрослее» его. Да о чём он мог рассказать? О лесах, в которых можно быть дни, ночи и всю жизнь и никогда не чувствовать себя одиноким? О весенних разливах на Волге, когда лес стоит в воде, как на зеркалах, терпеливо ожидая тепла и земли? О том, как на болотах шваркают селезни и, слушая и понимая их, он поднимает и стреляет глупых красавцев? А на заре слушает летящих над макушками деревьев и поскрипывающих, как кожа седла, вальдшнепов? Или о том, как ночует на земле, под соснами, и смотрит в небо, шевелящееся от звёзд?.. Может быть, о школе, о том, что каждый день проходит пять километров туда и пять километров обратно в метели и дожди и в волны и ветер переправляется через две реки? Или рассказать о Семигорье, о леснике Красношеине, о Васёнке, о смешной, до удивления преданной ему девчонке Зойке? Или о конюхе Василии? Или о Юрочке?

Алёшка чувствует: расскажи он обо всём этом Ольке – она сдержанно выслушает и разочарованно вздохнёт. Ему кажется, она слишком городская и слишком суетна, чтобы засмотреться на звёзды или молчаливо разделить с лесом тишину. Олька живёт чем-то своим, волнующим, быстрым и ярким, и он, Алёшка, наверное, интересен для неё, как ёжик, случайно привезённый из лесов. Он чувствовал это и потому сказал:

— Не знаю, Олька, мне нечего рассказать. Вокруг меня – леса и одиночество, у тебя за окнами – Ленинград! Рассказывай ты! – Алёшка застеснялся своих красивых фраз, покраснел и от смущения кулаками похлопал себя по торчащим коленям.

Олька звонко расхохоталась и крикнула:

— Ты самая настоящая деревенщина, Алёшка! – Она как будто была рада открытию и с хитрой улыбкой добавила: — Подожди, я возьмусь за тебя!.. А как твои сердечные дела? – невинно спросила она и, как тогда, на кухне, испытующе вгляделась в Алёшку.

В гостиную, будто по пути, впорхнула Мура-Муся. Она с какой-то комичной подозрительностью посмотрела на Ольку, на Алёшку и, тут же собрав на лбу недовольные складочки, сказала:

— Оляка! Ты лучше бы показала Алёше свои новые работы!.. Ты знаешь, Лешкин, — Мура-Муся любила коверкать имена, — как она рисует! Ведь талантлива до умопомрачения! И при таком таланте до ужаса ленива! Я ей говорю: «Оляка, ты пойми...»

Оляка вспыхнула, широкие крылья её вздёрнутого носа угрожающе раздулись. Но ответила она неожиданно для Алёшки сдержанно:

— Во-первых, я не намерена хвастаться своей мазнёй. Это, во-первых. А во-вторых, мамочка, сколько раз я просила тебя не вмешиваться в мои дела и в мои разговоры. Мы уже достаточно взрослые, чтобы самим разобраться в своих делах. Думаю, всё ясно, мамочка?

У Ольки был уничтожающе спокойный вид, чуть склонив голову, она с лёгкой иронией смотрела на мать. Алёшке стало неловко. Он подобрал руки к коленям и виновато притих.

Мура-Муся, заламывая пальцы, нервно побежала по гостиной. От чёрного, поблёскивающего лаком пианино она перебежала к круглому столу, где на тяжёлой плюшевой скатерти в низкой вазе, похожей на самовар, стояли бумажные розы. В сторону отставив мизинец, она привычным движением рук поправила цветы и тут же побежала обратно к пианино, на ходу выкрикивая:

— Как тебе не стыдно так разговаривать с матерью! Вот, Алёшенька, какие пошли неблагодарные дети! Стыд! Кошмар!.. Постыдилась бы Алексея!..

Оляка выпрямилась и молча сидела вполоборота к матери, пухлые губы её сложены были в полупрезрительную, полуироническую улыбку. Видом своим она как будто давала понять, что весь этот крик и шум выдерживает только потому, что кричит и шумит её мать. Расстроенная Мура-Муся не выдержала, остановилась у пианино, всхлипнула, приложила платок к глазам.

— Вот, всегда так! – выкрикнула она сквозь слёзы и, ещё раз окинув гостиную скорбным взглядом, вышла.

— Вот, всегда так! – раздражённо повторила Оляка. – Ей надо обязательно кому-нибудь испортить настроение! Без этого она не может.

Оляка с минуту сидела неподвижно, прислушиваясь к разговору за дверью, потом хмыкнула в нос.

— Не обращай внимания, сказала она. – Моя независимость – мамочкин пунктик!.. Давай говорить о своих делах.

Оляка скинула туфли, подсунула под себя ноги и, удобно привалившись к мягкой спинке дивана, потребовала:

— Ну, говори, ты влюблялся?..

Ох, и Оляка! Она менялась вмиг. Всё скатывалось с неё, как с крыши вода! Алёшка, подавленный неожиданными слезами Муры-Муси, смотрел на сестру с упрёком, Оляка тут же уловила его настроение.

— Ты думаешь, мама переживает? – сказала она. – Ничуть. Это всё не больше чем... — она пошевелила тонкими пальцами, — не больше, чем пена. Я уже привыкла. Для тебя это странно, ты отвык от нашей жизни. Ничего, поживёшь с ними. – Оляка кивнула на дверь, – будешь, как я...

— Оляка, – спросил Алёшка, – а Николай Андреевич когда приходит?

— Отец?! Обычно перед праздниками, – и, удивляясь, спросила: — Разве ты не знаешь? Он уже третий год не живёт с нами. Но в гости приходит. И я бываю у него. Странно, правда?

Алёшка растерянно, даже с каким-то страхом, смотрел на Ольку. Ушёл отец! А Оляка об этом говорит, и так спокойно, как будто не об отце, а о какой-то забавной, не имеющей к ней отношения истории!..

Алёшке было горько, как будто его обманули. В неожиданной этой поездке в Ленинград, на которой так некстати настояла мама, его согревало только одно радостное ожидание – встреча с Олькиным отцом, Николаем Андреевичем. Среди всех хлопотливых тётушек, бабушек, дядюшек, среди всей ленинградской родни, один Николай Андреевич, дядя Ника, светил ему тёплым спокойным костерком в здешней, не очень-то интересной, домашней жизни и всегдашней неразберихе.

В ту пору, когда Алёшка жил в этой квартире, он терпеливо дожидался вечерних часов, когда дядя Ника приходил с работы и за своим верстачком, в тёмном коридоре, над которым в эти часы ярко светила лампочка, начинал мастерить. На верстачке он строгал, пилил, шлифовал, подкрашивал, и каждая вещь – будь то рамка для картины, полочка, шкатулка или бочонок под бабушкины засолы – выходила из-под его рук до загляденья ладная да ещё расписная, как игрушка! В квартире он всё делал сам – белил потолки, красил рамы и подоконники, натирал полы: он всегда был в деле, как будто та работа на заводе, на которую он ходил каждый день, только разжигала его азарт. С дядей Никой Алёшка ходил в Таврический сад, терпеливо наблюдал, как рисует он пруды и мосточки над каналами, задумчивые от высоких лип аллеи. Он хорошо рисовал, дядя Ника, и то, что Оляка тоже рисовала, наверное, было от него.

Алёшка знал что родня с холодком, а порой со сдержанным раздражением относилась к Николаю Андреевичу, так же как и к Ивану Петровичу, Алёшкиному отцу. Но дядя Ника и не требовал любви, он вообще никогда ничего не требовал. При любых гостях, за столом, в разговоре, он всегда оставался самим собой – невозмутимым, простым, никогда не привлекал к себе внимания, и когда ему становилось неинтересно, спокойно вставал и уходил к своему верстачку, какие бы важные гости не сидели в гостиной.

Таков был он, Олькин отец, и горько и обидно было Алёшке, что дядя Ника с Баскова переулка ушёл...

Алёшка подавленно молчал. Оля тоже притихла и глядела на брата с какой-то вызывающей настороженностью.

— Оля! – спросил Алёшка глухо. – А почему Николай Андреевич ушёл?

Круглое личико Ольки оживилось. Она прикрыла ресницами глаза, пальцами перебирала и разглаживала низ платья.

— Видишь ли, — осторожно сказала она, — семейные отношения сложнее, чем можешь знать ты...

Олька нарочно тянула слова, стараясь ленивой будничностью тона подчеркнуть значительность того, что знает она и ещё не знает Алёшка.

— Дело в том, что в семейной жизни важна не только квартира и зарплата, важен ещё и темперамент. Да, темперамент, – спокойно повторила она, заметив удивлённое движение Алёшки. – Ты это понимаешь? Или пока ещё ... — Оля приставила ладонь к уху и, вопросительно взглянув на Алёшку, помахала у виска пальцами. – Не удивляйся, об этом рассказала мне мама. Она позаботилась, чтобы я знала всё. С её стороны это мило, не правда ли?.. Поэтому к отцу я отношусь спокойно. Мы даже дружны с ним. Тебя это удивляет?..

Олька говорила спокойно, слишком спокойно, даже, пожалуй, чуточку небрежно. Именно её спокойная небрежность заставляла смущённого Алёшку слушать. То, на что целомудрие накладывает определённый запрет, для Ольки уже не было запретом. Ей интересно было наставить брата в той жизни, которая для неё уже приоткрылась своей манящей стороной, и сказать о том брату ей ужасно хотелось. Но Олька чувствовала, что Алёшка «другой», не такой, как она, и, боясь уколоть себя, она словами, будто мягкими лапками, прощупывала неуклюжую и неясную для неё Алёшкину душу. Пока она благоразумно остановилась там, где ощутила сопротивление.

— Ладно, скажи лучше, чем ты сейчас живёшь? – спросила Оляка.

— Как чем?

— Ну, что тебя волнует больше всего другого?

Алёшка пожал плечами. Он не поспевал за скачками и поворотами в Олькиных мыслях, но постарался ответить как можно честнее:

— Пожалуй, больше всех других волнует вопрос: как человек должен жить.

— Ха! – Оляка откинулась на спинку дивана и, скрестив на груди руки, с неподдельным изумлением уставилась на Алёшку. – Ты это всерьёз?!

— Конечно, всерьёз!

— Потрясающе! – сказала Оляка. – Ну, и как ты решил этот вопрос?

— Ещё не решил, решаю. Кручусь где-то вокруг теории разумного эгоизма...

— Кирсановского или рахметовского?

— Рахметовского.

— Потрясающе! – повторила Оляка. – К какой же революции ты себя готовишь? Октябрьская совершилась. Индустриальная, колхозная – тоже совершилась... О какой революции думаешь ты?

— О духовной, — уже злясь сказал Алёшка. Он чувствовал, что Оляка в душе смеётся над его откровением.

— Подожди, не сердись. Всё это очень интересно, — успокоила его Оляка. – Ты всё-таки скажи, как ты решаешь для себя эти духовные проблемы?

— Так вот и решаю.

— А всё-таки?

— Пока решил одну: понял, что нельзя жить за чужой спиной. Даже за отцовской спиной. Понял, что в жизни не должно быть посредников. Что есть только один посредник между мной и жизнью – работа...

— Это интересно, — почти искренне сказала Оляка.

— Ещё одним вопросом мучаюсь: не могу помирить «хочу» и «надо».

Оляка теперь как будто уменьшилась и тихо сидела среди диванных подушек, только смешливые её глаза блестели сильнее обычного.

— Да-а, — сказала она, комично наморщив лоб, и мизинцем почесала кончик носа. – К этому разговору мы с тобой ещё вернёмся. Ну, вот что, Алёшка! Мне, в общем, ясно, что ты собой представляешь. И я берусь за тебя всерьёз. Ты, конечно, знаешь...

В гостиную снова вбежала Мура-Муся.

Алёшка теперь смотрел на Олькину мать с любопытством и сочувствием. К его удивлению, Мура-Муся была настроена мирно. Она вошла с согнутыми и по локоть оголёнными руками, как будто только что оторвалась от дела и теперь искала другой достойной работы. Но работы в гостиной она не нашла, только ещё раз поправила бумажные розы в вазе и застыла над столом. Вдруг она встрепенулась и воскликнула:

— Дети мои! А вы знаете, что сегодня мы едем в кино-о-о...

Растягивая, почти напевая заключительное «о-о-о», она вскинула руки и громко хлопнула в ладоши и тут же, быстро-быстро потирая ладонями одна о другую, ласково и хитро улыбнулась Ольке и Алёшке:

— Как, дети, вы согласны?

— Разумеется, — спокойно сказала Олька, и Алёшка заметил, как углы её пухлых, будто сонных губ дрогнули в снисходительной улыбке.

2

Гости отобедали и теперь разбрелись по комнатам.

Каждый старался найти занятие, хоть в какой-то мере близкое к своему неясному послеобеденному настроению.

В гостиной за круглым столом разместился пожилой малоподвижный народ «посражаться в картишки», по правую руку каждого легли, отсвечивая медью и серебром, горстки мелочи.

Внимание женщин Мария Васильевна привлекла к распухшему от фотографий семейному альбому. Надо сказать, этой всем знакомой семейной реликвии, обтянутой потёртым синим плюшем, на этот раз оказано было особое внимание. Дружный восторг женщин обратился к фотографиям Елены Васильевны, каждую фотографию обсуждали, на каждой Елену Васильевну хвалили, хвалили даже на снимке, на котором она была существом ещё довольно неопределённым с голенькими задранными ногами и круглыми испуганными глазами.

Альбом шествовал из рук в руки вокруг смущённой Елены Васильевны, и, запечатлённое чудом XX века, её мечтательное и наивное, её милое девичество проходило перед ней.

В низких креслах и на старинных тяжёлых стульях, принесённых из столовой, разместились любители пофилософствовать. Говорили про коварных японцев и бои на Халхин-Голе, о немцах, о Гитлере, о назревающей в Европе войне, говорили с таким ленивым спокойствием, как говорят о далёких марсианах, которые могут быть, а могут и не быть. По крайней мере, если и могут быть, то уж никак не появятся в этой гостиной, в этом старинном большом доме на Басковом – тихом ленинградском переулке.

Олька не отпускала Алёшку, таскала за собой по гостиной и с удовольствием представляла гостям.

— Это – Алёшка, мой брат, Ленушин сын! – говорила Олька и улыбалась во всё лицо.

Мужчины, мало знакомые Алёшке или совсем незнакомые, пожимали ему руку и все одинаково говорили:

— Вымахал-то как! Молодец! – и дружески похлопывали по плечу.

Женщины не похлопывали его и не пожимали рук. Они с видимой досадой прекращали разговоры, лица их вытягивались в вежливых улыбках. Узнав, что перед ними сын их милой Ленушки, они оживлялись и начинали внимательнее разглядывать Алёшку.

— Нос вылитый Ленушкин! Видите – даже горбиночка её!

— И губы. У Ленушки прекрасный рот!

— Похож! Только верхняя губа подкачала – припухла. Но это пройдёт с возрастом!.. Ну-ка, улыбнись, Алёша. Ну, улыбнись же! Покажи свои губы... — Тётка, родные, двоюродные и троюродные, досаждали Алёшке много больше мужчин.

Олька представила Алёшку всем, кто был в гостиной. И теперь явно не знала, куда деть молчаливого и стеснительного брата. Она усадила Алёшку на стул, рядом с мирно беседующими старичками, и куда-то исчезла.

Алёшка послушал говор старичков, но их послеобеденная философия его не увлекла. Он встал и прошёл через столовую и длинный коридор к бабушке. Бабушка мыла посуду. Среди грязных тарелок, стаканов с мутными остатками чая и продавленными кружками лимонов, среди захватанных рюмок, ножей и вилок – всех этих тяжких следов домашнего веселья – она была как одинокий воин на покинутом бранном поле. Алёшка молча снял с бабушкиного плеча полотенце и стал вытирать мытые тарелки.

Бабушку Катю тронуло внимание внука, она мокрой рукой привлекла Алёшку к себе, поцеловала в лоб. За последние годы бабушка раздалась вширь, отяжелела. Располневшая грудь почти подпирала её провисший подбородок, и ноги долго не выдерживали – всё чаще она садилась на табурет и работу доделывала сидя.

Никогда никому не призналась бы Екатерина Ивановна, что судьба её не задалась. Не ей гневить всевышнего. Что отпущено, то прожито; что надо, то нажито. Другого не будет, как не будет другого мужа и другой жизни. На восемнадцатом году, единожды и навсегда, она доверилась Василию, своему же деревенскому парню. С ним и ушла, безропотно собралась и ушла из села, когда Василий пораскинул своим рассудительным умом и сказал ей, что здесь, в Знаменке, им в люди не выбиться и должны они перебраться в Питер. С того дня и стала она как пуговица, пришитая к его пиджаку.

Судьба как будто, в самом деле, ждала Василия в Питере. Он и в городе не уронил своего грамотейства и к третьему году службы в пароходстве заделался приказчиком, а когда генералу Радзинскому, владельцу большого каменного дома в Басковом переулке, потребовался управляющий, хозяин пароходства порекомендовал генералу Василия. Генерал любил порядок и деньги. Василий порядок навёл и деньги от доходного дома взял. За исполнительную службу генерал пожаловал ему квартиру на втором этаже своего дома и теперь ждал ещё большего усердия, и Василий, верно бы, постарался. Но оказалась революция, и генерал сбежал. Дом остался. Василий рассудил, что хороший дом понадобится и новой власти, и в исправности передал дом Петроградскому Совету рабочих и солдатских депутатов. Его попросили временно исполнять прежние свои обязанности. Он исполнял, сначала временно, потом постоянно. Исполняет и до сих пор. Так закрепились они на Басковом и никакого другого места в Питере не искали. Что касается Екатерины Ивановны, то она и не заметила особой разницы между городской и деревенской жизнью. В крестьянских заботах росла, в таких же заботах пребывала и здесь, разве что за скотиной в городе не ходила. А так, как в деревне – в хозяйской суматохе от света до темна. И всё по дому. Семья, по деревенским понятиям, вроде бы невелика: четыре дочки, самих двое. Так это по деревенским!

Екатерина Ивановна и не заметила, как переменилось её понимание жизни. Вслед за Василием она словно бы приподнялась над своим прошлым и смотрела теперь на деревню и на своих сродственников, потихоньку через них тянувшихся в Питер, свысока. Отказывать никому не отказывала, но принимала без былого радушия. И, когда Василий каждого где-то пристраивал, она по-доброму, с напутствием, но и с облегчением выпроваживала одного за другим в прямо-таки бездонную городскую жизнь.

Потому и дочек она воспитывала не по-деревенски, а как требовал того город.

Городское воспитание оказалось куда как хлопотней и расточительней. И хотя удалось всех дочек выучить, и приодеть, и замуж поведать, не пришло с этой их житейской удачей ни счастья, ни успокоения. Семья теперь что лес повырубленный. Дочки с корня легко сошли, своим умом зажили. Не так своим, как мужниным. У старших ещё так-сяк: может, не сладко, а по-людски. У младших, у обеих мужья не задались. От Марии, правда, Никола ушёл. И бог с ним, не тот человек, который в семье приживается. Хоть и мастеровитый, а голове собрания да завод... другое горше, что Ленушке, кровиночке ненаглядной, не повезло. Иван-то её замудренный оказался. Нет, чтобы как все! Ведь в Питере, и в Москве у больших дел стоял, на виду был, жили не в бедности. Нет, всё побросал. Как последний голодранец в леса сбежал! Люди из лесов в города едут, а этот из столицы в леса... И терпит, всё терпит доченька, святое терпение у пташки горемычной!..

Екатерина Ивановна мочалкой обмывала в тазу тарелки, с тревогой приглядывалась к внуку, думала: «Мальчонок-то у доченьки вроде добрый, а вот с малолетства непонятный! От отца, видать, замудрился. Не говорун. И плохо, что не говорун, – всё в уме держит...»

С внуком она хотела поговорить, знала, что Алёшка не очень-то расположен к питерской жизни, и вот, бог помог, внук оказался рядом.

— Ты скажи-ка мне, Алёша, — спросила она, — у вас там, в лесах, поди, волки да медведи у домов ходят?

Алёшка засмеялся бабушкиной наивности. Улыбнулась в ответ и Екатерина Ивановна, довольная тем, что внук поверил её наивности.

— Ну, не медведи, так люди, чай, на волков похожи, житья не дают?

— Да нет, люди как люди. Такие же, как здесь, — ответил Алёшка. Он хотел добавить «даже лучше», но смолчал, не хотел обижать бабушку.

— Ну, а отец-то твой, как он там – не одичал? – Екатерина Ивановна не могла больше хитрить, голос её задрожал. Упираясь обеими руками в дно таза, она повернула к Алёшке оплывшее, смятое морщинами лицо и, глядя жалкими, беспомощными глазами, запричитала:

— Как же там Ленушка, моя сердечная, с ним уживается! Утащил, враг, в леса. Из красавицы девку деревенскую сделал! Ей ли печи топить, чугуны таскать... Поослепли вы, не видите: тяжко ей там одной-одинёшенькой. Сгубится, цветик! Алёшенька, внучек мой родной! Пожалей ты свою мать! Брось ты леса чужие! Будешь здесь с Оленькой. Смотри, сколько подружек у неё, — весело, улыбочиво будет! Комнатку тебе отдельную дадим – дедушкину... Алёшенька, пожалей меня, старуху. Ведь Ленушка кровиночка моя, любимица!

Алёшка с трудом поставил тарелку в тарелку. Он не смотрел на бабушку. Тарелку он всё-таки поставил, взял другую, стал вытирать скомканным в кулаке полотенцем.

Бабушка передником отёрла глаза, шумно сморкнулась, загремела в тазу посудой. Но руки её, как живые рыбины, вывалились из таза.

— Алёша, — попросила она, задыхаясь, — подай-ка табурет...

Алёшка подвинул табурет, бабушка грузно села. Отдышавшись, снова запустила побелевшие руки в таз.

Алёшка быстро и молча вытирал тарелки. Ему хотелось закончить работу и уйти.

Мягкие шаги прошелестели по коридору, в кухню вбежала Олька. Увидела Алёшку с полотенцем в руках, остановилась в изумлении.

— Боже! Какая идиллия! — крикнула она. — Шестнадцатилетний мужчина овладевает основами домашнего хозяйства! Прелестно!.. Бабушка, — сказала она с укором, — и тебе не стыдно отрывать человека от гостей?!

Подсунув своё оживлённое личико к Алёшкиному уху, она азартно шепнула:

— Наденька пришла. Идём...

Стащив с его плеча полотенце, подвела Алёшу к умывальнику, заставила вымыть руки душистым мылом, тщательно вытереться и причесаться. Подхватив Алёшку под руку, Олька потащила его через кухню в коридор, крикнула на ходу:

— Алёшку, бабуся, надо воспитывать, пока он здесь! Верно ведь?! — и, подмигнув Алёшке, засмеялась.

Олька приложила палец к губам, тихонько подтолкнула Алёшку в гостиную.

В гостиной всё изменилось: гости разместились полукругом на диване, креслах и стульях. И в центре этого полукруга и молчаливого внимания гостей была Елена Васильевна. Она сидела за пианино, на круглом винтовом стуле, выпрямив спину и чуть отставив локти, и бережно играла.

Олька оставила Алёшку у двери, сама пригнулась мягко, по-кошачьи, пробралась в дальний угол к Наде.

Надя сидела, как будто отдыхая и слушая вместе со всеми музыку, но лицо её вспыхнуло, когда он вошёл, и Алёшка догадался, что Наденька ждала его.

Алёшка смотрел на Надю и не чувствовал радости от того, что она пришла. Наденька, та быстрая тоненькая девочка с коротко стриженными волосами, с которой он играл в мяч и казаков-разбойников, вместе пробирался по захламлённым страшным подвалам и чердакам, открывая тайны большого старинного дома, которой он покупал мороженое и на которую неотрывно, часами, смотрел в полутёмных парадных, куда зимой набивалась ребятня погреться и послушать страшные рассказы, — та девочка Наденька ушла из его жизни и, наверное, навсегда. Это он понял вчера, когда Оля, помня об отроческом его увлечении, затащила его в гости.

Наденька встретила их не столько растерянно, сколько рассеянно. Алёшка сразу почувствовал, что она вся в каких-то своих заботах и что эти её заботы для неё важнее, чем он, стеснительно сидевший в углу, важнее, чем воспоминания, связанные с ним, с прошлым уже детством.

— Ты что, обратно в Ленинград? — поинтересовалась она, и Алёшка удивился, услышав совсем не Наденькин, чужой, густой, какой-то рокочущий голос, как будто говорила Наденька басом. Оля засмеялась, заметив его удивление и растерянность.

— Не удивляйся, — сказала она. — У Наденьки прорезалось контральто. Очень редкий голос. Поёт — потрясающе!

Наденька как будто не слышала похвалы.

— Ты не ответил мне, — сказала она. — В Ленинград ты насовсем?

Она спрашивала настойчиво и чуть капризно, как человек, уже привыкший к вниманию. И когда Алёшка сказал: «Нет, мы только погостить...» — Наденька совсем стала рассеянной и, даже разговаривая, всё поглядывала в окно.

Наденька была на год старше его и Ольки, и если с Олькой она держалась как с равной, даже чуточку заискивала перед ней, как будто признавала в чём-то Олькино превосходство, то он, Алёшка, был для неё не больше, чем любимая в детстве игрушка, случайно выпавшая из дальнего угла чулана. Но для него прошлое было живо, и, робко надеясь всколыхнуть это прошлое в Наденьке, он стеснительно спросил:

— А ты помнишь, Надь, как ты выгнала меня, когда мы подрались с Пряшкой? Я ведь приходил мириться. Помнишь?..

Наденька сделала удивлённые глаза и хлопала ресницами с той детской наивностью, которая теперь была ей не к лицу.

— Нет, не помню, — сказала она.

Алёшка понял, что детство от Наденьки ушло. Говорить с Наденькой было не о чем, и Алёшка ушёл, как Оля ни старалась задержать его.

Теперь Надя явилась сама, и не трудно было догадаться, что с Ольгой у них состоялся какой-то сговор.

Надя была хорошо одета. Её тёмно-синее платье с белым округлым воротничком очень подходило к её ровной бледности лица и светлым, аккуратно подстриженными волосами. Она, наверное, была красивее той простенькой Наденьки из детства. Но для Алёшки та Наденька была ближе и лучше, и придумывать разговор и быть рядом с этой, теперешней, Надей не хотелось.

А Оля уже метала из угла заговорщицкие взгляды и лукаво подмигивала, как будто в своих проворных руках держала Алёшкино счастье.

Звуки шопеновского вальса замерли, ненужно захлопали в ладоши гости. Елена Васильевна повернулась и смущённо и радостно раскланялась.

— А сейчас, — сказала она. — Сейчас я вам спою... самое любимое!

Алёшка стоял у двери и смотрел, как лёгкие мамины пальцы осторожно придавили белые клавиши. Она слегка склонилась, будто вслушиваясь в рождённый звук, подняла голову с красиво взбитыми волосами – высокий лоб её от напряжения блестел под рассеянным светом люстры – и как будто выдохнула знакомые слова:

Выхожу один я на дорогу....

Алёшка слушал и смотрел на вежливо примолкнувших гостей и думал, что никто в большой, по-старинному обставленной гостиной не знал, что таилось за этой печальной песней.

По утрам, когда отец уходил, на работу и мама становилась полной хозяйкой в комнатах, он один слушал эту её песню. Мама неторопливо прибиралась, отмывала пол навёрнутой на щётку тряпкой, переходила с места на место и тихонько напевала. Песня и ровный стук об пол сначала мирно соседствовали. Потом мама начинала волноваться. Песня то взлетала, то слабела, то вдруг взрывалась и как будто билась о стены. Из другой комнаты Алёшка слышал, как падала в ведро с водой тряпка, и знал, что мама сейчас стоит, закинув голову, рукой опираясь на круглый столик розового дерева, и смотрит на свой портрет, висящий в рамке на стене. Доносился тяжкий вздох, потом снова постукивала щётка, и звякало ведро, но песни уже не было.

И, когда мама переходила в комнату, где занимался Алёшка, он видел в её лице печаль. Алёшка не пытался понять, почему так грустна мамина песня, почему песня умирает там, в комнате, у маминого портрета. Он просто знал, что это так, и привык не беспокоить маму в часы её работы и грусти. У мамы была своя печаль. И пусть будет. Алёшка даже от отца оберегал эту маленькую мамину тайну. И вот мама поёт. Поёт легко, в каком-то радостном упоении, как никогда не пела дома. Поёт свою песню этим знакомым и незнакомым Алёшке гостям, которым, наверное, всё равно, что поёт мама и какая тайна скрыта в её песне. Алёшке казалось, что мама предаёт себя, вот так, напоказ, выставляя то, что было для неё сокровенным. Головой прижавшись к косяку, он ждал, он хотел, чтобы мама увидела его осуждающий взгляд.

Песня затихла, мама сняла с клавиш руки, повернула к гостям возбуждённое лицо.

Алёшка терпеливо ждал, когда из шумной одобрительной суеты, которая поднялась возле пианино, мама, наконец, посмотрит на него. И она посмотрела. Из-за плеч, голов обступивших её гостей она смотрела долгим изучающим взглядом, и Алёшка видел, что она знает его боль, но не жалеет о том, что было сейчас. Её взгляд, внимательный и чуточку холодный, говорил: «тебе больно сейчас, здесь, а мне всегда больно там. Я хочу иметь право радоваться хотя бы здесь...» И по тому, как упрямо поджала она на мгновение губу, Алёшка понял: то, что он прочитал в её взгляде, — правда.

Он почувствовал себя одиноким и чужим в шумной гостиной.

Олька пробралась к нему и сердито дёрнула за куртку.

— Что с тобой? Ты нарочно демонстрируешь своё равнодушие к Наденьке?.. Могу сказать тебе, что ты просто глуп. Вчера она тоже вела себя не умно. Но когда она узнала, что ты остаёшься в Ленинграде...

— Я не остаюсь в Ленинграде! — Алёшка ощетинился, как ёж, и Олька, сообразив, что шагнула слишком далеко, уклонилась от ненужных уточнений. Прижавшись к Алёшке, она шепнула:

— Ладно, не в этом суть. Наденька сейчас петь будет. Для тебя... Потрясающе!

Олька нырнула в гостиничную суету, как в воду, и вынырнула около Елены Васильевны.

Алёшка видел, как мама, не вставая с круглого винтового стула, с любопытством оглядела Наденьку и, приглашая, кивнула ей. Теперь в гостиной властвовал удивительный голос Нади. Алёшка не понимал, как мог такой силы и густоты звук рождаться в таком слабом на вид создании, каким была, хотя и высокая, но, в общем-то, худенькая, Наденька. Голос её рокотал в гостиной, как падающий с гор поток:

Шумит-бежит Гвадал - кви-вирр!..

Мама, аккомпанируя, жмурилась от восторга, порой с любопытством поглядывала на Алёшку, и Олька не спускала с него хитрого взгляда. А Наденька с какой-то снисходительностью ко всем, кто слушал её, в низком басовом звучании повторяла:

Шумит-бежит Гвадал - квивир...

Она была спокойна, глаза её бесстрастно улыбались, и только снисходительное торжество выражал её взгляд.

Наденька пела не для него, не для гостей. Наденька пела для себя.

Как должное она приняла аплодисменты, угловато поклонилась, стала быстро перебирать на пианино стопку нот. Того, что хотелось ей, она не нашла, и нетерпеливо развела руками. Олька тут же объявила:

— Потерпите немножечко! Наденька сейчас сбегает за нотами...

Гости, довольные наступившей тишиной, оживлённо заговорили, как это бывает в театре, в антрактах, самая старшая из двоюродных тётушек, сухонькая, остроносая, с глазами настроженными, как у галки, потянулась к вазе с печеньем.

В гостиной было жарко и душно, несмотря на открытые окна. Лица гостей лоснились, будто вынутые из духовки пироги.

Алёшка слушал благодушный говор полузабытого старичка, с ковриком седых волос на голове. Которого Олька звала «крёстным». «Почему «крёстный», - думал Алёшка. – Разве Ольку крестили?..» Крёстный полулежал в мягком кресле, расстегнув сюртук. Руки его были сложены внизу живота, большие пальцы перебирали цепочку от часов. На чёрной жилетке цепочка лежала, как выползшая из живота змейка.

Олькин крёстный говорил:

— Нет, милая Софья Андреевна, в наше время ели сытнее и куда изысканнее, чем в теперешнее. Выбор был. И подать умели. Приготовить и подать!.. Теперь живут не то чтобы бедно, но, я бы сказал, торопливо. Спешат. Все куда-то спешат. Где уж тут за стол сесть, с аппетитом сообразуясь, выбрать и вкусить. Наворотит в тарелку, что под рукой, проглотит и глаз не поднимет! Спросишь: «Чего же ты, братец, ел?» — «Еду!» — ответит.

Крёстный засмеялся, тихо, тоненько, как ребёнок. Он смеялся, вздрагивая выпуклым животом, и змейка-цепочка мелко дрожала и уползала вбок.

Алёшка не мог слушать крёстного и отошёл к окну. Он был в том возрасте, когда человек начинает сознавать красоту и робко, ещё неуклюже, радоваться ей. Удивительный голос Наденьки вызвал в нём беспокойное желание услышать её снова, и кощунством теперь ему казались эти сытые и неприятные, как отрыжка, разговоры про еду.

Ожидая Наденьку, мама в задумчивости перебирала клавиши пианино, и постепенно в неопределённости звуков возникла порывисто-печальная, известная Алёшке, мелодия. С какой-то затаённостью, чисто и покорно, звуки выговаривали слова:

Я тебе ничего не скажу,
Я тебя не встревожу ничуть...

Мама отвернулась от гостей и, захваченная тем, что было в мелодии, ушла в чувственный разговор с собой. Сейчас ей не было дела до того, слушают её или кому-то безразлична её музыка. Но гости затихли. Даже Олькин крёстный, с розовым лицом и золотой цепочкой на животе, перестал шевелить короткими пальцами, задумался. В установившейся неподвижности, в общем молчании, Алёшка вдруг уловил движение. Качнулись головы, как будто в гостиной раздался резкий звук, взгляды всех устремились на противоположную от Алёшки дверь, и недоумение, возмущение, оскорблённость он увидел в этих взглядах. Тётушки переглянулись с тётушками, дядюшки с дядюшками. Олькин крёстный высоко поднял бровь, вдруг повеселев, уставился на старушку в старомодном длинном чёрном платье. Старушка – какая-то дальняя родственница по дедушкиной линии – нервным движением поправила на узле седых волос чёрный кружевной платок, поджала губы и закрыла глаза. Неловкость ощущалась в воздухе гостиной, похожая на ту общую неловкость, которая обычно возникает за столом, когда званый гость опрокидывает на праздничную скатерть рюмку с вином.

Алёшка, как и все, посмотрел на дверь и увидел в дверях плотную фигуру дяди Ники. Николай Андреевич, как это видно было, не ожидал попасть на многолюдье, замешательство отразилось на его обычно невозмутимом лице. Но тут же спокойно и бесшумно, не мешая маминой музыке, он на носках прошёл в угол и встал у стены, позади сидящих в креслах гостей. Это было здорово! Пройти так спокойно наперекор враждебным, бьющим, как град камней, взглядам бывших родственников и остаться самим собой – это надо было суметь!

Николай Андреевич одет был по-спортивному: лёгкий распахнутый пиджак, белая рубашка апаш, широкий воротник выпростан на пиджак: в глубоком вырезе рубашки вызывающе темнел клин загорелой волосатой груди. Его сухощавое, слегка сдавленное с боков лицо, плотно сжатый рот с грубоватыми, тяжёлыми губами и постоянное глубинное спокойствие придавали ему, в глазах Алёшки, стойкость камня. Если бы не тёмная, в морщинах, кожа у глаз и не редкие прямые волосы, зачёсанные далеко на затылок и поседевшие по обеим сторонам прямого лба, дядя Ника вполне выглядел бы как молодой, энергичный спортсмен на праздничном стадионе.

Николай Андреевич не разглядывал гостей, он держал себя так, как будто был в гостиной один: сложив на груди руки, плечом и виском прислонясь к стене, он смотрел на Елену Васильевну и слушал. Алёша видел его тёплый и чуточку грустный взгляд, и казалось ему, что дядя Ника равно наслаждается и музыкой, и тем, что снова видит маму.

Алёшка осторожно, за спинами гостей, пробрался к дяде Нике, тронул его локоть. Николай Андреевич нехотя посмотрел через плечо, увидел Алёшку, оживился.

— Здорово, беглец! – сказал он шёпотом и сильно сжал ему руку. Так же шёпотом спросил: — Не возражаешь, если послушаем?

Алёшка согласно кивнул.

Так, рядом, они стояли, пока не смолкла музыка.

Мама глубоко и нерадостно вздохнула, без прежней оживлённости повернулась к гостям. Николай Андреевич поклонился, мама его заметила, рассеянно улыбнулась и тут же с пристальным интересом снова посмотрела, как будто хотела разглядеть что-то в его лице.

Дядя Ника поклонился ей ещё раз. Мама вдруг заметно расстроилась, встала и вышла в другую комнату.

Гости разбрелись по гостиной, Николая Андреевича они подчёркнуто не замечали. Алёшка чувствовал эту подчёркнутую отчуждённость и молча негодовал. Но дядя Ника не обращал на них внимания и тихо разговаривал с Алёшкой.

— Береги мать, Алёша! – говорил он. – Умница она. Богатейшая душа!.. Мне Оля сказала, что вы приехали, я прямо с работы сюда. Давно не видел... Ты как настроен? Может, пройдемся, поговорим?

В дверях появилась Наденька с нотами в руках, увидела полный разброд среди гостей, растерянно подбежала к Ольке. Оля беспомощно развела руками, Алёшка понял, что Наденька петь не будет, и без сожаления покинул шумное и бестолковое гостеванье.

3

Дядя Ника, заложив руки за спину, стоял у парапета, смотрел вниз, на чёрную, текучую, будто шелестящую воду Невы. Алёшка положил обе ладони на шероховатый, уже захламлённый в августовской ночи гранит и томился неловкостью.

Всё время, пока они шли от Баскова к набережной, разговаривая о жизни в Семигорье и жизни вообще, Алёшка нёс в себе тревожный, чем-то пугавший его вопрос к дяде Нике. Он не понимал, как случилось, что три родных человека – Оля, Мура, Николай Андреевич – вдруг разошлись. Зачем? Почему? Годы вместе, и вдруг каждый сам по себе, и вокруг каждого обидная пустота, которую из-за гордости или упрямства никто из них не хочет замечать. И больно за Муру, за Олю, за Николая Андреевича. Он не понимал, не мог понять, как случилось, что любимый им дядя Ника принёс на Басков эту тягостную для всех беду. К тому же он чувствовал, что беда, случившаяся в семье Муры-Муси, вот-вот постучится в их дом, и хотел знать: почему приходит такая беда? Олякина болтовня о темпераменте ничего ему не объяснила. Но что-то встало между людьми? Что-то развело их?..

Алёшка, наконец, набрался решимости и, одолевая знакомое, постоянно стесняющее его чувство робости, сказал с отчаянностью:

— Николай Андреевич, знаете, о чём я хочу вас попросить?

— Знаю.

Это «знаю» прозвучало у дяди Ники сухо, как выстрел. Резко сменившееся его настроение было так неожиданно, что Алёшка растерялся.

— Бесплезно говорить об этом, Алексей. Этот мой опыт для тебя не пригодится. А любопытства я не терплю.

Он стоял неподвижно, локтями опираясь о гранитный парапет. Потерянность и обиду Алёшки он, видимо, чувствовал и уже мягче сказал:

— Есть многое другое, о чём стоит нам поговорить. Не надувай губы – не красна девица!.. Лучше скажи, как живёшь? По убеждениям или, как моя Олька, копаешься в чувствах? У тебя есть убеждения?..

Алёшка понимал, что обижаться на дядю Нику глупо, и ответил:

— Не знаю. Если я стараюсь не делать плохого людям – это убеждение?..

— Нет.

— Если я не хочу жить ни за чьей спиной, хочу быть тем, что я есть, — это убеждение?

— Это уже ближе.

— Тогда не знаю. Выходит, у меня нет убеждений, — сказал Алёшка с подчёркнутым смирением.

— Может быть, и нет, — согласился Николай Андреевич. – Таковую штуку, как убеждения, в магазине не купишь. И у приятеля не займёшь. Пожалуй, и я в этом не помогу. На свой манер тебя не вылепишь, да и скульптор из меня плохой: по Ольке знаю. Но одну мудрость всё же скажу. Внушил её мне мастер, когда из учеников в рабочие вывел. А случилось так. Наслышан я был, да на радостях и сам бы придумал – повёл мастера в ресторан. Заказал всякой разности, чуть ли не на ползарплаты. Думаю: «Удивлю старика! Пусть видит широту рабочей души...» А Пров-то Иванович очки не спеша нацепил, внимательно поглядел на всё, что выставил официант, и говорит: «Не по труду ешь, Николка». Съел котлету, выпил стакан чаю, достал из кошелька пятьдесят шесть копеек, ровно столько, сколько стоили котлета и чай, поблагодарил за компанию и ушёл. Я, Алексей, две ночи не спал. Всё пытался понять хитрость мастера. А хитрости не оказалось. Правильный был человек: нужное вовремя сделал. На всю жизнь встал рядом со мной Пров Иванович. Помирать буду, а куска незаработанного не съем.

Николай Андреевич молча смотрел вниз, в чёрное пространство реки. Широкие жёлтые столбы и узкие столбики отражённых в воде береговых огней, казалось, висели в черноте; течение и волны шевелили и ломали их, но снова они выпрямлялись, как будто нащупывали опору в безостановочном движении ночной реки.

Из-под моста выползла низкая тень буксира. Буксир двигался серединой Невы, против течения, и, наползая, медленно отрезал один за другим отражённые в воде огни. Через некоторое время жёлтые столбы опять прорезали темень воды, и снова, теперь уже надолго, перекрыл их силуэт огромной баржи. Буксир дымил, затушёвывая дымом противоположный берег, колёса его натужно отталкивали воду, и даже в ночи были видны белые вспененные гребни крутых волн.

Буксир ушёл в темноту, к Ладоге, волны, поднятые им, ударились в гранит, заплескались, с шумом покатались вдоль набережной, и, словно рождённые этой волной, из тьмы донесли смех и возбуждённые голоса. Алёшка вгляделся, увидел на тускло отсвечивающей поверхности реки лодку. По голосам – в лодке были молодые и весёлые люди, но тот, кто сидел на вёслах, не умел грести или дурачился: вёсла били по воде, лодку разворачивало, то носом, то кормой и, качая на волнах, несло по течению вдоль набережной. Видимо, эта беззаботная покорность стихии и правилась тем, кто находился в лодке: девчонки задорно кричали, парень бесстрастно пел, подыгрывая себе на гитаре. Время от времени, когда брызгами накрывало компанию, все дружно взвизгивали и хохотали. Так, кружась, лодка проплыла вниз, к Дворцовому мосту, и в этом её вольном движении был какой-то идущий от молодости и силы вызов ночной тьме, взбудораженной волнами реке, благоразумию и тем, кто стоял здесь на берегу, за гранитным парапетом.

Дядя Ника внимательным взглядом проводил весёлую лодку.

— Скажи-ка, Алексей, если пришлось бы выбирать: на буксир пошёл или прыгнул в эту вот лодку?

Алёшка пожал плечами, засмеялся.

— А всё-таки?

— К буксиру привязал бы лодку! – неловко пошутил он. Он понял, о чём спросил его дядя Ника, и не хотел лукавить ни перед ним, ни перед собой.

— Жадный ты парень, Алексей, — сказал дядя Ника. – Но выбирать всё равно придётся. И скоро... — Он схватил Алёшку за плечи, повёл вдоль набережной. – вот, смотри, — говорил он. – В лодке веселятся, на буксире работают. Кто-то уже в снах, а кто-то за теми окнами в бессоннице от забот и тревог. Я с тобой на берегу Невы философствую, мой сменщик вытачивает вал. Отец твой где-то у Волги на койке ворочается от дум, а на Басковом размышляют, не проглотить ли на ночь пирога! Там суетятся вокруг новорождённого, здесь – может, рядом – оплакивают мать.

— В небе над нами тихо, а над Мадридом падают бомбы, и с завода Круппа выползает ещё один эшелон пушек. Гитлер ломает голову, как припугнуть Англию и французов, наши наркомы думают, как выплавить добавочный миллион тонн стали. И всё в одночасье. И в разных концах. И всё связано. Всё – жизнь. И всё касается твоей жизни. Вот оно как, Алексей! Иной раз оглянешь всё разом и думаешь: лучше пару лишних часов из своих суток станку отдать, чем видеть, как рушится от бомб Исаакий.

Рука дяди Ники лежала на Алёшкиных плечах, шли они согласно, в лад, выстукивая по неподвижным, уложенным в гранитную набережную плитам. Алёшка слушал, Николай Андреевич говорил:

— Всё бы в полбеде, Алёша! Но даже здесь, в первом городе России, где река жизни бурлит, и омут встретишь, и суводь. Знаешь суводь? Вот-вот, где течение в обратную крутит! Река к морю, суводь – к берегу. Неприятное место. Всё тут: и мусор, и палки, и коряги, и водовороты – всё. Занесёт в этакую-то – сам себя не узнаешь. Будто в глухом пруду сидишь – сам в тине, вокруг зелёная теплота. Не знаю, как ты на то смотришь, но обзаводиться диванами и родственниками, спать, наедаться, вечера убивать в карты – это не по мне, Алексей! Отец твой умно сделал – увёз вас. А я вот не сорвал с корня ни Марию, ни Ольку. Олька гостиним воздухом дышит! Прижилась на Басковом – не вытянешь!..

«А мама хочет вернуться на Басков...» — думал Алёшка. Он знал, что отец на Басков не вернётся, даже если мама останется в Ленинграде. И то, что он оказывается между отцом и матерью, где-то в опасно растянувшемся пустом пространстве, и теперь должен сам, полагаясь только на собственные чувства, решить, где и с кем ему жить, его угнетало.

— Николай Андреевич! – Алёшка сбился с согласного шага. – Всё не так как вы думаете! И то, что папа увёз маму с Баскова, ничего не изменило... Ничего! Ведь мама приехала сюда, чтобы остаться...

Дядя Ника прирос к плитам набережной. Ветер, откуда-то дунувший, забросил его волосы с затылка на лицо, и дядя Ника непонимающими или не хотевшими понимать глазами смотрел на Алёшку сквозь волосы, как сквозь ветви.

— Так не шутят, Алексей! – сказал он и резким движением забросил волосы на затылок.

— Я не шучу, дядь Ник, — сказал Алёшка, не замечая, что называет Николая Андреевича, как в былое доверительное время отрочества. – Это действительно так. Что-то не ладится у папы с мамой. И расстались они плохо...

Огни Петроградской стороны за плечами дяди Ники, на которые смотрел Алёшка, расплылись, Алёшка теперь видел одно жёлтое, неясных очертаний, пятно, как будто смотрел на огни без очков.

— Надо двигаться, — сказал Николай Андреевич и увлёк за собой Алёшку. — Не могу стоять, когда на душе пакостно... Говори!

Он шёл стремительно и молча, слушал. Алёшка улавливал, как постепенно грузнеет его шаг и сам дядя Ника мрачнеет.

— Обухом по голове! — сказал он, наконец. — Не ждал. Не ожидал, чтобы Иван — и не понял. Не понял Елену. Ну и ну! Да разве можно ей без дела? Елене наркоматом заправлять, а вы ей кастрюли! Ох, Иван, Иван, даль узрел — под ногами не поглядел... Ты-то хоть что, — или мать свою не знаешь? Как я радовался, когда в Хабаровске вы жили! Письма, какие от Елены шли — умные, ясные. И в каждом — радость: пришло настоящее дело! Уважение. Почёт. Член городского Совета! Каждый третий, если не каждый второй, на улице здороваются!.. — Дядя Ника совсем вышел из себя. И без того расстроенному Алёшке казалось, что дядя Ника сейчас схватит его за куртку и в злом отчаянье будет трясти.

Но Николай Андреевич вдруг замкнулся. Теперь он шёл быстро и ровно, заложив руки за спину, на Алёшку не глядел и молчал. Они прошли мимо высокой и спокойной, как всё в Ленинграде, ограды Летнего сада, вышли к Дворцовому мосту. Николай Андреевич приостановил свой бег.

— Алексей! — сказал он отчётливо и громко. — Ты знаешь, что сейчас ты можешь всё?! Можешь вернуть Елену в Семигорье, можешь кинуть на растерзание басковцам! Что ты намерен делать?

— Ещё не решил.

— Ты удивляешь меня! Слушай, Елену я знаю. Она любит Ленинград. Может быть, не столько Ленинград, сколько Питер. Все они там, на Басковом, любят Питер... Но даже в Ленинграде Елена не будет жить без тебя. Ты для неё больше, чем город. Больше, чем она сама. Можешь поверить мне, я знаю. Если она бросала работу, смиряла себя и ехала за твоим отцом, она ехала из-за тебя... Ты должен знать об этом. И распорядиться своей властью над матерью должен бережно. Ленинград богат хорошими людьми. Это — так. Но вы-то с матерью будете жить на Басковом!.. Елена, конечно, не Мария, но, кто знает, там и она может повторить Марию. И ты не так уж силён, чтобы устоять перед соблазнами житейских пустых радостей. Отец твой верно мыслит, правда, не всегда верно поступает. Жить с ним — это я тоже знаю — труд! И всё-таки рядом с отцом ты не упустишь главного. Езжай к отцу, Алексей. Мать должна уехать с тобой. Но прежде... нет, не ты в семье голова. Но запомни и скажи это отцу: мать погибнет, если у неё не будет настоящего дела. Она же деятельный человек! А вы ей — кастрюли!..

— Я понял, дядь Ник, — сказал Алёшка. Ему почему-то было горько и стыдно и хотелось плакать.

— Давно бы понять! — сказал Николай Андреевич, он смотрел на Алёшку с сомнением. — Не бережёте Елену. А внимание ваше и понимание она заслужила. Давно!.. Ну, пошли. Поглядишь, как живу...

Молча они прошли Марсово поле, сумеречный пустынный бульварчик, вышли к старинному дому с глубокой аркой во двор. Дом был похож на дом в Басковом переулке, Алёшка сразу это заметил и со значением поглядел на дядю Нику.

— Пошли, пошли, — сказал дядя Ника. — Важен не дом, а кто в нём! — Он коротко засмеялся впервые за вечер.

«Удивительное дело, — думал Алёшка, возвращаясь от дяди Ники. — У всех будто одна забота — лепить меня по образу и подобию своему! Мама воспитывает *comme il faut*, Оля выбивает деревенщину. Тётушки спешат просветить в чувствах. Папа — ну, папа хоть просто пускает в леса и поля, надеясь, что семигорская земля сама обкатает, как надо! И всем до меня дело! Как будто их собственная жизнь зависит от того, где я буду, с кем я буду, что буду!.. А я не хочу! И хватит водить меня за ручку!..»

Алёшка сосредоточился на своих мыслях и не замечал, что идёт на Басков не переулками, а дальней кружной дорогой, которой они шли с дядей Ником. Он как бы испытывал потребность в обратном порядке размотать то, что вобрал в себя за этот вечер.

«Что я, собственно, есть? Вот сейчас, теперь? — думал Алёшка, выходя на набережную. — Я забочусь о твёрдости своего характера. Но если честно, твёрдости у меня нет. Никакой! Я — что-то неопределённое и мягкое, как вспаханная земля. Да! Моя душа как пашня! С кем ни сведёт жизнь, от каждого что-нибудь да останется. Сеятелей-то вокруг! И мама. И Василий. И лесник Красношеин. Даже рыжая Фенька и та царапнула душу! Ох, как густо засеяна моя душа! И что теперь? Так мне и быть покорным добрым полем, на котором всяк со своим лукошком? Так с покорностью растить то, что сеяно? И доброе и недоброе?.. Любой хозяин, который пашет и сеет, наперёд знает, чему быть на его поле, чему не быть. А душе? Душе разве не нужен хозяин? И не вопрос ли моей жизни — что из посеянного взойдёт?.. Я должен понять, что во мне добро, что — не добро. Сам! И всё совершить в себе своим разумением и своей волей!

Самое важное – знать, каким я должен быть. И как жить, чтобы от меня была польза... Я это чувствовал, но не знал! Теперь надо перевернуть всё, что есть во мне, и не по случаю – по разумению делать из себя человека! Моей душе нужен хозяин. Пора не просто быть, пора действовать!..»

Алёшка в волнении прибавил шагу. Он чувствовал, что открыл для себя очень важное, и нетерпеливое желание сказать кому-то о том, что он открыл, охватило его. Но в этот полуночный час даже прохладная набережная с её постоянным живым плеском реки была безлюдна. Ни лодок, ни веселья на текучей воде. И стены ближних домов, подсвеченные уличными фонарями, и тёмные окна отделяли от него спящих людей.

Над чугунными оградами, в тени домов, таились округлые купы деревьев. В тишине переулка размеренно цокала по каменной брусчатке лошадь ломового. По освещённому взгорбленному мосту, к которому Алёшка сейчас шёл, перебежал на ту сторону Невы трамвай, роняя из-под проводов себе на крышу зелёные и белые огни. «Наверное, последний», — думал Алёшка. Ему казалось, что сейчас он один не спит в ночном Ленинграде, и гордое чувство покровителя отдыхающих в домах людей снизошло на его душу.

Но, скоро он различил, что и сюда, в ночное безмолвие домов и улиц, с Выборгской стороны, с Охты, с Кировского района доходит гул работающих заводов и глухие, ровные металлические удары – не все в городе спали, и Алёшка подумал, что город, наверное, никогда не засыпает весь, целиком, как засыпают в их лесной стороне деревни.

Серединой Невы опять шёл буксир, и баржа, которую он тащил, знакомо отсекала своей тенью золотистые столбики отражённых в воде огней. Буксир поравнялся с Алёшкой, с шипением выпустил белый пар, и, как будто то был сигнал, тишину ночного города прорезали звуки сирен. Завывания, похожие на волчий вой, неслись на город, поднимались над домами, падали в провалы улиц и переулков. Загудели короткими частыми гудками окраины, и мгновенно, и как-то жутко, погас по всему городу свет. Где-то у Финского залива перекрестились лучи прожекторов, чёрное небо отразило вспышки далёких пушечных залпов.

Алёшка понял – это воздушная тревога, и первым его побуждением было бежать на Басков. Но город не проявлял беспокойства: в одном из окон мерцал слабый свет – кто-то зажёл спичку или свечу, на улицу вышли дворники, позёвывая, встали у ворот. Алёшка догадался, что тревога – учебная, и прижался спиной к парапету.

Он слышал, как над городом пророкотали невидимые быстрые самолёты, дальними улицами, трезвоня в колокол, пронеслись пожарные машины. Минут через двадцать всё стихло. Коротко прозвучала сирена, теперь уже успокаивая. Дворник, что стоял напротив, приподнял картуз, почесал в волосах, пошёл в ворота, сонно шаркая сапогами по тротуару. Вспыхнул на улицах свет.

Алёшка был возбуждён, воем сирен, пролетевшими самолётами, вспышками пушечных залпов, всей необычностью впервые услышанной им воздушной тревоги. И хотя тревога ушла из города и мосты, дома, улицы обрели свой прежний вид, он не чувствовал себя успокоенным. Он повернулся к Неве и с некоторой даже растерянностью смотрел на знакомые очертания отражённых в воде городских огней. Большая, в полстены, карта Европы, которую он видел в чистой и строгой комнате дяди Ники, как будто наплывала на него из маслянистого блеска смятой волнами реки. Он снова видел карту и чёрные флажки на ней, сплошь покрывшие Германию от Рейна до Кёнигсберга. Ими плотно был охвачен Мадрид. Чёрные флажки полосой тянулись по Италии от Альп до Сицилии, они уже перебрались в Африку, придавили Аддис-Абебу.

Дядя Ника сам остановил его перед картой, подождал, когда он взглядом охватит его отметы, с какой-то напряжённой интонацией сказал: «Ползут?!» Пристально, сбоку, он смотрел на него, как будто ему важно было знать, что думает Алёшка о зачернённой Европе. Он подвёл свой палец, изогнутый работой и инструментами, к побережью Балтики, между Кёнигсбергом и Ленинградом, там, где всего ближе сходились чёрные и красные флажки, и с настойчивостью, которая по соображению Алёшки была не к месту, спросил: «Готов ли ты, Алексей, если...», — он постучал пальцем по карте.

Там, рядом с дядей Никой, он не почувствовал страха перед чёрными флажками, скорее, ему было любопытно смотреть на чужие, облепленные флажками границы. Он видел, что граница его страны отмежёвана от чёрной Европы линией красных флажков и стоят они от кромки Чёрного моря до Ленинграда и до Мурманска, и всё пространство за этой красной линией, до Урала, казалось ему спокойным, как ясный день. Мог ли он думать, что через какой-нибудь час огромный город замрёт в темноте и вопрос дяди Ники повторят сирены воздушной обороны и всполохи пушечных залпов?

Теперь, на пустынной набережной, он мысленно вглядывался в скопище чёрных флажков на карте, и казалось ему в тревожном его видении, что не карта — сама Европа вспухает чёрными, грозными флагами войны.

Алёшка отвёл глаза от реки, в беспокойстве пошёл вдоль набережной, как будто ему надо было незамедлительно что-то делать. Он шёл и думал, стараясь успокоить себя: «Но почему – тревога? – думал он. – Сразу и тревога?! Так ли всё это страшно? Ведь это в Европе – там чёрные флаги! Враги – там, они торгуются и дерутся. А мы – у себя, мы в силе, мы в спокойствии! Кто посмеет полезть на поставленный от моря до моря красный заслон? Ну-ка?! Случись что – винтовку в руки и пойду! Как все, пойду туда, где будут драться. Если разговор обо мне – я готов!.. Но что за нужда мне или дяде Нике думать о том, что может случиться? Об этом думают другие. Думают наркомы. Думает Сталин! А когда думает Сталин, мне, и дяде Нике, и всем можно не тревожиться и спокойно жить...»

Как всегда в затруднительных случаях жизни, мысль о том, что есть Сталин и все большие заботы лежат на нём, успокоила Алёшку. Он шёл теперь пустой улицей, освещённой висящими на проводах фонарями, с тускло отсвечивающими на брусчатке, остывающими в ночи трамвайными рельсами и, успокоясь за Европу и вообще за всё на свете, возвратился к мыслям, которые его занимали и казались ему действительно важными. И самой важной среди других была мысль о том, что он, наконец, открыл в себе главную свою силу и теперь, шаг за шагом, день за днём, будет выковывать из себя умного, мужественного, сильного и доброго человека, достойного того, кого он мысленно любил и кому с трепетом души поклонялся...

На углу Баскова, в свете уличного фонаря, он увидел Олькину худенькую фигурку. Олька устремилась к нему, как ястребок к добыче, и, встав перед ним, вдруг ледяным голосом спросила:

— Что это значит?.. Если ты не уважаешь нас, постыдился, хотя бы Надьки! Она, как дура, торчала тут два часа! А он, видите ли, пошёл прогуляться, решил освежить свою многодумную голову! Ты не объяснишь, что всё это значит?.. – Олька стояла в непримиримой позе, уперев в бок кулачок.

Алёшка, ещё не остывший от радости своего открытия, рукой охватил протестующую тоненькую Олькину шею и прижал её горевший возмущением лоб к своей щеке:

— Олька! Ты не знаешь... Теперь чёрт знает что я могу!.. А перед Наденькой я готов извиниться. Хоть сейчас!..

— Это уже глупо, — спокойно сказала Олька. — Извиняться будешь завтра... И вообще у меня правило: никого ничего не заставлять.

— Ну, я же сказал, извинюсь!.. – Алёшка для убедительности приложил руку к груди. – Но ты знаешь, до чего я додумался! Я открыл, с чего начинается человек.

— По-моему, он начинается с поцелуя. — Олька невинными глазами смотрела на него из-под низкой чёлочки.

Алёшка засмеялся.

— Ты, Олька, не философ!.. Тревогу слышала? — спросил он.

— Ай! Нас это уже не трогает! — Она с досадой отмахнулась. — Лучше скажи: ты у отца был?

— Был.

— Очень мило! Не вздумай об этом кому-нибудь сказать! Ты и так бросил вызов родичам!.. Ты понял меня? — Олька снизу вверх заглянула ему в глаза, потом взяла за руку и, примиряя с собой, повела к дому.

4

Непривычно молча завтракали в то утро за широким семейным столом. Казалось, одна Мура-Муся не замечала ни тяжёлой задумчивости деда Василия, ни дрожащих рук бабы Кати. Баба Катя уже положила тушёную капусту мимо тарелки, прямо на скатерть, теперь опрокинула солонку. А Мура-Муся, примурлыкивая, приготовила себе еду из молодой картошки, облитой сметаной, свежих разрезанных помидорчиков, огурчиков и колечков лука и теперь с наслаждением ела. Нимало не задевало её то, что старшая Марина разохалась над рассыпанной солью и Ленуша почти не ест и смотрит в свою тарелку, рукой подперев щёку.

Волосы Мура-Муся закрутила на папильотки и повязала попавшей под руку салфеткой, жиденькие брови не успела подчеркнуть, и подслюнявленные их волосики прилипли и почти не выделялись на её безмятежно-гладком лице. Вообще сейчас, в тугих папильотках, укрытых под салфеткой, с заострённым подбородком и выпуклыми глазами, она напоминала милую беломордую тёлочку, с удовольствием жующую сочную траву.

Она положила в пустую тарелку уже ненужную вилку, пальцем аккуратно сняла сметану с губ и только тут с удивлением заметила, что Алёша исчез из-за стола, а домашние молчат и понуры, как будто всех вот так, рядком, опустили в воду.

— Что это вы? Как на похоронах! — воскликнула Мура-Муся и перевела изумлённо-смешливый взгляд красивых глаз со старшей сестры Марины на бабу Катю. Никто не удивился тому, что сказала Мура-Муся. И Олька не удивилась — она, как и все, знала, что её мама сначала говорит, потом думает. Только баба Катя в сердцах сдвинула тарелку, сердито выговорила:

— Замолола, мельница!

— А что такое? – удивилась Мура-Муся. – А, понятно! – Она, наконец, вспомнила, что Ленуша получила от Ивана Петровича какое-то письмо и теперь должна была незамедлительно и определённо ответить. Пухлыми пальчиками теребя плечико лёгкого халата, распахнутого до глубокой ложбинки на пышной груди, она сказала:

— Ну и что? Я не понимаю, до какого времени можно тянуть с решением?! Ленуше пора устраиваться с работой и так далее... Тут ещё прописка и всё такое. И вообще!.. На носу сентябрь, кому-то надо сходить с Алёшкиным в школу. Я не знаю, как там с девятым классом? Оля! Да Оля же! Ты знавала?..

— Разумеется! – подчёркнуто спокойно ответила Оля. – С завучем я договорилась.

Она сидела на своём почётном месте, на середине стола, и смотрела на всех, сидящих в столовой, взглядом смешливым, как у матери, и лукавым.

Бабушка Катя спиной грузно опёрлась на буфет, упрятала руки под фартук и с тревогой неотрывно глядела на свою кровиночку Лену, сейчас молчаливую, сосредоточенную и замкнутую.

— Нут-ко, Мария! – баба Катя говорила, придыхая на каждом слове, и всё глядела на Елену Васильевну, стараясь разгадать её настроение. – И чего баламутишь. Ленуше, может, главное — поуспокоиться. Господи! К родному и то ей сызнава привыкать!.. Ишь заторопыжничала. Не блох на загровке ловишь!..

— Ах так? – сказала Мура-Муся. – В таком случае я молчу... — Она оскорблено поджала подбородок, и щёлочка между её губами стала не толще нитки.

— И помолчи! – вконец осердилась баба Катя.

— Мама, Мария говорит дело! Не надо тянуть то, что уже оборвано, — голос Марины Васильевны прозвучал резко, как автомобильный гудок, и все повернули к ней головы.

Старшая сестра не знала проблем. Жизнь, по её понятиям, была определённа и проста, и всё, что нужно для жизни, она имела. Она счастливо жила со своим Александриком в маленькой квартирке этажом выше, где мягкая мебель создавала непроходимый уют. Надо было раз и ещё три раза что-то передвинуть, чтобы пройти от буфета с рюмочками, вазочками и чашечками до огромного платяного шкафа и от платяного шкафа к полированному картёжному столику на двоих. Гостей они с Александриком никогда у себя не принимали, — для этого доставало места внизу, у мамы, — окна в их квартире всегда были полузашторены, широкая, как деревенская печь, кровать никогда не убиралась и не застилалась покрывалом.

Даже днём кровать манила взбитыми подушками и мягким светом оранжевого ночника.

Единственная проблема, которая волновала старшую сестру Марину, — это «катастрофически», как выражалась она, падающие волосы. Но и эту проблему она сумела почти решить: она старательно подвивала рыжеватые волосы и весьма искусно укладывала их на голове. Если к этому добавить её усердие, с которым она следила за своей, пусть заметно пополневшей, но всё же не потерявшей привлекательности фигурой, и её умение прямо держать спину и короткую шею, то вполне можно было бы согласиться с её мужем Александриком, исполняющим где-то незаметную, но доходную должность по бытработам, что «его Моменция из тех, кто – во!..» — в переводе на житейское просторечие это означало: «На большой палец!»

Итак, своё отношение к возникшему на семейном совете вопросу о судьбе Елены Васильевны высказывала старшая из сестёр – Марина.

— С тем, с чем внутренне кончено, — говорила она, сидя прямо, как на троне, — надо кончать официально. Метаться нечего. Пора смотреть на жизнь трезво и принимать её, как есть. Ясно, захоlustье Елену портит. Слава богу, ещё не испортило. Питер и наша постоянная помощь – это единственное, что оживит её вконец истерзанную душу. Принесёт успокоение всем нам. Разумеется, в первую очередь самой Елене. Мы все понимаем, что камень преткновения не в Ленушке. Мы должны убедить Алексея, должны заставить его понять страдания матери. Если он будет упрямиться, нечего перед ним лебезить. Коленкой под зад – и пусть едет к кострам, болотам и прочей отцовской дикости!..

Все увидели: в напряжённно-задумчивом лице Елены Васильевны проступило страдание. Как от холода, она повела плечами, и первой это заметила Оляка.

— Мариночка! Так нельзя! – крикнула она, торопясь загладить решительную, как удар плетью, прямоу старшей из тётушек; такая фамильярность Оляке позволялась. – Алёшку обязательно надо уговорить! Деревенщины, дай боже, он уже нахвтался. Медведь медведем! И пора делать из него человека. Верно ведь, Ленушка?..

Елена Васильевна вздохнула и слабо кивнула головой. Оляка отлично знала слабые места всех своих тётушек и, при случае, точно пользовалась своим преимуществом. Иногда в общих интересах.

— Ты что думаешь об этом, Ньюкочка? – спросила она вторую из старших сестёр.

Сестра Анна сидела на низкой скамеечке у окна молча и, не переставая, курила. Время от времени она пальцем стряхивала пепел с папиросы в приоткрытый спичечный коробок. Она была полной противоположностью Марине – сутулые плечи, худое лицо, вислый, заугрюмевший в семейной жизни нос. Печать трагического была в её лице, в глубоких, добрых, печальных глазах. Муж её, Михаил Львович, полный, жизнерадостный еврей, администратор одного из ленинградских театров, был всегда в бегах, и на семейную жизнь у него как-то не хватало времени. В квартиру он обычно влетал как весёлый гость – шутил, смеялся, угощал всех дорогими конфетами и исчезал. И чем подвижнее и жизнерадостнее был Михаил Львович, тем молчаливее и угрюмее становилась Ньюка. Горы выкуренных папирос громоздила она в пепельницах, всё больше сутулилась и как будто немела.

Ньюка курила, задумчиво смотрела на пепел, собранный в спичечном коробке. Вздыхнув, закрыла коробок, голосом сухим и бесстрастным сказала:

— Ленуша во всём разберётся сама. Ваше кудахтанье вряд ли ей поможет. Яйцо-то не ваше!.. – Не поднимая головы, она поднесла папиросу к губам, затянулась и больше не сказала ни слова.

Старшая Марина возмутилась. Округлив и без того круглые глаза, она говорила теперь быстро, как будто никому не хотела позволить себя перебить.

— Что за нравоучения?.. Что за тон?.. Если тебе безразлична судьба Ленуши, молчи! Возьми чистую тряпочку и заткнись! Ленуша в землю зарывает свой талант. Мучается! Не знает покоя, счастья! И ради кого она должна приносить такие жертвы?!

— Действительно! Как будто нам всё равно! – запоздало возмутилась Мура-Муся. – И это говорит сестра! Боже!..

На Ньюку, бесстрастно курившую, накинулась бабушка Катя, и все говорили и кричали враз, и в столовой начался такой тарарам, что Елена Васильевна ниже опустила голову и зажала уши.

Дед Василий стоял у стены, скрестив на груди руки, склонив голову, и молча внимал голосам. Он стоял, как само Терпение, как сама Мудрость, и не проронил ни слова, не сделал ни движения, пока говорили все.

Но когда в столовой поднялся шум, пустой, как удары барабана, и дед Василий увидел, что Елена страдальчески сморщилась и закрыла уши руками, он отвалился от стены и голосом тихим и властным, каким когда-то разговаривал с ним генерал, произнёс:

— Все – марш! – Он стоял неподвижно, не убирал с груди скрещенных рук и ждал. Сёстры и баба Катя друг за другом послушно вышли, Олька по-прежнему с независимым видом сидела за столом. Дед ласково, но твёрдо сказал:

— И ты, Оленька, поди...

Олька надула губы, но встала и тихо вышла в гостиную.

Дед Василий подошёл к Елене Васильевне, рукой лёгкой и дрожащей погладил её волосы.

— Привычное, доченька, ломать тяжко. Я это знаю. А всё же бытьё убеждает – разрыв лучше трещины. – Он подвинул себе стул, сел, раскинув колени, рядом с Еленой Васильевной, уже другим тоном, чётким и властным, сказал:

— Вот что, Елена: мыкаться хватит. Жить станешь в Питере. Квартиру, как Марине, схлопочу. Улажу с пропиской. Изыщу работу рублей на пятьсот – шестьсот. Ну, а мы рядом. Что надо из вещей, возьмёшь у нас. И музыку забирай – нечего Марии попусту горло драть! Муж потребуется – мужа подыщу. Такого, что за счастье сочтёт на коленях быть перед тобой. Лёшка школу закончит, ему дело найдём. Либо в институт. Пока я жив, душенька твоя будет покойна и ты обеспечена. Это я обещаю. Как, доченька, договорились?..

Елена Васильевна с трудом разомкнула ссохшиеся в молчании губы.

— Не знаю, папа. С Алёшей надо говорить.

— Надо – так говори! – Дед Василий встал, в раздражении покачал стул, коленкой вдвинул под стол. – Говори да помни, что не ты при нём, он при тебе... Олька! – окликнул дед Василий, как будто был уверен, что внучка не отошла от двери гостиной. Дверь приоткрылась, выплыло, будто полная луна из разрыва туч, улыбающееся Олькино лицо. Невинными блестящими глазами она смотрела на деда.

— Алёшку! – приказал дед Василий. И по квартире, как эхо по морозному лесу, понеслось-покатилось на разные голоса:

— Алёша-а... Алёшкин!.. Алёшку в столову-ую!..

5

- Вот, Алёшенька, пришло время нам с тобой поговорит. Сядь, пожалуйста...

Алёшка, сдерживая дыхание, стараясь унять вдруг заколотившееся сердце, сел и вдруг ощутил, что жизнь повторяется. Всё было, как тогда в Семигорье, когда он вернулся от Феди-Носа, в лугах встретил отца и, войдя в дом, увидел за столом мать. Она сидела в той же сосредоточенности, та же упрямая решимость проступала в её сжатых губах.

Ногтями, утром отманикюренными Мурой-Мусей, она старательно линовала скатерть. Да, всё было, как тогда, и всё было страшнее, чем тогда, перед сложностью того, что могло быть, они отступили. Теперь отступать было некуда. Разговор, который по взаимному согласию они отложили «на потом», должен был состояться сейчас, здесь, за широким, ещё не убраным после завтрака столом. Алёшка не хотел этого разговора. Но на Басковом с первого дня всё шло помимо его желаний. И боль под ложечкой, похожую на сосущую голодную боль, которую сейчас он испытывал в ожидании новых душевных страданий, он переносил с трудом.

— Алёшенька! – мамины пальцы нащупали вилку и прижали к столу. – Ты почти уже взрослый, ты многое видишь. Я никогда не говорила с тобой о себе. Терпела, ждала, когда ты вырастешь и сумеешь сам разобраться в жизни нашей семьи. Больше я не могу. И терпению, и молчанию – всему есть конец. Ты знаешь, я люблю Ленинград. Всё лучшее в моей жизни связано с этим городом. Здесь родился ты... В глушь, в лесную дикость, я поехала, чтобы не лишиться тебя отца. Я надеялась, что Иван Петрович одумается. Но теперь вижу: ждать бесполезно. Несносный характер гонит отца всё дальше от города. Я тупею у печи, горшков. Я растеряла даже то небольшое, что урывками приобретала в эти тяжкие для меня годы. Я хотела житейского постоянства, хотела дела, которое приносило бы мне не только хлеб, но и радость. Много я отдала твоему отцу, ты даже не знаешь, как много! Если бы всё это я отдала тебе! Я мечтала дать тебе другое воспитание. Старалась, чтобы ты знал, любил музыку. Ты забыл, а в этой вот комнате я повыше вывёртывала стул, сажала тебя, крохотулю, за пианино. Разве позволила бы я тебе бросить музыкальную школу, если бы отец не сорвался с места и не увёз нас?.. В Москве я изучила французский язык, чтобы учить тебя. Но ты заразился отцовской дикостью. А мне так хотелось, чтобы ты был воспитан и замечен в любом обществе! Ты от природы одарён, Алёша, это я знаю так же твёрдо, как то, что ты мой сын. Ты и сейчас талантлив умом. Тебе просто необходимо подумать о своём будущем. Даже Ломоносов покинул свои Холмогоры. Великим он стал в Петербурге! А мы? Сидим в Семигорье и слушаем по ночам волчий вой... Моя жизнь, в общем-то, прожита, Алёшенька. Но что не смогла я, должен сделать ты. В этом последнее моё утешение, в этом моё ещё возможное счастье...

Елена Васильевна замолчала, вилка в её руке, которой она чертила скатерть, вдруг задрожала. Алёшка видел, как, останавливая дрожь руки, она медленно и упрямо вдавливая в скатерть остриё вилки, и почувствовал, что сейчас мама скажет то, к чему так долго готовилась. Он отстранился от стола и, напрягаясь, сжал пальцами свои колени.

— Алёша! – голос мамы прозвучал сразу глухо и гулко, вилка под напором её руки вспорола скатерть. Но мама уже ничего не замечала. – Алёша! – сказала она. – Я решила остаться в Ленинграде. И прошу тебя – умоляю остаться со мной...

Алёшка ждал этих слов, но никогда не думал, что слова могут быть так тяжелы. Он смотрел на чёрное пятно на месте разорванной скатерти и с ужасом видел, как чернеет весь ослепительно белый стол. Над чернотой стола белым пятном просвечивало неживое лицо матери.

Медленно отхлынула чернота. Алёшка увидел отца, таким, каким он был в день, когда провожал их в Ленинград: посиневшее от холода лицо с небритым в тот день подбородком, надвинутая на лоб мокрая фуражка, забрызганные дождём очки и – прощание в вагоне, неловкое, поспешное.

Отец сказал в одну из прогулок по вечернему посёлку: «Не надейся на уговоры, Алёша, если близкий тебе человек уходит. Правоту доказывает время. Время и ещё, пожалуй, тот духовный след, который от человека остаётся. Люди – ты это помни – связаны друг с другом не крышей над головой, а своей духовностью...»

Отец знал, что говорил, он предугадывал эту роковую для их семьи минуту. До щемящей боли Алёшка чувствовал сейчас, как неотрывно от него то, что там, за спиной отца – посёлок, Волга, лес, Семигорье и сам отец, неуклюже-ласковый, всегда какой-то неустроенный, одержимый идеями и работой, больше усталый и замкнутый, чем внимательный, и всё-таки – отец... Алёшка, не поднимая глаз, тихо спросил:

— А папа? – и опять почувствовал, как жизнь точно повторила то, что было там, в Семигорье, в канун этой трудной и ненужной поездки в Ленинград. «Сейчас мама заплачет...» — подумал Алёшка.

Но мама не заплакала. Она горько усмехнулась, как будто ожидала и готова была услышать именно эти его слова.

— Он может приехать в Ленинград, — сказала она до удивления спокойно. — Если ты останешься со мной, он приедет. Если он отец, он приедет, — повторила она упрямо и в первый раз за время разговора посмотрела на Алёшку; в её глазах было печальное торжество.

«Нет, папа не приедет, — думал Алёшка. — Даже если мы останемся в Ленинграде, папа не приедет. Он не бросит работу. Он может выть по ночам от тоски и одиночества, но работу он не оставит, потому что долг для него выше всего другого. Он такой, отец. Мама сейчас не добра и ставит отца перед жестоким выбором...»

И почему обязательно Ленинград? Семигорье чем хуже?.. Дядя Ника прав: они будут жить на Басковом, и очень может быть, что его закрутит Олька со своими подругами — при Олькиной настойчивости он вполне может оказаться в той весёлой лодке, которая с такой беззаботностью проплыла перед ним. Всего вероятнее, случится другое: он не выдержит жизни на Басковом и уйдёт за дядей Никой. В том и другом случае он всё равно не осуществит маминого желания...

— Прости меня, мама, — тихо сказал Алёшка. — Но я не понимаю, почему нельзя стать человеком в Семигорье?

В глазах Елены Васильевны потухло печальное торжество.

— Ты хочешь остаться там?.. — упавшим голосом спросила она.

— Да, мама. Мне трудно объяснить. Но я хочу в Семигорье.

Голова Елены Васильевны склонилась, напрягся и побелел тонкий, с лёгкой горбинкой нос, задрожал подбородок.

— Ты убиваешь меня, Алёша, — сказала она едва слышно. — Ты убиваешь меня... Пойми, мой мальчик, я не боюсь работы. Я свернула бы горы, чтобы устроить твою жизнь. Одна я не могу. Чтобы жить, мне нужен ты...

Алёшка не мог видеть страдания матери. Он поднялся, неловко шагнул к Елене Васильевне, охватил её голову, прижался к её мягким, таким родным сейчас волосам.

— Не надо... Не надо, мамочка... — бормотал он в горестном исступлении. — Ты не одна... Горя не надо. Никому... Мы вернёмся, ты будешь работать. Ты будешь счастлива, мамочка...

Он обнимал её, лицом прижимался к её волосам и чувствовал, как вздрагивают её плечи. Елена Васильевна долго и молча плакала, пряча лицо в Алёшкины руки, потом попросила платок, тщательно вытерла глаза, щёки, нос, сказала:

— Когда-то мне, молодой, гадала цыганка. Сказала: «Пяти минут тебе не хватит до счастья, красивая!» Наверное, права была та цыганка?.. Она смотрела на Алёшку покрасневшими влажными глазами...

Дверь приоткрылась. Алёшка увидел в щели испуганно-вопрошающие глаза Ольки и, радуясь тому, что мама успокоилась, кивнул ей ободряюще. Лицо Ольки вмиг расцвело, она распахнула дверь, и понёсся по многокомнатной басковской квартире её ликующий голос:

— Мама, Мома, Ньюка, баба, деда! Я же говорила! Они остаются!..



ИВАН ПЕТРОВИЧ

1

Сковорода на керосинке нагрелась, масло поползло к краю, Иван Петрович быстро накрошил варёной картошки, бросил щепоть соли, ножом перемешал. Когда картошка запарилась и чуть подрумянилась, он полотенцем прихватил горячую сковороду, перенёс на стол, почти уронил на газету. Помахал обожжёнными пальцами, пристроил на керосинку чайник, сел на табурет к столу, начал, торопясь, как всё делал, есть.

Ужин его теперь состоял из этого до предела упрощённого блюда, в завтрак он обходился чаем, обедать ходил в местную столовую, недавно открытую в старом леспромхозовском посёлке.

В посёлок он ходил по деревянному мосту через речку Чернушку, вдоль пруда, на берегу которого стояло белое здание электростанции с длинной чёрной железной трубой.

Вообще, с тех пор как уехали Елена Васильевна и Алёшка, Иван Петрович старался меньше бывать дома. Дни до сумерек он проводил на строительной площадке, где развёртывался запроектированный ещё там, в Москве, комплекс техникума на 400 мест. И хотя строительство учебного корпуса завершилось, в аудиториях уже мыли окна, расставляли столы и скамьи, и на двухэтажном корпусе первого общежития крыли крышу, а на втором общежитии ставили стропила, и уже заселили три жилых дома семьями прибывших преподавателей, — это было начало, только начало, потому что то, что предстояло довершить за оставшийся месяц по строительству, комплектованию, набору студентов, по тем коварным мелочам, которые — он знал это по опыту — обнаруживают себя почему-то именно в заключительный, предпусковой период, требовало его глаз, настойчивости, разумения, гибкости, душевной энергии не меньше, чем вся проделанная работа. И в этом наступившем рабочем пике Иван Петрович крутился с утра до ночи и рад был крутиться, как только мог быть рад чему-то в теперешнем своём душевном состоянии. Дела он отдавался до физического оупения, до того предела физических сил, когда только добраться до койки и лечь и уже ни о чём не думать.

Случившийся отъезд жены и сына был для Ивана Петровича чем-то вроде бомбы замедленного действия. Он знал, что бомба упала, что до какого-то времени ещё будет длиться тишина. Не та тишина, от которой идёт спокойствие и радость, а та обманчивая, тревожная тишина, вслед за которой вспыхивает убивающий огонь взрыва. Механизм может не сработать. Но может с бесчувственностью металла довершить то, что в нём было заложено до того, как бомба упала. Тогда – взрыв, и взрыв начисто разметёт то, что было семьёй, что казалось надёжным, согревало и по-своему радовало, давало ему сил работать без оглядки, с той одержимостью, с которой он всегда работал. То, что бомба может взорваться, он почувствовал по настроению Елены Васильевны. Её упорная замкнутость, которая появилась ещё в Москве с того самого часа, когда он сказал ей, что они едут в Семигорье, и сдержанность, с которой она попрощалась с ним в вагоне поезда, оставляли мало надежд на то, что она вернётся и позволит вернуться Алёшке.

Правда, они не взяли с собой многое из того, что должны были бы в таком случае взять, но что вещи! – вещи никогда не имели решающего значения в их жизни. У Елены Васильевны, при всей её молчаливой уступчивости, упрямый характер, она может быть каменно тверда, и если она решила, вряд ли остановит себя. Скорее всего, он получит письмо. Оно и будет тем взрывом, после которого их семья, которая ладно или неладно, но устраивалась шестнадцать лет и так, наверное, и не устроилась как следует быть, перестанет существовать.

Всё это Иван Петрович скорее чувствовал. Чем сознавал. Где-то в неясной глубине подсознания осело это пугающее его ожидание одиночества, но думать об этом, готовить себя к этому он себе не позволял. Было слишком трудно думать об этом и, может быть, — он надеялся на это — не так необходимо. Он всегда торопился, всегда опережал ход событий своим неудержимым воображением. Теперь, может быть, в первый раз за свою жизнь, он не позволял себе заглядывать в своё завтра, он всё предоставил времени и терпению. «Собрать силы и ждать, — так сказал он себе. — Работать и заставить себя забыть, что где-то рядом лежит бомба. Пока так...»

Иван Петрович отнёс пустую сковороду на холодную плиту, прибавил огня в керосинке. «Горячий крепкий чаёк – это хорошо, — подумал он, ополаскивая давно не мытую чашку. – Это целых десять, а если растянуть пятнадцать минут наслаждения!..»

В этот поздний час он не ожидал, что кто-то может к нему зайти. И удивился, и растерялся, когда через порог в кухню перешагнул несколько смущённый завхоз Маликов и следом, выше головы Маликова, показалось худое, с высокими скулами и побритыми с боков усами лицо Ивана Митрофановича Обухова, головы семигорской сельской власти. Впалые щёки, выпирающие скулы, усмешливая нижняя губа под жёсткими встопорщенными усами и пронзительный взгляд глубоко запавших глаз придавали ему вид настороженный и к себе не располагающий. Но Иван Петрович успел узнать Обухова, его разумную внимательность ко всему, что было на семигорской земле и вокруг, и в деловых отношениях с ним переступал через его крестьянскую настороженность и обращался непосредственно к его спокойному и рассудительному уму.

Со своей стороны, Обухов тоже понял природу видимой колючести в характере нового соседа, и с директором, осевшим со своим поселением почти на самом краю Семигорья, говорил как с человеком дела, и только дела. По неторопливому наблюдению Ивана Митрофановича дело ставилось директором Поляниным выше собственного благополучия и выше всех прочих интересов, в том числе и семейных, и это вызывало у него не только сочувствие, но и бережное уважение к приезжему человеку.

И сейчас, когда Иван Петрович усадил их за стол, налил им по кружке крепкого чая и неловким извиняющимся жестом придвинул нарезанный неровными ломтями хлеб и наколотый в блюдце сахар, и, заметно смущаясь своего холостяцкого положения, которое нетрудно было видеть по запущенности домашнего хозяйства, тоже сел с ними и стал, обжигаясь, первым пить чай из блюдечка, Иван Митрофанович подумал, что говорить с директором даже за чашкой чая надо прямо, и только о деле.

Завхоз техникума Маликов, бывший семигорский мужик, какими-то обходными путями ушедший с земли и осевший в старом леспромхозовском посёлке и теперь всем представляющий себя так: «Считай, мы с директором полные тёзки», опередил намерение Ивана Митрофановича самому начать разговор. Стрельнув подвижными глазками в своего директора и наклонившись, будто собираясь привстать с табурета, он поспешным говорком сказал:

— Вы давеча сказывали обговорить с Иваном Митрофановичем насчёт подмоги плотниками и лошадьми. Так я, в общем и целом, сговорил бригаду. А вот они сами захотели с вами свидеться. Час, правда что, не совсем удобный. Но вот Иван Митрофанович настояли...

Иван Петрович ощутил разлившееся внутри блаженство от выпитого горячего чая, и ему уже не было по душе вторжение нежданных гостей. Он налил себе ещё чаю и вопросительно поглядел на Ивана Митрофановича.

Иван Митрофанович усмехнулся заискивающему тону Маликова, отвечая на вопросительный взгляд Ивана Петровича, сказал:

— Плотников ещё одну артель соберём. И с десяток лошадей дадим на вывозку. Народ понимает. Что не чужих детей учить будете, и к вашему строительству расположен. Не в обмен на помощь, Иван Петрович, а пришёл к вам с докукой. Ежели откликнитесь, семигорцы рады будут и благодарны. Ежели не найдёте возможным, не нам осуждать. Я про электрическую вашу станцию...

Из-под торчащих, будто осока на кочках, полужёлтых-полуседых бровей Иван Митрофанович посмотрел на Ивана Петровича, стараясь угадать настроение директора, но, кроме внимательного и вопросительного выражения в его глазах, пока ничего не увидел.

— Темно живём, Иван Петрович! Света в избы хотим! Вот и просим вас поделиться тем, что в свои дома не унесёте.

Теперь уже брови Ивана Петровича, высоко поднятые над тонкой металлической оправой очков, выражали удивление.

— Не загадку говорю! Достоинно всё могло бы получиться. Объясню?

Иван Петрович кивнул. Обухов достал из кармана бумажку, аккуратно заполненную цифрами, развернул, но говорил, в неё не заглядывая:

— Суть такова. Старый локомотив, что стоит у вас на станции, в пятьдесят сил. Динамка, что он крутит, выдаёт тридцать пять киловатт электричества. Старый леспромхозовский посёлок вместе с лесопилкой потребляет двадцать пять. Десять у вас и сейчас в захоронке, и десяти на ваше новое техникумовское поселение недостаёт. Вам, как мне высчитали городские электрики, для всех ваших нужд надобно двадцать киловатт. И вы уже устанавливаете на станции второй локомотив, по мощности такой же, как прежний. Значит, всего вырабатывать будете семьдесят, потреблять сорок пять.

Двадцать пять киловатт положите на полочку, и лежать они будут, как в масляной тряпочке негожий для нынешнего сезона инструмент. Нам же, чтобы светом оживить дома и фермы, надобно всего двадцать – двадцать один киловатт. Вот оно как выходит, Иван Петрович. Рукавица сама просится на руку!

Иван Петрович поправил на носу очки, достал платок, сдержанно покашлял, что не было добрым признаком, — так вёл себя Иван Петрович, когда чувствовал необходимость отказать человеку в его просьбе. Иван Митрофанович это понял и ладонью крепко потёр свой лоб, как будто прогонял возникшую неловкость.

— Знаю, Иван Петрович, на чём сосредоточились ваши думы, — сказал он. — Я тоже, прежде чем к вам пойти, не одну ночь проворочался. С разумными людьми советовался, где только они есть. В мыслях не держу вас подвести, наперёд себя под удар подставляю. И вы, и я, и вот товарищ Маликов – все мы знаем, что подсоединять сёла к государственным электростанциям запрещено. Есть такое постановление, и горькую его необходимость мы тоже понимаем. Электричеством пока что не разбогатели, а заводам без электричества хода нет, городам жизни нет. Мы это понимаем, как понимаем и то, что деревня пока что на керосине да на поте своём проживёт и страну прокормит. Но, Иван Петрович, дорогой наш человек, вверху вы работали, не можете не знать, что ни законом, ни постановлением не прозришь, не ухватишь того, что есть в живой жизни! Основу, на которой стоит наше государство, сам не преступлю и другому не позволю. Но живое дело надобно решать по-живому! Случай, о котором толкуем, не содержит ущерба ни индустрии нашей, ни государству. Лишек, что захоронится где-то во внутренностях вашей электростанции, мы хотим обратить на благо семигорских жителей. Такое решение не могу считать нарушением закона. Не могу, Иван Петрович, хоть я представляю на селе Советскую власть.

Иван Петрович уже понял суть и возможные последствия того, что замыслил семигорский голова. Он смотрел на впалую грудь Ивана Митрофановича, худоба которого угадывалась даже под свободной, застёгнутой на все пуговицы рубашкой, и, охваченный первыми непосредственными, недобрыми чувствами, думал: «Жук, ну и жук! А умён. Умён, семигорский мужичок! Тянет, как занузdanную лошадь: поди-ка вот сюда, да постой-ка тут на виду, да покусай удила! Не хочу я быть лошастью, дорогой Иван Митрофанович, ни взнузданной, ни дикой! Надо мной и над тобой один закон, и на мне ты закон не объедешь. Жук. Ну, жук!..

— А почему, собственно, жук? – дал обратный ход своим мыслям Иван Петрович. – У него своя забота. Он её не скрывает. В этой заботе – его жизнь. Нащупал благо, старается это благо использовать. Не для себя – для села, для колхоза. А что село само по себе? Такая же частица России, как наш посёлок. Благо, которое Обухов разыскал, – общее благо!..

А шею мне намылят! Если соглашусь, намылят... Как он сказал? «Живое дело надо решать по-живому...» Как будто есть мёртвое дело! Мёртвого нет, а вот буквоедство, от которого живое дело гибнет, есть. Надо думать, этот Иван Митрофанович – тёртый калач и на себе не то ещё испытал! Испытал, мне говорили, что испытал. А голову и руки не спрятал под панцирь, как черепаха. Опять пробивает... Мёртвое - живое... А что значит решать по-живому? В обход закона?.. Нет, не о том. Он идёт от реального, от того, что есть, и от того, что надо. То и другое, он видит, сошлось. Всё остальное для него существенного значения не имеет. А для меня?»

В наркомате дела решались отвлечённое. В миллионах кубов – лес. Лошади – в тысячах. Тракторы – в сотнях. Цифры соотносились с цифрами. И хотя за каждой цифрой стояло реальное, нужное государству и народу дело, всё же знак на бумаге легко было перечеркнуть, на место перечёркнутого поставить новый. А здесь? Здесь у каждой цифры – лицо, судьба, знакомый тебе живой человек. Ты изменяешь цифру и знаешь, как, переставленная тобой, она завтра отразится на судьбе конюха Василия, шофёра Перескокова, преподавателя Скаруцкого. Здесь каждая цифра имеет живое лицо!..

Иван Митрофанович не выдержал затянувшегося молчания, вместе с табуретом придвинулся ближе к столу, с доверительностью близкого человека заговорил:

— Хочу вот что сказать, Иван Петрович. Я понимаю трудность вашего раздумья. Только вчера говорил в райкоме с товарищем Симанковым. Дело он понимает, одобряет. Слово его, понятно, много весит, и плечи у него, как говорится, широкие. Но... ответственность за такое дело он на себя не берёт. Он прямо предупредил и велел вам сказать про то. Вы хозяин запасных киловатт. Вашим решением должно всё состояться. Шаг, прямо скажу, рискованный, но человеческий – за короткий срок мы продвинемся вперёд в условиях нашей жизни. Восемьдесят дворов и четыре фермы получают свет, свет Ильича. А что это значит – вы, как большевик, понимаете.

— Мы всей артелью будем вас защищать, но наперёд сами подумайте. Вам худого не хочу, но добра своему селу желаю. И это для меня сильнее, чем всё другое. Ежели б я мог взять ответственность на себя, я бы взял. Но отвечать вам. Вам и решать...

Иван Петрович потянулся за чайником, налил себе чаю, хлебнул, чай был слишком крут, он поставил чашку на стол. Он понимал, на какую горячую точку поставил его Обухов.

Если бы Иван Митрофанович избрал другой ход разговора, обошёл бы острые углы задуманного им дела и освещение села электричеством представил как некую сокрытую от прочих сделку, обоюдовыгодную для колхоза и техникума, Иван Петрович спокойно и твёрдо отказал бы голове семигорской власти. Его не остановило бы то, что, не уважив просьбы семигорцев, он создал бы себе и строительству много новых, едва ли одолимых хозяйственных трудностей. Наверное, не только хозяйственных.

Но Иван Митрофанович разговаривал с ним на пределе откровенности. И то, что оба они понимали возможность этого действительно нужного для многих людей дела, понимали и щекотливость его, и возможные для Ивана Петровича последствия – весьма неприятные, если кто-то задумает дать его действиям строго принципиальную оценку без вхождения в суть содеянного, — всё это вместе взятое задержало обычно стремительный ход мыслей Ивана Петровича. Он не высказал того, что уже готов был высказать, что в таких случаях высказывал всегда, и теперь обдумывал честную просьбу Ивана Митрофановича.

В том, что предлагал Иван Митрофанович, государственные интересы не затрагивались. Суть была в другом: достанет ли у Ивана Петровича силы взять на себя ответственность и решить дело не по форме, а по существу. Именно на эту горячую точку поставил его Иван Митрофанович, и в этом был виден корень вопроса.

«Решать мне, — думал он. — Мне отвечать. Это ясно как день. Но, в конце концов, общая польза и радость многих людей, наверное, стоят моего беспокойства!..»

Иван Петрович взял чашку, глотнул уже остывшего чая, сказал, хмурясь на свою доброту:

— Я попрошу инженера проверить ваши расчёты. Если резерв действительно есть, мы его отдадим. Но заметьте: нам предстоит ещё строить!

— Иван Петрович! Убедиться, понятно, надо. Но мы, как муравьи, всё облазили. И с инженером вашим толковали. У вас останется в запасе сверх всего ещё четыре киловатта. С лихвой на будущее, по крайности, на ближайшее будущее!

Глубоко запавшие глаза Ивана Митрофановича излучали тепло и свет. Иван Петрович, чувствуя это, подобревший, думал: «А всё-таки жук ты, Иван Митрофанович. Жук! Уж коли облюбуеть, дереву не устоять!..»

Всем троим было ясно, что дело завершилось согласием.

Завхоз Маликов, всё долгое время разговора сидевший молча и с опущенной головой, оживился.

— Может, по такому случаю за бутылочкой сбегать? – спросил он. Маликов старательно удерживал взгляд на подбородке Ивана Петровича и почёсывал щёку. – У меня есть припасённая...

— Оставьте свои замашки, Маликов! – рассердился Иван Петрович и в раздражении передвинул кружку.

Вислый нос завхоза уныло понюхал верхнюю губу. Маликов вздохнул, сказал, несогласно качая головой:

— Говорили мне, что вы не потребляете. А зря! Дела вам трудно будет улаживать, Иван Петрович! За бутылочкой-то оно душевнее. Добреют люди. Всё самоходом ладится!..

— Нет уж, увольте от такого самохода... И делу, и горю ясная голова нужна!

— А что, горе какое у вас, Иван Петрович? – с осторожным участием спросил Обухов.

— Горе? У меня?.. Нет, — сказал Иван Петрович и подумал: «Чёрт, как чувствуют люди!..»

Сквозь очки он настороженно смотрел на Ивана Митрофановича и по внимательному, нарочито спокойному взгляду его умных глаз понял, что семигорский голова ведаёт про его душевную встревоженность. Ведаёт, и – только сейчас это дошло до Ивана Петровича – поздний его приход к нему в дом вызван не только тем делом, о котором сейчас они говорили. Обухов, видно, знал, что идти к Ивану Петровичу без дела, с простым желанием проведать его в тоскливом одиночестве, бесполезно.

Он всё ещё смотрел на Ивана Петровича внимательно, но без той жалости, которую Иван Петрович не переносил, и, как будто примиряя всё, что было между ними, рассудительно сказал:

— Уладится и без вина.

Иван Петрович понял, что это «уладится» относится не только к делу, которое сейчас у них было, но и к тому деликатному душевному делу, о котором все трое знали, но не говорили.

— Алёшка – парень разумный, – сказал Обухов, — знаю, наши места ему полюбились. Говорил, ни на какие столицы не поменяю...

Иван Петрович понял, что Обухов старается его ободрить, но слова об Алёшке его расстроили. Он неловко и шумно поднялся, прекращая трудный для себя разговор, спросил грубовато:

— От чая почему отказались?

— За делом не до чаю, улыбнулся Иван Митрофанович. – Засиделись, гляжу. Я думаю, всё уладится, – повторил он, как будто вложил в Ивана Петровича свою спокойную веру. – Не посетуете, ежели загляну ещё разок?..

— Милости прошу! – Иван Петрович хотел сказать эти слова с привычной суховатой иронией, а сказал неожиданно тепло. – Заходите!..

Он проводил гостей, задул керосинку. На столе увидел три кружки. Кружки стояли вокруг хлеба и блюдечка с сахаром, как в былые времена, и оттого, что две из них были наполнены чаем и нетронуты, защемило сердце.

Иван Петрович хотел прибрать на столе, но раздумал. Умылся, растёр лицо полотенцем, запер дверь и пошёл в комнату, чувствуя, что сегодня предстоит ему бессонная ночь.

2

Иван Петрович – в который раз! – скинув простыню, поднимался с кровати, шлёпая босыми ногами по полу, шёл в кухню, медленными глотками пил прямо из чайника воду, бродил по дому, прислонялся лбом к стеклу, пытаясь в ночи разглядеть успокоительные звёзды, ложился, и всё начиналось сначала: наваливались неотвязные думы, он ворочался, вздыхал, чёртом поминал Ивана Митрофановича, разбередившего своим неосторожным участием больные места души. Поняв окончательно, что в эту ночь ему не заснуть, он повернулся на спину, лёг повыше на подушку и с покорностью пленного отдал себя на милость бессонницы.

Говорят, в реку невозможно войти дважды. В прожитую жизнь человек возвращается. В бессонные ночи память возвращает нас к прошлому, и всё, что было, повторяется, и с такой пронзительной отчётливостью, что мы заново проживаем дни и годы, заново мечемся, и волнуемся, и лихорадочно обдумываем свои поступки, забывая, что прошлое нам неподвластно.

Раскрытая память возвратила Ивана Петровича назад, в тот августовский день, когда поезд отошёл от высокого людного перрона и годы столичной жизни и трудный последний месяц невероятного нервного напряжения и суеты, связанной с отъездом, остались там, за каменными плечами и острыми башнями Северного вокзала.

В молчаливой темноте опустевшего дома Иван Петрович отчётливо слышал всё убыстряющийся стук колёс, и всё, что было пережито и передумано в дороге, с отчётливостью настоящего развёртывалось перед ним.

... Второй час Иван Петрович Полянин стоял в тамбуре, спиной и затылком ощущая неприятную дрожь вагона.

Поезд всё дальше уходил от Москвы. Паровоз время от времени торопливо свистел, расстилая дым над августовской, не по времени мокрой землёй. За грязным стеклом одна за другой проплывали высокие пригородные платформы, с одинаково зелёными навесами дождя, пустыми в этот ранний час скамейками и редкими неподвижными пассажирами. Иван Петрович отсчитывал знакомые названия: «Мытищи... Тарасовка... Пушкино...» — и напряжённо вспоминал, какая из пригородных платформ на этой дороге последняя. Каждую появляющуюся за стеклом платформу он встречал горькой и настороженной усмешкой. Он ждал, что кто-то, имеющий большую власть, чем расписанное до минут движение железнодорожных составов, остановит вот у такой высокой платформы несущийся поезд, кто-то, имеющий большую власть, чем каждый из людей, едущих в вагоне, подойдёт к нему и все его обиды и усилия, предпринятые наркомом — теперь уже не наркомом, — окажутся напрасными...

Москва давно уже скрылась из глаз, но Иван Петрович всё равно видел её сквозь лес и паровозный дым. Город как будто двигался за ним, громадами домов закрывая небо.

Поезд шёл, не замедляя и не прибавляя хода. Вот он миновал последнюю знакомую платформу с уже редкими, как будто нежилыми дачами. Иван Петрович увидел сплошной, подступающий почти к самой дороге лес, не похожий на пригородный, сдержанно вздохнул. Всё ещё оглушённый известием, которое только что, на вокзале, услышал от старого сослуживца по наркомату, он оторвал спину от подрагивающей стены вагона, прошёлся по тамбуру.

Расстегнув на рубашке две верхних пуговицы и поправив на носу очки, он вошёл в вагон.

Алёшка, боком навалившись на столик, не отрываясь, смотрел в окно, на лес. «Этот рад неожиданной дороге...» — подумал Иван Петрович. Юношески красивая голова сына с копной мягких волос вызвала в нём непривычное желание протянуть руку, погладить сына по упрямой голове. Впервые он подумал, что с Алёшкой он слишком суров: за четырнадцать лет его жизни он, в сущности, ни разу не приласкал его по-отцовски.

Елена Васильевна сидела напротив, в дорожном костюме и чёрной соломенной шляпке без полей, сдавив побелевшими кончиками тонких пальцев лежащую на коленях сумочку. Она как вошла в вагон, опустилась на своё место, так и застыла, устремив в окно отрешённый взгляд. Она как будто не верила, что ехать им день и ночь и ещё почти день, она как будто вошла в трамвай и только на минуту присела на свободную скамью, чтобы на первой же остановке подняться и сойти.

Иван Петрович наблюдал жену, стараясь не потревожить её взглядом. Отчуждённый вид жены добавлял ему горечи. С той ночи, когда он сказал ей, что его переводят из наркомата, что они оставят Москву и уедут на родину деда и отца, в глухой городок России, даже не городок, а село, — с той далёкой ночи не оставляло его странное, пугающее ощущение, что жену он потерял. Собственно, жена и сын рядом, он может коснуться их, сказать им что-то. Сын ответит, наверное, стеснительно улыбнётся. Но жена... Она, конечно, тоже что-то ответит, если он спросит, но улыбки её он не увидит. Она знает, не может не знать, что её улыбка, хотя бы с самым мизерным сочувствием, нужна ему сейчас как никогда, и всё-таки сидит закаменело, без малейшего движения чувств!

Всё началось с той неприятной ночи. Весь вечер он молчал, делал вид, что читает газету или слушает радио. Долго стоял на балконе, тупо глядел на огни медленно успокаивающейся столицы, ждал. Когда Алёшка уйдёт спать. Он готовился объясниться с Еленой Васильевной. Он достаточно откладывал этот разговор, наперёд зная те неприятности и боль, в которых в таком разговоре не избежать. Он с радостью ещё отодвинул бы эти неприятные минуты, вообще ушёл бы от разговоров и объяснений, но откладывать было нельзя, всё уже было решено.

В репродукторе, включенном на едва слышный звук, отзвучал «Интернационал». Иван Петрович подошёл к календарю, хотел сорвать листок и не сорвал: день 5 августа для него ещё не был закончен. Почти всю ночь он убеждал и успокаивал Елену Васильевну. Он знал, что переживает она, и чувствовал себя виноватым. Он пытался говорить о Волге, что-то о родной земле и могиле отца на той земле, о лесах, которые лучше всех городских стадионов укрепят и закалят Алёшку, но видел, что Елена Васильевна его не слышит. Неестественно прямо она сидела за столом, сдавив виски пальцами, и в отчаянье спрашивала:

— Но почему, почему мы должны уехать из Москвы?..

Он сам ещё не вполне понимал необходимость своего нового назначения, неожиданного и равносильного разжалованию в рядовые, и не мог найти нужных слов: он ходил по комнате, чтобы Елена Васильевна не видела его глаз.

— Ты же знаешь: назначение – тот же приказ. Нарком настаивает, – говорил он, стараясь настроить жену на спокойный, рассудительный лад. Но Елена Васильевна как будто разучилась рассуждать: застыв в своей неестественной позе, она повторяла:

— Но сам же нарком пригласил тебя в столицу!.. Ты можешь остаться в Москве!.. Ну, почему не ты, а кто-то распоряжается твоей судьбой?..

Не в первый раз он слышал от неё эти неприятные ему слова и привык гасить их в себе. Он знал: как бы долго ни продолжался их разговор, он, как другие подобные разговоры в прошлом, закончится примирением: Елена Васильевна вздохнёт, потом начнёт собирать вещи, и они уедут туда, где Ивана Петровича ждёт новая работа. Так было всегда. И всегда он относился к её отчаянью как к естественному недомоганию, которое надо превозмочь.

На этот раз он сам был едва ли не в худшем душевном состоянии, чем Елена Васильевна, и выдержки ему хватило ненадолго: он взорвался. Он нервно ходил по комнате и, боясь разбудить Алёшку в соседней комнате, шёпотом кричал, что надо быть абсолютно аполитичным человеком, чтобы не понимать, что такое государственная необходимость.

— Не кто-то, а нарком посылает меня. Значит, так надо, — шептал он, уже не сдерживая себя. — Значит, там моё место. И, в конце концов, важно не где жить, а как жить! Пора, матушка, понять, — в минуты раздражения он почему-то звал её «матушка», — пора понять, в какое время мы живём! Жизнь надо переделывать не только в столице!.. — И, уже обращаясь больше к себе, чем к Елене Васильевне, крикнул: — Пойми, только там, где я строю посёлки и выдаю кубометры леса, я чувствую себя человеком!..

Тогда-то и отяжелел её красивый рот, углы губ опустились и в них, и в полуоткрытых усталых глазах появилось что-то, чего до сих пор Иван Петрович не мог понять. Наверное, только он видел это «что-то» в её тонко и выразительно очерченных губах. Но это «что-то» было – он видел холод глаз и тяжесть вокруг её рта.

— Я же говорила: ты всегда думаешь только о себе... — сказала она с каким-то усталым удовлетворением и рукой прикрыла печальное, отрешённое лицо.

Тягостное ощущение потери Иван Петрович носил в себе до самого отъезда. Он не пытался объяснить с женой: семейное несогласие казалось ему в те дни мелочью сравнительно с теми потрясениями, которые испытывал его оскорблённый ум.

Теперь они в дороге, он вместе с семьёй, но что-то было во всём этом от пирровой победы!..

Иван Петрович сжал свои нетвёрдые губы, спиной и затылком прислонился к равномерно подрагивающей перегородке вагона.

«Ну и духота!» — подумал он. Достал из кармана платок, не отрывая затылка от стены, отёр влажный лоб, шею. Воздух в вагоне был густ и горяч, несмотря на почти осеннюю мокреть за окном. Плацкартный вагон по трети полки был набит людьми, неприятными запахами потных ног, сохнувшей одежды, закисших продуктов, говором, смехом, грохотом колёс. Уже третий час поезд бежал от Москвы, и всё это время Иван Петрович не замечал ни людей, ни тесноты. Теперь вагонное многоголосье навалилось на него, как забытый гвалт московского базара. Он различал голоса, услышал, как на верхней полке кто-то надсадно кашляет, пристанывая и шепча.

В том же отделении, где ехал Иван Петрович с семьёй, на боковом месте расположилась с узлом, корзиной и ребёнком молодая женщина. Потное её лицо измучено. Она успокаивает ребёнка, качает его на руках, качается сама, но ребёнок плачет тягуче, монотонно, и кажется, нет надежды, что он вообще когда-нибудь перестанет плакать. Наверное, он плачет от самой Москвы. Женщина, безнадежно вздохнув, усталым движением расстегнула кофту и подсунула ребёнку грудь. Она не отвернулась, не закрылась, полная грудь её бесстыдно белела, и каждый, кто в своей бесцельной вагонной ходьбе пролезал узким проходом, задевал колени женщины и смотрел на грудь. Иван Петрович видел лазающих взад-вперёд парней и мужиков и чувствовал неловкость перед женщиной с ребёнком.

Он понимал, что должен уступить женщине своё, более удобное место. Просто по-человечески встать и помочь ей перебраться в уголок. «Но как это сделать?.. Голая грудь. Любопытство Алёшки... Вот уж поистине деревенская простота! – вдруг раздражился Иван Петрович. – Догадалась бы хоть пелёнкой прикрыть!..»

Он снял очки, нервно протёр стёкла платком. Повертел очки в руках, снова надел. Женщина, приоткрыв широкие, как будто воспалённые губы, исподлобья глядела на него сквозь прядки упавших на глаза волос. Она, видимо, заметила, что Иван Петрович нервничает, и, желая оправдать себя и осудить его, Ивана Петровича, тихо сказала:

— Дитё есть хочет, а они сердуются...

Иван Петрович горестно покачал головой: он видел, что женщина не поняла его добрых намерений. «Вот так всегда, – думал он. – Стремишься к добру, а получается...» Он уже опёрся ладонями о скамью, чтобы встать и уступить своё место, но посмотрел на жену, по-прежнему отчуждённо сидевшую напротив и всё так же тонкими пальцами сжимавшую свою чёрную сумочку, и, трезвея, подумал, что Елена Васильевна не одобрит подобную жертву. Он сел глубже на скамью, снова прислонился к вагонной перегородке, закрыл глаза. Стараясь не дать разрастись появившемуся раздражению, подумал: «Елене достаточно того, что она едет в этом, по существу, общем вагоне, с его духотой, гвалтом и назойливостью не в меру любознательных пассажиров!»

Это он настоял, чтобы они ехали, как ездят все простые люди. Он даже чуть не хлестнул сына ремнём, когда Алёшка, прохаживаясь по паркету уже не их квартиры, с наивным удивлением произнёс:

— А почему мы едем не в мягком?..

Откровенное барство сына взорвало Ивана Петровича. До предела издёрганный, он накричал на него с яростью, на какую не думал, что был способен. Обвязывая чемодан, он в бешенстве дёргал за свободный конец ремня и кричал:

— Он ещё губы кривит!.. Думать забудь о мягких вагонах!.. Жить будешь как все! Запомни!

Потом он чувствовал неловкость перед сыном. Тем более что Алёшка поддержал его в те трудные дни. Пусть не из любви, и даже не по доброте, — по своим собственным, ещё неясным устремлениям, — но его желание уехать в леса сломило упорство Елены Васильевны.

Сын и жена – вот самое дорогое, что есть сейчас у него. И не в его силах почти убитую переездом жену огорчить ещё одним, пусть даже малым неудобством.

Крикливый ребёнок затих, наверное, уснул. Женщина наглухо застегнула кофту, тоже молчала. Она сидела, тихо покачиваясь, прижимая к себе ребёнка, и думала о чём-то, с тоской глядя в пол.

Иван Петрович нарушил затянувшееся семейное молчание: достал из кармана платок, несколько громче, чем нужно было, покашлял. Алёшка быстро взглянул на отца и тут же снова прилип к окну. Елена Васильевна не пошевелилась. Она по-прежнему смотрела на стелющийся вдоль леса паровозный дым. Иногда какой-нибудь разлохмаченный клуб дыма припадал к земле и наперекор движению и ветру приостанавливался, как будто вцепившись в откос. В такие мгновения неподвижные глаза Елены Васильевны расширялись, и в них появлялось что-то похожее на торжество.

Иван Петрович убрал в карман ненужный платок.

«Какой-то смысл она находит в пустой игре паровозного дыма, — с горечью думал он о жене. — Хоть бы сыном поинтересовалась!»

В мелькавших за окном столбах, мокрых ельниках, низких луговинах с округлыми стожками сена он не мог выискать что-нибудь значительное, к чему можно было бы привлечь общее внимание.

Иван Петрович снял очки, близоруко посмотрел на стёкла, снова надел, пальцем придавил железную оправу к носу.

— Может, перекусим? – Он заискивающе смотрел на Елену Васильевну.

Елена Васильевна как-то сразу отмякла, сохраняя на лице скорбное выражение, отвела взгляд от окна и поискала глазами сумку с продуктами. Алёшка с готовностью нагнулся и вытащил тяжёлую сумку из-под столика, поставил на сиденье. Елена Васильевна вздохнула, положила за спину, к стенке, свою чёрную сумочку и начала медленно отвязывать от кожаных плетёных ручек продуктовой сумки верёвочки.

Иван Петрович оживился, даже потёр руки. «А всё-таки жизнь определяет хлеб насущный!» — философски подумал он.

... К ночи люди утомнились, железный стук бегущего по рельсам поезда стал отчётливее. Иван Петрович устроил Елену Васильевну на нижней полке, подложив ей под голову подушку, ноги укрыл с неловкой заботливостью байковым одеялом. Алёшка залез наверх, на вторую полку. Сам Иван Петрович лёг внизу, напротив Елены Васильевны, под голову сунул пальто.

Он ждал этих ночных часов. Накрыв голову пиджаком, он лежал, ощущая усталой спиной и локтями жёсткость полки.

Всё, что он оставлял в Москве, тянулось за ним, как рельсы и шпалы за поездом: поезд мчался где-то на второй сотне километров от Москвы, рельсы не обрывались.

Иван Петрович думал о наркоме. Он мысленно нащупывал и с опаской растягивал узлы в запутанном клубке последних событий, пытался отыскать их начало.

До последней встречи с наркомом он не знал о переменах в своей судьбе и в знакомый, всегда открытый для него кабинет вошёл спокойно. Когда же сидящий за столом нарком поднял голову, и его не улыбочивое лицо на миг посветлело, но тут же снова стало сосредоточенно-хмурым. Иван Петрович понял, что разговор у них будет непростой. Нарком кивнул на кресло, и настороженно, как на шаткий стул, Иван Петрович опустил себя на кожаное сиденье.

Нарком хмуро поглядывал на разбросанные по красному сукну бумаги. По тому, как неудобно он сидел в высоком жёстком полукресле, сдвинув вперёд бугристые плечи, по тому, как на его голове с небрежно брошенными набок волосами глыбисто набряк лоб, по тому, как трудно он выводил свою подпись на бумагах, по тому, с каким облегчением, закончив подписывать, он бросил на стол толстый синий карандаш, – можно было, и не зная, понять, что в этом массивном человеке до сих пор больше от бывшего питерского рабочего, чем от нынешнего наркома.

Иван Петрович был под началом этого человека. Он знал и следил, как заготавливают лес по всей стране, от Карелии до Сахалина. Он информировал, предлагал, и нарком почти всегда принимал его соображения. В наркомате его считали одним из ближайших советников наркома.

Жизнь столкнула их в первый год революции, когда оба – старый партиец, путиловец, и вчерашний студент Иван Полянин, только что вступивший в партию большевиков и кипящий романтикой сокрушения и созидания, — оба были поставлены на одно революционное дело: обеспечить топливом замерзающий Петроград. Через два года снова свело их дело революции: бок о бок они ползли по льду Финского залива к стенам мятежного Кронштадта.

С тех пор умные глаза этого могучего человека с симпатией следили за ним, в какие бы края ни забрасывала Ивана Петровича работа и нужды партии. Именно он, нарком, пять лет назад вызвал его с Дальнего Востока и предложил обосноваться в столице.

Теперь этот человек, подняв размашистые брови к прорезанному морщинами лбу, пристально смотрел на него в тяжёлом молчании. Медленно он протянул ему через стол бумагу. Иван Петрович, почувствовав неловкость в сердце, читал через вдруг вспотевшие очки и не мог понять то, что ясно было написано на форменном бланке. Главк лесного хозяйства просил наркома освободить И.П. Полянина от занимаемой должности, с тем, чтобы направить его в Советский район Поволжской области для организации на базе Семигорского лесхоза техникума и руководства им...

К перемещениям по службе Иван Петрович привык. Сколько раз ему приходилось оставлять высокие должности и, по своей и не по своей воле, уезжать за тысячи километров, начинать с «нуля». Он ехал и превращал «нули» в весомые цифры кубов нужной стране древесины. И снова его звали «наверх», обеспечивали жильём и всем необходимым для городской жизни – и снова ненадолго, до первой серьёзной нужды в опытном, энергичном руководителе где-нибудь там, за другой тысячью километров.

Так было с первых лет революции: он работал там, где надо, в полную силу, как подобает партийцу-большевику. И нигде не пускал житейских корней. Он с усмешкой наблюдал тех, кто привязывал себя к месту постоянной квартирой, дачей, знакомствами, бросал якоря в бурных приливах устанавливающейся в России новой жизни. Он привык жить интересами страны и не заботиться о том, куда и как ведут его должностные ступени. Но понять то, что было написано на бумаге, переданной наркомом, он не мог.

Откуда, зачем эта просьба лесного главка? Очень странная просьба... Что за нужда переходить ему на другую работу, в другой наркомат? И вообще – какое отношение он имеет к этому несуществующему техникуму?

Иван Петрович недоумённо пожал плечами.

Сосредоточенно-хмурое лицо наркома тронула едва различимая усмешка.

— Думал, вы уже отучились удивляться, — сказал он. Голос у него был медлителен и глух, как у всех молчаливых людей. — В тех местах наш леспромхоз, себя переживший. Мы его ликвидируем. Посёлок, электростанцию передаём главку, значит, вам. Уже не «нуль», — Иван Петрович не понимал, о чём говорит нарком. Впервые он не понимал, что задумал этот человек. Он оскорблено выпрямился, оправил под ремнём чёрный френч, который носил и в Москве, хотел встать, но нарком предупредил его движением руки. Взял у него бумагу, положил перед собой, тихо сказал:

— В этой бумаге повинен я. Говорю это только вам...

Иван Петрович увидел. Как дрогнула нижняя, резко выпирающая вперёд губа наркома и тут же, как от неожиданно попавшей горечи, покривилась, перекосив крупный, грубо прорезанный рот. Глаза наркома, до сих пор глядевшие спокойно и устало, вдруг налились болью и как будто запали в жёлтые морщинистые глазницы. У Ивана Петровича сдавило сердце: всегда непроницаемый, нарком сейчас был открыт перед ним и беззащитен.

Продолжалось это мгновение. Но память, как хорошо отлаженный фотоаппарат, такие мгновения фотографирует навечно. Тут же всё вернулось на свои места. Нарком глухо сказал:

— Долгие проводы – лишние слёзы. – Взял лежащий перед ним синий карандаш, написал на углу бумаги: «На перевод согласен» — и поставил свою короткую подпись.

Нарком снова был спокоен и непроницаем.

Иван Петрович, подавленный случившимся, какое-то время молчал. Но бумагу и синюю резолюцию в углу он видел и не хотел уступать непонятному повороту в своей судьбе. С обидой и некоторым даже вызовом он сказал:

— Но я должен понять необходимость своего назначения...

Нарком встал, вышел из-за стола. Теперь они стояли рядом: нарком почти на голову выше, намного шире в плечах. Тяжёлое лицо его вблизи казалось не только усталым, но осунувшимся, однако взгляд был ясен и твёрд.

— Не было бы необходимости, не было бы этой бумаги, – сказал он. – Я бы не хотел, чтобы Иван Петрович Полянин усомнился в моём расположении. – Глядя ему в глаза, он глухо и твёрдо договорил: — Для большевика не имеет значения, где жить, важно – как жить. Для вас это назначение – приказ... — И, как всегда, смягчая свою резкость, спросил: — Я не ошибаюсь, Семигорье – земля для вас не чужая?..

В тот день Иван Петрович в последний раз ощутил успокоительное пожатие сильной руки. Тогда, озабоченный собой, он ещё не знал, что нарком оберёт его от беды куда более жестокой, чем оскорблённое самолюбие. Открылось это ему в суете предотъездного часа, когда, оформив багаж, он неожиданно столкнулся на выходе из вокзала с сослуживцем из наркомата. Старый человек нерешительно потоптался, отвёл его в сторону, сказал еле слышно:

— Иван Петрович, голубчик. Только что арестован нарком. И с ним — Александровский... — Старый человек скомкал платок, дрожащей рукой промокнул лоб, бочком ушёл в толпу.

... Иван Петрович лежал на жёсткой вагонной полке и задыхался под пиджаком, но пиджак с головы не сдвигал. Он боялся, что ему помешают додумать что-то очень для него важное. Пока он в поезде, он должен разобраться в «иксах» и «игреках» жизни, иначе он не мог бы работать на новом месте и вообще жить.

«Здесь что-то не так, какая-то дикая ошибка!.. — думал он, задыхаясь под своим пиджаком. — Безусловно, ошибка!.. Старый большевик, потомственный рабочий — я же знал, я же видел его в работе!.. Не мог он вредить делу, которому отдавал жизнь... Это ошибка. Конечно, ошибка!.. Она будет исправлена!..»

Под дробный стук вагона он лихорадочно восстанавливал в памяти всё, что когда-то казалось случайным и незначительным: отдельные слова, непонятные в то время намёки, интонации, распоряжения — всё, с чем приходилось ему сталкиваться по службе и в личных беседах.

Он вспомнил и тот случай, который тогда постарался забыть. Было так: до ночи он засиделся за работой, нужной наркому, с бумагами в руках вошёл в кабинет и увидел стоящих рядом наркома и начальника главка Александровского. Александровский как будто обрадовался его приходу, и нарком встретил скупой, но приветливой улыбкой, он ждал его. Начальник главка был возбуждён и, видимо доверяя Ивану Петровичу и не чувствуя надобности прерывать разговор, досказал наркому нечто такое, от чего Иван Петрович похолодел: о Сталине он сказал так, как Иван Петрович не позволил бы себе даже думать! А начальник главка сказал вслух, без видимого душевного усилия, и в том, что он сказал, было явное неодобрение тому, о чём распорядился Сталин.

Нарком предупреждающе взглянул на возбуждённого Александровского, и разговор о Сталине осёкся. Взгляд наркома, остановивший Александровского, был едва заметен, но Иван Петрович этот взгляд увидел. И уже не столько сам разговор, не то, что эти два известных и близких ему по работе человека говорили о Сталине так, как будто Сталин был лишь одним из должностных лиц в партии и они, в чём-то не соглашаясь с ним, были в силе и вправе не только его критиковать, но и сменить, — не столько сам разговор, сколько предупреждающий взгляд наркома смял Ивану Петровичу душу. Он понял, что нарком, при всём расположении к нему, всё-таки не доверял ему того, что доверено было Александровскому.

Нарком, видимо, понял состояние Ивана Петровича, он постарался снять возникший холодок отчуждения. Как бы показывая, что он продолжает прерванный разговор, он негромко сказал:

— Политика – вещь жестокая... — И, помолчав, добавил: — Не мои слова. Это сказал Сталин... — Он внимательно смотрел, как будто хотел понять настоящее отношение Ивана Петровича к тому, что сказал Сталин, и к самому Сталину, но Иван Петрович не ответил.

Обиду со временем он пережил и постарался забыть то, чему стал случайным свидетелем, но теперь он как бы заново всё слышал и всё яснее понимал, что нарком не одобрял многое из того, что шло от Сталина. Может быть, — об этом он теперь догадывался, — нарком думал о том, что на месте Сталина должен быть кто-то другой. Может быть, так думал и не один его нарком. И Сталин, наверное, об этом знал...

Обнажённая память оглушила Ивана Петровича. Его страшило то, что если он всё поймёт так, если у него сложится такое отношение к тому, что случилось, то это отношение может перейти в убеждение. А убеждение – это он знал по себе – сила, которая не уступает даже смерти.

«И всё-таки жизнь не вся в том, что случилось, — думал он. — Есть другое, чем страна живёт! Есть Магнитка, Комсомольск, ДнепрогЭС. Есть Стаханов. Есть Чкалов. Есть хлеб. Есть вера в страну, в свои силы, в общую нашу цель! Когда Сталин говорил: «Самый ценный на свете капитал – люди...» — я прятал лицо в репродуктор, не мог удержать слёз восторга, слушая одобрительный гул оваций, потому что Сталин говорил то, что думал я, рядовой нашей партии. Когда Сталин говорил: «Жить стало лучше...» — я радовался и радовалась страна, потому что Сталин говорил то, что чувствовали все. Это действительно так. Это есть, и это сильнее всего другого. Сильнее ошибок. Сильнее того, что испытали строители Магнитки и Комсомольска. Потому что всё это — результат общего героизма и жертв. За великими победами всегда тянется след горестных утрат. Если ты идёшь, — думал Иван Петрович, — если цель впереди и каждый шаг приближает тебя к цели, если ты идёшь и знаешь, что История и Время никогда не возвратят тебя к прошлому, надо ли оглядываться и запоминать то, что осталось позади? Не легче ли идти и смотреть только вперёд?»

Иван Петрович хотел прошлое оставить прошлому.

«Но — нарком! — И снова вспыхивали беспощадные лампы памяти. — Нарком — не прошлое». И кто-то, перебивая железный грохот поезда, кричал ему в самое сердце: «Наркома ты не забудешь! Даже если захочешь забыть...»

Иван Петрович сбросил с головы пиджак, достал из кармана платок, как полотенцем, вытер лоб, шею, руки.

Не открывая глаз, он лежал на спине, вслушивался в железный перестук вагонных колёс. Мозг его был опустошён. Он уже не думал ни о наркоте, ни об опасности, которая, наверное, прошла где-то рядом, ни о жестокости, ни о справедливости. Он думал только об одном: как он, большевик, будет жить, как будет работать, убеждать людей, требовать от них сил, а случись война – и жизни, если пошатнётся его вера в Сталина?! Можно ли вообще жить без веры в того, чей разум, воля, имя направляют жизнь его России?..

Стук железных колёс стал реже, отчётливее. Железная дорога стучала где-то под затылком. Казалось, сама голова катится по рельсам, ударяясь о стыки, — удар за ударом, и боль, и гул в пустой голове.

Он не открывал глаз, хотя чувствовал, что в темноте плотно сомкнутых век боль ощущается сильнее. Он ждал, когда среди пустоты, наполненной болью, появится нужная ему мысль.

«Если я не могу жить, не доверяя, я должен перестать жить. Если я не могу перестать жить, я должен доверять. Я должен доверять, — говорил себе Иван Петрович. – Я не могу не доверять. Враги кругом, по всем границам. Враги внутри. Убит Киров. Взрываются шахты. Под откос летят поезда. Если Сталин оберегает государство, я не могу не доверять ему...»

Что я такое? – думал Иван Петрович, ворочаясь и не находя места для рук. - Стопятидесятимиллионная частичка государства. Что я знаю? Что могу?.. В огромной государственной машине я один из тех, кто едет в поезде. И не в моей воле остановить грохочущий состав. В моей воле выброситься из вагона. Да, это в моей воле. И что же?.. Ничего – останусь валяться под откосом.

Машинисту дано вести эту грохочущую махину вместе со всеми едущими в ней людьми. Ему виден путь, он управляет движением. Он ответствен за судьбы людей, которых везёт. Я сел в поезд и одним этим уже доверил машинисту свою жизнь, жизнь Алёшки, жены. Если я пойду на паровоз и вмешаюсь в работу машиниста, поезд может не дойти. Он может, к чёртовой матери, вообще полететь под откос! Ведь я не знаю, не умею, не вижу того, что знает, умеет, видит машинист?!»

Иван Петрович судорожно вдохнул вагонный воздух, высвободил из-под пиджака руки, заложил их под горячий затылок. Он чувствовал, как оживает онемевшее тело. «Да, я в поезде. Государство огромной грохочущей машиной ломится по ещё не езданной человечеством дороге. Как частица этой летящей в завтра силы, я не могу не доверять тому, кто держит в своих властных руках государственный руль. В моей воле – что-то делать на отведённом мне месте. Я верю в нашу общую цель и должен, насколько хватит мне сил, делать своё дело. Так надо. Так я буду жить. Другого не дано в большой и трудной дороге. По крайней мере, для меня...»

3

Душевно измученному Ивану Петровичу казалось, что он один не спит в полумраке ночного вагона. К своему удивлению, сквозь дребезжание и стуки он услышал голоса. Кто-то приглушённо кашлял и говорил рядом.

Иван Петрович открыл глаза, близоруко посмотрел в проход. Женщина с ребёнком сидела наклонясь, белое пятно лица покачивалось из стороны в сторону. Рядом с женщиной кто-то был в тёмной рубашке. По тягучему кашлю, время от времени забивавшему разговор, Иван Петрович угадал простуженного старика с верхней полки. Женщина тихо рассказывала старику:

— Деньги вот собрала. Дедушка у нас есть, из служивых, присоветовал. Не допустили...

— Нешто тут подарком возьмёшь?!

— А чем же?.. Ведь невинный он. На глазах жил. Своё сердце у моего грел!..

Оба они помолчали.

— Как же ты теперь? – спросил старик.

— Ой, не знаю! Головушка от дум колется... Думала, до счастья дожила: и мальчонка родился, и сам больно хороший попался... Да, видать, к хорошему-то горе на зависти торопится! Подамся обратно к матери в село. Хоть от нас близко, за Волгой, а какое житьё одной!

Женщина всхлипнула, качнулась к полу.

— Скажи, ты долго жил, ты знаешь. Мне люди говорят: опиши самому, мол, Сталину, всё как есть опиши. Одно только словечко он скажет – в тот же час мужика моего отпустят!.. Правду люди говорят?..

В напряжённом голосе женщины слышалось такое желание поверить в то, что сказали люди, что Иван Петрович затаил дыхание. Он ждал, что ответит старик. Старик ответил не сразу, он долго кашлял, и Иван Петрович уже начал думать, что он нарочно тянет. Но старик молчал и после того, как успокоился.

— Ты чего это занемел? – подозрительно спросила женщина, тревожный голос её сломался.

— Что тебе сказать? – Ивану Петровичу казалось, что старик, если и не сердится, то, по крайней мере, недоволен. – Ты вон с самой Волги в город ездила, ребятёнка маяла, а узнать не добилась. Видать, срок нужен, чтоб увидеть, кто виноватый, а кто за так, под горячую руку попал. Сама, чай, попадала... Выйдет срок, прояснит. Того быть не может, чтоб не прояснило...

— А Сталину как?

— Сталину?.. Сталину – опиши. Ленину, помню, всей деревней писали. Помог Ленин...

Женщина всхлипнула, руками закрыла лицо, не отнимая прижатые к лицу ладони, качалась из стороны в сторону, сквозь слёзы шептала:

— Невиноватый он, невиноватый... Это она, соседка, Дарья Кобликова доказала, будто райзо виновное, что на скот погибель нашла. Прозвали вредителем. А какой он, господи, вредитель, когда с малолетства землю пахал... К людям, как к братьям...

Старик на этот раз заволновался, наклонился к женщине, тихо утешал:

— Ну, будет... Будет тебе... Ты надейся! Срок придёт, разберутся. Звать-то тебя как?

— Галкина, Серафима.

— Вот что, Сима, перебирайся-ка на мою полку, тут тебе несподручно: узко и ребятёнку беспокойство. Давай помогу...

— Да куда я наверх-то, с дитём?! Убьётся ещё...

Иван Петрович не шевелился, слушал разговор старика с женщиной. От того, что он слышал, покалывало сердце. В какую-то минуту он даже пожалел, что Елена Васильевна спит.

Он приподнялся, пошарил на столике очки, надел, встал.

— Прошу вас, располагайтесь на моём месте. Здесь с ребёнком удобнее, — сказал он. Женщина удивлённо смотрела, как будто не понимала, почему вдруг проявил к ней участие этот странный пассажир в очках.

— Спасибочко. Только мы и тут доедем... — сказала она.

Старик мягко и настойчиво поднял женщину.

— Не отказывайся, ежели отыскался понимающий человек, — внушал он. — Бери ребятёнка, устраивай...

Иван Петрович в сумраке вагона увидел высокий, в морщинах лоб и обращённый на него внимательный взгляд спокойных стариковских глаз.

Старик помог женщине перебраться на новое место, залез к себе наверх. Иван Петрович лёг на узкую боковую полку, смятое своё пальто положил под голову, подогнул ноги. И, странное дело, на этой неудобной полке, где на его лицо падал вздрагивающий свет квадратного фонаря, висевшего над проходом, ему стало легче. Он не думал о том, что скажет завтра Елене Васильевне.

Теперь, сквозь приятную дрёму, размеренное постукивание и шум движения, он слышал, как в разных концах вагона разговаривали. Люди как будто ждали ночного затишья, чтобы доверить себя оказавшемуся попутчику. В ногах, ближе к выходу, женщина рассказывала о житее дочки, к которой она ездила свидеться под Самару. Как уловил Иван Петрович, дочку сосватал и увёз приезжий парень-геолог. Парень разыскивал нефть у Волги и жил в Сызрани.

— Уж я переживала за свою Нинку! — шептала, сбиваясь на голос, женщина. — Девка ещё дура, девятнадцатый годок! И парень, ладно, что напорист, с лица тоже не больно мужик, по каждому делу шутит. Ладно бы свой, деревенский. А то к товарищу объявился, за лето девку опутал!.. Нинка пишет: «Хорошо, мама, живу!» — а у меня веры её словам нет. Всё думала: «В гордости, доченька, свои слёзы прячешь...» Собралась да на другой конец света поехала. Не ведала, что к внучонку попаду! Про своё-то положение смолчала девка!.. Теперь поуспокоилась. Всё у них ладно. Нинка одета, обута. И внучонок не голенький... Квартира не велика, в пол-избы, а устроено. Радио говорит, лампочки в комнате и на кухне, даже на крыльце светят!.. Готовят у них там больше на керосине. Дров нету... Зять-то меня возил, показывал, как трубами землю буровят. На версту вглубь трубы с вышек загоняют. Нефтью, охальник, меня помазал. Вот, говорит, мамочка, и к будущему тебя приобщил!.. Все они там чумазые, ну, как арапы. И шутники!.. А поля там, ой поля! Пшеничка-золотце по степи в неогляд колыхается. Ну, ровно Волга по весне!.. богатый ныне урожай, ой богатый! Прошлый год засушь была, а ныне бог вознаградил. С хлебушком будем!..

— А у меня вот с сыном печаль! — это другой голос, глухой, низкий. Вероятно, та полная женщина с интеллигентным лицом, похожая на учительницу. Иван Петрович, не открывая глаз, с интересом вслушивался в откровение двух матерей. — Один сын у меня, и того не могла при себе удержать! Уехал на Амур строить комсомольские города и ловить шпионов. Представляете?! — строить города и ловить шпионов! Так он мне и сказал. Но я-то знаю, с каким ветром влетела в него эта романтика! Поверите ли? Увидел в кино «Девушку с характером» и поехал искать эту девушку... Пишет, что трудно, но доволен, что он там, где трудно. Город строят. Шпиона он ещё не поймал. Девушку не нашёл. Вот какие у нас сыны! Я не боюсь за его рабочую судьбу. Я войны боюсь. Война с тех краёв грозит. А мальчик у самой границы!..

— Полно! Только отболели всеми болячками, свету радоваться. А ты — война!..

— Думать не хочется. А думается. Японцы уже Китай воюют...

«Странно, — думал Иван Петрович, — эти незнакомые, далёкие мне женщины чувствуют то же, что чувствую я, беспокоятся о своих детях так же, как я тревожусь об Алёшке. Люди разные, заботы — одни. Чувства одни. Даже мысли...»

На соседних полках не спали парни-лётчики. Как понял Иван Петрович, они ехали с каких-то соревнований. Один из них, видно, переживал уже пережитое и, наверное, уже не в первый раз шёпотом спрашивал:

— Пашка, а всё-таки, если б парашют не раскрылся?!

— Не о том думаешь, — сдержанно отозвался другой, он был рассудителен, этот другой! — Представь: ты — над Мадридом. Тебя подбил фашист. Сколько у тебя выходов?..

— Два. Дотянуть до своих или прыгать....

— Под тобой фашисты! Не завидую... А выхода, точно, два: к своим не дотянул — любому фашисту в башку врежайся! Всё одним меньше станет... Ты это теперь про себя решай. Чтоб засело, как клятва, — понял?!

Они долго молчали, парни-лётчики. Потом первый тихо позвал:

— Пашка! А зачем мы через полюс прыгаем? Чкалов перемахнул. Громов. Теперь Леваневский... Зачем показывать свою силу?

— Соображай! Мускулы щупаем. Перед дракой...

Иван Петрович вслушивался в голоса, долетающие к нему в проход из-за тонких перегородок, и старался проникнуться тем, чем жили эти разные люди, волей обстоятельств оказавшиеся в одном вагоне, увлекаемом гулким паровозом куда-то в глубину России.

Он слушал разговор о трудной северной земле, о спасительной ржице и хороших ныне льнах, о «лорхе», что завезли и вроде бы с трудом укоренили в колхозах, а теперь вот всяк норовит и в свой огород взять этот рассыпчатый, как сахар, картофель. Слушал северный быстрый бабий говорок об удоях, сенах и свадьбах, о том, что «на мануфактуру понизили цены», что Папанин и Шмидт, «тот, что с бородой, ну, тот, который на «Челюскине» был», плывут на льдине через полюс, что «теперь будем с угольком», поскольку «уголёк стали добывать по-стахановски», что японцы бомбят Нанкин и Шанхай, что Гитлер и фашист Муссолини перебросили в Испанию сто тысяч войска, танки и самолёты и республиканцам теперь стало труднее, опять о земле и заработках, о ценах и обновах к зиме...

«Вот она, Россия! – думал Иван Петрович. – Вся тут, в заботах и печалях. Беспокоится, едет, приглядывается, по-крестьянски осторожно ощупывает идущую к ней иную долю. И верит. В лучшую долю верит! И попробуй отнять у неё эту её веру!...»

Иван Петрович успокоился под говор людей. Вагон грохотал, отстукивал колёсами по железным рельсам, паровоз порой победно свистел и мчал вагоны всё дальше, через влажную душную августовскую ночь. Иван Петрович, задрёмывая, думал о лесной, всегда близкой ему России, чувствами и мыслями возвращался в давно покинутые им родные края и верил, что там, у Волги, он обретёт необходимый ему душевный покой. Он будет тихо жить, ходить с Алёшкой на рыбалку и честно исполнять пусть малое, но своё дело. «Кто-то должен делать и малые дела. Они тоже нужные стране...» — так думал Иван Петрович, примирено засыпая под глухие стуки колёс.

Проснулся он от крика: «Папа! Это – Волга?!» Вагон был залит солнцем. Возбуждённый Алёшка, свесившись с полки, выглядывал в открытое окно. Облокотясь на столик, сидела и Елена Васильевна. Поезд осторожно шёл по гулким пролётам железнодорожного моста.

Иван Петрович вскочил, приткнулся к окну, рядом с женой и сыном, молча глядел на раскрытый за мелькающими переплётами моста, до слёз околдовывающий ширью и далью матово-голубой простор река с белым хороводом чаек, бакенами, лодками рыбаков, дымящим в затуманенной дали пароходом. Когда замедливший движение поезд пересёк Волгу и лесом закрыло отвесный, как будто обломанный, берег с песчаной полосой внизу, и под рельсами почувствовалась земля, и поезд, набирая ход, часто застучал колёсами, — Иван Петрович не удержался, охватил Алёшку за плечи и в порыве неясных чувств прижал его нежную щёку к своей жёсткой небритой щеке.

... Иван Петрович спустил с кровати ноги в белых кальсонах, сутулясь, прижал к раскрытым ладоням лицо. Он сейчас ощущал прикосновение мягкой и нежной, как у Елены, щеки сына. И снова, как тогда в вагоне, слышал его возбуждённый голос: «Это Волга, Волга, папа?!»

Он в мыслях прижимал к себе Алёшку, сдержанно вздыхал, думал: «Не просто Волга, сын. Не просто российская река. Здесь начинали жизнь наши деды и отцы...»

Иван Петрович увидел квадрат окна, выделенный зарёй, поднялся. Неверными припадающими шагами прошёл в кухню, поставил на керосинку чайник и смотрел через окно, как яснеет небо и осторожно розовеет снизу и сбоку низкое перистое облако над лесом. За бессонную ночь он заново пережил всю трудную дорогу сюда и душевно устал от этой дороги. Нет, прожитое не уходит, оно всегда с человеком. Прожитое заснято и озвучено на киноленте памяти, и эта лента где-то там, в клетках мозга, туго свёрнутая, лишь до поры лежит в покое. Каждый новый шаг – лишь продолжение пути. И эта его дорога не оборвалась у железнодорожной станции, где они выгрузились со своим багажом. И даже та женщина с ребёнком не ушла в небытие. Он помнил, как объявилась она в его людной конторе, тихая, как тень, низко, по-вдовьи, повязанная платком.

— За добром к вам, товарищ директор, — сказала она. — Жить надо. А от меня даже брательник, который у вас лесником, отворотился. Имя своё Леонид Иванович замарать бояться... Работы прошу... — Она тоскливо и настороженно глядела из-под опущенного на лоб платка. Ещё тогда он подумал о её брате, Красношеине: «Ну и гусь!..»

Женщину он оформил в рабочее общежитие комендантом. А месяца через два она же, Серафима Галкина, влетела к нему в контору простоволосая, радостно растрёпанная, лицо её ослепительно сияло, будто живая вода под солнцем.

— Иван Петрович! – кричала она. – Вернулся. Мой вернулся!.. Я же говорила, невинный!.. — Перегнувшись через стол, она разложила перед ним и ладонями любовно разгладила лист районной газеты, где на последней страничке, чуть выше подписи редактора, мелко, но отчётливо было набрано: «Редакция газеты приносит Галкину Николаю Павловичу свои извинения за выдвинутые против него необоснованные и неподтвердившиеся обвинения...»

Четвёртая страничка. Конец последней колонки. Мелкий, едва различимый текст. Но знала бы ты, дорогая женщина Серафима, какую очищающую душу бурю пронесла ты через меня в тот счастливый твой час!.. «Нет, прошлое не уходит, — думал он. — Всё в жизни накрепко сцеплено, как корни и ветви в дереве...»

Иван Петрович подошёл к шумевшему чайнику, задул огонь в керосинке. Выплеснул в таз под умывальник старую заварку, в белый маленький чайник с полуотбитым носиком заварил свежий, до черноты крепкий чай, сел за стол.

Языком прижав к щеке кусочек сахара, он пил с блюдечка горячий, парком обжигающий ноздри чай, глядел в освеченное солнцем окно и обдумывал, на каком объекте сегодня надо нажать на строителей с особой настойчивостью...



Из дневника Алексея Полянина, год 1939

— Пап, как стать человеком, который всё может? – спросил я.

Отец стоял у натопленной печи, у белого тёплого её бока, грел моё ватное одеяло. Грел мне! Дылде, который в длину уже не умещался на обычной взрослой железной кровати!..

Отец переменялся после того, как мы с мамой вернулись из Ленинграда. Очень изменился наш папка! Он стал на редкость добр ко мне. Он сказал: «Иди, зубы чисти. Я пока одеяло погрею...» Поднял с кровати одеяло, сжал его неумело, как ребёнка, понёс к печи. Он как будто стеснялся своей запоздалой отцовской доброты!

Он накрыл меня, укутал мои ноги. Я вытянулся и притих под одеялом. Не от тепла – от папкиных неловких в ласке движений. Я хотел и не мог шепнуть ему «самое-самое», что было во мне, это «самое» мягко уткнулось мне в горло и сладко душило...

— Пап, – сказал я. – Как стать человеком, который всё может?!

— То есть? – спросил он.

— Ну, которому под силу всем людям делать добро!

— Понятно...

Отец в нижней белой рубашке, выпростанной на брюки, стоял надо мной в задумчивости.

— Попробуй вот что... — сказал он. – Для начала составь баланс своего времени, посмотри, на что ты расходуешь свой день. Кое-что тебя удивит. Попробуй со статистики. Штука невесёлая, но суть твою отразит, как зеркало.

Это было любопытно, и всю шестидневку я считал. И вот... В шестидневке всего 144 часа. Размениваю я их крупно и по мелочам так:

1. Дрыхну – 48 часов.

2. Просиживаю за обеденным столом – 8 часов. (Ужас! Можно было бы есть как-нибудь на ходу.)

3. Понимая свой общественный долг и значение наук – отдаю школе 26 часов своего драгоценного времени.

4. Страдаю за домашними заданиями – 6 часов. (Дома только письменные, устные глотаю в школе, на переменах.)

5. Колол дрова – 2 часа.

6. Бегал на лыжах по лесу и в пойме у реки, 5 раз по три часа – всего 15 часов.
7. Носил воду из родника, 4 раза по 10 минут – всего 40 минут.
8. Охотился в выходной с 8 утра до 4 часов дня – всего 8 часов. (Устал, как бродяга, но ничего не подстрелил, по тетереву – промазал.)

9. Два с половиной часа сидел в клубе, смотрел кино «Семеро смелых». Песня там есть: «Буря, ветер, ураганы, нам не страшен океан...» Теперь, когда я один в лесу, я, как мальчишка, прыгаю с пенька в воздух и во всё горло ору: «Буря, ветер, ураганы...»)

10. Вечерами торчал у студентов техникума, в их общежитии, сидели, ничего не делали, говорили о всякой всячине (о девчонках, охоте, о планерном и мотоциклетном кружках); 2 часа на 5 вечеров – всего 10 часов.

11. Два часа читал книгу П. Павленко «На востоке». (Здорово расколошматили самураев! Так им и надо! Пусть не суются. А то лезут и на Хасане, и на Халхин-Голе!.. А всё-таки это мало – два часа. Сам удивился. Помню, в Москве, когда учился в пятом и шестом, на целые дни замирал в кресле, глотал и глотал страницы. Перед каждой новой книгой дрожал, как голодный пёс перед куском мяса! Теперь почему-то не так хочется переживать за других, как самому во всё влезть: и в плохое, и в хорошее, и в жуткое, и в радостное. Чтоб под ногами земля гудела, чтоб проламывать себе дорогу в лесах и чащах, в кровь обдирая плечи и грудь!)

12. Плавил свинец, катал на сковороде дробь, заряжал патроны – 9 штук. Всего 6 часов.

Вот моя статистика за шесть дней жизни. Пока не понимаю: что она может для меня открыть?..

Отец отложил очки, приблизил листки бумаги к лицу, долго изучал мои записи своими голубыми, без очков, младенческими глазами. Опустил руку с листком на вытянутые ноги в валенках (по полу дуло, отец дома ходил в валенках), задумался, рукой прикрыв глаза.

— Уже хорошо то, что ты записал правду. — сказал он. — Не подогнал статистику под желание выглядеть лучше, чем ты есть. Теперь смотри, как выглядит твой баланс времени. Из 144 часов мы убираем 48 часов сна. Без отдыха не обойдёшься, силы надо восстанавливать. Итак, в шестидневке 96 часов бодрствования. На школу, вместе с домашними уроками, у тебя уходит 32 часа. Маме по дому ты помогаешь 2 часа 40 минут. Два часа ты читал, то есть прибавил что-то к своим знаниям. Всё вместе это составляет 36 часов 40 минут.

Значит, на общественные обязанности и обязанности по дому ты выделяешь от своего времени 37 часов. Остальные 60 часов ты тратишь на охоту, на прогулки, на весёлые разговоры с друзьями, на то, что нравится тебе. Короче говоря, на удовольствия. Баланс твоей нынешней жизни таков: одна треть – обязанностей, две трети – удовольствий...

Я растерялся. Я не ожидал приговора, да ещё такого жёсткого.

— Подожди, папа, — сказал я. — Разве охота, спорт, друзья – разве всё это не надо? Разве можно без этого?..

— Почему же? Всё это входит в жизнь человека. Но тот, кто хочет стать не просто сильным — многие звери сильнее человека, — а **человечески** сильным, тот должен иметь другой баланс удовольствий и обязанностей. Физические удовольствия развивают тело. Человеческое в человеке возвращается разумом. Понаблюдай людей с этой точки зрения: они очень схожи в чувствах. Одинаково ощущают то, что ощущает каждый живой организм: голод, страх, сытость, физическое блаженство. Ты не думал, что отличает человека от всего живого? Человека от человека? Что делает каждого именно таким, каков он есть? Разум. Его сила или его слабость. Его способность анализировать близорукие чувства и руководить потребностями тела. Если хочешь знать, воля, которая так ценится в человеческом общении, не что иное, как способность разума подавлять стихийные порывы чувств.

А что у тебя?

Ты каждый день даёшь работу мускулам – хочешь быть сильным. Разум тоже требует развития. Вот почему я говорю о балансе. Пока разум слаб, слаба воля. Слаб в человеке человек.

Попробуй не обижаться на то, что я сказал. Поразмысли. Найди путь. Сам. И вообще учись размышлять над своими поступками. Глупостей ты ещё наделаешь в жизни. Это не так страшно, если ты научишь себя честно оценивать свои и чужие поступки.

«Вот тебе и статистика!»

Отец стал ближе. Особенно я почувствовал это после того, как дал он мне свою рекомендацию в комсомол. Там, в многолюдном кабинете райкома, в первый раз я понял, что значит мой отец. Помню, стоял перед столом и хорошо слышал, как очень деловитый секретарь, в распахнутом пиджаке, с небрежно откинутыми набок волосами, читал моё заявление.

Я слышал, как его торопливый голос вдруг замедлился, как будто он про себя ещё раз вчитывался в то, что произносил вслух: «Рекомендуют: комитет комсомола средней школы № 2, — читал секретарь, — и Полянин Иван Петрович, член ВКП(б) с одна тысяча девятьсот восемнадцатого года...» От того, что эти последние слова секретарь прочитал медленнее, чем всё, что читал прежде, голос его, хотел он того или не хотел, прозвучал торжественно.

Я видел, никто не шевельнулся за широким длинным столом, и всё-таки мне показалось, что все встали, — такая уважительная тишина установилась на мгновение в кабинете. Теперь отец говорит: «Ты уже комсомолец...» — и даёт советы с какой-то озабоченностью, как будто мне вот-вот уезжать и он боится, что не успеет сказать главное.

Может, это и смешно, но всего ближе мне отец в вечер перед выходным. Мы идём в баню, вдвоём, и всё у нас по-мужски. Мы сдержанны, внимательны друг к другу. И обязательно у нас важные разговоры. Обычно мы разговариваем, когда остываем и неторопливо одеваемся в сухом и не таком жарком, как баня, предбаннике.

— Папа, — говорю я, зная, что отец внимательно слушает. — Я вот думаю о доброте и справедливости. И всё время запутываюсь. Мы с ребятами на эту тему говорили, и выходит — добрый человек это тот, кто мне уступает, с меня не спрашивает, ничего не требует. Даёт мне жить, как я хочу. Обычно ведь такого человека мы считаем добрым? Нам с таким человеком приятно, легко. И всё-таки он — рядом, а взять от него нечего. Я вот думаю, если все станут такими добрыми, как же тогда человек будет делаться лучше?..

Отец шарит по низкому подоконнику, подцепляет и двумя руками надевает очки, железные дужки заводит за уши.

Растопырив пальцы, он удобнее сажает очки на прямой, ещё влажный нос, говорит мягко:

— Ты путаешь доброту с жалостью. Доброта — всегда действие. Нельзя быть добрым, ничего не делая. Это — раз. Второе: понятие добра, как всё в жизни, меняется, извечного добра нет. Не придёт тебе в голову, что убить человека — добро? Но мы убивали белогвардейцев в гражданскую войну, без этой жестокости нельзя было защитить революцию. Всё зависит от того, какая цель скрыта за твоим действием. Подло другого человека лишить свободы или жизни из-за своей корысти. Если же твоя цель — благо твоего народа, значит, то, что ты делаешь для достижения этой общей цели, — добро.

Добреньким быть к одному, другому труда не составляет. Ты сам это заметил. Вся сложность в том, что понятие добра не исчерпывается отношением к отдельному человеку. Обязательно оно включает в себя понятие целесообразности. Сказать точнее – социалистической целесообразности. Что это такое? А вот что. Если ты что-то задумал, ты должен ясно представить, кому будет польза от твоего поступка: тебе, другому какому-то человеку или общему нашему делу? Социалистическая целесообразность – уметь остановить свой выбор на последнем...

Отец одевался медленно, он плохо переносил жару. Надев штаны, он некоторое время сидел неподвижно, упираясь вытянутыми худыми руками в колени, шумно отдувался. Повременив, расправлял рубашку, встряхивал её, быстро просовывал в рукава руки и, через голову, накидывал на белое, в мелких родинках тело – даже среди лета отец редко купался, плохо плавал, избегал подставлять себя солнцу. Он много ходил, всегда о чём-то думал, физически работал мало, тело его было намного слабее разума.

Отец вытянул из белья чистые, с аккуратно заштопанными пятками носки, бросил их на ногу, повыше колена.

— Вот пример с милым тебе Скаруцким, — почему-то нервничая, сказал отец, он выпрямился на лавке, руками опять упёрся в колени. – Хороший, добрый, очень учтивый человек! За грибами ходить с ним – одно удовольствие... А вот комиссия представила выводы, что он отступает от программы. И при всех своих симпатиях к Скаруцкому-человеку я не мог оспорить выводы комиссии. Сам знаю как преподаватель: Скаруцкий слаб... Сидит передо мной человек обходительный, всегда и со всеми любезный. Он мне симпатичен. Как представитель государства, я должен устранить его от преподавательской работы. Я знаю, что лишаю его привычной ему трудовой радости. Я всё это знаю. И всё-таки подписываю приказ...

От суровых слов отца у меня ноет сердце. Я знаю Алексея Александровича Скаруцкого. Он любит играть со мной в шахматы. Однажды, с тысячами извинений, он попросил меня прослушать стихи, написанные им, как он выразился, «в лирический момент своей жизни и на досуге». Я добросовестно прослушал то, что, закрыв глаза, он с взволнованностью мне прочитал, и честно сказал, что его лирическое настроение мне понятно и трогает меня. Он долго с признательностью смотрел мне в глаза и несколько раз повторил: «Вы добрый человек, вы очень добрый человек, Алёша!..»

Я знал, что Алексей Александрович сам варит обед. Когда он ссорится с женой, женщиной молодой и грубой, он изъясняется с ней записками и письмами, подчёркнуто называя её на «вы». Меня трогало внимание Алексея Александровича, я сочувствовал его, как мне казалось, одинокой жизни. Я с удовольствием бывал у него в доме. И очень переживал его неожиданное и непонятное отчуждение. Вчера я встретил его у стадиона, улыбнулся ему, поздоровался и в первый раз не увидел ответной приятной улыбки, его привычного любезного приветствия: «Доброго утра, молодой Алексей Иванович!», которое он произносил с поклоном и всегда с оттенком некоторой торжественности. На этот раз Алексей Александрович, увидев меня, неожиданно высоко поднял голову, плотно сжал губы и, насколько мог, твёрдыми шагами прошествовал мимо.

Я не знал, что виной тому был отец.

Я молчал. Но отец знал, что я чувствую. Он всегда удивительно точно угадывал мои мысли и чувства! Рывком затянув на брюках ремень, он сказал: «Начнёшь жить, придётся самому решать – поймёшь! И сыну своему моими словами о сути добра скажешь! Вот сын твоего сына, может, не будет столь вынужденно жесток – не в такую беспощадную эпоху жить будет. А пока – так...»

Я давно чувствовал, что отцу нелегко даётся его суровость. И неуступчив он не от холодного сердца!

ВОЛЬНИЦА

— Стой! Чем пахнет? – Юрочка закинул голову, закрыл глаза, ноздри его тонкого носа раздулись, вздрогнули.

— Лесом! – сказал Алёшка.

— Эх, чудик! – Юрочка покачал головой. – С этого вот шага начинается наша вольница... — Он расстегнул пальто, вытащил укрытые от посторонних глаз стволы и ложи, собрал ружья, вложил патроны. Как только ружьё захлопнулось, руки Юрочки напряглись, шея вытянулась, как у лисы на подкраде, глаза сверкнули холодным блеском.

— Ну, что возишься! – в нетерпении сказал он. – Пошли!

Они закинули ружья за плечи, подняли с земли тяжёлые школьные портфели, в которых на этот раз были не учебники и тетради, а хлеб, картошка. Кульки с сахаром и пачки печенья, и молча пошли лесной дорогой, каждый с затаённой радостью вдыхая запах согретой солнцем опавшей хвои. Листьев, отгоревших, теперь словно пеплом осыпанных цветов иван-чая, — всей этой щедрой осенней земли, пахнувшей свободой.

Когда Алёшка вернулся из Ленинграда. Юрочка отыскал его.

— Соскучился по тебе, чудик, – сказал он, одаривая Алёшку своей неотразимой улыбкой. – Думал, не вернёшься. Тут охоту открыли, а тебя нет...

Он открыто радовался. О размолвке, лошадях, Василии он давно уже не вспоминал. Он умел, милый Юрочка, удивительно легко забывать то, что было ему неприятно.

Они не проучились и месяца, как Юрочка затосковал: на уроках страдал, вздыхал, с тоской поглядывал в окно на опадающие с жёлтых тополей листья. Однажды он не выдержал: после уроков увлёк Алёшку за собой, остановил посреди улицы, решительно заявил:

— Всё. До отрыжки. Ещё неделя занятий – и я труп. Собирайся, устроим вольницу...

И вот, обманув бдительность Юрочкиной мамочки, заговорив и запутав Алёшкиных родителей, они тихо и благополучно вступили в лес, имея в запасе, по крайней мере, три безмятежно-свободных дня!..

К Алёшкиному месту, на дубовой гривке в междуозерье, они пришли к полудню, возбуждённые ожиданием охоты и свободные от угрызений совести. В Разбойном бору они подняли глухариный выводок, и хотя молодые глухарята их обхитрили, вспыхнувший охотничий азарт охватил их в полную силу, и, наскоро сжевав по куску хлеба и засунув портфели под стог, они тут же разошлись в поисках дичи.

Первым к стогу вернулся Алёшка. С водоплавающими ему не повезло, зато на лугу, у дубов, он сумел близко подползти к стае крупных лесных голубей. Вскочив на ноги, он поднял стаю в воздух, дважды выстрелил и одного из голубей сбил.

Не дожидаясь Юрочки, Алёшка притащил дров, достал из тайника ведёрко, в котором обычно кипятил чай, ощипал добычу, начистил картошки, навесил над костром ведёрко с варевом.

Солнце ещё стояло над горой, за поймой, где на огненно-жёлтом окрасе облаков угадывалось Семигорье. Денёк выдался будто в подарок, радовал теплом, простором и тишиной. В полосе озёрного залива отражался лес, и Алёшка от стога слышал, как на том берегу чёркают по веткам падающие листья.

Юрочка вернулся возбуждённый, не доходя до Алёшки, повернулся спиной, глядя через плечо горящими глазами, крикнул:

— Видал?!

На спине у него, связанные лозинкой, висели две утки – широконос и чирок. Сбросив уток на землю, на кочку положив ружьё, он сел к костру и стал быстро расшнуровывать ботинки: ботинки и обе штанины у него были в грязи.

— Вот недоумки, — весело ругался Юрочка. — Надо было вчера сапоги на дороге припрятать! Чёрт побрал бы эти школьные штанишки!.. А ты уже и хлёбово заварил? И молчит... Чего там?..

— Да сизаря подбил...

— И то суп! – Юрочка в голодном азарте подёргал плечами и радостно потёр руки. – Ну, ты уж довершай своё поварское дело. У меня там, в портфеле, лук и огурцы...

Он стянул с ног мокрые носки, бросил на ботинки.

Алёшка с удовольствием пристроил на траве исходящее паром ведёрко, крупными ломтями нарезал хлеб, на чистый лист, вырванный из тетради, положил огурцы, лук, соль в спичечном коробке.

Юрочка, лёжа на животе, болтал босыми ногами и тянулся к портфелю за ложкой.

— Ну-ка, ну-ка, — выкрикивал он. — Жранём сейчас твоей голубятинки! Тю! Да ты случайно не обучался в столичном ресторанике? Это ж бламанж-оближигуб!..

Юрочка дул на ложку, отхлёбывал, тут же кусал огурец, хлеб, в каком-то кошачьем блаженстве жмурился и ладонью гладил живот, вытягивая губы трубочкой, и чмокал.

Алёшка давно отложил ложку, а Юрочка всё ел, и чмокал, и жмурился, и гладил себя по животу. Алёшка не выдержал:

— Юрка, сколько можно есть!

— Если вкусно, то долго, — спокойно ответил Юрочка. — Надеюсь, тебе не жалко?

— Нет, не жалко. Просто удивляюсь!

— Ну, ты ещё многому будешь удивляться!

Юрочка, наконец, уронил ложку в пустое ведёрко, перекатился по траве к ружью, устроил голову на кочке, как на подушке.

— Вот то, чего я хочу! — сказал он и рукой и взглядом обвёл высокое небо. — Всю бы жизнь так: костёр, лес, озеро, друг — и ни мамочек, ни учительниц, ни всяких там рож — один под небом на дикой земле!..

— Здорово, конечно! — согласился Алёшка. — Только... Думал я об этом: без людей не проживёшь...

— Как глядеть! Ружья сам я не сделаю, это понятно. А вот свободу себе отвоевать — могу! Ты это понимаешь? Вот меня учат, заставляют, а я на всё это «надо» — своё «хочу»! Как ванька-встанька. Положат — лежу, пока держат. Отпустили — хоп!.. — Юрочка поджал колени, изогнулся, махнул руками и в какой-то невообразимой стремительности оказался на ногах. — Вот так! — сказал он, довольный тем, что поразил Алёшку.

— Ты как-то это умеешь! — Алёшка не скрывал восхищения и зависти и смущался тем, что думает и поступает не как Юрочка. Он понимал, что на откровение должен ответить откровением, и сказал:

— А у меня наоборот! Для меня важно, что думают обо мне люди. Когда мной недовольны, я переживаю. Места себе не нахожу, пока не объяснюсь. Теперь, правда, не с каждым в откровенности пускаюсь, чувствую, что не все меня понимают. А раньше одной заботой и жил — ужасно хотел, чтобы все думали обо мне хорошо. Старался быть хорошим, изо всех сил старался! А не получалось. И ссориться приходилось. И даже драться...

Я, знаешь, когда поменьше был, мечтал начальником мира быть. Не таким, чтоб командовать. А таким, чтобы за справедливостью следить. Где кому плохо – я на помощь скачу, на коне. Почему-то на коне... Где несправедливость, я уже знаю и туда во весь опор! Потом понял: заботиться о добре и справедливости должны все. А начинать надо с себя. Себя сделать хорошим легче. Я ещё не могу до конца понять, кто мой бог. Ну, то совершенство, к которому надо стремиться. Но к хорошему можно идти и отбрасывая плохое? Правда?..

Давно, ещё лет с двенадцати, придумал себе правило: быть всегда самим собой. Как-то поймал себя на том, что я – разный: на людях стараюсь, чтоб всё хорошо, а когда остаюсь один, уже не стараюсь, как будто распускаюсь, делаю то, что никогда не сделал бы на людях. Поймал себя на таком и поклялся всегда быть одинаковым, даже когда рядом никого! Настоящий человек должен быть честным прежде всего перед собой. Верно ведь?.. Знаешь, о чём я думаю. Юрк? Если бы у меня был друг, такой, как совесть, мы бы вместе скорее настоящими людьми стали. Честное слово!..

Юрочка слушал молча, и, казалось, с интересом. Руки он засунул в карманы, поднял плечи, как будто ему было зябко рядом с огнём, и стоял так в задумчивости.

— Да-а, — сказал он наконец и щекой потёрся о плечо. — Что ты чудик – я знал. Но не думал, что до такой степени... И не обижайся! – крикнул он, заметив, как Алёшка вспыхнул. — Сам знаешь, я тебя за друга считаю. А эта твоя розовая блажь пройдёт. Дурь у тебя от чересчур благополучной жизни. — Юрочка, не вынимая рук из карманов, ходил взад-вперёд, вид его был мрачен.

— Ничего! Ничего!.. – вдруг выкрикнул он, голос его был странно напряжён. — Папочку своего я из-под земли откопаю! На свет произвёл, пусть обеспечивает место под солнцем!..

Алёшка только теперь вспомнил постоянную Юрочкину боль и почувствовал себя виноватым.

— А где он, твой отец? – спросил он осторожно.

— Знал бы, не торчал здесь! Чёрт его прячет. Мамаша всё тайной покрыла! Но где-то есть, если по отчеству я Михайлович... Догадываюсь, где-то в столице. И в каком-то чине... Ладно, тебя, чудик, это не касается. — Юрочка огляделся. — Дрова все пожгли?

Алёшка с готовностью встал, он всё ещё чувствовал себя виноватым перед Юрочкой.

— У меня, понимаешь, ботинки ещё не просохли! – Юрочка переступил босыми ногами, вывесил над затухающим огнём мокрые носки.

— Так ты сушишь! Я схожу!.. – Алёшка рад был сейчас что-то сделать за Юрочку.

Он прошёл лугом, на краю леса наломал толстых сухих ольховин; пока перетаскивал их, стемнело.

В ночи Юрочка оживился: он запалил высокий огонь и, щурясь и отворачиваясь от жара. То приседал, палкой вороша поленья, то возбуждённо прыгал вокруг, подсовывая огню и отдёргивая окутанные паром ботинки. Глаза его в эти мгновения азартно горели. Как будто он перехватывал у огня добычу.

Алёшка отмыл от супа ведёрко, почерпнул чистой воды на чай, поставил пока в сторонке: огонь был слишком велик, чтобы навесить ведёрко на перекладину.

Юрочка обсушился, обулся, теперь стоял у костра, опираясь на палку, тонким сосредоточенным лицом бронзовел в отсветах пламени, как индеец.

Алёшка присел на обломыш ольховины, с интересом, некоторым даже трепетом, молча наблюдал за ним.

— Ты, Лёшка, плохо меня знаешь! – вдруг сказал он. – Второй год с тобой дружим, а я для тебя вроде чужого колодца. Знаешь, кем бы я был, если бы не моя железная мамочка? Ну, кем? Кем, думаешь?.. Разбойником!.. Что глаза таращишь, как сова на свет? Страшно? То-то. Душа у меня разбойничья. Понял?.. Я не дурак, понимаю, что времена Стеньки Разина прошли. А всё равно что-то осталось. В каждом. Люди скрывают, а все одного хотят. Душа у всех разбойничья! И ты, чудик, тоже в душе разбойник. Скажешь, нет? – Юрочка сверху вниз, щурясь, смотрел на Алёшку, на освещённых кустах качалась его тень. Маленький Юрочка казался огромным, как дерево.

— Хочешь знать, не из-за кубков и медалей я в спорт пошёл. И чемпионом стал. Что говорить, приятно, когда на груди звенит, да в газете расхваливают! А всё равно не из-за того. Когда ты один такой на город да область, на тебя узды нет. А всякая слабинка – уже воля!.. Потому и охота по мне. Здесь я сам по себе! Я да моё «хочу» — вот!.. – Юрочка отпрыгнул в темноту, подкинул ружьё, и сноп пламени рванулся к звёздам – один, второй. И спящая чёрная громада леса гулко отозвалась: ба-а... ба-а-а...

Алёшке стало жутко. И азартно. Юрочка здесь, в ночи, у костра, колдовал и завораживал, как языческий шаман.

Юрочка вернулся к костру, он тяжело дышал, колечки волос на его впалых висках лоснились, как после жаркого бега.

— Ты не читал, роман есть такой, «Пан» называется, — голос его срывался от возбуждения. — Пан — это лесной бог. А роман про человека, который ушёл от людей в леса. Спать не могу. Прямо обалдел от этого Пана! Вот бы такой жизни, а?.. Ну, давай чай кипятить. Напьёмся да на сено...

День и ещё день прошли в никем не нарушаемом одиночестве и в опьянении свободой. Они делали только то, что хотели: валялись на сене, охотились, палили костёр, ныряли в остуженную осенними ночами воду, ревниво испытывая друг у друга твёрдость духа, потом голые, мокрые прыгали вокруг огня, стараясь унять дрожь занемевшего тела. Им хорошо было вдвоём, и Алёшка, забыв про дом, школу, про железные принципы самовоспитания, с охотой повторял всё, чем жил Юрочка.

На третий день из вечернего тумана, скопившегося над лугом, выплыла, как из воды, тёмная фигура лесника Красношеина.

— Привет охотничкам! — крикнул он издали, зорким глазом охватил всё: раскиданное сено, портфели у стога, костёр, запас дров, немытое ведёрко с грязными ложками, кучи перьев от ощипанной дичи. Радость от того, что преступников он обнаружил на горяченьком месте, так и вылоснила его покрасневшее от ходьбы лицо. — Привет, привет, — повторил он, пристраивая к кусту ружьё и одновременно скидывая через голову ремешок своей командирской планшетки. — Шагаю бором, чую — дымом наносит, а откуда — не пойму. А это, значит вы!.. Между прочим, у честных тружеников сегодня не выходной?.. Что молчите, труженики?!

Юрочка отвернулся, поигрывал туго сжатыми скулами: вторжение лесника было явно ему не по душе.

Алёшка стоял, опустив голову, ботинком вталкивал в огонь головешки.

— Ладно уж вам, Леонид Иванович, — бормотал он. — Мы тут на волю вырвались. Отцу-то не обязательно про это знать... — Он с отвращением слушал свой жалкий лепет, но ничего не мог с собой поделать: унижение — первая плата за любое, даже малое, отступничество.

— Лексей! — Красношеин развёл руки, смотрел с укоризной на Алёшку. — Не понимаю, про что разговор? Разве друга продают?! Могила!.. — Только теперь Алёшка заметил, что лесник навеселе. — А ну в круг! К жару-пару!..

Ты, Кобликов, что землю ногой роешь? Не конь! Иди сюда. Вольные люди – свои люди!.. – Красношеин лёг на бок, вытянул из кармана бутылку, заткнутую свёрнутой бумагой. – От Феньки топаю! – шепнул он Алёшке и подмигнул. – Ну, ну, не ревнуй! Кружки у вас, молодцы, есть?

Алёшка взглянул на Юрочку, заметил, что Юрочка отмяк и с любопытством смотрит на бутылку в руках лесника.

— Это и есть то самое, от чего... — он покрутил рукой у головы...

— То самое... — успокоил его лесник.

— Вот, одна на двоих, – сказал Юрочка и протянул жестяную кружку.

— Ну, и валяйте из одной! Я – с горлышка... — Он налил в кружку, поднял над головой бутылку. – Как это в песне? За землю, за волю и за лучшую нашу долю!..

Лесник не пил, смотрел, как пьёт Юрочка, задыхаясь от жарких глотков. Юрочка кинул пустую кружку в ноги леснику, хотел что-то сказать, но сел на землю, открыл рот и замахал рукой, загоня в рот воздух.

— Ожгло? – с участием спросил Красношеин. – Ничего, поживёшь – глотку вылудишь!.. На-ка, Лексей, держи!..

— Не хочется что-то, — сказал Алёшка, с опаской поглядывая на Юрочку. Он ощущал какой-то одеколонный запах, идущий из кружки, и в самом деле ему не хотелось пить.

— Ну, ты, чудик... — Юрочка остановившимся взглядом смотрел куда-то поверх Алёшкиной головы. Он погрозил пальцем и засмеялся. Засмеялся и Красношеин. Алёшка вздохнул, не дыша и морщась, честно выпил всё, что налил ему лесник. Красношеин и за ним проследил внимательно и только после того, как Алёшка закрыл рот рукавом и отдал ему кружку, не торопясь, допил то, что осталось в бутылке.

... В ночи Алёшка увидел звёзды и снова закрыл глаза. Голову палило, будто под черепом тлели угли. Он приподнялся – плечи были в сене, ноги на земле, — отполз в сторону. Его стошнило. Отдышавшись, он встал, покачиваясь, дошёл до озера, долго прополаскивал рот, умывал лицо, стараясь холодной водой прогнать слабость и дурноту.

Юрочка спал у стога, поджав колени к подбородку, от холода упрятав руки к животу. Алёшка накрыл его охапкой сена, лёг рядом. Голова всё ещё была как не своя и болела.

Странно, но он помнил всё, что было у костра после того, как Красношеин швырнул пустую бутылку в воду.

Помнил, как оглушило его то, что он выпил из кружки, как потерял власть над собой, помнил всё, что было потом. Сначала, как бы удивляясь, они разглядывали друг друга и смеялись. Юрочка пробовал делать стойку на руках, но валился, надувал губы и смешно икал. Друг за другом они перебрались к леснику, и все трое, обнявшись и раскачиваясь, точно в лодке, пели песни, потом просто орали от избытка чувств, стараясь перекричать один другого. Потом он и Юрочка на четвереньках носились по лугу, взбрыкивали ногами, гоготали и мазали друг друга землёй. Юрочка руками залез в озеро, лакал воду, как собака, и кричал: «Эй, чудик, а ты можешь так?»

Красношеин запалил жаркий костёр, и они прыгали через огонь, и Юрочка упал и спалил край штанины и ругался такими стыдными словами, что Алёшка даже протрезвел. Потом Алёшка плакал жалкими, непонятными слезами и размазывал слёзы по испачканному землёй лицу. Юрочка издевался над ним и кричал, что он девчонка и хлюпик. С Юрочкой они чуть не подрались и глядели друг на друга с ненавистью. Потом все трое набросились на еду и съели всё, что оставалось у них.

Сам Красношеин не был пьян, хотя орал вместе с ними песни. Полуприкрыв глаза, он следил за их выходками, и Алёшка готов был поклясться, что видел мрачное торжество в его глазах.

— Вот так, Лексей, — сказал он, поправляя на себе ремешок командирской планшетки и закидывая на плечо ружьё. — Одна бутылка и — нет человека! Даже двоих. Ну, бывайте здоровы, разбойнички!

Оставив их, он ушёл от костра в сумерки, канул в белый луговой туман как в воду...

Воздух похолодал, Алёшке пришлось зарыться в сено. Звёзды, как будто вмёрзнув во тьму, передвигались все разом вместе с чёрным небом, на глазах выходили из-за покатога, нависающего над головой стога. Ковш Большой Медведицы почти встал на ручку, вот-вот польётся из ковша рассвет.

Алёшка дождался, когда небо отделилось от земли и макушки леса проступили на прозрачном отсвете зари, вытащил из сена ружьё и пошёл к самому дальнему озеру — подальше от костерища с неприятной грязью вокруг.

Вернулся он при солнце. Развёл костёр, собрал в кучу остатки дров, приволок ещё одну толстую ольховину, приладил у костра вроде скамейки. Умылся, присел и затих, вбирая в себя прохладу и чистоту осеннего утра.

Какое-то обновление происходило в нём, похожее на то, как случается в природе поутру после ночной сокрушающей грозы: уходят, затихают мутные потоки, распрямляются прибитые травы, дымящийся под солнцем мокрый лес наполняется нарастающим щебетом, посвистом, радостными звуками падающей с листьев капли.

Алёшка хотел одного: как можно дольше удержать над собой это ясное небо с крохотными неподвижными облаками, эти прорезанные солнцем тени от леса на воде и на белёсой от росы луговине – весь этот чистый в своей первозданной нетронутости озарённый утренним солнцем мир.

На воде что-то сверкало, назойливым лучом било в глаза. Алёшка передвинулся, но ослепляющий блеск достал его и там. Не сразу он понял, что отсверкивает и слепит его брошенная Красношеиным бутылка. Блеск раздражал, мешал его спокойствию и утренней радости. Алёшка поднял ружьё, почти зажмурясь, прицелился в сверкающую точку и опустил ружьё на колени. Разбить бутылку на воде он мог. Но то, что слепило его изнутри раздражающим отблеском вчерашней мерзости, так легко не разбить. «Нет твёрдости, нет воли – нет и человека! – думал он. – Пока в самом себе не наберусь твёрдости, человеком мне не быть...»

В стогу завозился Юрочка, поднялся, заспанный и хмурый, с сеном в волосах, поёжился, отошёл в сторону. Алёшка краем глаза наблюдал: ему хотелось понять, раскаивается ли Юрочка в том, что было вчера? С хмурым видом Юрочка обследовал портфели. Нетерпеливо сунулся к висевшему на рогульке ведёрку, поморщился – тоже было пустым. Разочарованно пошарил глазами вокруг, увидел утку, убитую на заре Алёшкой, подтащил к костру, ни слова не говоря, стал сдирать перья. С надутыми губами, не глядя на Алёшку, он готовил еду. Когда дичь уварилась, вытащил кусок утки, подул, остужая, вонзил в мякоть зубы. Лицо его тут же покривилось, он перестал жевать.

— Соль-то хоть есть? – спросил он обиженно.

Алёшка развёл руками.

— Тоже мне, охотник, — проворчал Юрочка. — Соль в спичечном коробке носит...

Утку он всё-таки доел, попробовал бульон, сплюнул, бросил ложку, взял ружьё и ушёл, хлопая, как крылом, обгорелой штаниной.

Алёшка задумчиво смотрел вслед, пока Юрочка не скрылся в рыжем полыме молодых дубков. Он ещё не понимал, что случилось, но отчётливо чувствовал, что Юрочку он сейчас жалел. Каким-то покинуто-жалким казался он ему в своей одинокости, в неутолённой с утра голодности, в своей затаённой тоскливой обиде на где-то живущего вдали отца.

Алёшка только что казнил себя за то, что не набрал твёрдости в характере, но Юрочка был слабее его, Алёшки. И вспыльчивость его и независимость были не что иное, как придуманные им одежды, под которыми он старательно скрывал одиночество и слабость духа.

Алёшка вдруг заволновался. Он не умел жалеть, вздыхая и выдавливая из себя слёзы сочувствия. Жалость всегда обращалась у него в потребность действия. И сейчас он искал, что сделать на правах сильного для Юрочки, несчастливого, голодного друга, одиноко бредущего где-то по краю болота.

Он подошёл к ведёрку, хлебнул тёплой юшки – пустая, несолёная, с блёстками утиного жира, она на самом деле была отвратной. Вот бы накормить несчастного Юрку, накормить по-домашнему, до сытости, до блаженства!..

Алёшка вспомнил про избушку Феди-Носа на протоке у Нёмды. Три, ну четыре километра отсюда, всего восемь – полтора часа ходу туда и обратно. Юрочка наверняка заазартится, проходит дольше. Алёшка закинул за спину ружьё.

В это время над водой свистом прошла стайка чирков, шумно опустилась за недалёкими камышами.

Алёшку подкинуло, словно током. Он стащил с плеча ружьё, пригнувшись, даже сделал несколько быстрых шагов к камышам, но остановился. «Или дело, или охота», — сказал он себе сурово. Повернулся и, в обход озера, быстро пошёл к лесу.

Избушку дяде Феде колхоз поставил при пасеке, но пасека – Алёшка увидел это с луговины – была пуста: ульи уже увезли на зиму в Семигорье. Дверь оберегал замок. Но Федя-Нос никогда никому не отказывал в приюте, и сам в первый же день знакомства показал Алёшке щель, в которой хоронил ключ.

В знакомой избе Алёшка скоро нашёл всё, что было ему надо: из плоски, стоявшей на столе, отсыпал в бумагу соли, из мешочка на печи взял сухарей, оторвал из связки луковицу, на огороδικе вытянул картофельную плеть, набрал с десяток картофелин. Всё увязал в тряпку. Избу закрыл, на двери печатными буквами (Федя-Нос не был силен в грамоте) углем написал: «Был Алёша» — и, торопясь, пошёл обратно.

На оставшейся юшке Алёшка сварил густой суп, собрал и сжёг всю грязь: обрывки бумаги, перья от ошипанных уток, конфетные обёртки, сгрёб разбросанное сено. Прибираясь, он с грустной улыбкой вспомнил о доме и почувствовал неловкость: он знал, как эта их вольница обидит маму!..

Юрочка вернулся умиротворённый и вовсе не жалкий. Он смотрел в сторону, но скрыть улыбки не мог: пояс его оттягивал угольно-чёрный, краснобровый великолепный косач. Косача он любовно положил на траву, маленькой головой на полешко, сам лёг рядом, вытянулся, закинул руку себе под шею. Глаза его смотрели в небо и сияли.

— Не пялся. Косача варить не дам! – вдруг сказал он. – Слушай! Как ты думаешь, если Ниночке преподнести этого вот косача, сболтнёт, что мы на охоте филонили?

«Опять эта Ниночка! И что она ему далась!» — в каком-то даже раздражении подумал Алёшка. Он давно пригляделся к Юрочкиной любви и не нашёл в ней ничего, что могло бы его привлечь. Всегда какая-то задумчиво-строгая, она, казалось, заботилась только о том, чтобы ни в чём не уронить своего достоинства: никогда не опаздывала, не было случая, чтобы она не ответила урок, подсказок не терпела, не давала у себя списывать, никому, даже Юрочке. Сидела она в среднем ряду, ближе к столу учителя, и Алёшка на каждом уроке видел её худенькую шею и высоко подстриженные кофейного цвета волосы, густые, в крупных кольцах, как будто небрежно и в то же время аккуратно уложенные на голове. Если честно, Ниночка выделялась из всех девчонок класса, Ниночка и ещё Лена Шабанова, староста, с тяжёлой длинной косой, открытым лицом и весёлыми яркими щеками. Алёшка не мог понять – чем, но они выделялись. И, если ещё честнее, Лена нравилась ему больше – своей открытостью, простотой, весёлостью, нежным солнечным пушком волос вокруг чистого лба. Ниночка же была как неживая, как будто постоянно носила и берегла в себе что-то хрупкое.

Что нашёл в ней Юрочка, Алёшка не понимал и теперь думал, как поведёт себя Ниночка, если Юрочка не устоит перед искушением и подарит ей косача? Лучше, конечно, вернуться с вольницы без добычи: при Ниночкиной принципиальности вольница может закончиться позором. Впрочем, всё одно: шила в мешке не утаишь, за радости вольницы обоим придётся расплачиваться – и дома и в школе. Пусть уж Юрка порадуетя...

— Ну, чего молчишь? – Юрочка, закинув голову, чтобы лучше видеть Алёшку, смотрел настороженными глазами.

— Я бы на твоём месте подарил, — сказал Алёшка твёрдо.

— Не ждал... — Юрочка отвернулся. — А жрать всё-таки хочется! — Он сел, кулаком потёр живот. — Дроздов пойти настрелять, что ли?

Алёшка вынул ведёрко из углей, поставил на землю перед Юрочкой. Он ждал этой минуты и теперь чувствовал, как наполнила его ещё мало знакомая ему, тёплая радость заботы!

Юрочка крутанул ложкой густое месиво из картошки, попробовал.

— А ты не так прост! — сказал он и внимательно поглядел на Алёшку.

Он ел, макая в суп разложенные на тряпке сухари. Когда ведёрко опустело, сказал: «А всё-таки голодная свобода лучше сытого дома!» — и лёг на прежнее место. Он лежал лицом к небу и тихонечко напевал: «Я на всё согласная, даже на любовь...»

— Слушай, чудик! — вдруг сказал Юрочка. — Ты думаешь, я растаял от твоего угощения? Будем мужами и подведём кое-какие итоги. Первое: ты вольницей доволен?..

— Доволен, — сказал Алёшка, подумав.

— Значит, право хотеть и поступать мы оставляем за собой? Это первое. Второе: хотеть — одно, возможности — другое. Умный человек лучше защищён и в нашем беспокойном мире. Ты это запомни. И третье: если идёт дождь, полезно уходить под крышу. Ты понял меня? Если что случится — ты не знал, где я, я не знал, где ты. Договорились?

— Это что-то новое! По крайней мере, для меня, — сказал Алёшка. Чувствуя, как остывает в нём радость. — Вместе грешили, вместе и отвечать!

— Вот человек — фунт изюма, два литра молока! Зачем страдать вдвоём там, где может страдать один?! Ну, я, например! Зачем я буду втаскивать твою голову на плаху ради сомнительной справедливости?.. «Каждый умирает в одиночку», — кто-то неглупо сказал! Но это так. На всякий случай. Думаю, мы достаточно умны, чтобы от сладостей у нас не болели зубы!.. — Он лучисто улыбнулся, обезоруживая Алёшку своей улыбкой, и встал. — А теперь прощаемся с вольницей! Слушай, чудик! — крикнул он. — Не ждать, а жить — вот мой девиз и солнца! — Плеснул огонь, швырнуло на стог облако дыма. Юрочка не опускал ружья, он ждал эха. Эха не было. Лес шумел, ветер унёс звук выстрелов и погасил их где-то среди пустой осенней луговины.



ПЕРЕМЕНЫ

1

Молчание, как холод, расплзлось по классу: от Алёшки, застывшего за своей партой, до стола учителя, за которым так же молча стоял Вася Обухов. Замирал скрип сидений, движение повёрнутых к Полянину лиц. Наконец скрипнула последняя парта, и всё замерло. Тишина повисла в классе, такая ледяная, напряжённо звенящая, как созревший обвал, дольше она не могла быть.

Тишина истончилась, она звенела уже внутренним звоном, как перетянутая струна. Алёшка слышал этот звон, этот визг перетянутой струны и с упрямым желанием досадить всем, кто был сейчас в классе, молчал.

— Так, – сказал Вася Обухов.

И по всему классу, как ветер по лесу, прошёл шум – все разом вздохнули, скрипнули парты. Лица, руки качнулись. В этом общем шуме не было облегчения. В движении тех, кто сидел сейчас в классе, была враждебность, и Алёшка уловил эту враждебность. «Пусть! – с твердеющим упрямством думал он. – Милости не жду...»

— Так! – сказал Вася Обухов. – Полянин не хочет отвечать!

Они были как борцы, вышедшие на ковёр. И хотя Вася Обухов кулаками упирался в стол учителя, а Полянин стоял за последней партой и между ними сидели ещё восемнадцать комсомольцев, ребят и девчонок, всё равно Обухов и Полянин были как борцы, вышедшие на ковёр. Их руки лежали друг у друга на плечах, ладонями они уже чувствовали бугры напряжённых мускулов, не было лишь первого рывка, с которого начинается борьба...

Обухов с усмешкой на спокойных губах смотрел на Полянина, видел упрямо опущенную голову, холодное, отчуждённое лицо, руки, сдавившие откинутую крышку парты. Он знал, что Полянин будет молчать, в этом молчании был весь Полянин. Но собрание должно было быть, с молчащим или говорящим Поляниным, но должно быть.

Не всё сложилось так, как того хотел Обухов. Он думал поставить перед комсомольцами класса вместе и Кобликова, и Полянина. Он готовился не просто осудить вызывающий прогул обоих, но как можно крепче ударить по философии Кобликова. Он не сомневался, что первопричиной их прогула была именно философия Кобликова, в которой криком кричало его обиженное, его вызывающее: «Я так хочу – и всё...»

Однажды Обухов пытался вызвать Кобликова на открытый разговор в кругу немногих ребят класса, но Кобликов вспылал, послал всех к чёртовой бабушке и ушёл.

Обухов терпеливо ждал, он был убеждён, что философия обязательно проявит себя в поступках. Он не ошибся: поступок случился. Но Кобликов и на этот раз ускользнул, как вьюн из-под пальцев. Полянин теперь один отвечал там, где блудили оба. Но и Полянин в глазах Васи Обухова был фигурой, достойной Юрочки Кобликова, и Обухов, стоя за учительским столом, с усмешкой глядя на Полянина, обдумывал, как вернее ударить в Полянине Кобликова.

В тот день, когда они встретились здесь, в городской школе, Обухов не ожидал, что его былое товарищеское расположение к Полянину обернётся неприязнью. В своём духовном поединке с Юрочкой Кобликовым он ожидал обрести в Полянине союзника и не случайно свёл их за одной партией. Думал: «Парень из столицы, голова ясная, характером вроде не слаб – обломает Юрочку!» Не удалось: и Кобликов, и Полянин потянули в одну сторону.

Обухов разошёлся с Поляниным как раз по тем линиям, по которым разошёлся с Кобликовым. За два года Полянин так и не вошёл в жизнь класса, с последним звонком его словно ветром выдувало из школы – он рвался за Волгу, в свои леса. И каждый раз, провожая его взглядом, Обухов неодобрительно думал: «Будто голодный кобель к полной миске! Ни слова товарищам, ни хоть малого интереса к общим делам!..» Даже на короткое собрание Полянин, почти как свирепеющий от каждого поручения Кобликов, задерживался с таким страдающим видом, словно поперёк горла у него вставала кость.

Полянину всё давалось легко, слишком легко! Обухов не раз видел: на короткой перемене торопливо перелистав учебник, Полянин тут же, на уроке, отлично отвечал зрительно сфотографированный текст. Он легко учился, легко, надо полагать, и жил. Обухов не завидовал Полянину. Он вообще не знал этого чувства, с малолетства он был приучен удовлетворяться тем, что имел. И если он всё-таки усмешкой провожал Полянина, идущего на место с «пятёркой», схваченной с налёту, в этой его усмешке была не зависть – в спокойной его усмешке была неприязнь к той лёгкости и непрочности, с которой Полянин жил. Обуховым в их крестьянской семье всё давалось трудом: и ломоть хлеба, и картошка на столе, и кусок мануфактуры на рубашку, и школьная тетрадь.

Вася Обухов выждал и сделал первый рывок.

— Так, — сказал он. — Полянин молчит. Трусость выдаёт себя за силу!

Алёшка понял, какой удар его самолюбию нанёс Обухов, и разжал похолодевшие губы:

— Трус под пытками не молчит...

Обухов усмехнулся.

— Тебя не пытаются, Полянин. Героя из себя не строй. Объясни лучше, как это вожжа тебе под хвост попала?

Обухов точно и расчётливо бил по самолюбию Полянина, но Полянин, сдавив скулы, молчал. Он понимал, куда бьёт Обухов, и молчал. Краем глаза он видел, что Лена Шабанова, чей авторитет в классе был едва ли не выше авторитета Васи Обухова, давно в нетерпении крутит вокруг пальца конец перекинутой через плечо косы. Наконец Шабанова не выдержала, не поднимаясь с места, крикнула:

— Удивительное дело: Обухов единоборствует с Поляниным! А мы что — зрители?! Ты, Обухов, загадки нам или себе загадываешь?

Брови Обухова чуть сдвинулись.

— Если по правде — в себе, и вам, — сказал он спокойно. — Я ждал, Полянин сам разгадает загадку. Но, как видите... Дело, если говорить о самом факте, простое: Полянин прогулял. Да, прогулял. Три дня. Семнадцать уроков. Что он делал? Зябь в колхозе поднимал? Лес заготавливал? Кирпич на баржу грузил? Нет, все три дня он охотился на уток...

— Это так, Полянин? — спросила Шабанова. Она держала косу на руке, как пойманную рыбку.

— Так, — Алёшка ответил с неожиданной для себя готовностью.

— А почему ты променял наш класс на уток?

У окна засмеялись. Шабанова в досаде пристукнула косой по парте, показывая, что она не шутит. Но готовность говорить у Алёшки пропала. «Ну, ты-то зачем лезешь в «почему»? Терзайте, а в душу не лезьте!..» — тоскливо думал он.

Он стоял, руками стиснув откинутую крышку, и, чувствуя уже определившуюся враждебность к себе со стороны всех, кто был сейчас в классе, снова замкнулся и молчал.

Дома, на другой день после вольницы, Алёшка рассказал всё. Мама сразу почувствовала, что он носит в себе вину, а Алёшка не устоял под её спрашивающим взглядом.

«Мне стыдно за тебя, Алёша», — сказала мама, выслушав его. Больше ни слова он не услышал от мамы. Отец вообще не стал говорить с ним, постоял, побарабанил пальцами по столу и ушёл. Всю боль стыда за него приняла на себя мама. И для него это было тяжелее, чем вот это созванное Обуховым собрание.

По крайней мере, так думал Алёшка. «Ну поговорят, ну поругают, дадут выговор, и всё, – думал он. – Пусть выговор!.. Выговор, как говорит Юрочка, — неприятность, карандашом расположенная на бумаге. Её легко счистить резинкой хорошего поведения...»

Сейчас он хотел одного: получить тот выговор, который положено ему получить. И скорее уйти туда, где мокрые голые деревья, дождь, мягкая лесная тишина и одиночество. Он сидел за партой, закрыв лицо ладонями, отчуждённый от всех и в то же время слышал всё, что было в классе. Слышал перешёптывание девчонок, слышал, как Вася Обухов отодвинул мешавший ему стул, как на пол упала чья-то ручка.

Собрание как всякая сшибка симпатий, антипатий, многих других чувств и убеждений пульсировало, как живой организм, и Алёшка терпеливо ждал, когда собрание обойдёт положенный круг и замкнётся на своём начале.

Выступление Витьки Гужавина, короткое и болезненное, как удар боксёрской перчатки, было для него неожиданным. Он понимал, что Гужавину на собрании нелегко, может быть, так же нелегко, как ему самому: Гужавину, по сути, приходилось выбирать между ним и Обуховым. Но Витька не юлил и не половинил. Правда, лицом к собранию он так и не повернулся – стоял за своей партой, и Алёшка видел только его широкою в плечах спину и на шее косички светлых, почти белых, как у пацанчика волос, — но слово своё он сказал и его, Полянина, осудил и за душевную слабость, и за поблажки, которые он себе позволял.

Девчонки глубоко его не затронули: все их быстрые взволнованные слова скользили по его сознанию, как по льду пруда скользят брошенные лёгкие камушки.

Он понимал, что собрание движется к концу, что дело идёт к выговору, и всё с большим нетерпением поглядывал на качающуюся от ветра макушку тополя с редкими трепещущими листьями.

Он видел, как на быстрых тучах появился отражённый свет и ниже туч, между железными мокрыми крышами, открылся жёлтый промыв свободного неба. И уже не выговор был для него наказанием, а то, что он сидел в классе как раз тогда, когда на воле прояснилось небо.

«Скорей!.. Скорей!..» — твердил Алёшка, мысленно подгоняя собрание, и поверх ладони, которой пытался отгородиться от класса, в нетерпении глядел на медлительного Обухова.

Голоса смолкли. Вася Обухов подал вперёд плечи, кулаками упёрся в стол. Алёшка следил за ним, ему казалось, что Обухов молчит оттого, что не находит нужных слов. С некоторым даже торжеством он наблюдал, как по краям его тёмного от летнего загара лба, у сивеньких, просто зачёсанных назад волос проступают медленные капли пота.

— Так, — сказал, наконец, Обухов, — мы оценили факт, которым нас порадовал Полянин. Однако каждый поступок имеет причину...

Алёшка из мира за окном возвратился в класс. Руки Васи Обухова, готовые к борьбе. Снова легли ему на плечи. Он чувствовал, как по спине к шее бежали мурашки – начиналось новое душевное напряжение. Он понял, что Вася Обухов не заканчивает собрание, он делает усилие повернуть всех к одному ему видимой цели.

В установившейся тишине Обухов некоторое время смотрел на Полянина, потом убрал кулаки с учительского стола, встал, руку положил на парту. И сразу стал проще, спокойные его губы, как будто вслед мыслям, приоткрылись в обычной для него усмешке.

— Я не сготовил речь, — сказал он. — Просто расскажу одну историю... Недавно мне пришлось спорить с одним другом, — говорил Обухов, и усмешка всё шире расходилась по его невозмутимому лицу. — Спорили вроде бы о пустом: что в жизни важней – своё «хочу» или чужое «надо»? Друг говорит: вот ты, Обухов, сухарь, всё делаешь как «надо». Ешь, потому что «надо». В школу идёшь, потому что «надо». Книжки читаешь не те, что нравятся, а которые «надо». Ты, говорит, хоть в жару-то купаешься? Пьёшь, когда пить хочется?! Хоть раз в жизни какому-нибудь подлецу по зубам надавал?..

Стал я размышлять. А что, думаю, прав друг: ещё годов пять посохну – в сухари не сгожусь! Дай-ка, думаю, хоть день поживу, как хочется! На другое утро проснулся – вставать не хочется, лежу, свободу вдыхаю. Солнце из окон ушло, а я всё лежу, думаю: чего ещё хочу? Вроде, думаю, вставать хочу. Встал. Поест захотел – поел. В город пошёл. Иду улицей, навстречу тот друг, с кем спорил, сияет, будто кубок получил! Земли под ногами не чует. Себя несёт – только что крыльев за спиной не видать! И так это сверху вниз на всех поглядывает. И почудилось мне, что эта сияющая рожа кирпича просит! Меня тут и вразумило: раз живу, как хочу... Схватил кирпич – и... Он орать. «Ты что, кричит, дурак?» — «Какой же я дурак, говорю, я так хочу!..»

Он мне разъясняет: «Соображать, говорит, надо. Только дурак делает всё, как хочет. А я делаю, как хочу, когда можно...»

В классе засмеялись. Обухов стоял невозмутимо, только ухмылка на его спокойных и твёрдых губах стала напряжённее и как будто ушла внутрь.

— Вот так, — сказал он, внимательно оглядывая класс. — Друг и на этот раз оказался умным человеком. Может, догадались, о ком речь?

С разных сторон насмешливо сказали:

— С Кобликовым ещё не то бывает!..

Алёшка, напряжённо следивший за выражением лица Обухова, видел, как проступившая было в его лице растерянность, сменилась быстрым раздумьем, и тут же улыбка удовлетворения раздвинула его губы.

— А ведь угадали!..

Алёшка понял, что Обухов в эту секунду быстрого раздумья решил смягчить удар. Своей простоватой и ой какой едкой сказочкой он целил в него. В сказочке он изложил тот философский спор, который неожиданно остро вспыхнул между ними, когда Алёшка объяснял Обухову свой прогул. Они разошлись тогда неудовлетворённые, и Обухов, как видно, не счёл спор законченным.

— Значит, угадали... — повторил в раздумье Обухов и вдруг пытливо взглянул на Алёшку. — Всё же хотел бы спросить Полянина: сам-то он как относится к такой вот мудрости? Спокойно прогулять три дня — на это тоже нужна какая-то оправдательная философия... Как ты, Полянин, объяснишь?

Алёшка понял, что Обухов ничего не забыл и настойчиво возвращает его к спору. В какое-то мгновение, пока он откидывал крышку, вставал, он как будто заново пережил три дня упоительной вольницы: и собственный душевный трепет перед независимой убеждённой Юрочки, и восторг, вдруг охвативший его у жаркого костра от раскованных чувств и первозданной свободы, и эту вот сказочку Обухова, и дружный смешок класса, как будто изнутри разрушающий ту высоту, на которой они с Юрочкой стояли. В то мгновение, пока он вставал, снова услышал ожидающую его тишину и в каком-то невероятно стремительном повороте увидел себя и Юрочку, и класс в ином, ещё неизвестном ему измерении и понял, что не в силах ни о чём сказать. Не потому, что упрямство сдавило ему язык. А потому, что личное своё право «хотеть и поступать», которое он с убеждённой отстаивал перед Обуховым, теперь, перед ожидающими глазами восемнадцати, казалось ему ничтожно низким, даже подлым по отношению к этим восемнадцати. И если бы он всё-таки решился и высказал, как своё, то, что отстаивал тогда перед Обуховым, он не сказал бы правды, потому что то, что он высказал тогда, сейчас не было его убеждением.

Тишину класса прорезал звенящий от досады и даже злости голос Лены Шабановой:

— Ну, что ты молчишь, Полянин!

Алёшка ниже опустил голову. Крышкой парты он придавил пальцы и не чувствовал боли. Страшась слёз, он придавил пальцы сильнее и прошептал:

— Я не могу... — сел и отвернулся к окну.

— Вот что, Обухов, ты подожди с решением. — Шабанова встала. — Я всё слушала и думала. И если я сейчас не скажу всего, я себя уважать перестану... Полянин виноват, что не ходил в школу. Но ты сам поставил вопрос: почему он решился на такое? Ты что думаешь, Полянин вызов нам бросил? Хотел показать, что ему, хоть он и комсомолец, наплевать на всё, в том числе и на класс? Ты так думаешь? А я не так. Я всех слушала, и хотя Полянин молчал, я смотрела на него и пыталась понять, почему он шёл в школу, а свернул в лес. Да просто: лес ему дороже, чем мы!.. Не шумите, пожалуйста! Я никому не мешала говорить... Да, лес ему дороже, потому что в лесу ему интереснее. Какое место в его жизни занимаем мы, вся наша школа? Да вот такое! — Шабанова отмерила на пальце половину. — Мы какие-то... неразумные, что ли? Каждый из нас занят своими делами, общественными делами. И мы ещё гордимся, что мы — люди занятые! А вникнуть в жизнь человека — тут нас нет. Как будто общее составляется не из отдельного... Заинтересовать Полянина жизнью школы ни у кого времени не хватило. У меня тоже не хватило... Вот и получается: чуть раздастся последний звонок — Полянин портфель в руки и до утра, как ясное солнышко, закатывается за леса. А утром бредёт за свою парту, как на казнь. А что, он плохо учится? По успеваемости он у нас третий ученик. Мог бы и первым быть. А как человек, как парень, как товарищ плох он? Ты, Гужавин, видел как на городских соревнованиях он играл в волейбол? Дай бог нашим признанным сравняться с ним по реакции, по удару, прыжку. А играл он не за нашу команду, играл за лесной техникум! Почему ты, капитан сборной, обошёл его своим вниманием?! А, да что говорить... Если Полянин думает о себе, в этом и мы виноваты!.. Ответственность за прогул я с Полянина не снимаю. Но ты, Обухов, тоже не увлекайся. Оттолкнуть легко. Ты из Полянина друга сделай!.. — Шабанова забросила косу за спину и села, возбуждённая, красивая в своей независимости и убеждённая в своей правоте.

Наступило молчание. И в этом молчании, как неожиданный шелест осин в безветрие, прозвучал голос:

— Я не думаю, что Полянин думает только о себе...

Поднялась Ниночка, вышла из-за парты и встала рядом с Обуховым. Алёшка, растревоженный и немного оглохший от неожиданного заступничества Лены Шабановой, сжался и замер: «Ну, Юрка, держись! – мысленно сказал он в звенящую над ним пустоту. – Сейчас клюнет тебя твой подаренный косач!..»

Ниночка заговорила не сразу. Подобранная, строгая, какая-то очень взрослая в своей задумчивости, она стояла рядом с Обуховым, и яркие глаза её, как два спелых лесных ореха, коричневели под высоко поднятыми бровями. Очень тихо она сказала:

— Мы говорим и говорим о поступке, который случился однажды. Но, права Лена, почему мы не говорим о человеке?.. Я слушала Обухова, — при всегдашней Ниночкиной строгости голос у неё был удивительно мягкий, — а вспомнила вот о чём. Как-то летом я переезжала на пароме Волгу. И вдруг – ливень. Такой, знаете, как будто водопад обрушился! Все – кто куда. А куда – кругом Волга! И вот: кто сумкой себя укрывает, кто плащом, кто под телегу полез, кто под лошадь. А в углу, у перил девчонка – такая вот кроха, в ситчике. Сжалась, дрожит, как мокрый мышонок. Все копошатся, себя укрывают, девчонку не видят. Или не хотят видеть. Сами знаете, какие инстинкты в такой момент выпирают!.. А Полянин – меня он не видел, а я видела его – подошёл, пиджаком девчонку укутал. Так и стоял над той крохой до причала. На причале устроил под крышу и ушёл. Понимаете? И как-то это просто у него получилось, само собой, как будто по-другому быть не могло. Геройства тут нет, сама знаю. А человек открылся. Я не уверена, – голос Ниночки вдруг сломался, щёки прожёл румянец, но она справилась с собой, — я не уверена, – мужественно досказала она, — что Кобликов снял бы с себя пиджак... Если говорить начистоту, то Полянин и сегодня показал себя товарищем. Не все, может быть, догадываются, но я знаю: отвечать сегодня Полянин должен был не один. Вот главное, что я хотела сказать...

Ниночка, старательно не замечая любопытных взглядов, пошла на место, огладила юбку и села.

Вася Обухов хмурил лоб, глядел на фиолетовое горлышко чернильницы.

— Может быть, Шабанова и Нина Денежкина в чём-то правы, — сказал он без прежней уверенности. – И всё же Полянин не всегда достоин себя, — глуховатый голос Обухова набрал прежнюю силу, но усмешка исчезла с его нижней, упрямо выпирающей губы. – Как и у Кобликова. «хочу» у него часто берёт верх над долгом. А это такая слабость, которую комсомольцы себе не прощают. Корень вопроса здесь. Скажи, Полянин, ты с этим согласен?..

Алёшка не в силах был оторвать руки от лица. Он слышал, как за окном гудит и давит на стекло ветер, слышал настороженную тишину класса, чувствовал, что в этой тишине уже нет прежней отчуждённости, но говорить не мог – волнение перехватило горло. И тогда в тишину как будто вплыл приглушённый голос Лены Шабановой.

— Ну, что ты молчишь, Алёша! Мы же тебе не враги!..

Алёшка мог выстоять перед отчуждением, жестокостью, он не умел выстоять перед добротой. Тихий, полный участия, даже какой-то девичьей мольбы голос Лены Шабановой опрокинул его упрямую волю. Что-то рухнуло в его душе, как рушится под напором реки неумело возведённая плотина. По крепко прижатым к лицу рукам полились слёзы. Он рванулся из-за парты, не отнимая от лица рук, пробежал мимо Васи Обухова и скрылся за дверью.

... Он сидел одиноко в углу школьного двора, на мокрой скамье, ветер трепал его волосы.

Из дверей школы вышли девчонки, посмотрели в его сторону, пошептались, пошли к воротам, оглядываясь. Появилась Ниночка с Леной Шабановой, тронула Лену за руку, направилась к Алёшке. Она выбирала место, прежде чем ступить своими чёрными ботинками, аккуратно обошла морщинистую лужу, встала близко – Алёшка видел блестящие острыми носами ботинки и полу её лёгкого плаща, которую она старательно придерживала рукой.

— Алёша, я должна знать, почему рядом с тобой не было Юрочки? – Ниночка ждала, Алёшка не поднимал головы и молчал, сцепив на коленях руки.

— Эх ты! – она сказала это с каким-то радостным укором, рука её опустила полу и качнулась, как будто Ниночка хотела потрепать его за волосы.

Так же аккуратно обходя лужи, она пошла к поджидавшей её Лене Шабановой. Тихо переговариваясь, ступая в ногу по деревянным мосткам, они скрылись за воротами.

Вывалились из дверей возбуждённые ребята, Витька Гужавин отделился, подошёл, глядя в сторону, сказал:

— Решили не давать тебе выговора. Ты того... бери себя в руки. С нами пойдёшь или посидишь?

— Посижу.

— Ну, бывай! – Он дружески толкнул его в плечо и пошёл, неуклюжий, сильный.

Алёшка шёл к Волге серединой мощёной улицы, взбудораженный переменой, которая случилась с ним.

Только что, в пустом классе, у парты Лены Шабановой и Ниночки, его вдруг охватило странное нетерпеливое желание вернуть ребят и девчонок, посадить их снова за парты и, не таясь и доверяясь, рассказать о себе всё. Подобного с ним не бывало. Он откровенничал с мамой, мог откровенничать с другом, но рассказать о себе почти целому классу – подобного желания он ещё не знал.

«Что случилось? – думал Алёшка, перепрыгивая лужи. – Почему для меня вдруг стало важно, что думают обо мне в классе? Разве то, своё, что всегда было у меня, что радовало даже тогда, когда рядом со мной никого не было, разве это, моё, перестало быть?.. Это всё Ниночка. Размалевала героем! Стыд! Стыд, а приятно. И, чёрт возьми, за одно доброе о тебе слово почему-то хочется на самом деле стать хорошим! А, пустое всё. Вот сейчас приду, возьму ружьё, свистну Урала – и на старую вырубку. И всё станет на свои места...»

Так думал Алёшка, стараясь вернуть себя в прежний, привычный мир, в котором всегда доставало ему радостей, но мысли помимо его воли возвращались к собранию.

Алёшка слышал, кто-то идёт за ним. Он прибавил шаг, но и тот, позади, пошёл быстрее. Алёшка обернулся и увидел Кобликова.

— Прёшь, как сохатый, не догнать, — сказал Юрочка, улыбаясь. — Ну, как там, рассудили? Кесарю – кесарево...

Алёшка не ответил.

Кобликов уловил его настроение, шагал рядом молча, заложив руку за борт лёгкого пальто.

— Почему на собрании не был? – спросил Алёшка, смиряясь с присутствием Кобликова.

— А что, обо мне говорили?

— Нет.

— Тут, понимаешь, штука получилась. Дошло до матери: так, мол, и так, за прогул прижать хотят. Естественно, переполох. «Тебе не свято моё имя!» и так далее. Потом, как водится, принесла в школу справку. Вышло, что я ангиной болел. Мне, понимаешь, в самом деле глотать больно было... А на собрание не мог. Если честно, стыдно было бы тебе в глаза смотреть. Грешили-то вместе!.. Спасибо, Матвейч выручил, забрал на тренировку. Директору нашему звон вокруг школы тоже приятен. Лыжные кроссы скоро начнутся... Ну, тебя-то не очень? Жив?..

«Какой же ты! – думал Алёшка, задыхаясь от обиды на ту несправедливость, которую вот сейчас принёс с собой Юрочка. – Какой же ты...» — Алёшка повернулся к ветру, чтобы не видеть Кобликова и остудить горевшее от гнева лицо, и вдруг остановился.

— Слушай! – сказал он решительно. – Иди домой!

— Не хорохорься, у меня к тебе дело, – спокойно сказал Юрочка.

— Дело потом. Сейчас не могу. Понимаешь, ни о чём не могу!

Юрочка пожал плечами, поднял воротник пальто, посмотрел на Алёшку с сожалением.

— Завтра поговорим, что ли?

— Не знаю. Только не сегодня.

Алёшка повернулся, пошёл, почти побежал вниз, к парому. На пароме встал у перил, от всех отвернувшись, угрюмо смотрел на воду. Катерок, что тянул нагруженный паром, с трудом одолевал течение и ветер. Волны били в широкий борт, паром вздрагивал и как будто оседал от ударов. Ветер вырывал чёрный дым из закопчённой трубы, нёс над рекой, вдавливал в провалы волн. Но катерок упрямо тянул, всё ближе подваливал к левому берегу с мокрыми песчаными косами и вёслами на кромке полей.

Алёшка, занятый своими переживаниями, не сразу почувствовал, что рядом кто-то стоит, он подумал, что это Юрочка, не поладив со своей совестью, догнал его. Резко повернулся, готовый на злые слова. Рядом стояла Зойка, обратив к нему круглое, красное от ветра лицо, и всматривалась в него встревоженными глазами.

— Витька сказывал... Тебя обсуждали, да?.. – Зойка улыбнулась виноватой и жалкой улыбкой. – А я туточки призадержалась. Шла из города.

Как Алёшка ни был душевно смят, обижен и зол, он рад был увидеть эту всегда чем-то смешную, сейчас такую трогательную в своей привязанности к нему девчонку.

— Зоинька! – сказал Алёшка, сам удивляясь ласкающему звуку своего голоса. – Как хорошо, что ты здесь! Только ты ничего не придумывай. Я всё понимаю. И давай вот так: постоим рядом и помолчим. Ладно?!

— Давай, Алёша! – обрадовалась Зойка. – Рядом и помолчим! – Она встала близко и, как Алёшка, молча и серьёзно стала глядеть на воду.

— А ты знаешь, Алёш, у тётки Кати летось корова клевером объелась. Лежит на боку, живот как цистерна, и глаза уж закатывает. Ужас! Фельдшера привезли, он трубкой ей живот как проколет! Оттуда дух как пойдёт! Весь плохой дух вышел, живот стал как был. И корова ничего, оздоровилась...

— Зоинька! – Алёшка с трудом сдержался, чтобы не засмеяться. – Мы же договорились!

— Ой, я забыла! Ну, ладно, будем молчать.

Паром снесло вниз, и катерок теперь медленно вытягивал вверх, к причалу, вдоль недалёкого берега. Дым густо накрывал людей и лошадей на пароме, приходилось отворачивать от дыма лицо.

— Алёш, а ты знаешь, в Вал... в Вал... в Валнавине... — Зойка никак не могла выговорить «р». Алёшка, закрываясь от дыма воротником куртки, смеясь, посмотрел на Зойку и только теперь увидел, что у Зойки дрожат посиневшие губы, что она в лёгком платье и шея у неё сплошь покрыта гусиной кожей.

— Ты же замёрзла! – крикнул Алёшка, запоздало казня себя за то, что, занятый собой, совсем не думал о Зойке. – Ах, какая ты! – Зойка смотрела на Алёшку и счастливо улыбалась непослушными губами. – Ну-ка, быстро сюда!.. – Алёшка распахнул куртку и упрятал всю Зойку с её озябшими плечами: девчонка сжалась и замерла под его руками, как пойманный воробушек.

Он бережно придерживал Зойку, стараясь согреть её теплом своих рук, подбородком упирался в витой бублик её тугой косички и с вызовом смотрел поверх её головы на томящихся на пароме знакомых и незнакомых людей. Под вызывающим взглядом он скрывал смущение и благодарную нежность к этой удивительной девчонке из Семигорья.

К Семигорью они не пошли мощёным трактом, а свернули на тропку и вдоль Волги, краем поля, побежали, стараясь согреться. Зойка бежала, по-девичьи крылышками расставив руки, и заглядывала в лицо Алёшки сияющими глазами. Алёшке было по-детски легко и радостно рядом с Зойкой, среди простора и зелени озимого поля. Он как будто забыл, что в его жизни есть ещё не распутанные вопросы, что есть Вася Обухов и Юрочка Кобликов, что впереди у него ещё много обид и душевных тягот, которыми предстоит переболеть. Он не хотел ни о чём помнить. Он только знал, что давно не было ему так легко, как сейчас, рядом с этой ясной девчонкой с чёрными сияющими глазами.

Под нахмуренным небом они бежали, обгоняя друг друга, счастливые от того, что каждый из них не один.

— Мухи! Белые мухи! – кричала Зойка, и прыгала, и, как бабочек, ловила первые быстрые снежинки. И Алёшка, разгорячённый бегом, тоже прыгал и пытался поймать хоть одну неуловимую снежинку на радость Зойке.

Счастливая Зойка убежала в гору, к далёким домам, чернеющим острыми углами крыш.

Алёшка шёл к Нёмде, удивлялся перемене, которая произошла в нём, и громко кому-то говорил: «Ну и день!.. Года не хватит разобраться в том, что сегодня я потерял, а что нашёл!..»

2

— Алёшенька!

Алёшка поднял голову, опять уронил на подушку.

— Ой, мама! Я так спать хочу!..

— Что поделаешь! Надо...

Алёшка сдвинул с себя одеяло, свесил с кровати босые ноги в кальсонах с развязанными тесёмками, хрустнул коленями, встал на холодный пол. Расправляя мускулы, потянулся, зевая, и тут же, прижав к груди руки, бросился к окну. Огород, кусты, забор, деревья – все одинаково белело в предрассветном сумраке. Снег! За ночь первый снег покрыл землю!

Алёшка запрыгал по комнате, выкрикивая: «Снег, снег, снег...» Сонливости как не бывало! Быстро до пояса умылся, оделся. Торопясь и поглядывая в окно, поглотал на кухне прямо со сковороды пшённой каши. Забежал в комнату. Схватил портфель, надел пальто, кепку и выбежал на двор. В глаза ударило белизной, он зажмурился, вдохнул свежий запах зимы и, тихо смеясь, ступил на снег.

Берегом Волги он шёл к перевозу. Волга лежала в белых берегах. И на всю её ширь и длину, насколько охватывал глаз, резко пролегла граница между её извилистыми берегами и водой. Тяжёлая вода медленно двигалась, будто задрёмывала у белых окраин, в её остывающей глубине не угадать было и следов бывшего лета.

Алёшка шёл, бережно опуская ноги на покрытую снегом тропу. Он делал шагов двадцать и оглядывался: с каким-то мальчишеским старанием он заботился о том, чтобы первый в эту зиму его след на снегу был прямым и красивым.

У паромы нос к носу Алёшка столкнулся с Обуховым и Витькой Гужавиным. Он знал, что оба они каждый день возвращаются из школы домой, в Семигорье, но встречался с ними на переправе редко. Они жили по разному графику: Гужавин и Обухов обычно возвращались из школы много позже Алёшки. Теперь у паромных сходен они сошлись, как у дверей дома, и Алёшка даже замешкался, не зная, как держать себя после вчерашнего дня.

— Здорово. С зимой тебя! – первым сказал Витька и, пропустив Алёшку, следом за ним ступил на паром. Обухов молча кивнул. Он держался замкнуто, похоже, он ещё не определил своего отношения к тому, что случилось на собрании.

Витька сунул за пазуху учебники и тетради, завёрнутые в холстину, придерживал их подбородком. Он стеснялся своих длинных рук, торчащих из коротких рукавов старенького пальто, и держал руки в карманах. Он был задумчив, рассеянно поглядывал на Алёшку, как будто хотел о чём-то спросить и не решался.

Под тарактенье катера паром плыл к городу. Все трое стояли у заледенелой, покрытой снегом опалубки, молча разглядывали Волгу. На время ледостава семигорские и поселковые старшеклассники переезжали в город, в общежитие, скоро всем троим жить под одной крышей, и Алёшка поймал себя на том, что впервые думает о самом тоскливом для себя времени без уныния, даже с ожиданием каких-то новых, необычных открытий. Рядом он видел прямой, твёрдый, как будто застывший профиль Васи Обухова и, странно, не ощущал в нём вчерашнего врага.

Обухов, не отводя взгляда от реки, вдруг спросил:

— Как у тебя с лыжами, Полянин? – и уточнил, заметив удивлённый взгляд Алёшки: — В кроссах участвовал?

— Нет. На охоте выхаживал километров по двадцать. А что?

Обухов, не отвечая, смотрел на Гужавина.

— Пойдёт у него с лыжами? – спросил он Витьку.

— Потренировать, так пойдёт... По плаванию он бы его запросто. Обухов и Гужавин разговаривали на языке, понятном им, но ещё непонятном Алёшке.

Алёшка догадывался, что разговор имеет какое-то отношение к давней их заботе, и терпеливо ждал, сочтут ли они его лишним в этом разговоре или признают за своего. Под равнодушием он старательно скрывал неясное ему самому волнение.

— Тут вот какое дело, Полянин, — Обухов хмурился, но своё отношение к Полянину он, видимо, определил и действовал теперь напрямую. — Дело такое. Перед Новым годом начнётся общегородской лыжный кросс. Надо, чтобы кто-то из нас победил Кобликова...

Алёшка откинул голову, и Обухов заметил и настороженный прищур его глаз, и ироническую усмешку на губах, но подчёркнуто не обратил внимания на эти знаки затронутого самолюбия.

— Я не верю в героя без скромности, Полянин! А Кобликов на всех плюёт из своей рамки героя. Исключительность положения вредит ему, как лишняя вода земле. Надо сбить его с чемпионства. Дело не лёгкое. Пробовали обойти его и в беге, и в лыжах – не вышло. На лыжне он бешеный. Техником бьёт. И расчёт у него точен, как у бухгалтера... Не возьмёшь на себя это дело? – светлые умные глазки Васи Обухова без улыбки, в упор смотрели на Алёшку. — Знаем, что дружишь с Кобликовым. Вот и спасай друга!

Алёшка навалился на заледенелую опалубку, глядел, как паром давит и отваливает в сторону тяжёлую воду. Он вслушивался в медленный, округлый басок Васи Обухова и не знал, радоваться ли тому, что Обухов звал его на помощь. Случись такой разговор раньше, Алёшка, наверное, встал бы на дыбы – он не потерпел бы вмешательства в свои отношения с другом. Но между «раньше» и «теперь» было «вчера», было собрание, был Юрочка с потрясшей Алёшку изворотливостью. И это «вчера» стояло не между ним и Обуховым – оно стояло между ним и Кобликовым.

— Как смотришь на такое дело?..

Алёшка повернулся к Обухову. Какое-то время они смотрели в глаза друг другу: Алёшка испытующе, Обухов спокойно, даже как-то тяжеловато, на его упрямо выпирающей губе на этот раз не было обычной, раздражающей Алёшку, усмешки. Оба выдержали взгляд, оба улыбнулись: Алёшка во всё лицо, Обухов сдержанно, углами губ, — и эти их улыбки были как пожатие рук.

— Надо так надо, — сказал Алёшка. — До Нового года ещё далеко!

— Не так уж и далеко! – сказал Обухов. – Ты, Виктор, оформи Полянина в спортшколу. А насчёт особых тренировок я договарюсь. Порешили? – Вася Обухов не скрывал удовлетворения, на минуту посветлело и лицо Витьки. Он пошевелил медлительными крупными губами и посмотрел на Алёшку, и опять Алёшке показалось, что он хотел о чём-то его спросить и не спросил.

Сошли с парома. Охваченные первым морозцем, все трое быстро пошагали улицей в гору.

Алёшка, взбодрённый близостью этих простых, немногословных и терпеливых семигорских парней, ощущал незнакомую и приятную прочность оттого, что по одну руку от него шёл Обухов, по другую – чем-то всегда влекущий к себе Витька Гужавин. Он легко шёл, радостно пружинил ногами и не замечал в своей душевной приподнятости сумрачный, обращённый в себя, взгляд Витьки. Он не знал, что по этой ведущей к школе, знакомой им до каждого камня и забора улице, покрытой сейчас весёлым снегом и уже наезженной обозами, ходить Витьке оставалось недолго.

✍

ПЕРЕПУТЬЕ

1

В метельный мартовский вечер Витька постучал в дом к Макару Разуваеву. Услышал глухой за дверью голос тётки Анны:

— Входи, если добрый человек! Открыто...

Витька как был – в худых кирзовых сапогах, тайком взятых с повети, в старом полушубке и в заношенной батиной кепке с длинным козырьком, с мешком за спиной, в котором лежало полкаравая хлеба, рубашка, пошитая бабкой Грибанихой, да ещё не сношенные ботинки из кожаных лоскутков, купленные ему Васёнкой к прошлой осени, – как был, как собрал себя в дальнюю дорогу, так и шагнул в Макарову избу, встал у порога, с красным лицом, от кепки до штанов забелённый липким мартовским снегом.

Ни Макару, ни его матери, Анне Григорьевне, не пришлось гадать, с чем пожаловал гость: одежда и безнадёжность в лице яснее ясного говорили, что парень собрался не до их избы.

— Далёко? – спросил Макар.

— В город, – глухо ответил Витька.

— И надолго?..

— На всю жизнь...

Макар положил на пол колесо от прялки, с колен сбросил стружки. Заметая сор к подтопку, попросил:

— Мама, соберите поесть. Самовар я поставлю.

Витька угрюмо запротестовал:

— Не буду я. Я проститься... — Он нахлобучил кепку до глаз.

Макар поставил к умывальнику веник, распрямился.

— Иди, — сказал он спокойно. – Только добрые люди выходят в путь с утра.

Он подошёл, снял с его плеч мешок.

Витька сидел за столом, сдержанно ел, не поднимая от тарелки глаз. Макар молчал. Тётка Анна, тоже подсевшая к столу, пыталась расспрашивать его, но Макар с укоризной взглядывал на мать, и Анна Григорьевна замолкала – замолкнет и, как будто осердясь, махнёт на Макара рукой.

Макар помог матери убрать со стола, сел достругивать колесо.

Витька отогрелся, сидел согнувшись на лавке, слушал гул метели за окном, думал, что было бы с ним, не вернись он с поля обратно в село. Он хотел пробиться до леса, переждать метель где-нибудь под ёлкой, но понял, что такую метель ему не осилить. Воротился в село. Но бездомный и среди домов погибает. До батиной избы он добрёл, постоял у плетня, прикрываясь рукавом от снега. Окна и на ветру светили, не мигая. А дом среди белых сугробов был чёрен, как уголь на тарелке.

Капитолина не простила ему поднятую на неё руку. Через два месяца после пасхального дня Васёнка собрала свою одежду в узел, ни с кем не простившись, ушла в дом к леснику Красношеину. Капитолина взглядом проводила Васёнку, встала у порога, долго смотрела на Витьку, будто издали мерила его рост, потом пошла за печь и повесила на стену медный, пробитый молотком таз. Батя не раз брался залатать в тазу дно. Капитолина противилась и упрямо вешала таз на стену, как картину.

Как-то, уж в новый год, они остались одни. Витька занял угол стола. Подклеивал для Зойки порванные страницы в старом учебнике. Капитолина ходила по избе, прибирала, что было не на месте. Поправила на комодке вязаную дорожку, перекинула Зойкину кофтёнку с лавки на бывшую Васёнкину постель. И то от окна, то из угла всё поглядывала на Витьку.

Повозившись у печи, вдруг подошла и поставила на стол тарелку.

— Слышь, книжник, съешь – мёду дам... — сказала она и перекинула через плечо полотенце, навалилась на стол, с кошачьей настороженностью ожидая, что он станет делать.

Витька поднял голову. В первый раз так близко он видел глаза Капитолины: тёмной, как осока, зелени, с россыпью чёрных пятен по округлым краям, они таили в себе что-то от этой режущей травы.

— Ешь, мёду дам! – Капитолина коротким пальцем показала на стол. На белом блюде чернел обломанными краями сизый от пепла уголь. Витька чувствовал, как немеют у него скулы, на висках с болью проступает холодный пот.

Капитолина дрожащей от волнения рукой двинула к нему блюдце, глаза её лихорадочно блестели. Она уже не могла говорить, захлёбываясь словами, шептала:

— Ешь! Мёдом накормлю. Сметаны дам. Баловать буду... Покорись! Руке моей поклонись!..

Витька непослушными пальцами доклеил в книге страницу, сорвал со стены старый батин полушубок. Через огороды, по глубокому снегу, падая, поднимаясь, снова падая, он бежал к лесу.

Он не помнил, как оказался у дома лесника перед собачьей будкой.

Красношеинский пёс Кулак, оскалясь, рычал на него. Чёрный на белом снегу, он был как уголь на блюде, и вся его обида и злость выплеснулись на цепного лесниковского выкормыша. Он отломил от плетня дрын и остервенело заметался перед холёным, с круглым загривком псом. Когда Зойка, торопясь по снегу, подбежала к нему, пёс уже не рычал, дурная пена ошмётками слетала с его оскаленной пасти. Он судорожно дёргал цепь, стараясь достать Витькино горло.

Зойка с ходу дёрнула за ворот с такой силой, что он сел в снег. Выхватив у него из рук палку, в ужасе глядя ему в лицо, она кричала: «Ты что это, дурень несчастный?! Зверюга проклятая!» Она замахнулась палкой, вдруг упала на колени и в голос заревела, клоня к коленям лицо.

Витька поднял Зойку, отряхнул, виноватясь, положил руку на её голову. Он ничего не мог объяснить. Он сам не знал, как одурел звериной лютостью. Видать зло, как зараза, кидается с человека на человека...

— ... Постелить тебе, спрашиваю?..

Витька очнулся от голоса Макара. Макар держал в руках готовое колесо, смотрел на него косящими глазами.

— Какой тут сон, — Витька усмехнулся скорбно. — Может, вам помочь?

— Пожалуй, помоги.

Макар засветил фонарь, сунул в карман коробок спичек. Витька, обутый в большие Макаровы катанки, сенями прошёл за ним во двор. Крытый, как у всех, двор Разуваевых был крепок, даже метель не продувала стены, — но пуст. Ни разгородок, ни скотины, даже коровы нет. Только потревоженные светом куры тягуче проскрипели вверху скрипом колодезного журавля.

— Так безо всего и живёте? — спросил Витька.

— Так безо всего и живём, — ответил ему Макар.

— Как же так?

— Сам видишь: мать стара, у меня — другие заботы. Ничего, обходимся... Тут у меня другое богатство!

Макар навесил фонарь на крюк. Витька увидел верстаки, по стенам за брезентовыми ремнями — пилы, стамески, напильники, киянки, коловороты...

Стружками из корзины Макар растопил печку-самоделку. В железной трубе, длинным коленом уходящей в стену, загудело, от быстрого жара труба стала потрескивать.

— Что ж, давай работать. Держи станину. Покрепче... Мать о старушках печалится. Зима, говорит, длинная, без работы старым – что в гробу. Лажу им станочки...

Макар подтёсывал, соединял пазы, завёртывал гайки. Витька помогал и заметил, что Макар одну и ту же работу делает то правой, то левой рукой.

—левой-то вы как ловко! А ведь вы не левша! – сказал он.

— И левша и правша, – засмеялся Макар. – Запас прочности создаю!.. Подай-ка полешко. Поровнее. Тут клином прижать надо, – Макар отесал клин, рассчитанным ударом загнал в паз станины. – Теперь ладно, – сказал он. – Человеку, друг, прочность тоже нужна. Случись что – при малой-то прочности тебя быстро в стружку завьёт! В жизни есть ещё случайности...

Обострившимся в беде чутьём Витька угадал, что было за словами Макара: Макар говорил с ним, а неотступно думал о Васёнке.

— А вы сказывали – судьбы вытуживают... – дрогнувшим голосом сказал Витька.

Макар всадил топор в берёзовый кругляк, свесил с колен руки и так сидел некоторое время, помрачнев лицом.

— Ты что думаешь, на её судьбе точка поставлена? – сказал он, глядя на Витьку с внезапным отчуждением. – Что от случая – не бывает прочным. Ты это запомни!

Витька хотел сказать Макару, как Капитолина хитро и властно распорядилась Васёнкиной судьбой, но Макар вдруг как-то устало попросил:

— Не надо, Витя. Моё горе – сам огорю...

Молча они собрали станок. Макар опробовал, поставил к верстаку. Плотно закрыл у печи дверцу, отнёс в сторону стружки. Посветил фонарём Витьке, чтобы он не споткнулся на крутой лесенке, в сенях задержался.

— Домой ни в какую?

Витька испуганно глянул на Макара, опустил голову:

— Нету у меня дома, Макар Константинович...

Макар, подняв фонарь, взглядывался в лобастое, упрямо нахмуренное лицо Витьки.

— Ну, ладно... – сказал он.

Макар уложил Витьку на свою постель, поверх одеяла накрыл тулупом.

— Тулуп не скидывай, – сказал он. – К утру избу выдует... Ну, спи. Утром вместе помудрим... – Он потрепал его по волосам и ушёл в кухню.

Витька лежал, выпростав руки на тулуп, на ум прикидывал завтрашний день. Дальше чем до райцентра, за Волгой, он не ходил и даже не знал, как долго добираться ему до большого города. Говорили, на хороших лошадях дня три, с обозом – все четыре.

«Ладно, март не зима, дорога – не вопрос, — думал Витька. – Город вот! Там, говорят, в домах заплутаешься! Да и чужака небось не пирогами встретят... Человек бы знакомый оказался! Нету. Даже Лёшкин отец и тот развёл руками. «В Москве, говорит, с удовольствием. Примут, помогут. А в области – нет, не приобрёл знакомств».

Ну-ка, а что как прямо до Москвы?! Повидаю завтра Лёшкиного отца, скажу: так, мол, и так – с надеждой на ваши слова... Не отступится? Не должно. Отец у Лёшки серьёзный...»

После вчерашнего разговора с Алёшкиным отцом Витька укрепился в надежде, что и большие города не без добрых людей. Вообще Лёшка и отец его зародили в захладавшей душе Витьки мечту о завтрашнем дне.

Лёшка расстроился, когда он зашёл проститься перед дальней дорогой, так растерялся, что и руки опустил.

— Папа! Да папа же!.. – звал Лёшка.

Отец его появился в валенках, старом пиджаке, надетом поверх белой натальной рубашки, в руках была у него развёрнутая газета.

— Что за нетерпение! – сказал недовольно и как-то колюче оглядел Витьку. – В чём дело?

Лёшка говорил ему, от волнения сбиваясь и торопясь, и всё повторял:

— Надо помочь Вите. Помочь надо, папа!

Отец выслушал Лёшку, скатал в трубку газету, сунул в карман пиджака, пошёл в угол, к печи, прижал ладони к её округлому, обтянутому крашеным железом боку и так стоял, не то греясь, не то думая.

— Ты, Гужавин, в девятом? – спросил Лёшкин отец. – Могу предложить без экзамена на второй курс. Стипендия двести рублей. Общежитие. Через два года – техник-лесовод или таксатор. Самостоятельная, прямая, ясная рабочая дорога. Устраивает?..

Витька почувствовал за этими вроде бы сухими словами участие, едва не всхлипнул, но от предложения отказался.

— Спасибо вам, — сказал он. — Только не с руки мне тут, в Семигорье, оставаться. Местность надо сменить...

То, что было потом, вконец расстроило Витьку: Лёшка принёс ему сто рублей на дорогу. И не хотел брать, отказывался, но Лёшка, осердясь, сунул деньги ему в карман.

— Небось полвелосипеда тут? — спросил с неловкостью Витька, но Лёшка только махнул рукой. С велосипедом у него никак не получалось — второй год мечтал, деньги собирал, а не приобрёл, не поехал...

Витька тихонько придвинул к себе табурет, пощупал в кармане куртки деньги. Он очень боялся их потерять. Уже засыпая, подумал: «Ничего, заработаю — куплю Лёшке велосипед...»

...Витька заспанными глазами всматривался в незнакомый потолок, и полка с книгами была ему незнакома. Повернул голову, увидел Макара. Макар сидел за столом, книгой отгородив от него огонь лампы. В пальцах его шевелилась тонкая ученическая ручка. Время от времени он осторожно опускал ручку в пузырьёк с чернилами. В синеве морозного рассвета, сумеречно осветившей замёрзшие окна, и в жёлтом свете горящей на столе восьмилинейной лампы Витька хорошо видел Макара: прямой, сильный, будто из меди вылитый лоб, короткий, с раздутыми крыльями нос, широкий неуступчивый подбородок, по бокам рта невесёлые складки. Макар шевелил губами, без звука повторял слова, которые вписывал в бумагу.

Витька лежал тихо, поглядывал на Макара, слушал, как в печи трещали горящие поленья и тётка Анна переступала там, за печью, то звякала ковшом по ведру, то скребла кирпичный под, подвигая чугунок к огню, порой не слаживала, стучала концом ухвата в печь. Витька слушал знакомые звуки проснувшейся избы и тоскливо думал, что там, за печью, могла хлопотать Васёнка...

Макар, подперев рукой лоб, напряжённо читал своё письмо. Витька из-под прикрытых век смотрел на Макара и тревожно ждал, когда придётся подняться и от домашнего тепла, от добрых людей отправиться по заснеженной дороге в далёкий неизвестный путь.

Макар положил ручку пером на пробку пузырька, сложил написанную бумагу.

— Поднимайся, брат. Мне на работу идти, — сказал он, как будто знал, что Витька не спит.

Витька молча оделся, не сразу узнал свои стоящие у стены сапоги: дырки на голенищах были залатаны, носы выправлены. Он взял в руки лоснящиеся ваксой сапоги, увидел, что и подошвы пришиты деревянными гвоздиками, и в каблуки врезаны железные подковки. Увидел всё это и вдруг, уронив сапог и закрыв руками лицо, заплакал. Слезы текли, обжигали пальцы, он ладонью зажимал рот, стараясь задавить всхлипы, но всхлипы со стоном рвались из него. Сквозь слёзы Витька видел, как вбежала испуганная тётка Анна. Макар шагнул ей навстречу, обнял за плечи, увёл за печь.

Витька отплакал свою горечь, выжал из глаз последние слёзы, рукавом насухо вытер лицо. Надел сапоги, хмурясь, вышел в кухню.

Макар снял с вешалки полотенце, накинул ему на шею.

— Умывайся и – за стол, — сказал он, как всегда просто, как будто и не видел Витькиной слабости.

2

Поели молча, не спеша, но и не затягивая. Тётка Анна унесла посуду.

Макар, подтянутый, уже готовый к работе, подошёл к окну, поглядел на дорогу. Он как будто медлил начать разговор.

— Не передумал? – спросил он наконец.

Витька нахмурил бугры-надбровья, упрямо сказал:

— В город пойду...

Макар в досаде пристукнул по стеклу пальцами.

— Город, брат, палочка-выручалочка! И ты не такой уж готовый человек, чтобы в одиночку в городе начинать. Давай, брат, решать по-умному. Пойдёшь в химлесхоз, то не близко и не далёко, за день доберёшься. Есть там хороший человек, мастер Назар Петров. Вот передашь ему, — Макар из кармана пиджака вынул сложенное треугольником письмо. – Назар поможет. Главное – работу подыщет. Ну, как? Доверяешь?..

Витька взял из рук Макара письмо. Серый треугольник был по-солдатски прост и почти весь уместился на его ладони.

— Спасибо, Макар Константинович! – сказал Витька.

Макар шагнул к нему, сдавил сильными руками.

— А то оставайся?! У нас поживёшь... В МТС подучим на шофёра, а то и на тракториста! Всё не одному начинать... Как, брат? – Макар, волнуясь, сжимал Витькины плечи.

Витька с грустью оглядел Макарову избу, как будто ища в избе того, кто должен был бы здесь быть, кого так не хватало этим чистым бревенчатым стенам, этой аккуратно побеленной печи, и, опустив глаза, сказал:

— Нет, Макар Константинович! От дома близко... Спасибочко вам. За всё спасибо. Я пойду.

— Ну что ж! – сказал Макар.

Тётка Анна помогла ему надеть на плечи набитый под завязку мешок, перекрестила:

— С богом, сынок!..

Макар нахмурился.

— Бог не поможет, если сам — не человек! Пошли, Витя, провожу...

Под низким утренним морозным солнцем, по забелённому метелью полю они дошли до развилки дорог. Макар дружески тряхнул его на прощанье, сказал:

— Ну, держись, человек!

Они постояли и разошлись. Макар пошёл к МТС, Витька – по переметённому тракту в теряющуюся за лесами даль, туда, где ещё не ведал о нём старый мастер Назар.



ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА

— Ох, Елена Васильевна! Так рада вам! Проходите в дом!.. – Васёнка домывала крыльцо, но даже в полинялом платье с подоткнутым подолом и тряпкой в руке казалась праздничной. Похудевшее её лицо как будто светилось всегдашней добротой и приветливостью, и Елена Васильевна теперь с убеждённой подумала, что материнство добавило Васёнке привлекательности. На неё хотелось смотреть и смотреть.

— Нет, нет, Васёночка, — сказала она. – В такую жару в дом не хочется. Вы мойте, а я здесь, в тени, с вашей Лариской посижу.

— Посидите. Я враз кончу! – Васёнка ревниво глянула на дочь, сидевшую на траве, у поломанной берёзки, и схватилась мыть ступени.

И опять Елена Васильевна отметила, что и в торопливости её движения плавны, красивы, даже как-то певучи.

Лариска, голенькая, в трусичках, с тёмными, как у Васёнки, волосиками, что-то складывала из гладких оструганных палочек. Её выпуклый, как у матери, лобик и маленькие губы выражали такое старание, что Елена Васильевна, присев перед ней на корточки, рассмеялась. Лариска вскинула удивительной чистоты глазёнки, внимательно посмотрела, как будто не понимая, как можно смеяться, когда вот у неё не получается такая важная работа. И вздохнула совсем по-взрослому. Елена Васильевна достала из сумочки ярко раскрашенную деревянную матрёшку, поставила перед Лариской. Лариска зачарованно застыла, разглядывая матрёшку и не решаясь дотронуться до неё. Елена Васильевна разделила матрёшку, вытащила из неё ещё одну, поменьше, разделила вторую и третью, поставила рядом, и Лариска вдруг радостно хлопнула в ладошки. Она смеялась, захлёбываясь, и что-то лепетала, словно весенний воробушек. Елена Васильевна едва сдержалась, чтобы не затормозить эту милую девчушку – первородное чувство материнской причастности, пусть к чужому, но живому маленькому человеку охватило её.

Васёнка выбежала на солнце, выплеснула из ведра воду в яму, вырытую под изгородью, навесила на жердину тряпку, быстро умылась под ручомойником, висящим тут же, на столбе. Прибрала волосы, оправила платье, подхватила дочь на руки, пристроила на коленях и, радуясь близости родного тёплого существа, прижала Лариску к себе.

— Вся в вас. Вылитая мама! – сказала Елена Васильевна. Она любовалась Васёнкой и – боже! – в эту минуту завидовала её открытой бабьей радости. Она не подумала, что своим простодушием может обидеть Васёнку.

— А мы так хотели, — просто сказала Васёнка. – Верно, Лариска? – она крепко поцеловала её в яркую щёчку. – Ты спасибо тёте сказала? – Она ласкала дочь, и Лариска смеялась и держала перед собой обеими руками матрёшку.

— С какими заботами к нам, Елена Васильевна? – спросила Васёнка.

— Да вот, Васёночка, от Ивана Митрофановича иду. Просит, чтобы спектакль мы поставили к ноябрю. У меня времени совсем нет, а он – знаете ведь его! – уговорил!.. Приду, говорит, сам для Ивана Петровича хлеба испеку. Сколько времени буду печь, столько в клубе будете заниматься! И меня в свой кружок пишите, говорит. Для воспитательных ролей... Вот так говорил, говорил и уговорил! – Елена Васильевна рассказывала про Ивана Митрофановича, будто сердясь на него, но Васёнка с радостью ожидания видела, что она вовсе не сердится, что, напротив, ей приятно то, что Иван Митрофанович не может без неё обойтись.

— Теперь надо пьесу искать, — вздохнула Елена Васильевна, и Васёнка опять почувствовала, что это не вздох сожаления, а новые хлопоты, которые уже охватили Елену Васильевну. – Как, Васёна, вы сможете участвовать в спектакле?

— Можу, как не можу, Елена Васильевна! – с готовностью сказала Васёнка. – Вы бы только и Леонида Ивановича сговорили! Тогда, помните, в этой пьеске про неудачный день он милиционера играл? Ему протокол писать, а он всё под прилавок лезет, колбасу ломает и ест, ест. Стыд – роль-то забыл! Но смеху было!.. Зато потом, Елена Васильевна, не узнать его: ровно в чистом белье неделю ходил! И сговориться с ним лягко было. Как подействовало на него! Поговорите с ним?..

«Как всё до жуткости просто! – думала Елена Васильевна, слушая Васёнку. – Оказаться в одном доме с нелюбимым, наверное, даже неприятным ей человеком, спать с ним, терпеть, наконец, родить от него и теперь вот заботиться о том, чтобы он «в чистом белье ходил» — духовно приподнялся над своей примитивностью! И это Васёнушка, талант которой в каждом её движении, взгляде, слове, будь то на клубной сцене или здесь, с ребёнком на коленях. Она талантлива даже с тряпкой в руках! И рядом – Леонид Иванович?.. Что за сила заставила её простить обидчика, переступившего ей дорогу, и теперь верить в несбыточное, — увы, в несбыточное чудо?..»

Елена Васильевна, может быть, несколько опрометчиво считала искусство чутким зеркалом, в котором верно отражается душа каждого, кто хотя бы ненадолго соприкоснётся с ним. В этом зеркале, в котором Леонид Иванович случайно появился, нельзя было разглядеть даже бледной его тени...

Так думала Елена Васильевна, но в глазах Васёнки было ожидание и такая вера в то, что она, Елена Васильевна, может заставить Леонида Ивановича быть другим, хорошим и добрым, что против своего убеждения она сказала:

— Разумеется, Васёночка! Ему тоже роль дадим... — И, чувствуя неловкость перед собой за эту бесполезную уступку и затронутая чисто женским любопытством, спросила: — Извините меня, Васёна, но я давно хотела спросить: вы счастливы?..

— Какое наше счастье, Елена Васильевна! Было бы в дому всё хорошо, с доченькой ладно. Да люди добрым бы словом отзывались. Леонид Иванович, он ведь живёт сам по себе! Какой-то не озабоченный. Матушки нет. Теперь самой за себя и за Лариску решать. Добра-то хочется, да судьбу разве воротишь?! Вон Леонид Иванович тут как-то разошёлся, берёзоньку поломал. Пню, говорит, не быть деревом... Я так уж переживала. Жалко, у крыльца росла. А что поделаешь? Ломаную не сколотишь... — Васёнка прижалась щекой к Ларискиной головке, и некоторое время сидела так, глядя себе под ноги.

— Ещё хорошо, Елена Васильевна, край у нас ласковый. И люди добрые. А то бы и не жить здесь. В селе свои порядки, все друг дружку видют, на всё свой суд. Когда матушка померла, и батя Капитолину в дом привёл, с ним, как с иноверцем, знаться перестали. Не всякий, конечно, своё осуждение ему казал, но мы-то всё видели, сердцем чуяли! Дом наш обходили даже в праздники, хотя мы пол намывали и пироги пекли. Капке нипочём было, а мы томились, будто сироты бездомные! Нас жалели, к себе зазывали, утешали, как могли. Это с виду люди у нас шумные, друг на дружку кричат, кулаками машут. А коснись чего серьёзного — пообдумают, помогут. Как не ладно с моей жизнью получилось. А не осудили. Батю вот не простили, а мне слова грязного никто не бросил! Как же мне перед людьми-то не тянуться. Вот и стараешься, как лучше. Ведь на глазах всё.

Ладно, Елена Васильевна, моя жизнь — моя забота. Я о чём мечтаю: сделать бы нам такую постановку, чтоб тех, кто со злом живёт, в стыд вогнать! Я про Капитолину. В ум не возьму: откуда в ней такая нетерпимость к чужой жизни! Думала, добром можно из дерева человека сделать. А как оно, добро-то, обернулось! И Витеньку из дому выжила. Зойку я уж к себе взяла.

И Машеньку взяла бы – не отдали. А теперь вот переживаю – как они там с батей? Вдвоём-то, без сердечности, ой как не лягко жить!.. Найдите такую пьесу, Елена Васильевна! Я бы уж постаралась, чтоб по сердцу каждого заскребло. Может, и Леонид Иванович проникнется. Есть такая переживательная пьеса, Елена Васильевна?..

— Пьеса-то есть. Да у нас не настоящий театр, Васёночка!

— А мы сделаем, как в настоящем! Вы же можете, Елена Васильевна. Вы всё можете! Скольких грамоте научили. Клуб при вас ожил. На выступления, ровно в кино, люди идут, стены того и гляди выдавят. Постарайтесь, Елена Васильевна, так прошу вас!..

В задумчивости и в каком-то непонятном ей смущении уходила от Васёнки Елена Васильевна: упорная её вера в людскую доброту, детская надежда на какую-то особенную по своей силе пьесу и трогательная забота о Леониде Ивановиче задели больные места её души. Что-то знакомое почувствовала она в чужой судьбе, и теперь все её мысли сосредоточились на себе.

«А ведь и во мне есть что-то от Васёнки! – думала она, неспешно выходя из села. – И даже наверное. С той, может быть, разницей, что я выбирала сама, сама, подхлётнутая чувством и упрямством, влетела в непонятный для меня мир Ивана Петровича! А дальше – как у Васёнки: покорность обстоятельствам. С той опять-таки разницей, что я живу с постоянной неудовлетворённостью, а для Васёнки нет иного, кроме того, что есть. Что это – житейская мудрость или ограниченность?.. Нет-нет, только не ограниченность. Васёна – богатая натура. Очень! Она сама не знает своего богатства. Значит, мудрость? Извечная мудрость крестьянки, которой привычно то, что есть? И заботиться, и делать добро по сути чуждому ей человеку, всем и всему вокруг?..»

Елена Васильевна шла краем открытой полевой дороги, полудённая жара спадала, ветер с Волги свежил, думать никто не мешал. Она не пошла к мосту через Нёмду – домой просто не могла сейчас идти, — свернула на луговину и, достав из сумочки газету и расстелив на траве, села вблизи прибрежного леска, над водой. В её душе совершалась сложная и важная работа, и ей хотелось эту работу завершить.

Она не впервые ощущала, как под напором событий размывается её устоявшаяся неудовлетворённость своей судьбой. Чувства её ещё упорствовали принять то, что было её теперешней жизнью. Но смысл её бытия всё отчётливее обнажался перед ней, как обнажается под вдруг изменившимся течением реки остов затопленной и давно занесённой песком баржи.

«Васёнка старается о добре, потому что она добра от природы. В этом её житейская забота, — думала Елена Васильевна. — Я тоже стараюсь: о неграмотных, о клубе, постановках. Но почему я стараюсь? Что ведёт меня в Семигорье? Своя забота: хоть чем-то заполнить пустоту своей жизни, быть среди людей, чтобы не отупеть от домашних забот. Я стараюсь не для Васёнки, не для тех, кто до отказа наполняют клуб и не дышат, глядя на сцену. Я стараюсь для себя. И, наверное, я вовсе не добра, — думала она, терзая себя этой мыслью. — И люди благодарят меня несправедливо...»

Елена Васильевна, видимо, долго была в задумчивости. Она не заметила, как из леса вышло на луговину стадо и надвигалось медленно на неё с ровным нарастающим шумом срываемой травы. Она заметила случившуюся перемену лишь тогда, когда удлинённая тень легла рядом с ней на траву и знакомый ей голос уважительно произнёс:

— Здоровьица вам, Лена Васильевна!

Семигорский пастух Клоков в пообтёртых о траву лаптях и онучах, крест-накрест перехваченных лыком, в брезентовом плаще, надетом прямо на рубаху, и в картузе, несмотря на довольно-таки ощутимую жару, стоял перед ней.

— Здравствуйте, Аким Герасимович. — Елена Васильевна несколько растерялась от того, что так неожиданно нарушили её задумчивость, но вежливо предложила: — Посидите, если не спешите!..

— Какой у нас спех! — сказал Клоков, усаживаясь рядом и передвигая на колени, висевшую на боку холщовую сумку. — Чем тише двигаемся, тем сытнее коровки. А вы, гляжу, в задумчивости перед рекой?

Да, красиво очень! — ответила Елена Васильевна. Говорить о себе ей сейчас не хотелось, молчать тоже было неприлично. И, всё ещё углублённая в свои мысли, она рассеянно спросила: — Вы, наверное, любите свою работу, Аким Герасимович? Чем же она хороша?

— А вот тем, чем вы сейчас любуетесь, Лена Васильевна! Вольным лугом, водой вот этой чистой. Леском, что в жару спасает, в дождь укрывает да ещё для тебя угощенье сберегает. Не мало?

Елена Васильевна, позабавленная складной речью пастуха, улыбнулась:

— А заботы? Коровы и коровы! Каждый день одно и то же, с утра до вечера?..

— То приятная забота, Лена Васильевна. Я ведь сызмала со стадом. А когда нужным делом занят, оно и в привычке не тяготит. Да и день со днём не схож. Я тут окрест всё оттопал помногу раз, след в след, а не помню, чтоб год с годом сходился! Нету одинаковых, Лена Васильевна, каждый на свой манер, к каждому норовишься.

Аким Герасимович вдруг встал, закричал: «Эй-эй! Николай! Пошире распусти! Пошире!..» — Он наблюдал, как побежал вдоль стада подпасок с кнутом, снова сел.

— Люблю распускать стадо широко! Спокойно, когда рассыпятся, друг дружку не пугают. Гляньте, как идут. Красота!.. У нас, Лена Васильевна, тоже свои секреты накоплены. Со стороны вроде бы что за труд – стадо на луг выгнать. Так со стороны всё просто! Кормить и то надо умеючи. Пусти-ка голодных коров на клевер, да ещё с росой, – сразу объедятся! Мы сначала на вытравленных лугах пасём, простой травкой, потом до болота глубокого гоним – там попьют. Потом посытнее луг дадим. А как к дому идти – к реке подведём. Всему свой черёд.

Понаблюдайте, что они щиплют. Видите: смолку, желтуху забирают, а особенно кашницу зелёную любят. Вот эту жёлтую хорошо кушают, только пока семян нет. Мы её побрякунчиком называем: у неё семена в сухих коробочках, как погребушки, при ветре гремят... Вам, верно, без интереса слушать?

— Что вы! Я вся внимание! – Елена Васильевна на самом деле со всё возрастающим интересом слушала пастуха. Аким Герасимович как будто старался расположить её к своему занятию, которым он жил. Это нравилось Елене Васильевне, она его ободрила:

— Рассказывайте, Аким Герасимович! Пожалуйста!..

— Так о чём говорить?.. Иван Митрофанович как-то сел тут с нами на выпасе, по бумаге подсчитал: одной корове надо пять пудов травы в сутки. На всё стадо – семьсот пудов. Это всё равно что скосить ни много ни мало – четыре гектара! Вот и думай пастух: где прогнать, как прогнать, чтобы обеспечить эти семьсот пудов. Мы с Николаем да с Сашком с ночи день плануем. Иначе нельзя. Участки надо менять да поглядывать: тут овсы, тут клеверище. Скотине только один раз дай попробовать – больно хорошо! – потом не отворишь!

Гляди сюда, Лена Васильевна. Вот первая корова дорогу переходит. Она – вожак. На дороге уже Сашок оставляет вместо себя Николая, сам вперёд вожака торопится.

— О! Вожак – это большое дело. Он научит любого человека, местность знает лучше тебя! Теперь всё стадо на Сашка идёт. А начни вертеть туды-сюды, без плана – волнение у коров произойдёт. Тогда всё. Без души набегаешься, ноги вышагаешь, и рубаху пот съест. Стадо измучаешь, и кнуты не возьмут! Только у нас скотина непоротая, не за что стегать. Каков пастух, таково и стадо!..

У нас, Лена Васильевна, выпас хороший... Завсегда с молоком. Только сейчас стало сохнуть. А бывало, дня два не побудешь, так и травы не узнать. Дождя бы надо. Намедни собрались тучи: здесь три капли бросило, там две дождины упало. Где бы купить дождя – тыщу бы дал!..

Аким Герасимович сделал досадливое движение руками. Елена Васильевна с пробудившимся любопытством наблюдала пастуха. Тёмное от погод лицо Клокова почему-то прежде казалось ей невыразительным, как стена дома. Теперь она видела скульптурную отчётливость его твёрдого лица с глубокими трещинами вокруг крупного, по-стариковски сухого рта и спокойные, не по годам ясные глаза. Аким Герасимович сдвинул кверху картуз, на верхней половине его гладкого, почти без морщин, лба открылась светлая незагорелая полоса.

— Сколько же вам лет, Аким Герасимович? – не удержалась от вопроса Елена Васильевна.

— А вот считай! Мать крепостной у барина была, когда я на свет вышел. Трёх царей пережил. С японцем воевал, с германцем не пришлось. Революцию тут, на своей земле, встречал, колхозы – тоже. Сколько?

— Не меньше восьмидесяти.

— Не меньше...

— Жизнь, наверное, долгой показалась?

— Как один раз в окно глянул! Не заметил годов, Лена Васильевна... — Клоков встал, передвинул на бок сумку. В руках его не было обычного пастушьего кнута, но по тому, как спокойно и с вниманием он смотрел на луг, по которому уходило стадо, чувствовалось, что этому стаду – он хозяин. На своих высоких, слегка подогнутых ногах он цепко стоял на земле и в расстёгнутом плаще, свисавшем с узких, ещё крепких плеч, как будто сливался с лугом, полем и леском, посечённым за долгие годы пастьбы коровьими тропами, и казался частью их.

Елена Васильевна вдруг забеспокоилась, что Аким Герасимович уйдёт. Странно, ей не хотелось сейчас оставаться одной, и с поспешностью и настойчивостью, которую в былые времена сочла бы неприличной, она спросила:

— Аким Герасимович, а о больших вопросах вы думаете?..

— Это о жизни? Как не думать?! И с этого конца, и с того переберёшь, пока за стадом ходишь. Только, как в голове ни ворочаешь, думы к одному: от земли все. Не согласны? Напрасно. Когда бы любой человек со вниманием покопался в своём роду, увидел бы, что с земли вышел. Городские поселения велики, и разны, и по всем сторонам, а кто в них? Из крестьян бывшие. Саму Москву или Питер – кто строил? Мужик с топором да пилой шёл туда, он же потом камни учился тесать. Он же и обживался в городах!..

У меня, Лена Васильевна, два брата: один восьмым был у матери, другой десятым, — сестёр не считаю, те за мужьями попрятались. Оба теперь в городе. Один на заводе, мастером, другой – в учителях. Трое, а разные. Хотя на свет вышли из одного дома, что здесь отцом поставлен. Братья шибко довольны своим выходом в городскую жизнь, а я, сказать, не очень доволен их довольством. Понимаю: рабочий человек теперь в чести, государству первая опора, машины у него под рукой. Образованные люди для жизни тоже очень нужны. А всё же неловко мне видеть: в забывчивости они. Будто не на земле родились, не с этого поля в город ушли! Я так думаю: увязка с землёй должна быть. У каждого. Не в руках, так в памяти: где б ни был, а родительское прошлое забыть не смей!.. Случится война – героев всех повспоминаем. И Муромца Илью, и Микулу – всех вспомним, о родной земле всяк заговорит! А на каждый наш день нешто память не нужна?..

Я, Лена Васильевна, когда повстречаю человека, понимающего народное прошлое как всей духовной жизни корень, так спокойнее делаюсь. Позапрошлым летом с товарищем Степановым довелось беседовать. Наш он, семигорский, оказался в больших начальниках, а беспокойство моё насчёт земных корней и памяти с пониманием разделил. И в речи своей на собрании о том произнёс.

Я не к тому, чтоб назад возвращались, – братья себя там нашли, я здесь к месту пришёлся, на стороннее не зарюсь. Но очень я настойчиво чувствую, Лена Васильевна: забывчивость не к общей пользе ведёт!.. Или не прав я?..

— Нет, почему же!

— И я думаю – прав...

Аким Герасимович ушёл за стадом, Елена Васильевна осталась на берегу одна в ещё большем смятении, чем прежде.

«Что сегодня со мной творится? Я – как у жаркого огня!» — думала она в беспокойстве. Иван Митрофанович, Васёнка, пастух Клоков как будто разворошили то трудное и холодное её примирение со здешней жизнью, которое она сама же установила для себя после Ленинграда. Да, она примирила себя с Семигорьем. Рассудком она откликнулась на заботу Ивана Митрофановича – организовала и повела кружок малограмотных. Как-то помимо её воли к этой заботе добавился клуб: комсомольцы придумали постановку, нашли пьесу, собрали желающих играть, но ставить было некому. Пришли к ней целой делегацией, и настойчивее и горячее всех других её упрасивал Алёша. Она даже подумала: уж не семигорский ли клуб – его судьба? Пьесу она поставила, и неожиданно удачно. Потом новогодний концерт, живую сатирическую газету. Жила в её характере какая-то обязательность перед людьми, перед собой: за что бы она ни бралась, за малое, большое ли, обязательно – чего бы это ей не стоило! – доводила до конца. Если она мыла посуду, не могла остаться где-нибудь на плите недомытая кастрюля или вилка. Если ей заказывали чертёж – а это и здесь случалось не редко, — она передавала его заказчику в такой отточенности и завершённости каждого штриха, что точки ни убрать, ни добавить. В этом проявлял себя характер, доставшийся от отца. И эта её обязательность обернулась тем, что Семигорье признало и приняло её. Она уходила от пустоты домашних дел, а люди, которых она вежливо чуждалась, открывались и доверялись ей.

Теперь Елене Васильевне было стыдно за свою холодность и рассудочность.

«Могла ли я предполагать, — волновалась она, — что откроется среди однообразия этих домов и одинаково серых крыш? Казалось, здесь одна только простота и скучная забота о хлебе. А здесь – великий боже! – здесь всё: и доброта, и талант, и сама мудрость...»

Елена Васильевна вдруг увидела себя с другой стороны, с какой никогда на себя не смотрела. Ещё в девичестве, не без помощи многочисленной родни, она любила воображать себя цветком на дереве жизни. Как ни велико дерево, а яркий на нём цвет – редкость. Она верила в эту свою редкостность и никогда не думала о корнях, питающих цветы. А ведь её корни тоже в земле, пусть не в семигорской, в смоленской, но тоже – в земле! Ни дед, ни бабка не сходили с той земли. Сошёл только отец. Открыл ему дорогу в город всё-таки землешадец дед!..

«Прав Аким Герасимович в своей крестьянской логике, — думала Елена Васильевна. — Люди разбрелись широко, дотянулись до городов и столиц, а корни всех — в земле. И во мне что-то от того Ивана, что не помнил родства. Как это, должно быть, горько. И страшно — для самого Ивана!

Алёша оказался благодарнее. Он много раньше стихийно почувствовал эту не уловленную мной земную тягу. И, кажется, она его укрепила...»

Елена Васильевна с трудом выходила из задумчивости. Теперь она слышала, как журчит на перекате вода, трещат, вылетая из прибрежных зарослей суматошные дрозды. Видела, как на скошенном лугу, будто разбросанные головни, чернеют грачи. Издали донёлся голос Акима Герасимовича: «Эгей, Николай! Заходи, слева-а!..»

На Волге гудел пароход, видимо отчаливал от пристани. И Семигорье наверху, за полями, с красновато освещёнными солнцем купами деревьев и колокольней посередине, само казалось пароходом, упрямо плывущим в синюю даль мимо белых облаков.

Елена Васильевна слабо улыбнулась игре своего воображения, поднялась осторожно, как будто боялась расплескать что-то важное, ещё не устоявшееся в душе, убрала в сумочку газету, на которой сидела.

Она медленно шла вдоль стремительно играющей водой Нёмды, навстречу ей тёплый ветер настойчиво нёс с заливных лугов густой запах скошенных и подсыхающих на воле трав — ласковый, незабытый запах земли!..



У КОСТРА

1

— Ну и костёр! – Алёшка спиной чувствовал холод осенней ночи, а лицо горело. Он знал: сколько бы он ни отворачивался от огня, как бы старательно ни прикладывал холодные ладони к лицу, всё равно он не остудит своих щёк – лицо горело от стыда.

Арсений Георгиевич сидел молча, подняв воротник и подобрал к коленям полы кожаного пальто. Он глядел в огонь и казался ещё более чужим, чем днём, когда впервые появился в их доме.

Алёшка ощипывал утку, рвал из неё перья и, стыдясь смотреть на Арсения Георгиевича, вспоминал, как провожал его на охоту отец. Отец был взволнован и спешил. Он таскал из кухни на стол то пачку чая, то кулёк сахара, то наскоро вымытые под умывальником картофелины. Сам принёс ему из кладовки сапоги. Сам уложил в сумку хлеб и припасы, снял со стены ружьё, в спешке вырвав гвоздь и кусок штукатурки. Алёшка сидел на кровати, с трудом засовывал ноги в уже тесные ему отцовские сапоги, а отец стоял над ним, прижимая к груди ружьё и сумку, и говорил:

— Прошу, очень прошу тебя, помни: Арсений Георгиевич и его брат – большие люди. С ними ничего не должно случиться. Насколько я понял, — отец свободной рукой стащил с носа очки, сквозь стёкла посмотрел на окно, снова надел, неловким движением заправил дужки за уши, — насколько я понял, им не так нужна охота. Им важно побыть на свободе, без официального сопровождения. Я предложил твои услуги. Пойдёте на Атамановские озёра. Заночуете на дубовой гриве, у стогов. Сам не увлекайся. Костёр, обед, прочие неприятности возьми на себя. Прошу тебя, помни: Арсений Георгиевич очень большой человек!

В своей встревоженности отец казался смешным.

— Ты, папа, сядь, — сказал Алёшка, пряча улыбку. – Большие люди есть на работе. На охоте – все охотники!

Отец внимательно посмотрел сквозь очки.

— Думаю, ты будешь иметь возможность убедиться в другом, — сказал он, как будто даже оскорблёно.

Алёшка видел, что отец нервничал, и всё-таки ещё раз, не торопясь, переобулся неловко надетый сапог.

Он оробел, когда в доме появились незнакомые люди. В своём охотничьем снаряжении стоял в углу, у буфета, и не двинулся бы с места, если бы Арсений Георгиевич сам не подошёл к нему. Он подал Алёшке руку, устало сел на стул, расстегнул пальто, снял фуражку, ладонью провёл по начисто выбритой бугристой голове.

— С вами, товарищ Ширяев, мы договорились, — сказал Арсений Георгиевич высокому человеку в сером плаще. — Вы останетесь в посёлке при машине. Мы будем здесь завтра к двенадцати ноль-ноль.

— Но, товарищ Степанов, я не имею права... — Алёшка вздрогнул от резкого чёткого голоса человека в сером плаще.

Человек стоял у двери, закаменев прямыми плечами, пальцы его длинных, свисавших вдоль туловища рук сжимались и разжимались у карманов плаща.

Арсений Георгиевич нахмурился, в досаде пристукнул по столу:

— Я не хотел бы приказывать вам, Николай Николаевич, — сказал он ровным голосом. — Вы должны понять простое человеческое желание побыть с братом наедине. За меня прошу не опасаться. Я не один... — Арсений Георгиевич рукой показал на брата Бориса и на Алёшку.

Борис Георгиевич, заложив руки за спину, стоял у полки, рассматривал корешки книг. Он был похож на Арсения Георгиевича, только был выше, суше и по-военному подтянут, короткие, с сединой волосы ёжиком охватывали его голову. Он делал вид, что разговор брата с высоким человеком в плаще его не касается.

Когда Арсений Георгиевич сказал: «Я не один» — и рукой показал на Бориса и на него, Алёшка увидел, как пронзил его взглядом человек в сером плаще. Человек прощупывал его взглядом какой-то миг, но за этот миг Алёшка почувствовал себя раздетым и вывернутым наизнанку. Доверия у человека в плаще он не вызвал, его сухое лицо не смягчилось. Человек в плаще сделал шаг к Арсению Георгиевичу, заученным движением опустил руку в карман и на раскрытой ладони протянул пистолет.

— Прошу вас, товарищ Степанов, взять оружие! — сказал он резко и чётко, как будто зачитал приказ. Арсений Георгиевич вздохнул.

— Ладно, Николай Николаевич, ради вашего спокойствия, — он положил пистолет себе в карман. — Идите, устраивайтесь. Будем завтра к двенадцати.

Алёшка понял: человек в сером плаще охранял жизнь Арсения Георгиевича, и то, что не мог сделать отец своими взволнованными наставлениями, сделал пистолет, открыто, на глазах, протянутый Арсению Георгиевичу. И, когда отец, провожая, тревожно шепнул: «Смотри, прошу тебя!» — он понимающе сжал отцовскую руку.

И вот заря отошла, страсти улеглись. Он сидит, ощипывает утку и, как погорелец, выкапывает из пепелища остатки своих добрых намерений.

Пока они шли на озёра, он всё обдумал. Он скрепил своё сердце и повёл Арсения Георгиевича на свой заветный камышовый мысочек. Вёл и оглядывался: его так и подмывало сказать, что он уступает лучшее зоревое место! Он не сказал, показал мысочек и молча, удалился, предоставив Арсению Георгиевичу самому оценить его жертву.

Борис Георгиевич отказался от услуг и ушёл бродить, Алёшка сам был не прочь походить по берегам. Но он помнил, что Арсений Георгиевич не должен быть один, и остался невдалеке, на поросшей осокой болотине, где мало было надежды перехватить даже чирка.

Смотреть зарю, не снимая с плеча ружья, невесело! И всё-таки он держался, пока тихо остывающая заря в какой-то неуловимый миг не переломилась на ночь. Высоко в небе, волнуяще шелестя крыльями, прошла первая плотная волна кряковника. На дальних озёрах ударили выстрелы Бориса. Гулко сдуплетил Арсений Георгиевич. И Алёшка как будто услышал, как внутри него, коварно звякнув, сорвался крюк. Он стащил с плеча ружьё и, проклиная свою неживую болотину, ломая кусты, пошёл, почти побежал к озеру, где был Арсений Георгиевич. Он не остановился даже на берегу. На виду у Арсения Георгиевича он влез в воду и выставился перед ним, как в поле столб. И сразу же увидел утку. Утка летела от Волги, долиной Нёмды, на чистом закатном небе она казалась точкой. Точка перемещалась, увеличивалась, по ровности и тяжести полёта уже можно было определить, что летит кряковая утка. Она шла к нему. Но прежде она должна была пройти как раз над мысом, где стоял Арсений Георгиевич.

Оттого, что Арсений Георгиевич стоял лучше и потому счастливей его, Алёшка вмиг загорелся ревнивым и — он знал! — несправедливым чувством. До оторопи, до испарины на лбу он ненавидел в тот миг затаившуюся в камыше кожаную фуражку.

«Миленькая, ну, хорошенькая! – шептал он, чувствуя, как от напряжения немеют губы. – Не лети на мыс... там всё, там тебе конец... Ну, отверни! Ну, лети сюда, ну, сюда...» Радостная дрожь бежала по его плечам: он видел, что утка по-над водой обходит мыс. Вот она круто повернула и теперь, снижаясь, шла к нему, в залив, над кромкой камыша. Боясь моргнуть, он уже поднял ружьё, готовясь к выстрелу, и тут увидел, как утка вздрогнула. Ещё не ослабев крыльями, она, как будто нехотя, закинула на спину голову и с какой-то уже не зависящей от неё плавной стремительностью круто пошла вниз.

Ему казалось, что уже потом, после того как утка шлёпнулась в воду, тяжестью своей расколов отблёскивающее стекло залива, он увидел всплеск огня над камышом и услышал сам выстрел.

Арсений Георгиевич не вышел, не подобрал утку. Алёшку долго дразнил чёрный бугорок на глади сумеречной воды. И когда его вдруг накрыл шум и свист и чирки, летящие плотно, как стая скворцов, пронеслись над ним и, планируя и покачиваясь на острых крыльях, стремительно пошли на посадку к кромке камыша, под выстрелы Арсения Георгиевича, он не сдержал себя. Он выстрелил, не успев даже выцелить кого-нибудь из стаи. Чирки, как тени, взмыли над головой, их будто сдуло с бледного неба. Это было уже слишком. Таких поступков не прощают даже на охоте. Он стоял, вобрав голову в плечи, и ждал, когда донесётся из камыша сердитый окрик.

Арсений Георгиевич молчал. Тогда Алёшка тихо вышел из воды на берег и укрылся в сумрак кустов. Он стоял, остывая от возбуждения, и чем больше остывал, тем яснее сознавал, что натворил. Лучшее, что он мог бы сейчас сделать, это идти к стогу и заняться костром. Но идти он не мог. Он хотел прощения и стоял в кустах, как привязанный, робко выглядывая в камышах Арсения Георгиевича.

Небо над Семигорьем выцвело, стало как стираное полотно. Над чёрным горбом леса тьму прокололи звёзды. И лишь в той стороне, где была заря, среди неподвижных травяных наплывов, ещё светила вода.

В дальнем, закрытом темнотой конце поймы, где был Борис Георгиевич, ударил выстрел.

«Это – последний», — подумал Алёшка и увидел уток. Утки, укрытые темнотой наступившей ночи, летели низко и спокойно, их не было бы видно, если бы не отсвет зари на воде.

Утки подошли к мысу как раз там, где стоял Арсений Георгиевич. Алёшка, замерев, ждал, когда над камышом сверкнёт огонь и одна или две утки камнем падут в воду. Утки мучительно долго разворачивались над камышом и наконец, пошли на Алёшку. «Сейчас выстрелит», — подумал Алёшка и вдруг услышал тихий предупреждающий окрик:

- Берегись, Алексей!..

Он торопливо стащил с плеча ружьё, взвёл курки. Он вглядывался в сумеречное небо, как в воду, до рези в глазах, и видел, как, увеличиваясь в размерах, приближались к нему утки: они сдерживали полёт и снижались, выбирая место сесть.

Тёмные пятна переместились, сменились местами, сошлись в едва различимую полоску. Алёшка вскинул ружьё и, почти теряя из виду эту живую тающую паутину уток, раз за разом выстрелил из обоих стволов.

В наступившем вслед за выстрелами звенящем ожидании, когда мгновение растягивается в вечность и сердце повисает между отчаяньем и восторгом, он услышал два тяжёлых шлепка в воду. Будь он один, он тут же бросился бы к упавшей добыче. Буровя ногами воду, зачёрпывая в сапоги, он торопливо лез бы в глубину до тех пор, пока руками не сжал бы податливые, ещё тёплые утиные шеи. Но рядом был Арсений Георгиевич. И Алёшка, слыша, как одна из упавших уток бьёт крылом по воде, всё-таки стоял и ждал.

— Молодец, Алексей! – услышал он тихий, отчётливый в ночи голос, и тяжесть свалилась с его души.

Он подобрал с воды уток и почувствовал, как оттянули они руку. Это были селезни. Даже в темноте он разглядывал черноту их голов и ошейники.

Ощупывая и радостно прижимая к себе добычу, он постоял на берегу, потом медленно пошел к дубовой гриве, зная по доносившемуся разговору, Арсений Георгиевич и Борис уже на месте. Он подошёл к стогу, на виду у Бориса Георгиевича небрежно уронил селезней на землю. Он видел, что Борис Георгиевич присел на корточки, с интересом поднимал и ощупывал его трофеи. Он ждал, что сейчас его спросят, как добыл он таких красавцев, и, умеряя торопливость рук, нарочито медленным движением стаскивал через голову ремень ружья. Он отошёл к дубку повесить ружьё, и тут руки его наткнулись на тяжёлую связку уток. Задрожавшими пальцами он лихорадочно пересчитал головы. Шесть уток Бориса! И рядом на верёвочке утка Арсения Георгиевича.

Он не решался выйти из-под дуба.

— Арсений, иди, погляди, каких селезней Алёшка прихватил! – услышал он голос Бориса.

— Это очень важно? – сдержанно отозвался Арсений Георгиевич. Он налаживал костёр, в свете разгорающегося огня виднелась его неподвижная квадратная спина и голова в фуражке.

— Думаю, да! – сказал Борис со значением.

Арсений Георгиевич подошёл, поднял селезней так, что отсвет заиграл по их серебристым брюшкам.

— Хороши! Удивляюсь, как Алексей разглядел их в темноте! – Он подвязал селезней на верёвочку, повесил на дубок рядом с другими утками. – Славные трофеи!

Алёшка хорошо помнил, что именно в ту минуту он почувствовал, как запылало его лицо. Он понял, зачем Борис позвал Арсения Георгиевича, и понял, что сказал Арсений Георгиевич: он не отделил от себя и Бориса его, Алёшку, и хотел, чтобы он тоже не отделял себя от них. Он вспомнил, что и этих-то двух селезней, по сути дела, подарил ему Арсений Георгиевич, он сам мог стрелять по ним, – и стыд опалил его от головы до сердца.

Арсений Георгиевич, видно, хорошо понимал состояние Алёшки. Он дал ему время овладеть собой и скорее серьёзно, чем шутливо, сказал:

— Надо, товарищи, что-то варить! Я голоден, — он развёл руками, как будто извинялся за свою человеческую слабость. – Думаю, на это дело мы употребим эту вот дичь... — Он отвязал свою утку. – Борису надо похвастаться в Москве, Алексей должен порадовать домашних...

Борис сделал движение возразить, Арсений Георгиевич заметил это и неожиданно жёстко сказал:

— Всё правильно, Борис. Домой я попаду не скоро.

Борис Георгиевич взял топор, ушёл за дровами. Как только Борис ушёл, Арсений Георгиевич замкнулся. Поднял воротник, руки засунул в рукава, сидел неподвижно и молча, как одинокая осенняя птица. Алёшка не решался нарушить молчание, ощипывал утку, хмуро кидал перья на траву и мучился раскаяньем.

Нагретый воздух поднял с земли пёрышко, втянул в костёр. Перо вспыхнуло и упало, как опалённая бабочка. Алёшка перестал ощипывать утку, ногой подвинул ближе к костру лежащие на земле перья.

Ещё одно перо взлетело и вспыхнуло, за ним ещё одно.

Стоило передвинуть перья за какую-то невидимую границу между холодом и теплом, как жаркий воздух подхватывал их и палил в огне.

Теперь уже нарочно он швырнул горсть перьев в огонь и с любопытством смотрел, как они вспыхивали и с треском разлетались по сторонам. Он подхватил ещё горсть и тут увидел, что Арсений Георгиевич смотрит на него.

— Не дело делаешь, Алексей, — сказал Арсений Георгиевич.

Он вытянул из кармана газету, на газету собрал оставшиеся перья, аккуратно завернул, как заворачивают порошки.

— Домой отнесёшь. Елена Васильевна тебе же в подушку добавит. — Он поднялся, прошёл мимо растерянного Алёшки. Около освещённых огнём кустов он ходил, как ходит из угла в угол человек, стараясь заглушить зубную боль. Шуршала трава под его сапогами.

Арсений Георгиевич вернулся к костру, сел на валежину. Палкой молча поправил горящие сучья.

Алёшка дочистил утку, бросил на траву, отошёл, счищая с колен пух. Арсений Георгиевич поднял тушку, растянул за лапки, стал опаливать.

— Что, Алексей, охотой недоволен? — спросил он.

— С собой недоволен. — Алёшка расстроено махнул рукой.

— Это хорошо.

— Чего уж хорошего!

— Что умеешь быть недовольным собой.

Вытянув руки, Арсений Георгиевич поворачивал над огнём тушку и отстранял себя от жара. Его крупное лицо с буграми лба и тяжёлым подбородком в свете костра багровело, и видно было, ему стоило усилий вот так, на вытянутых руках, держать над жаром и поворачивать утку. Тушку Арсений Георгиевич опалил чисто, дощипал в ямках под крылами остатки перьев, на что у Алёшки никогда не хватало терпения, потёр всю ладонями и, любуясь, положил на полешко, тугую, чистую, весёлую, как подарок.

— Теперь можно потрошить, — сказал Арсений Георгиевич.

Алёшка посмотрел в холодную тьму, поёжился, вспомнил, что где-то в темноте ходит Борис Георгиевич, отыскивая для дров сушину, взял тушку, ведёрко, пошёл к озеру.

Когда вернулся, на полешке рядком лежали пять освежёванных картофелин и блестящая, будто водой умытая, луковица. Арсений Георгиевич порезал картофель в ведёрко с водой, положил туда куски утки, луковицу, бросил ложку соли, навесил ведёрко над костром: всё он делал так ловко и быстро, что Алёшка даже не нашёлся, в чём ему помочь.

— Не казись, — сказал Арсений Георгиевич. — Я картошку чищу — прошлое вспоминаю. Гражданскую. Походы. У костра побыть — мне в радость.

Он насовал вокруг навешенного на перекладину ведёрка сучьев, сел спиной к толстой ольховине, снова замкнулся. Алёшка прилёг у костра. Он сейчас чувствовал неловкость, хотя Арсений Георгиевич его ни в чём не упрекнул. Этот человек беспокоил его совесть даже своим молчаливым присутствием.

Алёшка не знал и не мог знать общественную величину Арсения Георгиевича Степанова: то, что Арсений Георгиевич делал для общества, было за пределами его восприятия. О том, что этот человек значил для государства, Алёшка мог судить только по необычному состоянию отца и по настороженности того плечистого человека в плаще, который, как тень, сопровождал Арсения Георгиевича в посёлке.

Теперь он видел Арсения Георгиевича на охоте и чувствовал, что Арсений Георгиевич другой, не такой, как сам Алёшка. И чем яснее он сознавал свою непохожесть на него, тем больше и непонятнее тревожился.

«Что он за человек? — думал Алёшка, щекой приминая жёсткую траву к холодной земле. — Забота ему думать, вернусь ли я домой с дичью, притащу ли матери лишнюю горсть пуха? Я ещё двадцать раз приду сюда! А он единственный раз выбрался на охоту и думает обо мне. Зачем он на меня пропустил селезней? Наверное, ему тоже хотелось стрелять? И, наверное, он умеет радоваться удачному выстрелу?.. Юрочка Кобликов мне друг. Но, будь он на месте Арсения Георгиевича, он не подумал бы обо мне. Так стеганул бы этих уток, что забыли бы дорогу на озёра!..»

Алёшка думал об Арсении Георгиевиче, о себе, Юрочке Кобликове, и проклятый вопрос, который в самые неожиданные минуты жизни нависал над ним, как готовая упасть скала, сейчас рушился на него. Ну как жить? Как поступать, когда ты как лодка в волнах, и каждый час тебя швыряет от хотения к желанию, от желания вообще к какому-нибудь дикому порыву?!

Хорошо Юрочке, он не обременяет себя совестливыми думами. Живёт – и чёрт ему слуга: «Хочу и – всё!..» А я – только рванусь и тут же сам себя хватаю за шиворот: «А хорошо ли?.. А может, не надо?.. – и пошло и поехало!.. Но как же, всё-таки надо?!»

— Арсений Георгиевич! – Алёшка поднял голову и не узнал Арсения Георгиевича. Даже в красноватом свете костра лицо его было белым, закрытые глаза как будто ввалились, чернели в тени козырька кожаной фуражки. Он поднял голову, с трудом открыл глаза, смотрел на Алёшку, как смотрят после темноты, привыкая к свету.

— Слушаю, — сказал он хрипло, голос его сломался.

— Я хотел... Что с вами, Арсений Георгиевич?

— Слушаю, говори, — на этот раз голос его прозвучал ровно и твёрдо.

— Я хотел спросить... Может ли человек поступать и вообще жить, как хочет?

К лицу Арсения Георгиевича прилила кровь, лицо теперь багровело в отсветах огня. Из-под козырька фуражки тяжело и недобро смотрели его глаза.

— Сам что думаешь? – Арсений Георгиевич не сводил глаз с огня. Алёшка молчал. Но Арсений Георгиевич с настойчивостью и нетерпением, которое странно было чувствовать в этом сдержанном человеке, повторил:

— Что сам думаешь?

И тогда Алёшка с неожиданной решительностью сказал:

— Думаю, наверное, не так, как надо. Но всё равно скажу. Я, Арсений Георгиевич, живу, как заяц на гону: хочу одно, делаю другое. Приходит утро, мама будит: «Алёшенька, вставай! Пора в школу!» Мне не хочется ни вставать, ни идти в школу. А я встаю, иду. Домой вернусь, вижу – мама тащит ведро, огород поливать. Мне ничего не говорит. Она у нас такая: никогда не скажет, всё молча, всё сама. Но я-то вижу! Мне совестно. Иду грядки поливать, дрова таскаю – через «не хочу». В школе тоже сплошные «надо»: «Давай, Полянин, стенгазету выпускай!» Или: «Куда заспешил? Давай на собрание!» А мне, как скажут «давай», «надо», тошно делается, как после касторки. Так и тянет схватить ружьё да в лес! Вот и думаю: может человек быть свободным? Может или не может жить, как хочет?! У меня есть друг. В школе со мной учится. Охотник. Даже какой-то бешенный на охоте и вообще... Он говорит: «Надо жить сердцем!» То есть делать то, что хочется. А как делать? Хочется свободы, хочется бродить по лесам, а меня «надо» гонят по кругу, как зайца!

Арсений Георгиевич ворохнул костёр палкой так. Что искры прожгли чёрное небо.

— А ты попробуй! – его голос был до неузнаваемости глух. – Попробуй! Схвати ружьё да в лес...

— Пробовал. Три дня здесь, на озёрах, с другом вольничали. А возвращаться всё равно пришлось. И на собрании пропесочили...

— А ты бы всех этих, кто собрания придумывает, послал подальше. Чего они твою свободу ограничивают!

Алёшке колюче усталился на Арсения Георгиевича, увидел, как холодны в тени козырька его глаза и откровенно насмешливы твёрдые губы, опустил голову.

— Зачем вы так, Арсений Георгиевич! – сказал он, голос его дрожал от обиды. – Я же понимаю, человек не может быть один! Я ждал, вы объясните... Мне, в самом деле, не всё равно. Не может же человек каждый день и час выбирать между «хочу» и «надо»! Должно же тут быть какое-то соотношение!.. А вы сразу с насмешкой...

Арсений Георгиевич затёр о землю загоревшуюся палку, отбросил её, опираясь руками о колени, встал. Походил, прислушался, уловил стук топора, вернулся к костру.

— Ладно, Алексей, прости, ежели обидел. Я немного не в себе. Ты тут ни при чём... А тебе вот что скажу. В поездах ты, надо полагать, ездил. Железный порядок на дорогах знаешь. Представь, что с поезда тебе сходить среди ночи. Ты можешь спать, ты знаешь, проводник тебя разбудит, проводит из вагона. Можно так ехать, так жить. Можно по-другому. Брат Борис, например, не терпит проводников. Проводник идёт поднимать его – Борис навстречу в полной готовности: одет, умыт, побрит. Как видишь, даже из вагона можно выйти по-разному. В одном случае тебя заставляют выйти, в другом случае, где надо, ты выходишь сам. «Хочется» — штука скользкая. Вроде арбузной корки. Ступишь – ноги разъезжаются. Штаны можешь порвать. А то и голову разбить...

Суп в ведёрке бурлил, пена ползла по закопчённому боку, шипела на горящих сучьях, Арсений Георгиевич склонился, ложкой вылавливал пену в огонь. Потом он слегка разгрёб под ведёрком костёр, сел поудобнее опять к той же ольховине, Алёшка уловил на себе его внимательный взгляд.

— Удивляйся не удивляйся, – сказал Арсений Георгиевич. – Насколько помню, в своей жизни мне не приходилось выбирать между «хочу» и «надо». И не старался – так получилось: хотел того, что надо. Помню, Колчака, потом японцев воевали.

Надо было – я воевал, хотел воевать. Кончили воевать, меня из дивизии в промакадемию послали. Учиться, сказали, надо. Поехал, тоже не ломал себя. Потом завод строил. Недалеко отсюда, на Волге. Тоже хотел, чтобы у того завода трубы скорее задышали. Может, не у каждого «хочу» и «надо» — враги?.. Что себя ищешь – это хорошо. Всё же главное, думаю, не твои желания и не борьба с желаниями, а цель. Цель и характер определяют человека. И ещё – долг.

Арсений Георгиевич, тужась, стащил с ноги сапог. Размотал мокрую портянку, босую ногу пяткой поставил на полешко. От ноги и портянки шёл пар. Алёшка видел бледную ногу с мозолями на пальцах, суконную портянку с округлым чёрным следом пятки, и было ему до слёз обидно, что, начав такой важный разговор, Арсений Георгиевич слишком уж по-домашнему держит в руках перед огнём портянку, слишком уж с будничным видом, улавливая жар костра, шевелит пальцами босой ноги.

— Ты, Алексей, к слову сказать, не так уж слаб, как себя представляешь. Идти к озеру утку потрошить тебе не хотелось. Вода холодная, темно, руки мокрые, в крови, – что говорить, у костра приятнее! Ты всё-таки пошёл... Осознанная необходимость даёт ощущение свободы. Это сказано навечно. Хотя история мучается этим вопросом, пожалуй, с тех пор, как объявился человек...

В ночи слышался шорох, царапанье. Арсений Георгиевич поднял голову. Насторожился Алёшка. В свет костра вошёл Борис, волоча две зажатые под мышками длинные лесины.

— Ну, Алексей, топор у тебя! Мухам головы рубить! – Он уронил лесины за костром, отряхнул рукава полувоенного френча, поглядел на Алёшку, на Арсения Георгиевича, усмехнулся:

— Ну и лица! Не охотники – сибирские старoverы. Над чем колдуете?..

— Толковали о жизни, — сказал Арсений Георгиевич, не принимая шутку брата.

Борис сокрушённо покачал головой.

— Утку-то хоть без философии варите? – Он присел к костру, горячей веткой осветил булькающий в ведёрке суп, острым насмешливым носом втянул в себя парок. – Вроде дичью пахнет. Ну, давайте есть!..

Все трое ели из одного ведёрка. Алёшка стеснялся, сдерживая себя, хотя был голоден. Арсений Георгиевич огненный, с пылу-жару, суп ел, не обжигаясь, ел молча, сосредоточенно. Борис достал четвертинку, налил в кружку.

— Выпьешь, Арсений?

Арсений Георгиевич покачал головой.

— К месту, да не ко времени. Кое-что обдумать надо, — сказал он.

— Как знаешь! – Борис выпил и теперь ел жадно, шумно втягивая в себя горячее хлебково.

Алёшка кончил есть первым. Встал, спросил:

— Дров надо?

— Надо. Ночь длинная, — сказал Арсений Георгиевич.

Алёшка рубил принесённые Борисом лесины и думал, как сложны бывают истины, пока не откроют их другие люди. Он чувствовал, что в его душе идёт какая-то ещё неясная и сложная работа, которая его и беспокоила, и тревожила, и радовала ожиданием нового открытия. Он рубил лесину, отирал пот и снова рубил, испытывая восторг победы всякий раз, когда толстая лесина под ударами действительно тупого топора с треском разламывалась.

Борис Георгиевич сходил на озеро, отмыл ведёрко, навесил его над костром для чая.

В чёрной громаде леса над россыпью звёзд ухал филин. Кричали утки.

Арсений Георгиевич опять замкнулся, молча ходил в ночи, заложив руки за спину, шурша травой. Он терпеливо ожидал, когда Борис и Алёшка закончат хлопоты и уйдут к стогу отдыхать.

2

Степанов нащупал в сухой прохладной траве сук, приложил к колену, разломил. Половинки подержал в руках, постучал одну о другую, с радостью узнавания прислушиваясь к вызванному нехитрому звуку. В ночи тихий постук прозвучал, как долетевший из горного распадка топот далёкого коня. В памяти мелькнули затуманенные временем лесные каменистые дороги, полк, растянувшийся по взгорью, заострённые шлемы будёновок, круглые донышки партизанских папах, кони, старательно отмахивающие головами, звяканье удил и топот, по всей Сибири топот конных красных полков, вместе с гулом пушек докатившийся до качающихся вод океана, — лихая молодость, жестокая к себе молодость, отзвучавшая и замолкнувшая на последних дорогах гражданской войны.

Он внёс в костёр разломьши, бережно пристроил на догорающих поленьях. Обочь костра вспыхнула подсушенная жаром трава, он загладил лишний огонь. Белый дым от притушенного жара туманцем повис над освещённой пламенем землёй.

Он покосился туда, куда тянул дымок. В темноте угадывался покатый бок стога, слышать было, как шуршало сено под ещё не успокоившимися людьми. От стога донёсся усталый голос Бориса:

— Иди отдыхать, Арсений! Постель готова!..

— Я ещё побуду... — сдержанно отозвался он. У стога затихли, он знал, что теперь его не потревожат.

В сущности всё, что он сделал за последние двое суток, он сделал для того, чтобы получить вот эти несколько часов одиночества: завтра он уже не сможет думать о себе. Завтра, как всегда, его привычно и плотно сожмут другие дела, самое малое из которых для людей и государства важнее, чем это собственное, его дело. Люди заберут его время, его душевную энергию, его боль. Так будет на следующий, на пятый, на тридцатый день. Если уж он сумел разорвать вечную цепь забот, он должен изжить свою боль в эту ночь.

То, что случилось, не было горем. По крайней мере, так понимал свою боль Арсений Георгиевич. Горе – потеря невозполнимая. К тому же горе – область эмоций. А разбираться в том, что случилось, полагаясь на чувства, — дело бесполезное. Арсений Георгиевич это знал.

Скорее, это была беда, не столь уж редкая среди людей семейных. Про эту, у всех похожую, беду человечество написало много романов. И всё-таки каждый в этой беде мечется, повторяя других.

Степанов не хотел повторять других.

«Наши, человеческие, как доставшиеся нам «расейские», беды все стояли и стоят на том, — думал Арсений Георгиевич, ещё не решаясь думать о своей беде, — стоят на том, что чувства наши стары, как сама земля, и опытни, а разум молод и по молодости прислуживает чувству. Чувства катят любого из нас под ледяную горку, со свистом в ушах! Жить так-то, на чувствах, проще: поманили сладеньким – иди, обидели – бей в морду: сила солому ломит! По молодости да по слабости, по лености разум отступает там, где назначено стоять насмерть... Вот костерок! Слаб огонь — закинешь его охалкой и сухого хвороста. А дай ему время сил набраться – пойдёт всё гнуть, ломать, боры на колени поставит!..»

Всё, о чём думал сейчас Степанов, имело отношение к его беде. Не всегда даже мужественный человек спешит сорвать присохшие к ране бинты. Степанов знал, что сейчас к нему придёт боль, и какое-то время в уже успокоившейся вокруг ночи он ухаживал за костром, готовил себя к неизбежной боли. Костёр горел теперь ладно, жёлтый огонь приседал и покачивался на поленьях, жаркий дымок уходил в сторону, не беспокоил, и Арсений Георгиевич, поняв, что тянуть время теперь уж непростительно, сделал над собой усилие и вернулся к началу беды.

... Вечер. Он только что возвратился из Москвы. Он у себя дома, ещё не остывший от дел, заседаний, от напряжённых дорожных дум. Жена Валя сидит рядом на диване, в их общей комнате. Как всегда после разлуки, рассказывает, как она провела без него почти целую неделю.

Она сидит на диване боком, лицом к нему, по-девичьи подогнув длинноватые ноги. Лицо её в оживлении, в оживлении плечи, укрытые красной вязаной кофточкой, в движении руки.

Рассказывая, она быстрыми, горячими пальцами трогает его пальцы. Старается ему передать свою радость от встречи. Даже в тот вечер Валентина не изменила их старой привычке. Она, как это было у них принято, рассказывала прожитые в разлуке дни так, чтобы он, Арсений, мог хотя бы мысленно провести время разлуки рядом с ней, день за днём, час за часом.

«А хорошо ли мы придумали эту нашу исповедь? – думал теперь Степанов. – Не знал бы, и ладно. Овцы спокойны, волки сыты... Глупо рассуждаю, подло, — оборвал он себя. – Скрытая беда разве не беда? Вдвойне беда. Коли двое сошлись в семью, должны оба проглядываться до донышка. Зачем тогда близость, зачем семья?» Да они с Валентиной и не сговаривались об исповеди! В первую же ночь близости они рассказывали о себе всё. И потом рассказывали. И не оттого, что частые разлуки ставили под сомнение их чувственную стойкость. Просто каждый не вместе прожитый день они ревновали: свидевшись, нетерпеливо ждали откровений. Исповедью они как бы вознаграждали себя за ущербные дни одиночества. Так было в первые годы. Так было через пять и через десять лет, когда их чувства уже не были столь настойчивы, как прежде. Исповедь стала их семейной привычкой, их приятной обязанностью друг перед другом.

В тот вечер, в который пришла к нему вот эта тяжкая душевная боль, Валентина первой исповедовалась в прожитых днях. Он слушал, радуясь её оживлению, пальцами перебирал её горячие пальцы, когда, рассказывая, она дотрагивалась до его рук.

Не мешая ему слушать Валентину, привычно, вторым планом, шли его мысли о только что закончившейся командировке в ЦК, о неотложных делах, которые предстояло решать завтра, о перемещениях в аппарате обкома, которые он давно продумал и теперь получил от ЦК «добро». Дела его были столь неохватны, что думать о них он не переставал даже рядом с женой.

Вдруг как будто раздался резкий звон будильника, сработал какой-то очень чуткий мозговой центр. Он как будто уловил идущую на него опасность, мысли замерли, чувства напряглись. Валентина уже второй раз с новыми и новыми, совсем уже незначительными подробностями настойчиво рассказывала о прожитых без него днях, о всех днях, от первого до сегодняшнего, кроме одного. И чем подробнее, чем настойчивее она говорила о всех других днях, тем всё ощутимее обозначался в её рассказе провал.

Он уже видел – чёрная пропасть зияла на месте того дня, о котором Валентина не хотела помнить...

Он и Валентина жили как две руки одного человека: появишься на одной мозоль или ранка — другая в малейшем прикосновении почувствует то, чего не было прежде. В следующее мгновение они оба уже знали, что то, что старалось укрыть себя в одной душе, уже не было тайной для другой.

Он не видел своего лица, наверное, оно изменилось. Он видел другое. Он видел, как охватившее Валентину оживление, скорее возбуждение, которым она старалась затушевать провал, затушевать тот день, теперь медленно её покидало: побледнело лицо, опустились плечи, вытянулась и застыла на гладкой обтянутой чулком коленке её рука.

Валентина молчала.

У него была возможность не заметить то, что он уже заметил. Ох уж эти спасительные умолчания! Рождённые взаимной трусостью, животной изворотливостью, сколько лжи и грязи замуровали они в семьях плохих и даже приличных! Его семья жила без трусости. В их отношениях не было лжи. Он спросил прямо.

И Валентина сказала всё.

Он знал этого человека, блестящего, как новая портупея, с холодным взглядом крупных навывкате глаз. Адьютант командующего округом. Из молодых, напористый, явный честолюб. Кажется, протезе кого-то из высокопоставленных. Он видел знаки внимания, которые адъютант при случае оказывал Валентине. Видел. Мог вмешаться. И не вмешался. Он считал неприличным использовать своё высокое положение, да и времени не было вникать в суету жизни.

Думал, Валентина справится сама. Она не справилась. То, что казалось суетой, стало бедой.

Теперь он видел: он мог и должен был помочь Валентине. Всё равно он вмешался. Он ускорил события. Он решил сразу поставить все точки над «и».

Утром, в 9.00, он уже звонил командующему. Через два часа его блестящий адъютант отбыл в длительную командировку. Он мог бы это сделать раньше. Не пришлось бы придумывать и себе командировку в район поглуше, искать уединения. Хорошо и кстати объявился брат Борис: отъезд с представителем наркомата, по крайней мере, выглядел законно...

«О чём я думаю? – остановил свои рассуждения Степанов. – Неужто сейчас важно, что и как могут думать обо мне? Шатается собственная жизнь, а в голове – будто у барышни на выданье... Хитришь, Арсений! Боязно тронуть рану, щупаешь здоровые места. Где твоё мужество? Ну!»

Что же, Валентина, надо решать. Для личных драм нам мало отпущено времени. – Степанов мысленно призвал к себе Валентину, посадил у костра. Он тяжело смотрел в то освещённое костром место, где могла сидеть его жена. – Ну, что скажешь? И ты, и я – оба знаем: поступок словом не сотрёшь. Спрашивать, как было – не смею. Хочу знать: почему было?»

Степанов не терпел половинчатых решений. Человек властного ума, он знал: после сегодняшней ночи он и Валентина должны умереть друг для друга, либо жить, как жили прежде, начисто забыв о беде.

«Почему беда всё-таки случилась? – думал Степанов. – Что повело тебя, Валентина? Порок? Любопытство? Слабость?.. Порок и Валентина? Смешно. Любопытство водит праздных. Валентина от своих школьных забот едва ли пару часов в неделю выкраивает на себя. Где тут быть любопытству!.. Слабость? Может быть. Если понимать слабость как уступку чувству. Но чтобы воспользоваться слабостью женщины, нужны обстоятельства. Обстоятельства, видимо, были, адъютант сумел их создать...»

Степанов представил адъютанта. Он наблюдал его однажды в театре, на майских торжествах. То, что адъютант был высок, подтянут, в ремнях и спортивных значках, то, что он поскрипывал и сверкал, как обзеркаленный бархатом сапог, ещё не выделяло его среди прочих военных. Его выделяла надменность и та настойчивость, с которой он искал внимания у женщин. Из президиума Степанов видел в боковой ложе Валентину. На противоположной стороне, тоже в боковой ложе, небрежно облокотясь, красовался адъютант. Его крупное, резких линий, восточное лицо, как прожектор к самолёту, было повернуто к Валентине.

Оно было так отчётливо освещено люстрой и настенными плафонами, так вызывающе нацелено, что Степанову – он помнил это и сейчас — казалось, что в пыльном воздухе, над солдатским строем заполнивших партер голов, он видит острый жёлто-синий луч, устремлённый от лица адъютанта в ложу, где была Валентина. Он видел этот луч, и ему казалось, что Валентина – хотя ни одним движением она не обнаружила себя – тоже чувствовала, что она освещена этим лучом, и знает, что, как освещённый в небе самолёт, может быть расстреляна.

Степанов тогда счёл недостойным себя и Валентины обратить внимание на эти гусарские забавы адъютанта. И когда в перерыве адъютант нарочито поклонился не ему, не областному руководству, которое было вокруг, а Валентине, Степанов только усмехнулся наивной дерзости молодого военного.

Теперь было впору усмехаться собственной наивности.

Кто-то сказал ему: «Женщины бредят кавказским темпераментом адъютанта...» Тогда он не придавал значения и этим словам. Он отнёс их к тем женщинам, жизнь которых – модные шляпки, туфли, пикантные истории и анекдоты. Он отнёс их к тем, достойным сожаления, женщинам, которым незнакома высокая страсть полезных дел. Валентина по разуму была выше. Шляпки, туфли мало увлекали её; если ей приходилось слушать пикантные истории, она относилась к ним спокойно, с умной иронией, как к чему-то далёкому от её жизни.

«И всё-таки, — думал Степанов, — Валентина – женщина. Как у всякой женщины, у неё есть свои слабости...» Он горько усмехнулся: «Ищу причину, а причина ясна и стара, как мир, — Валентина могла просто полюбить этого блестящего молодца!..»

Чувства уязвлённого человека вырываются из-под власти разума, как злой джин из открытой бутылки. Степанов, так подумав о жене, уязвил себя оскорбительной мыслью. И тотчас вообразил виноградные глаза адъютанта, его короткие усики над красным насмешливым ртом, поставленные аккуратно, как знак минус, и, леденя от ярости, сблизил в своём воображении эти усики и красный рот с податливыми губами Валентины.

Толстый дубовый сук, бывший в руках Степанова, треснул, как выстрел. Костёр ухнул от влетевших в огонь обломков, искры брызнули в темноту.

Когда-то отец рассказывал Степанову про деда. Доверчивая бабка, не по своей воле, согрешила с проезжим торговцем. Дед не искал виновного. Отрубил кусок от смолёного каната, канатом, онемев от лютой, измолотил живое бабкино тело. Бабка отлежалась, изломанными руками снова приникла к крестьянским заботам. Но жизнь её на том и кончилась: с того часу и до самой смерти шагу не ступила без дедова огляда.

Степанов в минуту жгущей его чувственной боли близок был к тому, что век назад сделал дед. Он знал себя. Может быть, потому он и ушёл в глушь, чтобы, в одиночестве пережив то, что в подобной беде переживают все, не сделать того, что сделал дед.

Пальцами он придавил глаза, некоторое время сидел так, ожидая, когда физическая боль переборет боль нравственную. Наконец снова он мог рассуждать.

«Есть люди, — думал Степанов, ещё чувствуя тяжесть в голове и в сердце от только что перенесённого душевного и физического напряжения, — есть люди, которые беду переживают. Я должен беду рассудить. Если на втором тысячелетии человеческой истории самцы всё ещё рычат и дерутся из-за самок, услуживая своим животным инстинктам, то это только знак того, что страсти ещё одолевают разум. Но мы-то люди! Люди! И даже запутанную страстями жизнь должны судить разумом...

С Валентиной ясно. Как для всякой любившей женщины, для неё сейчас важно её чувство. Теперь ей не до меня. Не до сыновней привязанности уже взрослого Кима. Что ей до прожитой вместе жизни, если любовь всегда всё начинает сначала?!

Бери себя в руки, Арсений! Раз Валентина любила, есть только один разумный выход — в твоей власти не мешать, ей жить...»

Степанов невидящими глазами смотрел в то место, где слабым светом мерцал костёр. После того, что он передумал и пережил в себе, после той горькой, до отчаянности нелепой, как казалось ему, мысли, к которой он пришёл сейчас, он почувствовал себя опустошённым, как после долгого и бесплодного совещания.

Степанов медлили идти к стогу, хотя надо было немного отдохнуть рядом с Борисом и этим приятным пареньком Алексеем. Он знал: если он отойдёт от костра и ляжет, то горькая, противная его существу мысль, к которой он пришёл, станет решением. А решение, если Степанов принимал его, было для него бесповоротным.

Степанов поднялся, обошёл потухший костёр, от кучи наколотых Алёшкой дров отобрал охапку, полешки пристроил на угли аккуратным шалашиком. Влажные поленья грелись, выжимали на угли дымок, долго не вспыхивали. Степанов не чувствовал желания разворошить жар. Он пристроился у ствола ольховины и сидел в темноте, отрешённый от всего, что было вокруг.

Он ушёл в прошлое. Он вспомнил не тот день, когда на одном из диспутов его познакомили с молоденькой учительницей Валентиной, – в том, первом, знакомстве они были чужими и резкими, как подростки. Он вспоминал тот первый год, когда, как мужа и жену, их приютил в своей квартире его хороший товарищ.

Именно тогда что-то сломалось в его железной душе. До той поры для него, молодого горячего парня, женщин не существовало. Он уходил от личных чувств. Как от чуждых новой эпохе соблазнов. Он был Сыном и Воином Революции и считал недостойным себя и Истории мельчить свою жизнь.

Наверное, и молоденькая, насмешливая Валентина не заставила бы его изменить себе, если бы не тогдашнее безвременье, которое выбило его из твёрдого порядка жизни, – он только что сдал дивизию и с Востока был отозван в Москву для мирных дел. Позже, когда жизнь с Валентиной образовалась, он размышлял над загадкой огня, рождённого в их душах. Оба, он и Валентина, были как кремень и сталь, то и другое – твердь и холод. Положи их порознь – оба пребудут вечно и не обнаружат скрытого внутри огня. Но сдвинь сталь и кремень – и сделается чудо. Как? Почему? Какая сила делает живым огнём то, что, казалось, окаменело навек?..

Его прежнюю, твёрдую в своей разумности, жизнь заполнили чувства. Как в весенний разлив – только плеск волн и ни клочка земли! Ни стен, ни домов, ни людей – он и Валька. Даже солнца в ту весну не было в небе, солнце светило и грело из хмельных от любви Валькиных глаз!

Валентина первая отрезвела. Что подсказало ей, что безбрежная водополь пошла на убыль? Но, как уточка в пойменных лугах, она почувствовала беспокойство, увидя обнажающуюся твердь: конец брачным игрищам, время гнездовья, время забот. Он помнил, он и сейчас, из неуютной темноты осенней ночи, видел то отрезвившее их утро: Валентина, уже умытая и причёсанная, вошла в комнату – он ещё лежал на жёстком топчане – и остановилась у двери. Она как будто что-то вспоминала. Как будто спрашивая о чём-то, странно смотрела на него, и не подошла, и не села к нему, как обычно, ласково тормоша его грудь и призывая подниматься. Всё с тем же вопросом в глазах она прошла мимо его готовых подняться ей навстречу рук и осторожно тронула именную, висящую на стене шашку.

Она знала всю жизнь этой повитой серебром боевой шашки. И всё-таки спросила: «Когда тебе Блюхер подарил саблю? В двадцать первом?..» Он не сразу уловил в её мягком глуховатом голосе собранность трезвого человека и ответил весело: «Угадала, Валюшка. Ноябрь, седьмое число, год тысяча девятьсот двадцать первый...» — «А сейчас сентябрь и год уже двадцать пятый!»

Теперь он ясно различил в её тихом голосе упрёк. Он понял: их прошлое – на стене, их будущее – гора сдвинутых в угол, почти ни разу не раскрытых книг.

Он отрезвел её трезвостью.

Где-то на пятом году их семейной жизни была ночь, близкая к трагедии. В ту ночь они хоронили любовь. Лежали рядом, молча, как чужие, оба думали: «Что это, почему?» В ту ночь они не почувствовали того, что было всегда. Была близость, не было радости. То же было в другую ночь, в третью.

Было так, как будто кто-то из них умирал. По утрам Валентина плакала. Он знал, но утешить, не смел. Что бы он ни сказал, всё было бы ложь.

Он думал: любовь глушат изнуряющие ум дела, заботы, забирающие всё его время, — после промакадемии на его руках был первый в стране шинный завод.

Валентина думала иначе: она решила, что любовь умерла; быть женой по привычке она не хотела. Не ко времени обострилась болезнь Валентины, врачи не могли залечить коварные дырочки в её лёгких.

Больная, нелюбимая, бездетная, она собиралась уйти.

Тогда он впервые рассвирепел. Для него Валентина была одна, и на всю жизнь.

В тот хмурый год он привёз из Семигорья от Авдотьи Ильиничны, вдовы погибшего друга — комиссара, их общего приёмыша – десятилетнего Кима. Своевольный, диковатый, он доставил хлопот и огорчений. А Валентина ожила. Она удивила его: она оказалась умной и терпеливой матерью.

Ким, как вовремя подключенный проводник, соединил два до предела напряжённых полюса. Ток нашёл путь, напряжение упало, сокрушающая молния не сверкнула. Несколько позже, как откровение, явил им свой трезвый ум Сеченов. Валентина где-то раздобыла его труды. Книга легла на стол с аккуратно заложеными страницами. Он читал книгу и в досаде стучал кулаком по лбу: ведь не дурак, а не мог понять, что чувства, как всё на земле, тоже меняются во времени! Да, они были слишком честны, чтобы скрыть то, что их чувства изменились. Но он-то мог и тогда догадаться, что у любви есть своя юность, своя зрелость, своя старость!..

Спокойная близость теперь не пугала, не расстраивала их. Он помнил, как в один из вечеров Валентина сидела рядом, на диване, кутаясь в платок, и вдруг ткнулась ему в плечо и, сама, стесняясь своих чувств, призналась: «Я так счастлива, Сеня... У нас теперь какая-то человеческая радость... Прежде всё было не так: и наивно, и суматошно. Как будто торопились цветов нарвать, а что рвали – не смотрели...» Они сидели успокоенные, снова близкие, он благодарно гладил её горячую щеку.

Поленья пылали жарко. Степанов сдвинулся вбок от костра, спиной и затылком долго ладился к изогнутому стволу ольховины.

То, что случилось, то, что он пережил с начала ночи и рассудил с поспешностью человека, ещё болезненно чувствующего своё оскорблённое «я», теперь как бы осветилось и увиделось им с другой стороны, с той, которую всё это время, пока он находился во власти оскорблённых чувств, он не желал видеть. Он видел сейчас не ту Валентину, которая оскорбила его и себя. Он преодолел смутную стихию чувств и теперь снова видел ту Валентину, близкую, стеснительно-заботливую, мягкую и настойчивую, которая одна сумела разомкнуть его суровую, сознательно замкнутую жизнь.

«А не далеко ушёл я от своего деда, – с неожиданной враждебностью к себе вдруг подумал Степанов. – Только что кулаки придерживаю да канат не отрубая. А внутри то же, та же слепота, тот же звериный позыв мстить. Мстить тоньше, хуже – холодом и одиночеством. Неужели всерьёз хватило думать, будто Валентина полюбила того пустого мерзавца? Валентина и – этот хлыщ с виноградными глазами! Кого поставил рядом! Для молодца – это спорт. Валентина – мишень. И выстрелил, подлец, расчётливо. Чёрт крутит меня «благородно» оставить Валентину в несчастье! За что? За обиду?.. Но в своей жизни сколько обид я знал. Неразумные людские слабости! Горечью, досадой наследили они в моём сердце вкривь и вкось. Я же не собрал на людей зла! Я же понимаю, прощаю им эти слабости!.. Почему же самого близкого мне человека я хочу казнить за подобную слабость?!

Всё ладно, когда судишь за себя, — думал Степанов. – Могу ли я судить за Валентину?.. А почему нет? Будто не хватит мне разума думать за другого, может быть, больше, чем я, оскорблённого человека! За себя думал дед, смолёным канатом ломая бабуку. А подумать бы ему за другого?! Валентина сама убита тем, что случилось.

Почему я хочу помочь хлыщу-адъютанту разрушить то, что дорого вам с Валентиной?!

Валентина не была для меня чужой, даже в тот вечер, когда объявилась беда. Она не была для меня чужой, потому что сказала правду. – Степанов вспомнил её горячие пальцы, робко, как будто с виноватостью, касающиеся его рук, когда она, сидя на диване, рассказывала ему о прожитых в разлуке днях, и подумал: — Не стал чужим для неё и я...

Так вот, Арсений, ежели ты человек...» — Степанов смотрел в темноту. Темнота непроницаемо стояла за ближними освещёнными кустами. Если бы он не знал, что там, за этой плотной темнотой, если бы он видел только то, что сейчас было перед ним: куст с ещё не опавшими листьями, поникшую траву, среди травы старое берёзовое полено с порванной корой – он не мог бы думать, могло бы ему казаться, что на земле есть только этот освещённый костром круг в десять шагов шириной, тьма и неизвестность. И бесполезно стараться проникнуть за пределы того, на что он сейчас смотрит больными от бессонницы и душевной боли глазами, пока рассвет, не зависящий от его старания и воли, не даст заглянуть дальше этих освещённых огнём кустов.

Но Степанов знал, что там, за холодной, плотно подступившей темнотой октябрьской ночи. Он знал, что за кустами спокойно мерцает звёздами чистый плёс, чуть дальше вдаётся в плёс поросший камышом мысок – там стоял он зарю – за мыском, вдоль леса, тянется узкое озеро, за ним – пойменные луга и дальше, километрах в шести, его родина – Семигорье, его лихая колыбель — Волга. Он знал и потому видел город на берегу, на холмах, где была сейчас Валентина. Он мысленно видел весь простор России, до Владивостокского порта, куда ехал сейчас в вагоне дальнего следования щеголеватый адъютант. И оттого, что всё это он ясно прозревал своим разумом, оттого, что не доверился неверным чувствам и одолел в себе позыв живучей дикости, он мог теперь спокойно рассудить за себя и Валентину общую их беду.

Степанов ещё раз вернул себя в тот вчерашний, душный, как в великую сушь, утренний час. Он снова видел всё, как было. С ещё большей пристальностью он вглядывался сейчас в то лицо Валентины, с которым она подошла к столу, в то движение её руки, которым она подняла телефонную трубку, вслушивался в то звучание её голоса, которым она произносила слова.

До десяти утра он ждал этого телефонного звонка. Он знал, что адъютант позвонит Валентине. В десять адъютант должен отбыть, а победа его не была закреплена. В девять сорок семь он позвонил. « Попрошу Валентину Дмитриевну», — он сказал это торопливо, но твёрдо.

«А молодцу нельзя отказать в самообладании: ведь он не ждал услышать мой голос...» — Степанов подумал об этом, положил трубку на стол и вышел в комнату, где была Валентина. Он и сейчас не знал: поняла ли Валентина, что то, что случилось, ещё не решило её судьбы. Но то, что она сделает сейчас, вот в эту минуту, уже бесповоротно решит её судьбу, и судьбу семьи. Поняла ли это Валентина, или решение было у неё ещё до того, как она открылась в своей беде, но она быстро встала и необычайной для этого утра решительной походкой прошла в кабинет.

Дверь за собой она не прикрыла, из комнаты он видел каждое её движение. К столу она встала боком, лицом к нему, хотя удобнее ей было стоять к нему, Степанову, спиной: она хотела, чтобы он видел её лицо. Левая её рука легла на трубку и без колебания подняла к уху. «Слушаю», — сказала она обычным своим голосом, и только он мог уловить в звуке её голоса сдерживаемое раздражение, ему показалось даже озлобление. Она дождалась паузы в быстром говоре адъютанта и отчётливо и твёрдо, как говорила на уроках в классе, сказала: «Для вас, товарищ Горгиа, Валентины Дмитриевны нет — ни дома, ни в городе...»

В короткий миг, пока трубка ещё не легла на аппарат, Степанов, стоя в комнате, слышал, как нёсся из трубки рёв отринутого самца.

Валентина, не снимая руки с умолкнувшего телефона, повернула к нему своё подурневшее за ночь лицо. Глаза их встретились. Она смотрела без страха, с покорностью признающего свою вину человека. Взгляд её говорил: «Ты знаешь всё. Всё слышал. Для меня этого дня нет. Я вычеркнула его из жизни. Тебе решать...»

«Что же, я жалею Валентину?» — думал Степанов, удивляясь тому, что он теперь чувствовал. С той, вчерашней, ночи и до этих вот часов одиночества и тяжких раздумий его оскорблённые чувства были против Валентины, разум едва удерживал его взорваться каким-нибудь диким поступком. Теперь стало наоборот: он рассудил беду, и что-то переверотилось в нём — его чувства сейчас были за Валентину. И теперь разум настороженно следил за переменившимися чувствами, разум заставлял Степанова не доверять тому, что он сейчас чувствовал. «Что же, я жалею Валентину? — думал Степанов, не понимая себя. — Но как я могу её жалеть?! Нет, жалость прочь! Жалость — шаткая основа жизни. Суть в другом, можем ли мы с Валентиной быть как прежде? В этом суть: можем ли?..»

Но почему – нет? Если Валентина нашла в себе силы перешагнуть через тот день, то всё другое – моё умение по-человечески одолеть беду! Ничего другого. Ни жалости. Ни унижения. Ни обид. Два близких человека вместе перешагнули беду. И всё. И – точка!»

Степанов оторвал затёкшую спину от жёсткого ствола, входя в реальность, оглядел с некоторым даже удивлением чёрную громаду леса и, правее, воду, мерцающую сквозь кусты звёздами.

Огонь в костре пал. Точками, как звёзды в воде, мерцали проглядывающие из пепла угли. Лишь с краю, на конце обгоревшей ветки, одиноко догорал похожий на лист огонь. Степанов ждал, он наблюдал, как трудно умирает даже это крохотное, бледное, как у свечи пламя. Когда пламя угасло, он поднялся, переложил из темноты на мерцающее огнище охапку хвороста. С хрустом прижал и, руками чувствуя жар углей и разгорающихся веток, давил на хворост, пока пламя не вошло в силу. С треском, гулом, дымом пламя рванулось вверх.

Степанов успокоил себя огнём. Он сидел, медленно оглаживая опалённые руки. Завтра к вечеру он вернётся домой. Как обычно, разденется, умоется с дороги. Подойдёт к Валентине, как всегда, поцелует её мягкие волосы на горячем виске. Будет трудно, как вообще трудно не помнить беду. Но в дом он войдёт, как всегда. И ничего из того, дедовского, не проглянет в нём. Валентина всё поймёт. Наверное, прикусит губы, отвернётся, чтобы он не видел её мокрых глаз. В последние годы она стала что-то излишне чувствительна к добру. Потом... Потом он ей расскажет, что было у него в Москве. Она ещё не слышала его исповеди.

Ни о чём не узнает Ким. Он боготворит свою маму Валю, его божество не должно померкнуть.

Потом, как всегда, вдвоём они попьют за круглым столом чаю, и... всё будет хорошо. Он сделает, чтобы всё было хорошо, как было прежде.

Степанов встал, раздвинул полегчавшие плечи, глубоко вдохнул спокойные запахи остывающей осенней земли. Он знал, что побеждённая беда останется здесь, у костра. Домой он возвратится с зарубцевавшейся раной. И даже если в какое-то мгновение боль вернётся и сдавит его сердце, всё равно это будет уже побеждённая боль: никто, кроме него, не будет знать, что она есть.

Алёшка приподнял голову, огляделся: он боялся проспать. Ночь ещё не ушла, небо мерцало звёздами, над плотной угольно-чёрной полосой бора ни проблеска зари. Вдали тускло, серпом, отсвечивало озеро, слышался спокойный утиный крик. Алёшка потёр занемевшую шею, покосился на рядом лежащих Арсения Георгиевича и Бориса.

«Рано ещё, пусть поспят», — по-отечески подумал он и закрыл глаза. Наверное, он заснул, потому что, когда снова увидел звёзды, Арсений Георгиевич и Борис разговаривали.

— ... Война, Арсений! — тихо говорил Борис. — Гитлер торопит войну. Дураком не сочтёшь, понимает, что время за нас, Европу всю под сапог упрятал, теперь целит... Куда считаешь? Я не политик, но в стратегии кое-что смыслю. Думаю, Англия не так интересуется немцев, как Россия...

— Что же наш? — голос Арсения Георгиевича был ещё тише, чем голос Бориса.

— Не знаю. Туда не вхож. Но что отец думает, в семье разумеют. Сделали много, потрясающе много. И всё-таки до тревожного мало, если сопоставить с действительными, даже не максимальными потребностями. Есть отличные машины — и на земле, и в воздухе. Но сам понимаешь: если надо тысячи, на сотне это «надо» не уместить. И кавалерией танки не остановишь.

И не чья-то здесь злая воля. Скорее — доля, что досталась нашей России в наследство. Нам бы ещё с пяток Магниток да с десятков таких, как Кировский или ЧТЗ, — тогда бы легче дышалось! Народ на армию надеется. Но мы-то и через границу видим! Знаем, что наша сила в железо ещё не одета. В том, Арсений, и беда. Не мы — они определяют время. А где спешка, — Борис снизил голос до шёпота, — там неуверенность, не хочу сказать — страх перед неизбежным. И с военкадрами — сам знаешь. Чтоб Сенька по шапке стал — на это тоже годы нужны... Думаю, наш всё прекрасно понимает, всем возможным и невозможным хочет выиграть время...

Оба, Борис и Арсений Георгиевич, долго молчали. Кто-то из двоих, наверное, Арсений Георгиевич, — он лежал с краю, — тяжело сел, так тяжело, что качнулся стог. Наверное, он огляделся, потому что, не вставая, снова лёг. Алёшка не открывал глаз, но весь был слух.

Он слышал теперь медленный голос Арсения Георгиевича:

— Ты хорошо сказал: отец думает, в семье разумеют. Человеку, по Толстому, всегда не хватает пятисот рублей и одной комнаты. Старик был неправ: всегда не хватает времени.

— С людьми у тебя как, Арсений?

— Неплохо. И на заводах, и в колхозах. Хуже в руководстве. Не знаю, как у вас в наркомате, но откуда-то потянулась струя не шибко приятная... Помнишь, а может забыл? В полку у нас, не то под Иркутском, не то под Читой, китаец был? Хороший солдат. Прикажут ему: «Закрепляйся, ходя! Мы здесь, Колчак – там. Стреляй!» В окопчике сядет, как в чайхане, патроны разложит и – тут хоть земля расколится: белая конница, каппелевцы ли – с места не сойдёт! Сидит, стреляет, заряжает, стреляет. И не глядит: полк за ним, один ли на позиции. Голос начальника ему командир! Услышал: «Вперёд!» — встал, винтовку под локоть, идёт. И не глядит – поднялся ли полк? Нет полка – один пойдёт. Солдат хороший. Но – солдат, только солдат...

Мне второго прислали. Взамен Бурова. Помнишь его? Не прост, угловат. А умница! Новый – и молод, и напорист. И служить готов. А солдат. Как тот ходя. Учю: вниз, дорогой, вниз гляди! А он как во фрунте, и вместо шеи будто пружина – голова всё направо и вверх, направо и вверх!

Затеет полезное дело, а уже думает: будут ли довольны наверху тем, что он затеял? Не говорю о постановлениях, директивах, они для каждого – закон. Говорю о творчестве, о дерзании. В традициях большевиков стараться о деле. А слепое исполнительство, постоянная мелочная оглядка претит этим традициям...

— Погоди, Арсений. Почему ты думаешь, что того, кто выше, заботят не интересы народа? Партия одна, интересы тоже одни, где бы ты ни был – вверху или внизу...

— Не надо, Борис. Даже верную мысль можно довести до абсурда, если обобщить её без меры. Ты улови суть того, что меня тревожит. Я тревожусь тем психологическим поворотом, который вижу. Всё с большей тревогой замечаю, что многие из руководителей, чьё нахождение на должности в какой-то мере зависит от меня, начинают подлаживаться под моё мнение, под мой характер, даже под мои ошибки. Ты понимаешь? Даже под мои ошибки! Важным для них становится не само дело, а то, буду ли я доволен ими. Это же не по-большевистски, Борис!..

Теперь Борис сел, так же тяжело, как Арсений Георгиевич, — стог опять качнулся.

— Алёшка-то спит? – тихо спросил он. Разбередим неокрепшую душонку...

— Алексей, спишь? – окликнул Арсений Георгиевич.

Алёшка не ответил.

— Спит. Сон молодой, крепкий.

Борис закурил, лёг. В ночи долго пахло папиросой.

— Ты, Арсений, всё такой же. На каждый шаг тебе философию подавай! Не понимаешь или не принимаешь?..

Наше время – быстрых практических – подчёркиваю – практических дел. Мы рубим лес, рубим едва с краешку початую тайгу. Нам важно вырубить. Вырубить и построить – назови, как знаешь: дом, город, новое общество. Нам дорого время. Нам важен темп. А ты разглядываешь, правильно ли тот и другой держат в руках топор!..

— Не упрощай. Ленин обосновывал каждый, даже малый, шаг в жизни республики. И люди сознавали и принимали ту или иную необходимость.

— У нас сейчас Сталин, Арсений!

Оба долго молчали. Потом Арсений Георгиевич сказал:

— Всё-таки убеждён: субъективное не должно вмешиваться в политику. Ты веришь, что Василий Константинович* ...

— Пустое спрашиваешь!..

Борис махнул рукой, отшвырнул окурочек подальше от стога, закинул руку под голову.

— Давай, Арсений, к фактам. Индустрию свою, новую, в стране создали? Факт. Колхозы нас хлебом кормят? Факт. Народ лучше живёт? Это тоже факт. Не время. Арсений, размышлять. Надо доверять. И крутить своё рабочее колесо в полную силу.

— Одному думать, всем вертеться – такое разделение не по сердцу, если хочешь – не по уму. Мы на другом росли: всем думать, сообща решать, всем равно исполнять...

— Здесь ты, может, и прав. Но ещё раз говорю: от цели никто не отступил... Чёрт его знает! Я про себя иногда думаю: может, другого историей не дано? Дел неохватно, время спрессовано до минут. Дискуссии разводить перед лицом войны – головы на плаху класть!..

* В.К.Блюхер.

Знаешь, иногда задумаюсь и вижу историю человечества, как шла она, век за веком, эпоха за эпохой. И в этих страшно долгих веках – каких-то двадцать два года нашей послереволюционной России. Что они в истории? Минута, секунда, миг? А для нас – эпоха, если судить по делам. А ведь по возрасту Россия наша советская до умиления молода, где-то ещё в юности, порывистой и увлечённой, — вон как Алёшка!

Ты не вслушивался в песни, которые сейчас поют?.. Простая гармоника наигрывает: «Спят курганы тёмные...» или «Катюшу» — и просто, и наивно, а сердце щемит, и хорошо от этой наивной и чистой простоты!..

Чайковский с шестой симфонией и Бетховен у нашей глубинной России ещё впереди. Зрелость и мудрость опыта накапливаются с возрастом. Не думаю, что у Алёшки на душе сейчас симфонии. Тоже небось гармошка с какой-нибудь падеспанью...

Борис замолчал. Никто из троих на стогу не шевелился. На земле было так тихо, что Алёшке казалось: он слышит, как звёзды, мерцая, поскрипывают в небе.

— Арсения! – позвал Борис. – Давай нашу дальневосточную?!

— Алексея потревожим... — Голос Арсения Георгиевича был как будто простужен.

— Мы – тихо. Да и заря – подниматься скоро.

Едва слышно он запел:

По долинам и по взгорьям
Шла дивизия вперёд...

Он шёл один, пел напряжённо, настойчиво, как будто весь хотел уйти в песню, затушевать в себе самом тот спор, который только что вёл с братом. И, наверное, Арсений Георгиевич понял Бориса. Сначала, сдерживая себя, он подпевал то одно, то другое слово, потом с хрипотцой запел:

Развевались знамёна
Кумачом последних ран...

Алёшку подмывало вмешаться в песню, которую он знал. И что-то останавливало его добавить в песню свой голос. Он не боялся открыть, что он не спит: он знал, что всё равно его сейчас поднимут.

Останавливало его другое – смутное, но верное чувство: он понимал, что для Бориса и Арсения Георгиевича – это не просто хорошая песня. Песня эта – их жизнь, их молодость, сила. И хотя он, Алёшка, сейчас рядом с ними, рядом с этими большими людьми, и делит с ними охотничий ночлег, он не воевал, не пережил то, что пережили они, он не думал за Россию и не имел сей час права петь эту песню вместе с ними.

Они допели песню и теперь молчали.

Алёшка терпеливо ждал, когда его позовут.

— Ты, Арсения, плохо чувствуешь Россию, — осторожно сказал Борис. — Ты хочешь понять. А Россию надо и чувствовать. Ты же знаешь: молодость – вера без границ, всё по плечу. Скажи: «Надо!» — земной шар вокруг себя оборотит. Потерпи, Арсения, и Россия мудра опытом будет!..

— Ладно, мудрец, труби подъём. Только и ты помни: чувства в нынешнем мире – что большой пароход в мелководье. Ну, встаём? Подъём, Алексей!..

4

Под солнцем туман сдвинулся, потёк, поднялся над озером, открыв посверкивающую водную синеву. Арсений Георгиевич снял фуражку, пристроил на куст, расстегнул кожаное пальто, щурясь, смотрел, как в бору на крутояре плавит стволы сосен яростное солнце.

К стогу Алексей Георгиевич вернулся без дичи. Алёшка скрепя сердце без выстрела пропускал зоревых уток, летящих на камышовый мыс, но Арсений Георгиевич почему-то не стрелял. Оба они отстояли зарю молчунами.

Борис только что принёс пару кряковых, раззадоренный, пошёл в приглянувшееся ему болотце.

Арсений Георгиевич сгрудил сушняк на остывшем за ночь кострище, засветил спичку, пустил огонёк снизу по хвостику еловой ветки, догорающую спичку примостил с другого края, под трубочку бересты, упёрся ладонями в колени, заворожено застыл над огнём. Его крупная, бугристая, чисто выбритая голова со вздутой складкой ниже темени радостно отблёскивала на солнце, пальцы шевелились, отстукивали на коленях песню.

— Ещё разок чайку у костра, — сказал он оживлённо, — и... — его пальцы перестали стучать, он задумался. — И к дому. К дому, Алексей, к дому, — повторял он как будто про себя. — Дом, работа... Дом, говорят, без хозяина — сирота. Человек без дела — хуже сироты. Ты это запомни, Алексей!..

Алёшка, распалённый работой — он перерубал лесину, — отложил топорик. Платком отирая лицо, подошёл к костру, встал рядом с Арсением Георгиевичем. Всё утро он обдумывал, как признаться в том, что он слышал разговор на стог. Признаться было трудно. Но было подло скрыть то, что он — слышал. Два больших человека говорили друг для друга, они должны знать, что их откровения слышал третий... «Я должен сказать, твердил Алёшка. — И скажу...»

— Арсений Георгиевич! — Алёшка запнулся о слова, но, одолевая нахлынувший страх, заставил себя договорить. — Арсений Георгиевич, я слышал... Я не спал... Я слышал, что вы говорили...

Алёшка видел, как долго и ненужно Арсений Георгиевич поправлял уже разгоревшийся под чайником костёр. Поправив костёр, он поднялся, тяжёлым взглядом всмотрелся в Алёшку. Он смотрел из-под нависшего, прочёркнутого морщинами лба, и взгляд его, только что тёплый и живой, теперь был холодным и отчуждённым. Алёшка, чувствуя, что в глазах у него стоят упрямые слёзы, выдержал тяжёлый взгляд Арсения Георгиевича.

— Можете меня презирать, — сказал он. — Я не спал, я слышал. Но никогда никому я не скажу про то, что слышал... Хоть пытайте, хоть жгите... — тихо добавил он, бледнея и веруя в то, что сказал.

Сурово сжатый рот Арсения Георгиевича дрогнул сдержанной улыбкой.

— Хорошо, если ты умеешь молчать, Алексей. Но должен сказать тебе: если я что-то сказал одному, это значит, я могу сказать то же самое всем!..

Он обошёл костёр, снял с рогулек палку вместе с кипевшим чайником.

— Не помнишь, где у нас заварка? — спросил он.

Алёшка, торопясь, достал из своей охотничьей сумки непочатую пачку чая, хотя знал, что у Арсения Георгиевича есть свой чай и, конечно, он помнит, куда его положил. Он понял, что Арсений Георгиевич будничным вопросом давал ему понять, что одобряет его прямоту и прощает ночное притворство.

Алёшка открыл пачку, протянул Арсению Георгиевичу и в порыве благодарности, желая чем-то ему помочь, волнуясь, сказал:

— Арсений Георгиевич! Вы – знаете что? Вы напишите Сталину. Напишите про то, что вам мешает! Сталин обязательно поможет!.. Вот я живу, и мне не страшна никакая несправедливость. Я знаю, если я сам не справлюсь и люди мне не помогут, — есть Сталин. И вот от того, что я знаю, что Сталин есть, мне ничего не страшно!

Рука Арсения Георгиевича застыла в пару над раскрытым чайником. Пока Алёшка говорил, он держал на ладони горку чёрного чая. Медленной струёй он ссыпал с ладони в чайник заварку, аккуратно прикрыл чайник крышкой, поставил около огня. Поднялся, серьёзно и твёрдо, как равному, ответил:

— Хорошо, Алексей. О том, что ты сказал, я буду помнить.

Арсений Георгиевич старательно подгрёб и положил на стог сено, которое они рассыпали, устраивая постель, оделся.

У костра, дождавшись Бориса, они позавтракали.

Домой шли не спеша, все втроём, по затенённой, рыжей от хвои дороге, широко рассекавшей старый бор, по-осеннему просторный.

Арсений Георгиевич всю дорогу молчал. И только на выходе из бора остановился, снял с молодой сосёнки застрявший в её хвое багряный осиновый лист, подержал на ладони, разглядывая, задумчиво сказал Борису:

— Ты, кажется, прав: вера вошла в кровь. И трогать эту веру нельзя!..



СТЕПАНОВ

Степанов стоял у окна, не вынимая рук из карманов плаща, с задумчивостью усталого человека смотрел вниз, на улицу. К булыжнику липли опавшие с тополей листья, под фонарём и листья и булыжник блестели. За тёмными акациями бульварчика, сейчас пустынного, угадывалась по переливчатым жёлтым огням пароходов и барж Волга. В шелест дождя время от времени врвался порталый грохот, свист, скрежет, где-то гукал буксир, пробираясь в темноте узким в этом году фарватером.

В кабинете сумеречно, светит лишь низкая настольная лампа под матовым абажуром. Степанов один, он устал, нет желания даже сделать усилие, вынуть руки из карманов мокрого плаща. Но мозг ещё не остыл, напряжённый день вошёл сюда, за двойные двери кабинета. День шумел, говорил, кричал, шептал, повторялся, как беспорядочно отснятые кадры кинохроники.

Степанову надо было разобраться в этом потоке впечатлений, найти какой-то нужный кадр, который был отснят памятью в деловой суете сегодняшнего дня. Момент для раздумий тогда не был подходящим: шла партийная конференция, и Степанов отодвинул важную, как казалось ему, мысль. Теперь, когда баталия улеглась и удовлетворённость оттого, что всё было в норме, работа одобрена, в обкоме, в общем-то, всё осталось по-прежнему, удовлетворённость сделанным и усталость от длительного нервного напряжения соединились – хотелось крепкого чаю, покоя. Но мозг работал. Сознание искало ту важную мысль, которая не ко времени мелькнула в разгар работы.

Мысль казалась настолько важной, что, после того как закончилась конференция, он не мог ехать домой.

Степанов был из тех людей, которые не терпели неопределённости, и прежде всего, в своём душевном хозяйстве. Всякая неопределённость была для него как болезнь: он мучился приступами скрытого беспокойства, пока его разум не находил ясных и точных ответов на те вопросы, которые вставали перед ним.

Жизнь и теперь подсунула ему задачу, и задача была такова, что заставила его в поздний час, после трудного дня, уйти в обком, уединиться в своём кабинете.

Степанов глядел в темень, проколотую жёлтыми огнями и ночью, и в непогоду работавшей реки, но видел не Волгу – перед ним упорно маячило плоское и властное лицо Стулова. Как случайно втиснутый в живую толпу портрет, лицо Стулова всю конференцию плакатилось за длинным столом президиума.

Время от времени Степанов с любопытством поглядывал на Стулова. За многочасовое сиденье Стулов не изменил принятой им позы: как сел в президиум, выложил свои тяжёлые руки на стол, так и застыл в этой не весьма удобной позе. Крупная голова его ни разу не повернулась, ни влево, ни вправо, с началом заседания взгляд Стулова устремлялся вверх сидящих в зале людей, в какую-то одному ему видимую точку, и не изменял своего направления до очередного перерыва.

«Тот ещё деятель! – думал Степанов. – Такой прямиком не то что через толпу, сквозь каменный град пойдёт!..»

Лет шесть тому назад сходились их дороги: оба имели отношение к строительству крупного комбината в соседней области. Степанов был секретарём горкома партии, Стулов возводил один из цехов. Руководил властно, энергия из него пёрла со свистом, как пар из котла. Умел дело делать, умел рапортовать – участок Стулова из месяца в месяц шёл первым. И всё-таки Степанов не был расположен к этому энергичному, уверенному в себе человеку. Если бы Степанов оценивал работу руководителей заводов истроек только по результатам, по проценту, по исполнению! Куда бы проще!.. Крепко сидел в нём комиссарский дух. От Симбирска до Тихого океана прошёл он с боями комиссаром дивизии и, пока шёл, на своей шкуре познал, что победа победе рознь. Мало победить, важно ещё – как победить! Важно уметь победить так, чтобы как можно больше твоих товарищей осталось в строю. Жизнь одной победой, даже большой победой, не кончается. Вот этот комиссарский дух и восставал: рабочим людям всех тяжелее приходилось у Стулова. Но Стулов побеждал. И когда Степанова передвинули на область, Стулов оказался на освободившемся месте в горкоме – кто-то, от кого зависело продвижение Стулова, мыслил иначе, чем Степанов.

Теперь Стулов, только что избранный вторым секретарём обкома, снова вставал в затылок...

Степанов, не вынимая рук из карманов, с ещё по-уличному поднятым воротником плаща, медленно прошёлся по кабинету до высоких, наглухо закрытых двойных дверей, от дверей по красной ковровой дорожке к столу.

Дорогу ему загородили два кресла с тугими раскинутыми боками, обтянутые великолепной чёрной кожей. Степанов коленкой упёрся в мягкий край ближнего кресла, постоял, задумчиво глядя в пол. Перевёл глаза на дубовый, до блеска натёртый паркет, на богатый туркменский ковёр, придавленный массивными тумбами стола.

«Этакую красоту и – ногами... — вдруг подумал он. – Дома сесть бы не посмел, а тут – под ноги...»

Чужими глазами он хмуро оглядывал свой кабинет и видел сейчас то, на что не обращал внимания в обычные дни. Натёртый паркет, вдоль стены зеркальной полировки стол для заседаний бюро. По обе стороны стола мягкие стулья, поблёскивающие спинками, они одинаково полуповёрнуты, будто держат равнение на простой жёсткий стул, с которого Степанов обычно вёл бюро. Под окнами и у дверей стулья попроще, тут в дни заседаний стеснительно рассаживаются приглашённые. В углу, над стульями, величественно, как кафедральный собор, высятся старинные часы. Метровый маятник с медной тарелкой на конце с отчётливым стуком важно ходит из стороны в сторону.

Степанов вспомнил, как Дребезгов из хозсектора с непонятной ему убеждённостью уговаривал: «Так надо, Арсений Георгиевич. Команда есть... Вид обретаем!» — и, незаметно для Степанова, заменял то стол, то кресла.

В напряжении рабочих буден некогда было обращать внимание на то, как выглядит его кабинет. В конце концов, за простым, за полированным ли столом – главным для него оставалась работа. Но сегодня он смотрел на всё другими глазами.

«Обрели вид! – думал Степанов. – И старина, и новь. И театральные занавеси на окнах! Заводским девчонкам кофточек понаделать бы! Не так богато живём... А часы... Завтра же скажу Дребезгову, чтобы перетащил эту игрушку в кабинет Стулову!..»

Степанов только теперь ясно понял: именно Стулов – причина зудящей в душе тревоги. Именно Стулов был для него как эта вот, исподволь вошедшая в кабинет, парадность.

Он прислонился к столу, лицом к двери, не закрывая глаз, заставил себя заново увидеть, как Стулов вошёл в кабинет, как вёл себя в первый час появления.

Стулов сам открыл двери, секретарю доложить о себе не дал. Крупнотелый, с неподвижной шеей, с полусогнутыми руками, в отличном костюме, при галстукe, он шёл прямо, как на таран, и если бы Степанов не встал и, узнав его, не вышел из-за стола, Стулов, наверное, не остановился бы и сдвинул его вместе со столом.

После беседы Стулов уехал в гостиницу. Степанов остался один, но долго не мог возвратиться к работе над докладом. Включил настольную лампу, задумчиво водил карандашом по листу бумаги. Нет, ничего особенного не было в их встрече. Разговор, который они вели, был обычным разговором двух партийных людей, которым предстояло работать вместе. И всё-таки за улыбкой, что при каждом удобном случае медленно расплывалась по широкому лицу Стулова, за его готовностью соглашаться с тем, что говорил он, Степанов, за общей сложностью, которую можно было принять за скромность товарища Никтополеона Константиновича Стулова, — за всем этим Степанов чувствовал какую-то недосказанность. Стулов как будто давал понять Степанову, что он, Стулов, знает о Степанове больше, чем знает Степанов о нём, о Стулове.

Эта игра в недосказанность мало трогала Степанова, больше тревожила явная готовность Стулова тотчас соглашаться с любым мнением, которое высказывал он.

Опыт научил Степанова не доверять людям, которые легко соглашаются, ещё хуже — заискивают перед ним. В трудные времена, когда он искал опоры, плечи этих людей мягко уходили из-под его рук. В такие времена он неожиданно находил опору среди тех, у которых было своё понимание дела, которые находили мужество с ним спорить, даже ругаться, среди тех, которые числились в оппозиции. Именно это опасное выражение осторожного заискивания он видел в лице Стулова. И это настораживало, как настораживает опытного солдата слишком открытый манёвр противника.

Когда Степанов, наконец, вернулся к докладу, он увидел на листе бумаги, по которому в задумчивости водил карандашом, почти точный портрет Стулова: квадратная голова, массивная, как чугунная бобина, шея, врезающийся в шею жёсткий воротник белой сорочки, улыбка в сжатых губах, похожая на усмешку.

Отчётливее других деталей Степанову запомнились глаза Стулова: прикрытые веками почти до зрачков, они странно вежливо смотрели на Степанова, но увидеть, что таилось за этой вежливостью взгляда, было не под силу даже Степанову: взгляд его неподвижных глаз был матовым, как свет коридорной лампочки.

Только однажды Степанов заметил, как усилился накал в матовых глазах Стулова. В одну из затянувшихся пауз Стулов повернулся массивным телом и с медлительностью хозяина оглядел кабинет. Глаза его — Степанов ясно видел это — накаливались по мере того, как он передвигал взгляд от стола для заседаний бюро к ковру, от ковра к обитой чёрным дерматином двери, от двери к часам.

Было ли это случайным совпадением? Может быть, и случайным, но в тот момент, когда взгляд Стулова остановился на кафедральных часах, глаза его вдруг удовлетворённо вспыхнули, как у именинника, которому преподнесли давно ожидаемый подарок. Продолжалось это мгновение, через секунду глаза Стулова опять вежливо смотрели на Степанова, но именно в этот момент Степанов понял: Стулов примеривал его кабинет к себе.

Степанов не удивился, когда перед областной партийной конференцией ЦК партии отозвал в своё распоряжение второго секретаря обкома Булова, его правую руку. Булов, как ни больно было расставаться с ним, вполне был готов для самостоятельной работы. Не удивился Степанов и тому, что на место Булова ЦК рекомендовал Стулова: партийными кадрами ведал ЦК, и перестановки в кадрах, особенно в среднем звене, давно уже стали делом привычным.

Но когда Степанов узнал, что Булова взяли не на повышение, он не мог не подумать, что эта, на первый взгляд, обычная перестановка кадров сделана с определённым прицелом. И первая встреча, и разговор со Стуловым укрепили его в этом предположении.

«Но почему именно Стулов? — думал Степанов. — Есть же у нас люди — отличные люди! — которые могли бы занять место Булова! На той должности, которую занял теперь Стулов, мало быть исполнителем, мало быть даже твёрдым исполнителем!

Партийной работой надо жить, надо чувствовать её постоянно, как живую жизнь множества людей. Сможет ли Стулов это понять? Сможет ли понять и принять людей в их непохожести? Сумеет ли изо дня в день, из года в год не принуждением, а убеждением увязывать способности и увлечённость каждого отдельного человека с общими целями и заботами? Увязывать так, чтобы делом, талантом каждого естественно, будто само собой, как Волга ручьями и реками, наполнилась жизнь страны?..

Впрочем, — остановил себя Степанов, — я, кажется, залез в сферу чисто человеческих качеств. Хотя, кто его знает, может быть, именно человеческие качества и важны на партийной работе? Может быть, каждой партийной должности должны соответствовать и определённые человеческие качества? И чем должность выше, тем более высокими, до прозрачности ясными, незамутнёнными никакими примесями корысти, себялюбия и властолюбия должны быть человеческие качества этого высокого руководителя?..»

Степанов прошёлся по кабинету, снова встал у открытого окна. Здесь легче дышалось, даже этим как будто обволакивающим влажным воздухом с запахами мокрой земли и увядших листьев.

Мысли Степанова о Стулове обретали всё большую остроту и пронзительность не только потому, что ему предстояло работать со Стуловым, не только потому, что различались их человеческие качества и стиль работы, но главным образом потому, что именно Стулов, как мог предполагать теперь Степанов, через какое-то неопределённое пока время может и, наверное, станет преемником его дел.

Дождь напирал. Лучистый свет фонаря заткали серые дождевые нити. В гулкой водосточной трубе вода клокотала, как в ручье, и Степанов, слушая гулкой клокот, почти физически ощущал, как тесно потоку, когда он куда-то стремится.

Под напором дождя улица сплошь шумела, и в этом шуме Степанов теперь слышал другой шум – ту бурю криков и рукоплесканий, которая волной поднялась и покатила по залу, когда в микрофон было названо имя Сталина. Ему, Сталину, все хлопали до боли в ладонях, к его портрету были обращены полные преданности взгляды. На стене, за президиумом, висели два больших портрета: слева – портрет Ленина, справа – Сталина. И взгляды всех, будто лучи, пропущенные сквозь огромную линзу, сливались, как в фокусе, на хмуро-задумчивом лице Сталина. И Степанов, вспоминая сейчас этот бурный восторг зала, вдруг ясно ощутил, что Стулов появился рядом с ним по воле этого человека, который там, в зале областного театра, смотрел на него неотступными глазами портрета.

На своём лице Степанов ощущал дождевую пыль, заносимую ветром, но не отходил от окна, слушал, как в узкой водосточной трубе бьётся падающая с крыши вода, и вспоминал свою последнюю встречу со Сталиным.

Некоторых секретарей обкома северных лесных областей после совещания в ЦК пригласили к Сталину. Сталин интересовался, как организована заготовка и вывозка леса. Лес шёл на внешний рынок, лес давал необходимую стране валюту, и Сталин интересовался, в частности, строительством железнодорожной ветки к огромному лесному массиву на севере области, где ещё в прошлом году начались крупнейшие заготовки строевого леса. Степанов и сейчас помнил, как, выслушав его неторопливый ответ, Сталин приостановился, задержал трубку у рта, его хмурая бровь почти прикрыла скошенный на Степанова острый глаз. Степанов видел, что Сталин его ответом недоволен.

Степанов преклонялся перед ясностью ума Сталина и силой его характера, уважал Сталина как теоретика и политика. Себя Степанов считал большевиком-практиком и своё назначение видел в том, чтобы в полную меру способностей и сил организовать на порученном месте производство необходимых обществу благ, исходя в этой своей организаторской работе из планов пятилеток и директив партии.

Но Россия для Степанова никогда не была абстракцией, выраженной в цифре – 150 000 000. Он прошёл её всю, от Питера до Владивостока, и всегда она была перед ним в зримо увиденных городах, дорогах, полях, сёлах, подобных его Семигорью, и люди для него были не люди вообще – они имели лицо, судьбу, облик тех, кого он встречал на дорогах и в деревнях, кто шёл с ним рядом, закинув длинную винтовку со штыком за спину, поверх скатки рыжей шинели. И когда ему приходилось исполнять какое-то решение или принимать решение самому, он прежде думал, как поймут это решение люди: тот же Иван Митрофанович Обухов или Макар Разуваев, если это решение касалось села, или как отразится новое решение на судьбе многодетной семьи рабочего Тихова из пятого барака и прибавит ли оно рабочего задора и уверенности прядильщице Корытовой с льнокомбината, если решение это касалось производства.

Степанов не мог иначе, он не мог просто исполнять – каждое исполнение он понимал и видел как живое разумное действие известных ему людей. Он должен был сам увериться в целесообразности решения, чтобы уверить других, и тогда уже осуществлял его как необходимую часть жизни.

Поэтому, преклоняясь перед умом и характером Сталина, перед его политическим опытом, понимая своё назначение и своё место в чётко построенной партийной системе. Степанов не мог подтвердить те сроки окончания строительства дороги, которые назвал Сталин. Понимая, что Сталин недоволен, он всё-таки повторил то, что думал.

— Вы не политик, товарищ Степанов, – сказал Сталин. – Вы должны уметь соотносить интересы миллионов, страны, в целом с интересами десятков, может быть, даже сотен людей. Важен результат. Вы меня поняли, товарищ Степанов?.. Я думаю, через месяц вы доложите, что ваша дорога действует...

Степанов слушал Сталина, а перед глазами была пробитая через лес и болота грязная от осенних дождей насыпь недостроенной железнодорожной ветки. Неделю назад он сам разрешил снять с ветки рабочих, бросить их на строительство барачков. На носу были морозы, а лесозаготовители всё ещё жили в палатках и шалашах. Без тёплых барачков зимы они не выдержат.

«Да, результат важен, но важны и люди!» — Степанов близок был к тому, чтобы сказать это Сталину, но кто-то из товарищей тихонько дёрнул его за пиджак.

Сталин ходил по кабинету, его ноги, в коротких, аккуратно пошитых сапогах, неслышно ступали по широкой ковровой дорожке. На повороте он нажал на носок, и подошва сапога скрипнула. Сталин приостановился, настороженно посмотрел на узкий носок сапога.

Степанов видел, что Сталин недоволен. И всё-таки не мог заставить себя заискивать перед изменчивым, как у всякого человека, настроением Сталина. К тому же он верил, что Сталин оценивает руководителей по их делам, а не по способности угодить ему.

«Сталин должен знать правду, — думал Степанов, подавленный тем, что не решился сказать вслух то, что думал. — Если правду промолчит один, от правды отступит другой, правду приукрасит третий... Сталин привыкнет к неправде. Это должно быть ясно каждому. Тем более должно быть ясно ему...»

Сталин с каждым попрощался приветливо. Он подошёл и к Степанову, пожал руку коротко, твёрдо, опять остро взглянул на него прищуренным глазом. Ладонь у Сталина была холодной. Степанов понял, что Сталин не забудет о железной дороге.

Через 28 дней паровоз медленно провёл по только что законченной железнодорожной ветке первые платформы с лесом. Нет, Степанов не поступился своими убеждениями. Рабочие продолжали ставить в лесу бараки. Выход нашли в другом: на партийно-комсомольском активе оформили два рабочих поезда, людей в железнодорожных составах по утрам увозили из города на трассу, к ночи привозили обратно. Было трудно, люди изматывались. Одно дело делалось за счёт других дел. Но людям в лесу теперь не грозили холода — бараки были построены.

Тогда и сейчас Степанов думал: «Может быть, Сталин всё-таки прав? Своей непреклонностью он заставил найти выход. Лес пошёл за границу на два месяца раньше...» Но слишком очевидна была обратная сторона приложенных усилий: такие авралы могли быть эпизодом, но если их возвести в закон, область начнёт лихорадить — производство от авралов заболевает.

На рапорт обкома о завершении строительства дороги Сталин не ответил. Степанов тогда с горькой усмешкой подумал: «Видимо, и эти их героические усилия Сталин принял как должное...»

Мысли возвратились к нынешнему, до предела напряжённому дню. Степанов понимал, что не без причины он вспомнил сейчас свой последний разговор со Сталиным. В самые напряжённые минуты сегодняшней работы его преследовал прищур острого сталинского взгляда. И теперь снова он думал: «Может быть, Сталин прав? Прав в своей жестокой требовательности? Прав с этой железнодорожной веткой? Прав и со Стуловым? Может быть, Стулов как раз тот деятель, который нужен сейчас? Может быть, в этом, как говорит брат Борис, есть своя историческая необходимость?..»

... Домой Степанов ехал в просторной «эмке». Дождь наконец устал, на стёкла машины оседала лишь похожая на туман водяная пыль. Улицы вдоль тротуаров бурлили водой. Люди перепрыгивали потоки, по их оживлённым движениям и лицам видно было – люди рады, что дождь наконец затих.

Дорогу пересекали трамваи, освещённые, как комнаты. Тянулись подводы по мокрым булыжным мостовым, погромыхая колёсами и кладью. В узких улицах Степанов близко видел витрины магазинов с выставленными напоказ продуктами, привычно отмечал: «Не густо... Но и не с такой уж оглядкой, как года два назад. Хлеба хоть вдоволь. От карточного распределения ушли. Всё-таки ушли!..»

Милиционер со свистком и полосатой палкой в руке регулировал движение на перекрёстке. Узнал машину, пропустил без задержки, козырнул, хотя в машине было темно и видеть Степанова, он не мог. И Степанов, возвращаясь к своим мыслям, подумал: «Так же он козырнёт и Стулову, когда он поедет в этой машине... И этим людям, идущим сейчас по городу в ночные смены, в свои дома или к друзьям, по сути, не так уж важно, кто будет на месте секретаря – он или Стулов. Потому что сама партийная должность и долг перед партией обяжут и Стулова заботиться о том, чтобы эти люди имели хлеб и продукты, библиотеки и вузы, чтобы эти люди могли с пользой трудиться, разумно жить. Люди у нас заменимы, незаменимых нет...» — так размышлял Степанов, откинув усталое тело на сиденье. Он понимал, что в этом его размышлении есть правда. Но не вся правда. Кому-кому, а Степанову было известно, как всё меняется – будь то дивизия, завод или область, — когда приходит новый властный командир. Всё – и люди! – встряхивается, всё, как железные опилки в магнитном поле, устанавливается по новым силовым линиям, идущим от первого. И если меняется, не может измениться суть и направление работы, то изменяется атмосфера жизни – при затяжной пасмури, бывает, и рабочий человек хандрит. А хандра – то же равнодушие, дело равнодушных не любит.

«Что это ты, Арсений? Вроде бы уже и руки сложил?! – вдруг подумал Степанов и заставил себя внутренне встряхнуться. – Никто не отказал тебе в доверии. Тебя переизбрали. Жизнь не приостановилась от твоих пасмурных дум, и дела твои делать за тебя никто не будет! Работать – тебе...»

Глубинный ход мысли оживил в его памяти одну из встреч с Орджоникидзе. В области осваивали производство броневой стали, не хватало опытных специалистов, и Степанов попросился на беседу к Серго. И чёрт дёрнул его за язык – он пожаловался Серго на жёсткость Сталина. Серго рассердился: «Ты не ищи у меня защиты! – сказал он резко. – Если у тебя есть за что бороться, борись. Доказывай, отстаивай!.. У меня у самого не хватает нужных людей!»

По тому неожиданно резкому тону, которым говорил Серго, по крупным мешкам под глазами, по курчавым, с густой проседью, жёстким, будто растрёпанным волосам, по горящим тёмным огнём глазам Степанов понял, как нелегко быть Серго.

Тогда, у Серго, Степанов как будто вновь осознал давно познанную истину: большевик не имеет права на слабость. «Если у тебя есть за что бороться, борись!..» — повторил про себя Степанов. – Да, только не покорность, не равнодушие! Многие можно простить себе, только не это...»

— Арсений Георгиевич! Приехали!.. Приехали, Арсений Георгиевич! – услышал он настойчивый встревоженный голос шофёра. Машина, видно, уже порядком стояла у дома.

— Извини, Михаил Иванович! Задумался, — сказал Степанов.

— Ничего. Бывает... — по голосу он услышал, что шофёр успокоился.

Степанов вылез из машины, постоял на тротуаре, поглядел, как в тёмную улицу удаляется огонёк машины, и, как бы завершая трудные раздумья большого дня, сказал вслух: «Нет, уважаемый Никтополеон Константинович! Не мне – вам придётся перестраивать себя! Вы будете учиться работать так, как привыкли работать мы. В этом мы вам не уступим...»



ВЫЗОВ

Иван Петрович заоченелыми руками отворил тяжёлую дверь и почувствовал, как вместе с теплом, пахнувшим ему в лицо, знакомо сдвоило сердце. Ожидание какого-то решающего поворота в его судьбе или в делах, к которым он был причастен, всегда охватывало его, когда входил в это трёхэтажное, красного кирпича широкое здание, стоявшее высоко над долиной Волги, сейчас заснеженной и сверкающей под холодным солнцем.

Трое суток пути на лошади, в неподвижности, через леса и поля, пронизывающие морозной позёмкой, заколодили его от затылка до пят. Притопывая валенками, близоруко глядя поверх очков на терпеливо ожидавшего дежурного милиционера, он долго и неуклюже доставал из нагрудного кармана партийный билет. Наконец раскрыл непослушными пальцами, и когда дежурный милиционер посмотрел в билет и с привычной скоростью козырнул, Иван Петрович виновато попросил:

— Вы уж разрешите, я тут немного у батарейки...

— Пожалуйста, грейтесь! – растерялся и улыбнулся милиционер.

Иван Петрович, знобко дрожа спиной, раздвинул на груди шинель и прижался животом и локтями к острым рёбрам горячих труб.

Он решил повременить внизу, ещё раз собраться с мыслями, прежде чем подняться на второй этаж, где на дверях рабочих кабинетов белели скромные таблички с как будто ничего не выражающими фамилиями.

Каждодневно в эти кабинеты с белыми табличками, как в человеческий мозг, собирались сигналы из районов, с заводов, железных дорог, учреждений и школ, с самых отдалённых мест области, от самых разных людей. Обработанные, обдуманые, обсуждённые в этих тихих кабинетах, сигналы эти становились материалом решений, распоряжений, которые по соответствующим каналам доходили до мест непосредственной производящей деятельности людей. От этих советов, решений, и распоряжений зависело, в каком направлении, легко или трудно пойдут дела в районе, колхозе или леспромхозе и кто именно из людей будет обеспечивать ход этих дел на местах.

Иван Петрович настолько ясно представлял эту постоянную, как ток крови, связь «верхов» и «низов», что видел эту связь зрительно, ощущал её чувственно и по своему опыту знал, как много зависело от этой органически необходимой связи, обеспечивающей трудовую, а следовательно, и всю другую жизнь области. Он знал обязательную силу решений, принимаемых в этих тихих кабинетах, и знал, что решения эти принимают люди, хотя и по-партийному воспитанные на понимании высокой своей ответственности за ход общего дела, но всё же люди, со своими симпатиями, со своими характерами, разной глубиной и силой ума. И потому, хотя он твёрдо верил в конечный положительный исход предпринимаемых в общих интересах усилий, он всегда входил в любой из этих кабинетов с некоторым напряжением и внутренней готовностью отстаивать, в случае необходимости, свою самостоятельность, своё понимание тех дел, за которые он отвечал.

Настоящей причины неожиданного вызова к новому секретарю обкома партии товарищу Стулову он не знал, как не знал и самого Стулова. Долгой дорогой он перебирал в памяти весь ход строительства лесного техникума, первый, в общем-то благоприятный, набор студентов, ход заготовок тарного леса в подотчётном ему опытном лесхозе, даже случившиеся в семье неполадки, но так и не отыскал в своих действиях поступка, который требовал бы объяснений. Он отогревался у горячей батареи, ещё и ещё раз мысленно перебирал служебные дела, и вдруг неприятный нервный холодок побегал по его спине. О главном он не подумал – резерв электроэнергии, отданный Семигорью! Да, это, пожалуй, единственное, что требовало объяснений! Но он уже выключил этот эпизод из своего сознания, как дело необходимое и сделанное. Все уже привыкли к линии столбов, протянувшейся от посёлка к Семигорью. Все – и районное начальство – воочию убедились, во что обратился бесполезный для техникума энергетический резерв! Не только свет, радостное волнение, книги принёс он в дома семигорцев, не только продлил людям короткие зимние дни. Иван Митрофанович осенью водил его на ток, он видел, как в окружении возбуждённых лиц, в ворохах соломы и пыльном облаке грохотала колхозная молотилка, оживлённая не восьмёркой круговых лошадей, а малым даже по сравнению с одной лошадей, незаметным, пошмелиному ровно гудящим электромотором! Неужели требуются объяснения тому, что можно понять без объяснений?!

Иван Петрович жался к батарее и старался поскорее пропустить через себя волну неприятных предчувствий и остановиться на точных и ясных формулировках, подтверждающих необходимость сделанного, разумеется, своевольно сделанного, шага.

Теперь, когда он определил возможную причину вызова, он успокоился и сосредоточился на том, что обязан будет объяснить новому в обкоме человеку. Он почти уверил себя в том, что разговор будет именно об этом деле, что его поймут, по крайней мере, должны понять, и одобряют этот его шаг. «Любопытно, каков новый секретарь, сменивший интеллектуала Булова? – думал Иван Петрович. – И не попросить ли у него поддержки в строительстве лесопильного цеха? Польза району. И укрепили бы свой пока ещё весьма стеснительный бюджет...»

В кабинет Стулова он всё-таки вошёл с неопределённой настороженностью, с которой обычно входят в места незнакомые. В таком состоянии достаточно иногда взгляда, чтобы сердце легло к новому месту или к новому человеку или, наоборот, отвратило от места и от человека на долгий срок, возможно навсегда.

Иван Петрович, войдя в просторный, залитый холодным зимним светом кабинет, не определился ни в первом, ни во втором чувстве. За столом он видел широкоплечего, аккуратно, даже, пожалуй, тщательно одетого в костюм человека с почти квадратной головой, прикрытой сверху зачёсанными с боку на бок прямыми волосами. Человек сидел неподвижно, локтями навалившись на стол, и не встал, даже не пошевелился, когда он вошёл. И, может быть, потому Ивану Петровичу показалось, что холодный зимний свет, резко и отчётливо освещающий всё в кабинете: паркет, полированную, абсолютно чистую поверхность длинного стола у стены, в углу узкие, похожие на башню часы с чётко отстукивающим маятником, - лежит и на голове, и на плечах человека, сидящего за столом. Свет этот не давал разглядеть хозяина кабинета, и напряжённое, неопределённое чувство, с которым Иван Петрович вошёл, так и осталось в нём.

Стулов следил, как замедленными от старательности шагами Иван Петрович подходил к столу. Не знакомясь, не протянув руки, ровным и неожиданно сочным, почти михайловским, басом он сказал:

— Прошу...

Иван Петрович сел на край низкого кожаного кресла, поправил на носу очки. Он хотел разглядеть выражение лица Стулова, но встретил его неподвижный взгляд, увидел тонкие, плотно сомкнутые губы широкого рта и понял, что секретарь вызвал его не для близкого знакомства.

Он оставил попытки распознать по чертам лица душевные качества нового для него человека, внутренне подобрался и, откинув голову, остановил на суженных зрачках Стулова свой, такой же прямой, может быть, чуть более напряжённый, настороженно-колючий взгляд. Он умел отвечать любезностью на любезность.

Стулову, очевидно, не понравился этот не уставный молчаливый вызов. Он усмехнулся углами сжатых губ, размашистым жестом вынул из папки бумагу, положил перед собой, тяжёлой рукой придавил и снова в упор посмотрел на Ивана Петровича, на этот раз с недобрый холодным прищуром.

— Причина вызова вам известна? – спросил он.

— Догадываюсь, — ответил Иван Петрович, не отводя настороженно-колючего взгляда от острых зрачков Стулова. Он знал, что, если он опустит глаза, ему трудно будет снова с такой же твёрдостью смотреть на Стулова и говорить с ним, сохраняя достоинство: он почувствовал, что Стулов способен подавить его не только авторитетом должности, но и своей человеческой волей.

— О вашем самовольном решении мне, к сожалению, сообщили поздно, — сказал Стулов. – Вы поторопились провести его в жизнь. В первый час, как только вернётесь к месту работы, отключите село от электростанции. Недостойно большевика, товарищ Полянин, зарабатывать авторитет за счёт государства!

Иван Петрович почувствовал: этим холодным умом взвешенные слова – всё, что приготовил для него Стулов. Другого он не услышит, и своего нерасположения к нему новый секретарь не изменит. Он понял это, как понял и то, что доверительного разговора со Стуловым теперь уже не получится. Понимая всё это и чувствуя, что он делает себе во вред, он всё-таки сказал:

— Так думаете вы, товарищ Стулов. Я думаю, — он говорил тихим отчётливым голосом, выговаривая каждое слово, — я думаю, что большевика достойно всё, что делается в интересах людей. В интересах, — он это повторил, — наших советских людей. И не в ущерб государству...

Зрачки Стулова сузились до остроты иглы. Он медленно поднял лежащий перед ним лист бумаги, как будто эта чётким почерком исписанная бумага была в его руках карающим мечом, но раздумал и отложил бумагу в сторону. Иван Петрович успел заметить, что лист был дважды перегнут и, можно было полагать, попал на этот стол через почту. Он усмехнулся чьей-то неуёмной старательности, и Стулов заметил усмешку. Его млаожавое здоровое лицо закаменело.

— Упорство – не лучший способ защиты, — сказал он с подчёркнутым спокойствием. – Я не ошибусь, утверждая, что вы знали о недопустимости подобных действий?

— Знал. Но...

— В преступлениях «но» не бывает. Объяснения дадите парткомиссии. – Стулов встал, он оказался высокого роста. – У меня всё.

Иван Петрович не сразу нашёл выход из кабинета, в растерянности натолкнулся на высокие часы, приняв их деревянное резное обрамление за дверь. В коридоре он встал у окна, сцепив за спиной руки. Он не знал, что будет сейчас делать. Перед его закрытыми глазами покачивался тяжёлый медный маятник, и чёткий, холодный стук ровного качания отщёлкивал в его ушах ход как будто мимо идущего времени. Иван Петрович был подавлен не существом разговора, не высказанной ему угрозой ответственности за наказуемую самостоятельность, — он был подавлен и уязвлён тем, как принял его и говорил с ним этот моложавого вида, властный и облечённый властью человек. По коридору сновали люди с озабоченными лицами, он не обращал на них внимания. То, что было внутри него, казалось ему сейчас важнее всего того, чем жил этот высокий дом с плотным рядом кабинетов и бесшумным деловым движением людей.

Иван Петрович спустился вниз, оделся. Узким тротуаром, вдоль сугробов сметённого на мостовую снега, пошёл к торговым рядам на центральную площадь: там, у дома крестьянина, ожидал его с лошастью Василий Иванович. Он решил сегодня же ехать обратно, и не предпринимать никаких шагов в свою защиту, и, главное, не отключать Семигорье от электростанции. Он решил ждать, когда присланная Стуловым комиссия разберётся в существе дела. В возникающих острых жизненных ситуациях, разрешение которых зависело не от него, он всегда поступал по простому и, в общем-то, мудрому правилу: «Делай своё дело. Время покажет, на чьей стороне правда...»

Около заснеженного палисадничка у длинной коновязи, где утоптаный снег рыжел навозом и раструженным сеном, Иван Петрович без труда выделил среди других золотистую шею Майки с аккуратно расчёсанной угольно-чёрной гривой. Её морда была погружена в торбу. Майка, не торопясь, жевала овёс, прикрывая выпуклые глаза, осторожно шевелила концами острых ушей; спина её с заботливостью была прикрыта дерюжкой.

Василия Ивановича он нашёл внутри заезжего дома. Конюх сидел на скамье, расстегнув свой дорожный, вольно пошитый из грубой холстины плащ, выпростав поверх ватника на грудь концы вязаного шарфа. Он обедал, расстелив на коленях платок, с четвертушкой хлеба, яйцом и варёными картофелинами.

Иван Петрович, потирая руки в шерстяных перчатках, подошёл, знобко подёргивая плечами – не столько от острого крещенского мороза, сколько от ощущения кабинетного холода, который он унёс от Стулова. Перед конюхом Василием он не хотел казаться неудачливым и, убеждая себя в том, что «время покажет», торопливо и бодро заговорил:

— В столовую, Василий Иванович! Горяченького перед дорогой!

— Не в обратный ли путь? – спросил Василий.

— Домой, домой! И поскорее бы! – Иван Петрович платком протирал запотевшие очки. – Отвык от города! Здесь вроде холоднее! А может, чужая сторона не греет? – вдруг признался он и поглядел огрустевшими глазами невидяще и потому незащитно. Он надел очки и теперь снова видел Василия. Василий неспеша связывал концы на узелке с едой, и хотя смотрел на свои руки, в выражении его лица было неодобрение.

— Не сторона, Иван Петрович! – сказал он, как будто всё понимал. – Бывает, встречный человек охолонит, сторона и глядится чужой... Уладилось ли дело?

Иван Петрович неопределённо и нервно развёл руками. Василий проследил его жест, поднялся со скамьи всё с тем же неодобрением на лице.

— Воля ваша, Иван Петрович, — говорил, укладывая на шее шарф и заправляя его под ватник. — Однако добираться за сто вёрст и не приделать дела... — Он надел рукавицы и в готовности ехать и в то же время в несогласии с Иваном Петровичем взял узелок.

— Что подделаешь! – Иван Петрович чувствовал себя виноватым. – Выше высокого не прыгнешь! Как вы насчёт столовой?..

— Баловство эти столовые, — сдержанно отозвался Василий. – Вы подите, откушайте. Я здесь погожу. – И, пропустив Ивана Петровича в двери и выйдя вслед за ним на улицу, сказал:

— Не обессудьте, Иван Петрович, но по такому делу не грех и самого товарища Степанова обеспокоить!..

«А ведь знает, по какому делу я приехал! – думал Иван Петрович, торопясь через площадь к столовой. – Всё Семигорье знает. Обухов дважды наведывался между делом, беспокоился, хитрец, за мою твёрдость!»

Василию Ивановичу, конечно, не в радость терять свет в доме. К благу все легко привыкают. Расстаются с трудом! Идти к товарищу Степанову... Будто товарищ Стулов не представляет партийную власть!..» — так думал Иван Петрович, переходя до блеска наезженную санями площадь. Но, наскоро пообедав и поразмыслив за столиком в углу шумной столовой, он с приоткрывшейся надеждой, в то же время готовый при первых же знаках непонимания распрощаться и уйти, вернулся в обком.

Степанов его принял. Даже больше: он встретил его в кабинете у дверей.

— Очень кстати, Иван Петрович! Хотел видеть и даже наказал помощнику позвать вас на денёк. Да, признаться, пожалел тревожить в эту стынью! — Он провёл Ивана Петровича к длинному столу, резким движением сильной руки выдвинул два стула, с удовольствием, как показалось Ивану Петровичу, нарушив чинный порядок вокруг стола, усадил гостя. Сел, опёрся руками о колени, туго обтянутые военными галифе, слегка наклонил свою обритую голову с выпирающим бугристым лбом, попросил:

— Рассказывайте, какими судьбами?

Иван Петрович несколько сомлел от оказанного ему внимания, и в душе растрогался, и не удержал в себе томившую его тяжесть недавнего разговора со Стуловым. Не скрывая этой тяжести и хмурясь на свою расслабленность, он рассказал Арсению Георгиевичу всё, начиная с домашнего визита Ивана Митрофановича Обухова до сегодняшней встречи со Стуловым.

Степанов слушал и тяжелел головой, как будто то, что он слышал, его угнетало. Ивана Петровича он не прерывал и, только когда Иван Петрович замолчал и, оглядывая руки, стал нервно царапать ногтём ноготь, сказал, одолевая застарелую хрипотцу в голосе:

— Иван Митрофанович был у меня. К сожалению, ни один закон не в состоянии предусмотреть все живые интересы людей. А интересы государственные, это вы, наверное, сами понимаете, не всегда совпадают с общечеловеческими потребностями. В том деле, о котором речь, мне кажется, государство не пострадало. А колхоз и восемьдесят четыре крестьянских двора выиграли. Никтополеон Константинович Стулов со временем это поймёт. Думаю, что поймёт. Но об этом достаточно. Позвать вас к себе я хотел вот зачем, дорогой Иван Петрович. Не думается ли вам, что ваши плечи шире того дела, которое вы себе избрали? — в тяжёлом взгляде Степанова светлела едва заметная лукавина. — Я не простил бы директору завода, — сказал он, — если бы токаря высшей квалификации поставили нарезать болты.

Тем более подобное не могу простить себе. Когда мы просчитываемся в оценке способностей людей или не по способностям расставляем кадры в хозяйстве – мы обижаем государство, в конечном счёте себя, как часть целого. Если нам нужна новая марка стали, скажем, институт, мы начинаем с поисков опытного человека, способного организовать дело. Новая технология прядильного производства в нашем крае, да и сам комбинат, как вы знаете, начались с талантливого инженера Ивана Дмитриевича Зворыкина. Так что... — Степанов говорил, глядя в окно на печные и заводские думы, подпирающие ясное холодное небо, но Иван Петрович ощущал идущий на него нацеленный психологический напор, и встревоженность от почувствованной им возможной перемены в жизни охватила его. Перемен он не хотел, его вполне устраивало то, чем сейчас он был занят. В том малом деле, на которое почти три года назад направил его нарком, он неожиданно нашёл тот относительный покой, которого теперь желал. А порог былых тщеславных побуждений он перешагнул давно и, похоже, без возврата. Выжидая, к чему подведёт Степанов свою мысль, он внутренне готовился выстоять перед любым его предложением, но, как обычно, не утерпел и сказал, опережая события:

— Не спорю: дело начинается с человека. Но, Арсений Георгиевич, в любом случае нельзя не учитывать и желание самого человека. Фактор, разумеется, субъективный, мы не слишком привыкли считаться с ним, и всё-таки...

Он тут же понял, что слова и его поспешность, с которой он пытался оградить себя от возможных перемен, были наивны. Степанов улыбнулся, наверное, этой его поспешности и наивности его слов. Откинувшись и боком привалившись к столу, он как будто издали разглядывал его уже с откровенной хитрецей в живых глазах.

— Дорогой Иван Петрович! – Степанов постарался несколько смягчить свой теперь твёрдый голос. – Для большевиков желание – категория вторичная. И вы это отлично понимаете! Мы не продвинулись бы ни на шаг ни в экономике, ни в политике, если бы не научились подчинять свои желания необходимости. Нам нужен умный, опытный руководитель на крупнейший в европейской зоне, очень перспективный леспромхоз «Северный». В газетах вы, вероятно, уже читали о рождении нового леспромхоза. Мы советовались с заинтересованными товарищами, мнения всех, подчёркиваю, всех, сошлись на вас... — Степанов мог бы не говорить заключающих слов: когда говорят «пятью пять», результат умножения ясен тому, кто знаком с таблицей умножения.

Сколько раз в своей жизни Иван Петрович слышал такие вот, как будто ни к чему не обязывающие слова: «Мнения совпали», «Думаем поручить вам». Но слова эти, сказанные тихим голосом в тихом кабинете, в считанные дни срывали его с места, судьба делала очередной крутой виток, и всё начиналось сначала: растерянность жены, горящие ожиданием новизны глаза Алёшки, поспешные сборы, дорога, новые места, новые люди и работа, работа, работа. Год-два и – снова тихо и буднично сказанные слова: «Решили поручить вам...»

Степанов поднялся, подошёл к звонившему телефону, взял трубку, сказал кому-то: «Через двадцать минут...»

Медленным шагом он прошёл до половины кабинета, в сосредоточенной задумчивости остановился перед неподвижно сидящим Иваном Петровичем.

— Леспромхозом интересовался товарищ Сталин, — сказал он. Прямой взгляд его как будто хотел проникнуть за черту видимого. Иван Петрович ничем не проявил своих чувств. Степанов ждал. Иван Петрович понимал, что молчать так долго неприлично, но, расстроенный неподвластным ему поворотом дела, не мог подыскать аргументов в свою защиту. Крепко сцепив пальцы рук, наклонив голову, чтоб уйти от читающих его глаз Степанова, чувствуя, что голос его сейчас задрожит, он сказал:

— Я не хотел бы менять работу. Техникум меня устраивает.

— Устраивает вас... — неожиданно резко, с недобрим нажимом на слове «вас», сказал Степанов. Голос его прозвучал с чуждым ему металлическим отзвуком, и Иван Петрович вдруг до холодка в сердце почувствовал власть, стоящую за плечами этого человека. Но именно это возможное сейчас насилие над его желанием вызвало чувство слепого протеста. Теперь уже упорствуя перед властью этого человека, Иван Петрович сказал:

— Да, товарищ Степанов, меня. Я начал дело и хочу, имею право его завершить...

Степанов ходил по кабинету, мимо звонивших телефонов. Когда он близко подходил и молча и круто поворачивался, Иван Петрович, настороженно следивший за ним, видел отчётливо проступивший над его надбровьем шрам. Раньше он не замечал этой, наверное, боевой меты и, видя её, догадывался, чего стоило Степанову его молчание. Наконец Степанов остановился, удобнее повернул стул, сел напротив Ивана Петровича.

— Прошу извинить мою резкость, — сказал он с прежней примиряющей хрипотцой в голосе. — Я, кажется, не до конца понимал вас. Но и вы себя плохо знаете, Иван Петрович! — Он наклонился, рукой доверительно коснулся его колена. — Сила ума сильнее силы характера, попомните мои слова! Обязывать вас мы не будем. На «Северный» человек поставлен. Правда, перспектива не по его плечам, но пока тянет. Поразмышляйте, как остынете. Дорога у вас дальняя. И мы народ терпеливый — когда позволяет время...

Прощаясь, Арсений Георгиевич задержал в своей руке отмякшую руку Ивана Петровича, вдруг спросил с пробившимся в лице оживлением:

— Как ваш Алёша? Определился в своих душевных поисках? Или всё ещё между долгом и желаниями?..

— Определяется... — сказал Иван Петрович, стараясь не углубляться в то, что знал нетвёрдо. Ему было приятно, что его сын остался в памяти Арсения Георгиевича, и в то же время, закрывая за собой тяжёлую дверь, он подумал, что можно отнести и к нему самому то, что он сказал о сыне.

... Выехали они с Василием Ивановичем из города на следующий день, и не рано. Затуманенное морозом солнце стояло над лесом. Холодные поля малиново отсвечивали на буграх, сверкал иней по обеим сторонам дороги и в воздухе. Майка бежала напористо. От её ровного бега, тишины и холодного сверкания на душе было радостно и чисто. Благодарное чувство, которое Иван Петрович испытал к Арсению Георгиевичу, смешивалось с чувством самолюбивой удовлетворённости тем, что он всё-таки выстоял перед властным его напором. Дома ему не придётся собирать вещи и виновато смотреть в растерянное лицо Елены Васильевны. Сознание того, что он остаётся на полюбившемся ему месте, радовало его какой-то уютной детской радостью. Правда, мечты его о свободном времени и тихих вечерах на речке так и остались мечтами — за два года ему так и не вышло посидеть над удочками рядом с Алёшкой, но это — пока, пока он в горячке строительства и в суеде организационных дел. Потом, когда всё наладится, он сможет и счастливо поволноваться над поплавком, и поговорить с Алёшкой о серьёзных проблемах жизни. И Елене Васильевне уделить недостающее ей внимание. Раз он остаётся на месте, он обязательно всё осуществит...

Высвободив из овчинного тулупа лицо, пониже на брови надвинув шапку, чтобы морозный ветер от быстрого движения не слишком охлаждал лоб, Иван Петрович с удовольствием смотрел на открытые искрящиеся поля и, по привычке обдумывая прошедший день, перебирал в памяти детали своего разговора со Степановым. О Стулове он не думал, как не думают о неприятном врачебном кабинете после того, как больной зуб вылечен. Мысли Ивана Петровича занимал Степанов. И, пожалуй, больше всего и с запоздалым интересом он размышлял о настойчивом его стремлении выдвинуть на руководство новым леспромхозом именно его, Ивана Петровича Полянина. Он не сомневался в том, что Степанов не лукавил, обосновывая интересами дела своё намерение. И всё-таки во всём этом – Иван Петрович особенно чувствовал это сейчас – было что-то, что заботило Степанова не только как умного хозяина. «Зачем он сказал о Сталине? – думал Иван Петрович. – Только ли проверить живучесть моего тщеславия? Вряд ли. Всего вернее – за этими словами стоит собственное его беспокойство. Если леспромхоз на виду в верхах, он в какой-то мере становится лицом области! Не думал, что Степанова может заботить эта сторона дела.

А проводил он меня умно. Завязал на дорогу узелок: «Сила ума сильнее силы характера!» Развязывай-ка теперь, Иван Петрович!.. Да, полмиллиончика кубов на один леспромхоз – шаг, надо сказать, сажений!.. Наверное, и техники подбросят. Этаким замахом руками да лошадами не возьмёшь! Пару бы толковых, энергичных инженеров-эксплуатационников, лучше даже из молодых, – одного на заготовку, другого на вывозку. Были у меня толковые ребята. Можно бы списаться через наркомат... Да что это я? В самолёт не сел, а лечу! Это Алёшке рваться в облака. А с меня достаточно. Дело избрано, возврата не будет...»

Василий Иванович слегка придерживал горячившуюся Майку, хотя дорога была ровная, без раскатов, и санки легки.

«Жалеет лошадь, — думал Иван Петрович, с непривычным для него участием наблюдая лицо конюха, обветренное до синевы на скулах. – Вот делает же человек своё малое дело! Заботливо делает, хорошо. И пользу людям приносит. И достоинство не теряет. А ведь если бы не он, я, пожалуй, и не дошёл бы до Степанова. И ехал бы сейчас в этом белом безмолвии с колючей изморозью на душе...»

— Василий Иванович, а совет-то ваш помог, — сказал он в приливе добрых к конюху чувств. — Товарищ Степанов защитил Семигорье!..

— Как иначе! – рассудительно ответил Василий, переводя Майку на шаг. – Ведь дело людей касается!.. Я на своих детишков гляжу – без света им никак! Бывало, кто тетрадь, кто книжку, да всё разом на стол вытащат, соберутся вокруг одной лампы, как цыплята возле клухи, — и не шевелись!

Локоток к локотку, голова к голове – Иван, Нюра, Никола, Валька. Зимний-то день – не день: повернулся туда-сюда, он и отсветил! Теперь электричество с потолка на любой край. Рассядутся по столу, как на поле. У иного от старательности чернила на губах, а глядятся все важными – не дай бог отвлечь! Мы уж с Марусей не говорим, шепочемся. Пристукнешь чем, сам себя за руку ловишь...

«Вдову с пятерыми ребятишками взял! И как будто того искал, – думал Иван Петрович, слушая Василия. – Сумел бы я так?..»

Разговор о доме, видно, согрел Василия Ивановича, по щекам разошлась краснота, он высвободил руку из рукавицы, усунул от подбородка в ворот шарф.

— За всё это Ивану Митрофановичу спасибо, – сказал он. – И вам – особо.

— Мне-то за что? – Иван Петрович даже с некоторым раздражением отвёл благодарность конюха, хотя слова и рассказ о детишках тронули его.

— Есть за что, — с твёрдостью убеждённого человека сказал Василий. – Ответ держать не каждый умеет. Нам всё ведомо, Иван Петрович. Ведь это Дора райкомовская беспокойство создала. Семигорская, а, поди ты, не разобралась! С Ивана Митрофановича три допроса сняла. Ходили к ней, просили: «Отступись, Дарья...» Куда там! Не от разума власть её оковала...

«Так вот чьё письмо у Стулова! – догадался теперь Иван Петрович. – Дора Павловна Кобликова! Ну, у этой только два цвета: чёрный и белый, как у зимы...» Он вдруг успокоился совершенно, а вслух сказал:

— Страшна не жалоба, Василий Иванович. Страшно, когда на жизнь смотрят через жалобу...

— О том и я, — сказал Василий. Он чуть натянул вожжи, и Майка, вздёрнув голову, пошла напористой рысью.

Плыли назад по обочинам синие тени и слепящие полосы освещённого солнцем снега. Лес то смыкался над дорогой высокими засугробленными воротами, то расступался и светил полянами, открытым небом. Это быстрое движение по лесу, яркий морозный день, дорога, ведущая к дому, настроили Ивана Петровича на редкую для него мечтательность. Он на время ушёл от забот, отдался движению и душевному покою.

«Солнце на лето, зима на мороз, – подумал он, ощущая влажными веками глаз и губами летящий навстречу холод. – Но всё же на лето! – думал он. – Нет, уж теперь-то он освободит хоть половину тёплых красных деньков и посидит с удочкой на реке! И груздочков собирает по молодым липнякам с Алёшкой; Елена, наверное, тоже не откажется побродить...» О жене он думал всё ещё с чувством некоторой виноватости, хотя после Ленинграда Елена Васильевна с головой ушла в общественные заботы и в семье установился вполне сносный житейский мир. И помог этому не кто другой, как Алёшка.

Мысли Ивана Петровича перекинулись к сыну, он думал о нём с непривычной нежностью и видел перед собой высоким, молчаливо-внимательным и чуть сутулящимся от застенчивости. В Алёшке проглядывало уже что-то серьёзное, и Иван Петрович ловил себя на том, что ищет духовной близости с сыном. Его торопили запоздалые отцовские чувства – он остро чувствовал, что сыну недолго осталось жить рядом.

— Василий Иванович! А что Алёшка мой, как на ваш глаз? – он спросил, не устояв перед желанием узнать, что думает о его сыне Василий. Иван Петрович не забыл урок, который преподавал ему и Алёшке этот по-крестьянски спокойный и рассудительный человек.

Василий был занят дорогой – навстречу им, в город, шёл обоз: лошади качали заиндевелыми мордами, мужики-возницы в подпоясанных полушубках шли рядом с санями, придерживая укрытую тяжёлую кладь. Только когда по неровной обочине миновали обоз, и дорога освободилась, и Майка легко и свободно пошла по накатанной колее, Василий Иванович ответил:

— Парень совестливый. Может, и оступится где, но подыметя. Человеком будет, так думаю...

Второй раз за эту поездку Иван Петрович слышал доброе слово о сыне, и второй раз ему было приятно его слышать. «Алёшка действительно растёт с обострённым чувством справедливости, — думал Иван Петрович. – Это хорошо. Но это и трудно! Очень трудно, особенно если на пути окажутся деятели, подобные Стулову. Рано или поздно окажутся. Даже в нашей справедливой жизни за справедливость приходится драться. Вот и нынешний вызов обернулся вызовом Стулову. А ведь я не хотел этого! Не хотел, а не смог.

Работать теперь будет труднее. Это уж так: при подобном отношении любые мелочи вырастают в принципы!

И всё-таки, пока есть Степановы, Стуловы не страшны...» Иван Петрович подумал об Арсении Георгиевиче и возвратился к тому уверенному настроению, с которым выехал из города. Правда, в глубине души осталась тревога, но Иван Петрович отнёс эту едва ощутимую в глубине тревогу уже не к повседневности. А к общим земным заботам – он слишком хорошо знал, что вечного на земле нет...



Из дневника Алексея Полянина, год 1941

8 марта мы поздравляли всех наших девчонок с женским праздником. «Дорогие наши женщины!..» Смешно, верно? Какие они женщины?! Ха-ха... Хи-хи... Сегодня косичка слева, завтра косичка справа. А носы у всех кверху и ждут, когда мальчишки поздравят!

А в общем-то получилось, хотя в классе всего восемь мальчишек и двадцать четыре девчонки. Каждой вручили блокнот с карандашом и зелёную сосновую мохнатую лапу. Лапу придумал я, блокнот – Вася Обухов. Юрка Кобликов презрительно всё отверг. «Телячьи нежности! – сказал он. – Алёшка, как новый староста, выдаст речь, и конец делу». Бюрократию Юркину отвергли. Но не в том суть. Я вручал блокноты и ветки сосны девчонкам и подошёл к Ниночке. И вдруг так смутился, что как столб стоял перед ней и от смущения кусал губы. Нина смотрела на меня лучистыми, как у Юрочки, глазами и, казалось, ждала от меня каких-то особенных слов. А еле выдавил из себя даже те слова, которые говорил всем...

А сегодня, на перемене, из своего класса выбежала радостная и возбуждённая Зойка, оттащила меня в угол, к окну. «Это тебе, Алёша, — сказала она, как будто торопясь. – У тебя рождение, и хочу, чтобы ты скорее услышал весну! Сейчас не разворачивай, потом развернёшь...» И убежала.

Я отвернулся от всех, распечатал трубочку из газеты. В трубочке была тополевая ветка, а на ветке только что родившиеся живые, зелёные листья!.. Вот они сейчас передо мной, на столе, в стакане с водой. Я вижу, как на своих будто запотевших ладошках они держат крохотную весну и слышу слабый запах тополевой смолки. За окном – высокие мартовские снега, в сугробах заборы, а у меня в комнате живые листья и запах весенней смолки – ещё одно Зойкино чудо! А я даже не поздравил Зойку с 8 Марта. Не сказал ей даже тех слов, которые говорил всем! Ну, отчего так?..

Наверное, всё оттого, что у каждой души есть руки. Маленькие руки-усики, которые ждут и ловят руки-усики другой души. Как усики валентности у химических элементов, они соединяются вовсе не с каждой душой, а только с определённой, у которой валентность совпадает. Вот руки-усики моей души почему-то не хотят брать руки-усики многих девчонок, которые вокруг. Вот и с Зойкой так. Она чудо-девчонка! Но соединяются наши души только каким-то одним, дружеским, усиком. А у любви валентность, ну, не меньше, чем пять, может, и десять! И все они, руки-усики моей души, трепещут и тянутся только туда, где Ниночка...



ЛЮБОВЬ

1

Дивно хороши у Ниночки волосы! Жизни не пожалел бы – только тронуть завитки, почувствовать их, наверное, ласковую, как речная вода, упругость. Алёшка смотрит на Ниночку, и каждое движение её ему в радость. Всеми чувствами он там, рядом с ней. Он почти не слышит голос учителя, не вникает в длинную формулу, которую с весёлым старанием выводит мелом на доске Лена Шабанова. Он не знает, когда и как случился великий переворот в мире, но твёрдо знает, что мир переменялся – в эту зиму, из снегов и морозной стыни, пришло к нему тепло от всех затаённой любви.

Ниночка наклоняет голову, волосы её как живые набегают на ухо, маленькая мочка, с давним проколом для серьги, попадает в бьющее через окно солнце, трогательно краснеет. Алёшка знает: многие семигорские девчонки прокалывают себе уши для серёжек, но не носят их по той причине, что серёжек у них нет. Девчонки надеются, что кто-то добрый и ласковый, тот, кто изберёт их в невесты, непременно подарит им сверкающие серьги, и уж тогда-то сразу они и проденут их и закрасуются! Алёшка мечтает обрадовать Нину серёжками. Если бы не робость, не страх: как-то отнесётся она к подарку? – он написал бы Ольке в Ленинград, Олька выслала бы ему лучшие в городе серёжки!

Алёшка видит, как щурится Ниночка от яркого света, как пружинисто дрожат выше её щеки ресницы, и до отчаяния завидует, что солнце на виду у всех трогает Ниночкину щёку.

Рядом за тесной партой томится Юрочка. Вздыхает, ворочается, мешает мечтать и смотреть на Ниночку. Алёшка толкает его плечом, Юрочка отвечает холодным презрительным взглядом.

После дней вольницы и памятного собрания их дружба как-то сама собой переросла в молчаливое и упорное соперничество. Алёшка старался быть во всём лучше, и Юрочка это видел. С обидным равнодушием он позволял Алёшке стараться и быть лучше. Но когда впервые открыто они столкнулись на городском лыжном кроссе, он победил. Победил легко, с блеском, как мастер недоучку! На десятикилометровке, обгоняя Алёшку, он пронёсся мимо, как метельное облако, гонимое ветром!

После финиша подошёл с лыжами на плече. Густые его волосы индевели, как в мороз грива скакуна, глаза сияли блеском мартовских настовых снегов.

— Ну, как? – спросил он. – Сорок восемь? Неплохо. Если бы не мои тридцать семь!.. – Он смотрел вприщур, с холодным торжеством. Переложил лыжи с плеча на плечо, вздохнул, будто сожалея. – Вот так, претендент...

Перед стартом Вася Обухов, ободряя Алёшку, сказал: «Ну, Полянин, всё цивилизованное человечество надеется на тебя!..» Юрочка слышал это.

Тяжело переживал Алёшка неудачу. Он поклялся победить Юрочку летом, в беге, и начал, не дожидаясь тепла, готовиться к поединку: с часами на руке каждое утро пробегал замеренную километровку по лесной, измятой лошадыми, дороге. Юрочкино время было известно всем: две минуты пятьдесят восемь секунд. Алёшка начал с трёх двадцати пяти, за месяц подошёл к трём восьми, чувствовал в себе ещё достаточный запас силы и был убеждён, что Юрочку теперь победит. Единственное, что мешало ему жить предстоящим поединком, – это Нина. Сама того не зная, она до невозможности осложнила его жизнь, и прежде всего его отношения с Юрочкой. Если бы он ничего не знал о друге! Но Юрочка открывался перед ним, доверял ему свои чувства, свои страдания и радости. И выходило так, что доверие друга он поворачивал против друга. Всеми силами Алёшка старался не выдать своей любви. И всё-таки очень скоро Юрочка догадался о его чувствах. И почему-то встревожился. Замкнулся, стал подозрителен, с ревнивой неотступностью наблюдал за каждым его шагом и взглядом.

Однажды, на перемене, он подстроился к Алёшке, молча ходившему по коридору, как бы между прочим сказал: «Не хочу огорчать тебя, претендент, но приходится. Ниночка произнесла о тебе далеко не лестные слова. Надеюсь, догадываешься, что сказаны они были между поцелуями...»

Алёшка поверил Юрочке. И расстроился так, что дома сказался больным, два дня не ходил в школу. Потом додумался, что своим нечистым откровением Юрочка защищал себя, и злое упрямство узнать всё до конца не от Юрочки – от самой Нины! – заставило его решиться.

«А что? Подойду и скажу. Так прямо подойду и скажу! И будь что будет!..» — думал Алёшка и в ожидании этой жуткой минуты потерял покой окончательно.

«Я люблю тебя, Ниночка!» — бессчётно, пьянея от радости, повторял он про себя оглушающие его слова. Слова сверкали, как летний дождь на солнце, звенели, как весенние берёзовые рощи звенят птичьим гомоном.

Но стоило ему вообразить, что с этими звенящими словами он идёт к Ниночке – холодный пот прокатывался по спине, пальцы сами собой расстёгивали на куртке пуговицы – он сникал и прятался в своей комнате, как улитка. Так было ещё вчера. И вот он сидит за партой, как на жарких углях, смотрит на Ниночку и страдает от того, что час задуманного свидания приближается.

Первым он выскочил из класса – в конце коридора ещё бухал школьный ручной звонок, — быстро оделся, вышел. Он решил дождаться Нину у городской пожарной каланчи, на углу базарной площади. Дом её был на горе, на самой окраине, за ним начинались уже поля и деревни. А подруги её жили внизу, у Волги, и на площади Нина расставалась с ними – мимо каланчи шла обычно одна. Алёшка выглядел это ещё зимой, когда вместе с любовью вошло в него великое беспокойство за Ниночку. За всё, что окружало её, за всё, что было её жизнью.

На высоких, уже оттаявших от льда деревянных мостках, проложенных вместо тротуара, он стоял и делал вид, что читает афиши и объявления, наклеенные на рыночном заборе. Но глаз не сводил с улицы и видел, как по солнечной её стороне толпами шли оживлённые весной люди. Руки он держал за спиной и поигрывал портфелем, чтобы унять дрожь ожидания, но дрожь нарастала, и когда среди прохожих он заметил Ниночку, он свернул за угол и, скрытый забором, почти побежал к Волге. «Ну, что я скажу ей? Что?!» — твердил он потерянно. Те звенящие слова, которые в одиночестве он выговаривал с упоением и радостью, казались ему сейчас стыдными. Он спешил уйти, чтобы унести как можно дальше от Ниночки эти невозможные теперь слова.

В конце площади он остановился, увидел, как вышла из-за угла Нина, неторопливо пошла по дощатым мосткам в гору. Он смотрел, как она уходила, и с отчаянием и нарастающим страхом думал, что если сейчас не решится, не догонит, не заговорит, Ниночка уйдёт от него и, может быть, навсегда.

Он догонял Нину, а в памяти некстати всплывали мамины грустные и тревожные слова: «Я хотела бы, Алёша, чтобы у тебя было горячее сердце и холодная голова...» «Хотела бы!..» Он тоже хотел бы! Но что ему делать, если сейчас вообще он не чувствовал сердца! Была только пылающая, совершенно без мыслей голова!

Он знал одно: он должен догнать Нину и заговорить, о чём угодно – только заговорить!..

На ходу расстегнул портфель, вытащил зелёную тополевую ветку – ещё утром он взял её из стакана на своём столе – и тут увидел, что Нина остановилась, ожидая его. Алёшка тоже остановился, потом широко и стремительно шагнул, не видя ничего, кроме своих рук, протянул тополь.

— Нин, вот, пожалуйста. Настоящее чудо!.. – бормотал он и неловко совал ей в ладонь покрытую живыми листьями ветку. Слабые листья от резких его движений трепетали, как на ветру, и Алёшка страшился, что сейчас они сорвутся, опадут и чудо, которым он хотел удивить Ниночку, исчезнет. Листья дрожали, но не осыпались. В ярком солнце, под холодной синевой неба, они были как цветы.

— Действительно, чудо! – сказала Ниночка. – Среди снегов улыбка весны... — Она не поднесла к губам листочки, не вдохнула запах тополевой смолки, как того ждал Алёшка. С какой-то отчуждённостью она держала зелёную ветвь и насмешливо смотрела из-под изломанных бровей на Алёшку. – Только... Только это чудо, Полянин, я видела у Зойки Гужавиной из 8 «б»! Не трудно догадаться, что оно выращено для тебя!..

Она бросила ветку на руку Алёшке, повернулась и пошла, аккуратно ставя ноги в ботинках на льдисто отсвечивающие доски тротуара. И ни разу не оглянулась. Даже там, на горе, переходя дорогу, она смотрела в поле, чтобы не видеть Алёшку, потрясённо застывшего среди улицы.

2

Он брёл, глядя себе под ноги, и улица, как прежде, оживлённая и солнечная, казалась ему холодной и пустой, как в осеннюю непогоду. Он шёл к общежитию, где уже устроили заречных на время распутицы, но даже не остановился у знакомых ворот. Спустился к Волге, шлёпая по снежникам, утопая по щиколотки в талом снегу, перебрался к Семигорью. Домой пришёл мокрый, озябший, вяло улыбнулся матери, обрадованной его неожиданным появлением, молча, поел, ушёл в комнату и весь вечер просидел за столом, тупо глядя в дневник.

«Всё кончено, — думал Алёшка. – Зачем дом и школа, сама земля и всё вокруг, если Нина меня не любит? Зачем жизнь без любви?!»

Он знал: когда прощаются с жизнью, оставляют какие-то важные слова. Но, ни слов, ни мыслей не было. Он просто сидел и ждал, когда настанет утро.

В школу он пошёл только для того, чтобы проститься с Ниночкой. Взглянуть последний раз и уйти. Не тревожа, молча, покорно, как в осеннюю пору уходит от дерева лист. Юрочке он мысленно пожелал счастья, сложил учебники в портфель, в последний раз оглядел наполовину опустевший класс, вышел в гудящий голосами коридор. Надевая в тесной раздевалке пальто, он услышал тихий настойчивый голос: «Алёша! Ну, Алёша!» Он нехотя повернулся и увидел Ниночку. Пальто перекинута через руку, глаза смотрят ласково и виновато. Как заговорщица, она приложила палец к губам, прошептала: «Подожди меня на том же месте...» — и, тут же вскинув голову, пошла к окну, на ходу поправляя рукой волосы, гордая и неподступная, как королева! Она не видела, как побледнел Алёшка, как тут же вспыхнул, словно сухая сосна на пожаре. Закрывая пылающее лицо кепкой, он старался быстрее протиснуться сквозь толпу к двери.

... Они шли по деревянным мосткам почти рядом – Ниночка чуть впереди. Она очень заботилась, чтобы между ними было хотя бы маленькое расстояние, и время от времени оглядывала улицу. Алёшка чувствовал её беспокойство, он был счастлив её милым возбуждением, тем, что идёт рядом, и хотя и не решается, но может коснуться её руки. То, что было вчера, он уже не помнил и уж совсем не думал о неожиданной переменчивости Ниночкиных чувств. Они шли безлюдной улицей рядом – Ниночка сама хотела, чтобы они шли рядом! – и Алёшка был счастлив этой первой их близостью. Если бы на свете не было Юрочки! Но Юрочка был и как будто тоже шёл с ними, с лентой переставляя ноги, картинно заложив руку за борт пальто. Алёшка чувствовал его тут, на узком тротуаре, он мешал ему говорить и заставлял ревниво думать о том, что будет, когда счастье кончится. Он, Алёшка, проводит Ниночку и уйдёт, а в вечерних сумерках придёт к Нине Юрочка, и Нина выйдет к нему, потому что на это есть у Юрочки право, и они пойдут в поле и там, под звёздами...

Алёшка даже задохнулся от того, что представилось ему. Душевная боль проступила на его лице, и Ниночка заметила эту его боль и, как будто ни о чём не догадываясь, спросила: «Почему ты хмуришься, Алёша? И почему молчишь?..»

Алёшка попытался улыбнуться и не мог. Он помрачнел, ушёл в себя и теперь тоскливо думал, что в таком состоянии способен сказать любую глупость. Нина тоже шла в сосредоточенном молчании, думая о чём-то своём, и вдруг засмеялась.

— Не правда ли, Кобликов ужасно похож на дикобраза?! – сказала она с веселым, даже каким-то наивным удивлением, как будто приглашая вместе позабавиться своим открытием, но Алёшка уловил её спрашивающий и какой-то тревожный взгляд и понял, что сказала она не просто невинную шутку. Нина давала ему понять, что Юрочка для неё предмет насмешек, а вовсе не серьёзных чувств. Легко и мило она развязала все узлы его сомнений.

Алёшке хотелось выть от радости. Но он постарался остаться серьёзным. Только протянул руку и робко дотронулся до Ниночкиной ладони. Дотронулся и почувствовал, как прохладные пальцы, которые не были его пальцами, быстро и ласково сжали его руку.

3

Вальс отзвучал. Алёшка шутливо поклонился Лене Шабановой и отошёл к стене. Стена была холодна, Алёшка засунул за спину руки и так стоял, пытаясь настроить себя на следующий решительный шаг. Он уже много раз танцевал с Леной Шабановой, с ней он чувствовал себя свободно, даже подшучивал, когда тяжёлой, откинутой в повороте косой она задевала танцующие рядом пары и озорно смеялась – её забавляло это маленькое нарушение порядка.

С Леной было хорошо, просто, но пришёл он в Дом культуры не ради Лены. И почти месяц упорных занятий у Станислава Феликсовича – это тоже было не ради Лены. Робость, которая вдруг охватывала его, когда он направлялся через зал к Ниночке, оказывалась сильнее его желаний, и, не дойдя каких-нибудь двух-трёх шагов до Ниночки, он вдруг холодел от затылка до ног и, сам того не желая, поворачивался к своей спасительнице – Лене. Один раз он заставил себя преодолеть три роковых шага: пробормотал что-то похожее на приглашение и, как во сне, почувствовал в своей руке, будто неживую руку Ниночки. Странно, но этот первый танец не принёс ему ничего, кроме мучений и стыда. Ниночка не слушалась его, у неё был какой-то сдержанный ритм движений, и она заставляла подчиняться этому своему ритму и установленному, привычному ей рисунку танца. Когда Алёшка попытался сделать фигуру, она испуганно остановила его, он сбился, наступил ей на ногу, жарко покраснел от своей неловкости.

Неумело, с унылым однообразием он водил Ниночку по кругу, не решаясь положить руку ей на талию и только робко прикасаясь к ней пальцами, и лихорадочно искал в своей вдруг начисто опустевшей голове хоть одну умную мысль. Наконец с глубокомысленным вздохом он сказал: «Что-то Юрочка сегодня задерживается...» — сказал глупо, бестактно – ведь Юрочка был теперь его соперником!

Ниночка не ответила, безразлично пожала плечами. Так закончился их первый и пока единственный танец. Теперь Алёшка стоял в мрачном одиночестве, как Чайльд Гарольд, и внутренне готовил себя к решительным действиям: он пригласит Ниночку ещё раз, подчинит её своей воле и заставит понять, что совершил он ради неё.

Алёшка не мог сказать, когда перевернулся мир, но что мир перевернулся, он знал точно. Юрочкина любовь – непонятная, далёкая от его жизни Ниночка – стала его любовью. Никто не знал об этом; наверное, не знала и сама Ниночка. Но всё, чем жил он прежде: леса, озёра, охота, отлично натасканная по зайцам собака, редкие победы над собой и позорные срывы в становлении разума и воли – всё потускнело, всё как будто перестало быть. Осталось лишь то, что было вокруг Ниночки – школа, тоскующие взгляды на уроках, долгие бдения на улицах в надежде на случайную встречу.

Однажды Ниночка, держась за руку Лены Шабановой, почти прячась за подругу, спросила:

— Алёша, почему ты не ходишь в Дом культуры?

— Я не умею танцевать, — смутился Алёшка.

— Это никуда не годится! Вот тебе две, ну, хорошо – три недели. За это время ты обязан научиться! Придешь и пригласишь на вальс меня и Лену. Слышишь?..

На следующий день, забыв про свою стеснительность, Алёшка стоял перед лесничим — Станислав Феликсович вёл в техникуме кружок танцев.

— Станислав Феликсович! Вы не сможете мне помочь?

— С удовольствием, Алёша. Если это в моих силах.

— Это в ваших силах, Станислав Феликсович! У меня две недели срока. Я должен научиться танцевать.

— Понимаю. Вы дали слово девушке.

— Да.

Станислав Феликсович вздохнул:

— Жизнь повторяется!.. Хорошо, Алёша, не будем терять времени. Завтра вечером вы должны быть у меня вместе с девушкой.

— Но...

— С любой девушкой, Алёша. Не обязательно с той, ради которой мы будем с вами трудиться!..

В небольшой квартирке лесничего Алёшка появился с Зойкой Гужавиной. Станислав Феликсович стоял у раскрытого патефона, пальцами подперев сухой подбородок. В раздумье он смотрел на Зойку, — в тяжёлом пальто, окутанная платком, в старых подшитых валенках, она казалась толстой и неуклюжей. Зойка всё поняла. Как дома, она сбросила пальто, платок, скинула валенки.

— Я вот так, в носках. Ничего? — она сказала это деловито и просто, и Станислав Феликсович, обезоруженный Зойкиной готовностью к делу, согласно склонил голову.

Четырнадцать вечеров подряд он учил их танцевать. И когда, увлечённый поединком с их провинциальной неотёсанностью, наконец, сказал: «Всё. Мне нечего добавить. Горжусь и выпускаю в свет», — Алёшка почувствовал себя на вершине блаженства. В тот вечер он провожал Зойку к селу в радостной говорливости и не замечал, как понура и молчалива его верная подруга...

Маленький бойкий человек, при галстукке, с волосами, расчёсанными на пробор, вышел на середину зала, поднял руку и объявил: «Медленный вальс!..» Алёшка почувствовал: пришла его минута. «Вальс-бостон! Танец, полный огня и творчества. Мой танец!..» — твёрдо сказал себе Алёшка и отделился от стены. В левом углу, среди девчонок, он уже выискивал бледное лицо Ниночки.

Маленький бойкий человечек снова поднял руку, «Приглашают дамы!» — объявил он и пошёл к оркестру.

Алёшка стоял в растерянности: глупо было думать, что Ниночка сама подойдёт к нему.

Из ряда стоящих напротив людей стремительно выбежала девчужка. Алёшка видел мелькающие белые туфли-лодочки, расклешённое платье, наглухо застёгнутое у горла, кружевной воротничок, чёрную чёлочку на лбу и, ещё не понимая, что эта нарядная девушка через всё пространство танцевального зала идёт к нему, вдруг узнал Зойку. Зойка, быстро и мелко перебирая ногами и постукивая каблучками, шла к нему, вытянув шею и дерзко выставив подбородок, и распахнутые её глаза под вздрагивающими ресницами, наполненные страхом и торжеством, смотрели на него. Зойка остановилась перед Алёшкой, чуть присела в поклоне, протянула руки.

Алёшка застыл в изумлении: Зойка ли это? Какая фея преобразила её? Кто уложил смешные крендельки её косичек в гордую причёску? Кто дал ей эту красоту и дерзость?..

Алёшка не верил в сказку, но не знал и того, что фею заменили добрые руки Васёнки и всё сокрушающий характер Жени Киселёвой. Когда в отчаянье девичьей ревности Зойка выплакала Васёнке своё горе, бывшая тут Женя крикнула:

— А ты принцессой стань перед ним. Затми ейное обличье! Нинка-Денежка, ни по каким статьям перед тобой не выдюжит!..

Васёнка в материнской горести вздохнула:

— У принцесс – наряды...

— Будет наряд! – вдруг озлобилась на кого-то Женя. – Я из этой Зинки-женихалки не то, что туфли, душу вытрясу!

И вытрясла – и платье с кружевом, и модные туфли! Всё остальное доделали заботы Васёнки...

Зойка стояла перед ним, подняв побледневшее лицо, вся – ожидание, вся – открытость, и Алёшка, подчиняясь Зойкиным зовущим тревожным глазам, сжал пальцами её горячую ладонь.

Приседающими замедленными шагами он ввёл Зойку в заполненный парами круг.

Он чувствовал, как легка и послушна его рукам Зойка, и свободно и радостно вёл преобразённую семигорскую девчонку среди танцующих пар под высоким сводом зала, всё больше увлекая себя и её в созвучие движений и музыки.

«Танец – не шарканье ног, не унылая ходьба взад-вперёд, — вспомнил он слова Станислава Феликсовича. – Танец – огонь, творчество! Есть музыка, есть набор фигур, в остальном – вы творец!..»

Алёшка чувствовал, что сейчас он способен сотворить чудо. Он пробился на середину зала, к свободному от танцующих пятачку, и сделал первую фигуру. Зойка, слушаясь его, отлично выполнила быстрый шаг и разворот. Он сделал чёткую «ёлочку», слева направо, справа налево, тут же, в повороте, отступил, откинул Зойку на руку и склонился над отчаянно-сияющим лицом.

Вальс звучал, Алёшка, будто внимая голосу Станислава Феликсовича, не отрывая взгляда от ручьистых, блестящих глаз Зойки и не сразу заметил образовавшийся простор – пары, одна за другой, сходили с круга, останавливались в любопытстве. И вот уже они одни в плотном окружении людей. И пустая середина зала вся для них, и оркестр играет только им.

От общего открытого внимания Алёшка дрогнул, сбился с ритма, но Зойка с силой сдавила ему руку, заставила вернуться в мир музыки и движений.

Усилием воли он как будто отключился от того, что было вокруг, заставил себя уйти от любопытствующих взглядов, даже от Ниночки, которая была где-то близко и, наверное, смотрела на него, и весь отдался вальсу. Он как будто перенёс себя и Зойку в неяркую комнату Станислава Феликсовича и в приподнятости чувств и охватившем его задоре вёл и вёл лёгкую и послушную ему девчонку серединой зала в каскаде чётких стремительных фигур.

Зойка, закинув голову, не отрывала от него сияющих победным восторгом глаз. Отяжеляющий её голову узел волос в движении плавно приподнимался, и плотная симпатичная чёлочка на лбу взлетала над распахнутыми бровями, как живая...

Музыка, будто нехотя, остановилась на высокой ноте, Алёшка отступил на полшага, склонил перед Зойкой голову. Он слышал, что им хлопали, но напряжением воли всё ещё отрешая себя от зрителей, чтобы не вспыхнуть, чтобы вконец не растеряться под взглядами многих глаз, с окаменевшим лицом провёл Зойку в дальний от оркестра угол. И там, у стены, уже за спинами людей, душевное напряжение оставило его. Пряча глаза, он запоздало пылал от смущения и ждал и желал, чтобы оркестр заиграл и все ушли туда, в круг, и забыли про него и Зойку. Оркестр наконец ожил, люди сдвинулись к середине зала, и Алёшка облегчённо вздохнул. «А Зойка молодец...» — подумал он. Он хотел сказать об этом Зойке, повернулся и увидел, что стоит один, — волшебница исчезла.

Алёшка растерянно усмехнулся и в многолюдье зала стал искать глазами Ниночку.



КИМ

Они давно не видели друг друга, отец и сын.

Степанов навалился на тугую боковину старого кожаного кресла, кулаком примял щеку, молча разглядывал Кима. Острым, на людях отточенным взглядом, он черту за чертой отделял то чужое ему, что наслнилось на его Кима за годы самостоятельной жизни.

В живом, нервическом, сейчас несколько смущённом лице он старался разглядеть следы неизбежных в молодом возрасте духовных перемен.

Внешне Ким не был похож на Арсения Георгиевича. Узкое, горбоносое лицо, выпуклые, с затаённым огнём глаза, большой, охваченный тонкими губами рот, всегда подвижный, будто шепчущий, чёрные, с курчавиной волосы, крупные, чуткие, как у музыканта, уши, худое, в высоту ушедшее тело – всё это внешне резко отличало Кима от невысокого, плотного, тяжеловато-спокойного Степанова.

Ким не был похож на Степанова и не мог быть на него похож. Арсений Георгиевич не знал тех, от кого Ким унаследовал свою внешность. В заволжских степях, под Бугурусланом, бойцы принесли мальчонку на лошадиной попоне из порубленного казаками обоза, и Арсений Георгиевич, тогдашний командир красного полка, не нашёл сил пойти посмотреть на его растерзанную мать. Живой мальчонка сидел на попоне, насуплено оглядывал обступивших его бойцов.

— Что, товарищи, делать будем? – тихо спросил Степанов. Он понимал, что в неприятной, боями полыхающей степи для мальчонки-сироты нет другого дома, кроме полка. Бойцы с лицами, пообугленными жарой и пылью, опираясь на винтовки, скорбно стояли над мальчонкой, скребли тугие ёжистые скулы, поглядывали на комиссара Петра Губанкова.

Пётр Губанков и решил судьбу безродного мальчишки. Он сказал:

— На сегодняшней день приютов в степи нету. Мы одни здесь Советская власть – будущее для таких вот мальцов воюем. В полку оставим, Авдотья моя присмотрит. А вот как его звать-величать, то сейчас сообща решим. Поскольку малец к жизни явился в год революционный, отразить то надобно в имени...

Мальца назвали Ким. И отчество дали Профинтернович. И фамилию – Пролетарский. Ким Профинтернович Пролетарский.

Пётр Губанков сложил голову на Сихотэ-Алиньском перевале. Авдотья Ильинична увезла Кима к себе на родину, в Семигорье. А когда Степанов после промакадемии оказался на партийной работе в Верхневолжье, взял он десятилетнего Кима по доброму согласию Авдотьи Ильиничны в свою бездетную семью.

Авдотья Ильинична, на всю жизнь, породнённая со Степановым памятью о Петре Губанкове, крестьянским умом рассудила, что Киму у Степановых будет сытнее и уж, наверное, в городе он лучше одолеет нужную ему учёность. Верила она и в Арсения. Отдавая своего сердечного, сказала Киму: «Кроме как добру, Арсеньюшка тебя не научит!..»

Арсений Георгиевич породнился с Кимом по разумению. Ни любви, ни отцовской привязанности к диковатому парнишке, похожему своими повадками на вспыльчивого донского казака, он в ту пору не знал. Он привёз Кима ради Валентины: им нужен был третий человек, чтобы стать семьёй. Ох и дик был Ким первое время! Среди каменных домов и улиц он метался, как заброшенный в город волчонок. Он не признавал новой для него жизни.

Степанов помнил, как однажды, возвращаясь домой, он увидел в соседнем садике при старинном особняке мальчишек. Среди них, сжав кулаки, стоял Ким. Мальчишки дразнили его. И Ким, с упрямо прикушенной губой, вдруг сорвался с места и, в только что купленных ему новых ботинках, прыгнул в лужу. Он сорвал с головы кепку и её швырнул под ноги.

— Я чистюля, да?.. Я папенькин сынок, да?.. Интеллигентик, да?! – тонким, захлёбывающимся страданием и злобой голосом кричал он и топал по кепке мокрым грязным ботинком.

Степанов рванулся к ограде, но удержал себя. Только пальцы, охватившие железные прутья, сжались с такой силой, что железо прогнулось. Он успел понять, что нельзя вот так, с налёту, вмешиваться в обнажённый ребячий мир, живущий по своим законам.

Много раз потом он ходил мимо старинного особняка и с сочувствием поглядывал на погнутые железные прутья ограды – непоправимо осложнились бы его отношения с Кимом, не удержи он себя в ту минуту.

Дома он, молча, ждал, пока Ким, хмуря лоб и по-зверушечьи поглядывая на него, отмывал ботинки, стирал кепку и носки. Когда Ким всё выстирал и развесил сушиться, сказал ему, нарочито подчёркивая своё презрение:

— Если у тебя такое желание быть свиньёй, можешь пойти во двор и сесть в лужу! Штаны ты ещё не стирал... — и ушёл.

Он не говорил с ним о культуре. Он понимал: Ким должен приобрести новый для него опыт жизни. И предоставил ему возможность самому смотреть, думать, перенимать. Ким, видимо, смотрел и думал; по крайней мере, оборванный и грязный домой он больше не приходил. И Валентина слышала, как однажды он сердито сказал своему товарищу:

— Ну и пусть интеллигентик! Всё равно буду доктором!..

Как-то Валентина, радуясь, шепнула: «Сеня, ты заметил, как Ким сегодня ел? Молча, сосредоточенно и ложку держал, как ты. И к белому хлебу не притронулся, ел чёрный, и солил кусок, как ты!»

В другой раз она сказала: «Ким походку вырабатывает: левую руку в карман, ступает неторопливо, твёрдо. Это смешно, но он старается ходить, как ты... Не заметил, у него изменились вкусы? Всех наших знакомых делит на хороших и нехороших. В зависимости от того, как относишься к ним ты!..»

Он отшучивался. Тогда он не знал, какое важное место в его жизни займёт Ким.

С каждым прожитым годом Степанов всё яснее сознавал простую житейскую истину: человеку всегда не хватает жизни. С каким бы напряжением он ни жил, сколько бы он ни сделал за свою жизнь, на земле всегда останутся не доделанные им дела.

Лет через пять, когда Ким прижился в семье, а самому Степанову перевалило за сорок и стало прихватывать поизносившееся сердце, он вдруг с удивлением почувствовал, до физической тоски ощутил потребность ещё при жизни увидеть себя повторённым в другом, близком ему человеке.

Всё, чем он жил: нужные стране заводы, новые города, сёла, люди, которым день за днём он отдавал силы, ум, сердце, партия, именем и разумом которой он направлял жизнь этой вот северной области России, — всё это заполняло его жизнь до последней свободной минуты. Он старался сделать за отпущенную жизнь как можно больше, чтобы другие, те, кто будут продолжать его дело, не тратили время и силы на то, что мог сделать он. Всё, что он делал, безымянно входило в жизнь его страны. И — Степанов знал — на пороге смерти он не будет сожалеть о том, что имя его не высечено на обелиске обновлённой России.

Но продолжить себя в живом человеке! Это было новое для него чувство. Странное, беспокойное чувство. Быть может, оно появилось потому, что рядом появился Ким.

Степанова потянуло к взрослеющему Киму.

Ким мужал, всё отчётливее являлось их внешнее несходство. Арсений Георгиевич понимал, что не в силах дать Киму своё лицо, глаза, свои руки. Но дать свой характер, привить Киму свои убеждения, как прививают дикой яблоне благородные свойства, заставить её цвести его цветами, её плоды налить своими соками – это было в его силах, он не сомневался, что это в его силах.

Он думал вырастить из Кима государственного деятеля, образованного практика, с молодых лет нужного людям. Умудрённый жизнью, он с железной настойчивостью, шаг за шагом, вырабатывал в Киме те человеческие качества, которые казались ему важными в его будущей деятельности.

Степанов знал: чувства людей несовершенны, ощущая мир, они не открывают истины. В сложных человеческих отношениях, тем более в государственной деятельности, руководствоваться чувствами – всё равно, что шагать в реку, полагаясь на зеркальный блеск её воды. Он считал: воспитать человека – это воспитать его разум. Его волю. Разум должен владеть чувствами.

«Если Ким воспитает волю, — размышлял Степанов, — он будет человеком. Это – главное. Этому можно научить. И надо научить...»

Он многое успел. Ким научился управлять временем и своими желаниями. Вошёл в заведённый в семье твёрдый порядок жизни. Законом стала для него утренняя, до здорового пота, гимнастика, холодный душ. Ким был рядом, он давал наблюдать свою жизнь и был уверен, что Ким впитает в себя его понимание долга перед людьми и страной, что он пойдёт той дорогой, которую ему предназначтали.

Он уже привык к мысли, что Ким начнёт инженером на хорошо знакомом ему крупном военном заводе. И не мог ожидать, что Кима повлекут иные дороги. Он и теперь помнил, как оглушил его тот памятью сохранённый разговор, который состоялся в день выпуска Кима из школы.

— Папа! – сказал Ким, встав перед столом и заранее бледнея от сознания того, на что он решался. – Я хочу уехать... Хочу сам найти свою дорогу... Можешь быть уверен: случится воевать – жизнью не подорожу ради твоего дела, ради общего нашего дела. Но, папа, я не могу жить заботами дня, хозяйственными заботами, которыми живёшь ты. Я не выдержу. Я взбешусь или отупею, если от меня будут требовать сегодня одно, завтра другое, третье. Меня тянет к категориям постоянным (он так и сказал: к категориям постоянным!). Я, папа, хочу заниматься наукой... — Ким смотрел на него влажными от волнения, упрашивающими глазами.

Он знал, что делает отцу больно, и старался смягчить идущую от его слов боль. – Папа, пойми меня! Ты же знаешь: я способен до ночи просиживать над учебниками, над опытами, но я не принесу пользы, если ты сделаешь меня заводским или каким-нибудь другим руководителем! Кому-то быть полководцем, кому-то, через опыты и формулы, углубляться в науку, кому-то определять политику. Я верю нашим вождям, нашим военным, тебе, папа. Я вижу, что и как ты делаешь, и верю, и спокоен. И могу думать о другом. Не сердись, папа, я чувствую, на что я способен и что не по мне. Я хочу, чтобы ты меня понял...

Арсения Георгиевича удивила тогда не рассудительность Кима и не то, что Ким показал в разговоре дерзкую самостоятельность. Его больно задело и расстроило то, что он не обнаружил в Киме того, что знал в себе, — неутомимого желания засучив рукава уже сегодня, сейчас, каждый день, ломать, перелопачивать, будоражить, строить свою Россию на новый лад. Одно то, что Ким тянулся уйти от строительного гула будней куда-то в тишину научных комнат, — одно это уже было неприятно, как прикосновение холодного металла. Ким искал в жизни не то, что искал он, Степанов. И мысль о том, что Ким отступает от его духовного руководства и не настроен повторять его в своей жизни, глубоко его ранила.

Ночью, после объяснения с Кимом, он лежал на своём покатам диване и не мог заснуть. В кабинете он оставался на ночь редко – когда обдумывал трудные дела.

«Профессия – это, в конце концов, ещё не цель жизни, — размышлял Степанов. – Идея Кима служить науке – ещё не идея. Идея конкретна. Она пронизывает все практические дела. И в сегодняшнем скопище дел и проблем только идея, ясная цель, помогает нам выбирать то, что уже сейчас работает на социализм. Нет, мы не имеем права тратить силы на то, что может подождать.

У Кима появился характер. Это неплохо. Но идея не вызрела в его сознании. Как ни разумно он со мной говорил, по своим взглядам он ещё песок, песок без цемента. В любую форму кладу, любую форму примет. Так же легко потеряет. Я мало с ним говорил. Не связывал свои мысли с его мыслями. Я слишком понадеялся на обстоятельства. – Сознать это было неприятно, но от фактов Степанов никогда не уходил. – Надо задержать время, — думал он. – Ещё год-два Ким должен быть рядом. Я позабочусь, чтобы его взгляды о месте в жизни изменились. Цель надо обнажить перед ним, как при атаке обнажают боевую саблю. Ким должен принять нашу общую заботу о судьбе страны. Тогда я спокойно провожу его в жизнь...»

Он предложил Киму технологический институт. Институт был в городе – Киму не пришлось бы уходить из семьи. Ким отказался. Трогательно распростившись с мамой Валей и виновато с Арсением Георгиевичем, он уехал в Ленинград. Он поступил в медицинскую академию.

Арсений Георгиевич в себе замкнул боль и скорбь. Даже Валентина не знала. С каким тяжёлым сердцем он провожал Кима в незнакомую ему среду. Он убеждал себя, что настоящие люди есть везде. Но мысль о том, что Ким уходил в жизнь с неокрепшим сознанием, давила тяжело и долго.

За четыре года Ким трижды навещал дом.

Он был рад заботам мамы Вали, рад отцу, но разговориться они не сумели: Ким с какой-то тихой одержимостью сидел по вечерам над книгами, Арсению Георгиевичу мешали потоком нахлынувшие дела. Со дня на день они отодвигали нужный им обоим разговор, и, прощаясь, оба виновато разводили руками.

Из последних писем он знал, что Ким успешно заканчивает пятый курс, прошёл практику в клиниках, «сам вырезал два аппендикса». Практический уклон, который принимали занятия Кима, его успехи в какой-то мере успокаивали. Степанов даже поручил своему помощнику узнать, в какой из больниц города лучше поставлена хирургия.

Неожиданный приезд Кима обрадовал Арсения Георгиевича. Он понял: случилось то, чего он терпеливо ждал – Ким искал отцовского совета. Опытная рука Арсения Георгиевича снова ложилась на поводья Кимовой судьбы.

... Степанов навалился на боковину кресла, в кулак упрятал подбородок, привычно чувствуя пальцами его железную твёрдость, и сидел так, вглядываясь в напряжённое лицо Кима с подпалинами смущения на плоских щеках. Ким сидел на низком, неудобном ему диване, длинными руками охватив острые, туго обтянутые брюками колени.

Всё-таки он отвык от дома и держал себя стеснённо. Арсений Георгиевич это видел, но сидел, молча, не сводил с Кима пристального взгляда. Он искал в своём Киме следы того житейского окружения, которое четыре года оглаживало Кима по образу своему и подобию.

Ровная линия белой рубашки над чёрным отложным воротником пиджака, аккуратно подбритые виски, простенькие медные запонки, выглядывающие из-под рукавов, повязанный широким узлом галстук, чёрные, хорошо начищенные ботинки – прежде Ким не проявлял такой заботы о внешности.

«Среда требует!» — думал Арсений Георгиевич, скрывая под ладонью насмешливо сжатый рот. И всё же он заметил: в костюме Кима не было той продуманности, того утончённого шика, который отличает модников. В его одежде была та добрая мешковатость, которая свойственна людям, бывающим среди модников, но занятых своими мыслями: утром они одеваются как положено и тут же забывают о костюме — им уже не до того, что галстук съехал набок, что запонки оказались разными, что пиджак со спины перечёркнут складками.

«Среда требует, но Ким остаётся собой», — уже с насмешкой думал Арсений Георгиевич.

С гораздо большей пристальностью он вглядывался в то, что говорило о мужании Кима.

Он видел в вытянутом его подбородке, пожалуй, больше ещё капризном, чем волевым, уже проступающую твёрдость, видел упрямую линию губ большого подвижного рта, неробкий взгляд горячих глаз. Он многое угадывал из того, что ещё только намечалось в духовном облике Кима, и ему уже не терпелось ухватить то главное, чем Ким теперь жил.

«Ну что же, посмотрим, каков и крепок ли твой корень, сын!» — сказал себе Арсений Георгиевич и привычно положил руки на тугие подлокотники кожаного кресла:

— Я слушаю, Ким.

— Да, я хотел поговорить с тобой, отец. Понимаешь, я снова на распутье. И должен знать, что думаешь ты, прежде чем сделать теперь уже окончательный выбор... Ты ведь знаешь, я порядком пометался между хирургией, терапией, микробиологией и физиологией. Какую бы дверь медицины я ни открывал, начинал трепетать, как первооткрыватель. Я заглянул во все комнаты, и круг замкнулся: я возвратился к хирургии, обнаружив её в новом качестве. Понимаю, всё это были порывы неустоявшихся чувств и одуревшего от жадности ума. Я вернулся к хирургии и решил, с твоего одобрения, этой дорогой выходить в жизнь. Но... но, отец, я узнал человека... Профессор, доктор Аминев, неожиданно открыл передо мной потрясающую суть своих исканий! Я помогал ему в лаборатории, он разговорился со мной и... Страшусь даже говорить, в какую тайну тайн он задумал вторгнуться! Человек, его разум и стихия чувств, процесс их взаимодействия — вот вопросы, на которые доктор Аминев хочет ответить. Ты не думаешь, что проблема разума и чувств — едва ли не коренная проблема нашей и будущей эпохи?..

— Говори, я слушаю.

— Попытаюсь объяснить. Доктор Аминев исходит из того, что человеческий организм, если его рассматривать с точки зрения биологической – как единицу, как отдельную сущность, стремится получить из окружающей среды максимум удовольствий. Природой устроено так, что в каждом живом организме есть регуляторы жизненного поведения. Они так направляют его действия, чтобы живой организм получал максимум приятных ощущений и минимум ощущений неприятных. Даже инстинкты животных подкреплены приятными ощущениями. Волк зарезал овцу – инстинкт. Но инстинкт подкреплён удовольствием: в данном случае оно – в насыщении. Инстинкт продолжения рода тоже связан с удовольствием. Если бы самец и самка не знали приятных половых ощущений, само продолжение рода было бы поставлено под угрозу.

Человек, физиологически, такой же животный организм. Ему свойственно то, что свойственно всему живому на земле: обмен веществ, инстинкты. Как живой организм, человек тоже стремится к приятным ощущениям. Это – физиологический закон. Почему-то этот закон мы не учитываем, осуждаем, грубо ломаем извне. А люди ищут удовольствий! Кто-то находит их в спорте: динамические нагрузки, — «мышечная радость» по Павлову, — трудность спортивных побед дают ему удовлетворение. Кто-то стремится к аэропланам – ощущение летящей птицы несёт ему радость. Третий увлекается женщинами, четвёртый – вкусными обедами. Не высоко, но приятные ощущения некоторые в этом находят. Тебе не приходилось вглядываться в себя с этой стороны, со стороны чувств?

Представь, ты проснулся. Над крышами домов синь, сверкает солнце. В открытое окно врываются голоса взбодрённых отдыхом людей. Куда повлекут тебя чувства? Наверное, ты не отвернёшься и не уткнёшься лицом в угол, если, конечно, ты здоров, не болен. Тебя позовёт радость утренней земли. И если бы случилось невозможное, случилось так, что в это утро на тебе не висело бы сто сотен твоих забот, ты ушёл бы в поля, к реке, где птичьи голоса звенят над росными травами, где рыба, гуляя, проклёвывает чистое зеркало реки. Чувства позвали бы тебя туда, где солнце, где радость, где приятно быть.

Представь другое: за окном хмуро, слякотно хлюпает в трубах дождь, и случится, допустим, тот единственный выходной, который у тебя бывает раз в году. Твои чувства и в этих условиях оптимальный вариант – ты не пойдёшь под дождь, останешься в приятном постоянстве комнаты и раскроешь книгу. Если бы ты вдруг взялся анализировать побуждения, идущие от чувств, ты, наверное, удивился бы – у нас очень чуткие и хитрые чувства, с завидным постоянством они отталкивают нас от неприятных ощущений и влекут к ощущениям приятным.

Это во всём: и в разговорах с людьми, в твоём нетерпении прекратить разговор с человеком тебе неприятным и, наоборот, продлить беседу с человеком интересным, это и в выборе книги и даже в выборе блюд во время обеда!

Физиологически человек устроен так, развитой системой ощущений он оберегает себя от всех возможных неприятностей и располагает к ощущениям приятным. В этом смысле действительно можно сказать, что человек рождён для радостей!

Это – общий для всего живого, и для человека, физиологический базис. Но у человека есть разум – сложное сплетение нервных клеток, чуткий анализатор и регулятор поведения. Из всего животного мира только человек силой разума может заставить себя пойти на неприятные ощущения, на боль, даже на смерть. **Заставить** себя. То есть стихию непосредственных чувств подчинить разуму.

Доктор Аминев пока исследует физиологический, природный базис. Это только старт. Заманчивый финиш где-то вдали. Доктор ищет ключ к взаимодействию чувств и разума. Он хочет объяснить, чем определяется тот или иной человеческий поступок, какие внутренние силы определяют поведение человека вообще.

Ты уловил суть поисков?.. Что ты молчишь?.. Что ты молчишь, отец?!

— Думаю, Ким. – Степанов слышал, что голос его хрипл и недобр, но откашливаться не стал – хриплый голос лучше выражал то, что он хотел сказать. – Послушай, Ким. Был я вчера на Красной Маёвке. Людно там: мужики, бабы, девчата. Огонь, дым, как на пожаре. Землю кострами греют, копают траншеи под трубы. Главный корпус кладут. У мужиков, которые там, на лесах, лица багровые, не лица – кирпичи. Сами кирпичи от мороза белые. Кто в валенках, кто в сапогах, кто в лаптях – пританцовывают, рукавицами хлопают. Ни тепла, ни росных трав с птичьими голосами. А комбинат растёт. Как, чем, почему растёт?..

Зашёл в барак, к знакомому рабочему, — Тихов его фамилия. Комната. Посреди стол, вокруг топчаны – табурета не втиснешь. Жена, трое ребятишек. Все тут, на топчанах, в пальтишках – из углов мороз белыми зайцами глядит... «Ничего, — говорит Тихов. – У нас ещё ничего, жить можно. Хужее есть...»

А комбинат растёт! Неделю не побудешь – не узнаешь, этакий богатырище морозное небо подпирает!.. Может, съездим завтра на Маёвку? Зайдём к Тихову, поговорим. Спросишь у него, какой доктор ему нужен: который лечит или тот, который, извини, на мышках законы удовольствий изучает... Съездим?..

Лицо Кима вспыхнуло, он опустил голову.

— Я понял, — сказал он. — Ты жесток, отец. Не знаю почему. Ты не можешь не понимать, что эти две категории «сейчас – потом» вряд ли делимы. Даже если рабочий Тихов за «сейчас», всё равно кто-то должен готовить ответы на вопросы, которые жизнь поставит «потом»? Наверное, через несколько лет рабочий Тихов будет жить в такой квартире, в какой сейчас живёшь ты. И вопросы человеческой радости, вопросы разума и воспитания чувств, наверное, перейдут из нынешнего «потом» в его «сейчас»? Он будет искать ответы на эти вопросы. Наука должна быть готова дать ему эти ответы.

Может, я не сумел объяснить суть? Доктор Аминев умеет смотреть на историю человечества как на неостановочное освобождение личности. Он говорит, что каждое классовое общество так или иначе уродовало человека, приспособляло человеческую сущность к материальным условиям и выгодам класса-господина. А должно наоборот: условия жизни приспособить к человеческой сущности. Человеческая сущность во все века просила и просит радостей, свободного всестороннего развития. Радость нужна человеку, нужна, как зелёным листьям солнцу!..

— Не трать красноречие, Ким!.. Суть и вся наша теория – блин на сковороде! Румян. Парок запашистый... Этакое блюдо! Кто от него откажется? Мещанин? Первый руки протянет. Как же! Насыщаться – его забота... И любитель по женской части расцелует вашу теорию. Как ему, подлецу, ура не крикнуть, ежели, сам говоришь, теория та всё может объяснить! Объяснил – оправдал, в жизни так... Сам буржуй за вашу теорию золотом заплатит. А что? Нажива – тоже дело приятное! И море, и яхты, и женщины – всё, что пользуется он для удовольствий, всё от человеческих потребностей! Да в каждом удовольствии пот и кровь на него работающих людей!

Вот для большевиков не могу найти места в вашей теории. По тюрьмам сидеть, по каторгам бродить, под пули вставать, на магнитках руки и губы морозить – дело, прямо скажу тебе, не из приятных.

Человек для удовольствий живёт – такой, говоришь, закон твой профессор открыл? Как же понять большевиков, у которых всё навыворот по вашей теории?! Из какой сущности они свою радость черпают? Они же тоже люди!.. Чёрт поймёт их, идут же они на тяготы, нечеловеческие тяготы? Сами идут! И смотри, что натворили! Россию обновили. Тебе, Киму Пролетарскому, условия для приятной жизни создали. Возможность дали теорию изобрести твоему, с позволения сказать, профессору. Чёрт-те что! Такое время – и чем занимаются наши учёные мужи!..

Ким прищурил глаза, его тонкое горбоносое лицо покраснело. Он поднялся с дивана, прошёлся по комнате. Перенёс от книжного шкафчика к дивану стул, сел, наклонился, руки локтями положив на колени. Его тонкие подвижные пальцы сплетались и расплетались.

— Не надо так о докторе, отец. — Ким хмурился, он просил, но в голосе его была твёрдость. — Ты сам говорил: о человеке, которого не знаешь или плохо знаешь, лучше не говорить. Доктор Аминев настоящий учёный и живёт одной-единственной идеей — познать, в чём сила разума.

Я слышал, отец, его разговор со знакомым мне человеком, который оставил научные поиски ради административной карьеры и житейского благополучия. Доктор Аминев сказал этому человеку: «Возьмите у меня всё, оставьте только здоровье и дайте двадцать пять часов в сутки...»

Такого человека мог бы уважать и ты. Нет, папа, не для обывателей разрабатывает свою гипотезу доктор Аминев. Если мы будем знать, как взаимодействуют наши чувства и разум, мы поймём, в чём сила разума.

А сильный разум — ты это знаешь лучше меня — не оружие мещан. Люди одинаковы в своей физиологической сути. И люди не похожи в проявлениях этой сути. Благодетельство, злодейство, любовь, ненависть, зависть, щедрость, самоотверженность, равнодушие — это лишь ничтожная доля проявлений человеческого «я». Все эти «я» сталкиваются, враждуют, они заполняют жизнь, мешают ясности мира. Что может согласовать их? Разум. Только разум, один разум может и должен взять власть над всеми человеческими поступками. Люди не знают тайны разума. Где, в чём то, что даёт разуму силу? Что делает его слабым? Открыть тайну, дать каждому человеку ключ к разумным поступкам — вот в чём смысл жизни доктора Аминева.

Не кажется тебе, отец, что научные идеи Павла Фёдоровича Аминева не противоречат тому, что большевики осуществляют на практике?..

Степанов поднял тяжёлую голову, прищурил глаза, холодно смотрел на Кима.

— Ты прав, — сказал он, стараясь быть спокойным. — Разум — оружие большевиков. Но как ты можешь сравнивать занятия вашего доктора с тем, что делают большевики?!

Дорогой Ким, когда люди спешат построить дом, а сами на холоде, без крыши, сидеть в сторонке и размышлять: духами или одеколоном будут брызгаться в том доме, — это всё равно, что не помочь товарищам в тяжёлом бою.

Человеческая сущность! Что ж, есть такая сущность. Давно доказано, что она зависит от условий, в которых человек живёт. Вот мы и меняем условия. Изменим условия, изменится и человек...

— Я перебую тебя, отец. Прости, но я могу упустить мысль... — Ким расцепил пальцы на коленях, ощупал карманы, достал папиросы, спички, нервно закурил, не замечая, как удивлённо и хмуро смотрит Арсений Георгиевич на его руку с папиросой. — Ты, отец, сказал то, что утверждает доктор Аминев! Создать человеческие условия — то есть не человека подогнать под условия, а, наоборот, условия под человека? Так?.. Это как раз то, из чего исходит доктор! Согласись: чтобы создать условия, надо знать, какими они должны быть? Надо знать человека, его потребности, не только материальные, но и духовные, физиологические, психологические? Значит, опять сущность?!

Общество, классы — они ведь состоят из людей? Если не ошибаюсь, классовые различия временны. Временны, потому что сами классы, как категория историческая, преходящи. А вот человек — категория вечная! Доктор Аминев говорит, что из человеческой сущности, как на земле, можно вырастить всё. Каждый класс, господствующий в обществе, сеет в людях и собирает ему нужный урожай. Смотри, что посеяли немецкие фашисты в своём народе! Сейчас они собирают свой урожай под гром пушек и дым пожарищ. Нет, папа, я верю, когда доктор Аминев говорит, что именно человеческая сущность, то есть органический комплекс разума и чувств, — основа формирования человеческой личности. И коммунизм, когда он станет практикой, в формировании поколений будет опираться на неё, на человеческую сущность!

Ким курил, жадно втягивая в себя дым, раздувал ноздри. Степанов рукой прикрыл глаза, он как будто врос в тяжёлое кресло.

Он чувствовал где-то у сердца тупую боль. Ему казалось, что боль идёт от запаха табачного дыма. Он ещё не успел понять, что боль его глубже и значительней, что не папироса, которую, вопреки правилам дома, Ким закурил, да ещё у него в кабинете, а упорная симпатия Кима к какому-то замудрившемуся профессоришке была причиной его душевной боли. Он чувствовал, как чужая рука подбирается к его сердцу, чтобы его сдавить, и, стараясь уйти от этой руки, думал: «Экий доктор! Куда забрался!.. И фашизм из человеческой сущности вывел, и коммунизм на человеческую сущность опирает... Станных мыслей докторишка! А Кима прибрал к рукам. «Доктор считает... Доктор говорит...» Сам-то как? Нет, Кимушка, не обманешь. Не свои мысли выговариваешь, не свои взгляды кажешь!

Зеркало ты, отражённым светом пытаешься светить... Оно к лучшему, своё не потерял. Не потерял, оттого что ещё нечего терять...» Арсений Георгиевич слышал, как Ким выдвинул спичечный коробок, — наверное, сбил пепел с папиросы. Стул скрипнул от его движений. Арсений Георгиевич знал, что Ким сейчас скажет то важное, ради чего затеян весь этот разговор. Он ждал, не открывая глаз, не отнимая руки от переносья.

— Отец! — напряжённый голос Кима прозвучал в молчании кабинета, как выстрел. — Я долго думал, как быть. Я решил. Я хочу свою жизнь посвятить тем проблемам, над которыми работает доктор Аминев...

Арсений Георгиевич почувствовал, как онемели и тут же повлажнели виски, за ухом, холодя кожу, пролился пот, намочил воротник. «Вот она, чужая рука, добралась-таки!» — подумал он отрешённо. Пережидая боль, он плотнее прикрыл ладонью глаза. Он не хотел, чтобы Ким заметил приступ сердечной слабости. Арсений Георгиевич осторожно вдохнул раз, другой. Сердце билось. Но боль переместилась в голову и пульсировала теперь где-то у правого виска. Эта боль мешала думать, она раздражала. Когда он понял, что эта другая боль идёт от Кима, его раздражение перешло в гнев.

Ким острым ногтем ломал спичечный коробок.

— Опять молчишь! — он сказал это с упрёком, взглянул на отца и отнял от губ папиросу. Его рука опустилась на вдруг задрожавшее колено. Он увидел над крутым надбровьем отца матово-белый рубец — знакомый и недобрый знак! Ким знал: белый казак где-то в Предуралье прочертил отцовский лоб концом сабли. Когда отец был спокоен, след раны терялся в выпуклостях и морщинах лба. Но когда он находился на пределе душевного напряжения, шрам проступал и матово белел над правым надбровьем.

Под рукой Арсения Георгиевича жёстко скрипнула кожа. Он тяжело поднялся, пошёл ходить по кабинету. Ким понял: отец прекращает спор, сейчас он скажет своё решение.

Арсений Георгиевич молча ходил, его полные ноги в невысоких хромовых сапогах, ступая по крашеному полу, размеренно, как метроном, отстукивали жёсткими каблуками минуты. Ким ждал, в его неподвижных пальцах затухала папироса.

Арсений Георгиевич, опираясь на колени, грузно опустился на диван. Не снимая рук с колен, сказал:

— Твоя убеждённость мне по душе. Рад, что веришь и отстаиваешь свою веру. Что вообще определяется в тебе характер. Но, дорогой Ким, на этот раз тебе придётся поверить не своему доктору, а мне. То, чем сейчас увлечён твой ум, не может стать смыслом твоей жизни. Не время, Ким. Не те задачи решают сейчас люди. Не в удовольствиях суть нашей жизни. Нам нужен хлеб, нужна одежда, сталь, энергия, нужны станки, самолёты – без этого мы не будем живы. На первом месте у нас сейчас дело. И ценность человека определяется по его уменью не в будущем, а вот сейчас принести обществу пользу.

Когда ты выбирал институт, я дал тебе самому сделать выбор. Теперь вижу: самостоятельность молодых людей, даже умных молодых людей, относительна. Стремясь к самостоятельности, они всё равно не обходятся без опоры на чей-то зрелый ум. Будь по-другому, заканчивай ты институт инженером, я бы уже сейчас предложил тебе интересную работу. Ты мог бы стать одним из создателей сверхпрочной броневой стали. Ты выбрал медицину. Что же, без врачей люди тоже не могут. Но врачи нам нужны те, которые рядом с людьми.

Дорогой Ким, если тебя выпускают хирургом, ты должен стать хорошим хирургом. Я буду спокоен, если буду знать: твои руки, твой ум, твои знания врачуют людей. Допускаю, где-то в будущем ты сможешь вернуться к своим проблемам, если они не перестанут тебя волновать. Но сейчас, Ким, не шестидесятый год, сейчас год сорок первый. Ты должен чувствовать время.

— Но, отец...

Арсений Георгиевич поднял руку, останавливая вопрос.

— Не надо горячиться, Ким. Важные решения принимаются не в спорах, а после споров, когда остывают головы. У тебя есть время подумать над моими словами. Я верю, ты поступишь разумно. А сейчас будем ужинать. Мама Валя, как там у тебя дела? – крикнул Арсений Георгиевич, не вставая.

Валентина приоткрыла застеклённую матовым стеклом дверь, высунулась из двери наполовину, как из вагона поезда. Лицо её покраснелось от жара плиты, светлые, зачёсанные назад волосы по вискам распушились, падали на густые тёмные брови. Поправляя на плече лямку фартука, она оживлённо сказала:

— Всё готово! Помогайте накрывать... — И тут же удивлённо округлила свои большие, добрые глаза. — Ким, ты курил?!

Ким смущённо вмял папиросу в коробок, резко встал.

— Прости, мама Валентина! Я совсем забыл о правилах нашего дома. Прости, отец, я действительно забыл, что ты не терпишь всё это...

— Ладно, ладно... — Степанов поднялся. — Пойдём помогать маме Вале. Хорошо, что ты всё-таки помнишь о доме!..

... За столом они сидели до полуночи. Степанов добродушно посмеивался над стараниями мамы Вали: за Кимом она ухаживала, как за наркомом. Он видел её обласкивающий Кима влюблённый материнский взгляд, видел, как тревожно вглядывалась она в его сухое, острое, действительно изменившееся за последний год лицо.

Она не столько слушала то, о чём рассказывал Ким, сколько угощала его пирогами, пирожками, сладкими трубочками, которые он так любил в отрочестве, грибочками и вареньем, привезёнными от бабы Дуни из Семигорья. Ким уже трижды поднимал руки, прося пощады, но напор материнской щедрости не ослабевал, ему приходилось снова и снова брать в руки вилку и нож. Но когда Валентина выбегала на кухню, Ким опускал голову. Степанов видел, как хмурился его прямой высокий лоб, упрямо сдвигались к тонкому переносью брови.

Степанов видел это, но сдерживал себя и молчал. Он был уверен, что сегодняшний их разговор и время повернут жизнь его Кима на верный путь.

Ни Ким, ни мама Валя, даже он, Степанов, не знали в этот спокойный пополуночный час, что война, разрешившая их спор, уже поднялась в воздух на крыльях немецких бомбовозов.



ПЕРЕД ЛИЦОМ ВОЙНЫ

1

С полудня от райцентра по всем направлениям поскакали нарочные, без жалости нахлёстывая коней. Пыль, поднятая всадниками, долго висела над полями – гонцы, казалось, обозначили свои дороги в самом неподвижном воздухе жаркого июньского дня.

Иван Митрофанович отбивал косу в подворине, когда всхрапнула и встала у плетня лошадь. Непokoйный голос покpичал его.

— Беда, Митрофанович, война! – сказал посыльный. Торопясь, подал запечатанный сургучом пакет, отёр рукавом рубахи потное лицо, рванул узду, сапогами ударил коня под взмыленные бока – топот пошёл по звонкой, как камень, земле.

Иван Митрофанович, не сумев унять дрожь пальцев, отломил сургучные пятаки.

Когда скорыми шагами он подошёл к сельсовету, громкоговоритель на столбе, похожий на раскрытую чёрную пасть и почему-то с утра молчавший, ожил. Сквозь треск прорвался встревоженный голос, и хотя Иван Митрофанович уже знал, какую весть донесёт сейчас радио, он так и не поднялся на широкое крыльцо, а здесь же, внизу, у захватанных руками перил остановился в затомившем сердце ожидании.

По селу и далеко в поля разносился напряжённый, будто на одной ноте звучащий, голос диктора: «...правительственное сообщение... Сейчас будет передано правительственное сообщение...»

И выскакивали из домов люди, ходом шли к сельсовету мужики, бежала ребятня, торопились бабы, многие держали на руках напуганных суетой детишек. Пёстрая толпа, как, бывало, в праздник, заполонила сельсоветскую луговину. Но праздничного в этом скопище знакомых Ивану Митрофановичу лиц не было: резкие движения, беспокойные взгляды, приглушённые отрывистые разговоры; даже яркие платья девчат, надетые по случаю воскресного дня, не красили, а словно бы полохали и без того тревожный вид толпы.

Молотова слушали в молчании, никто не пошевелился, будто каждый прирос к своему месту. Опоздавшие подбирались к толпе бочком, на полусогнутых ногах, боясь спугнуть общее затишье. И когда Молотов закончил говорить и чёрная труба, потрескивая, замолчала, люди как будто прижались друг к другу. Ивану Митрофановичу даже показалось, что луговина потемнела, как это бывает в поле, когда облаком закроет солнце. Люди молча стояли и ждали, будто не в силах были унести только что узнанную весть.

Иван Митрофанович тяжело поднялся на помост знакомой трибуны как был: в старой косоворотке, без пояса, с непокрытой головой, его с заметной сединой волосы с двух сторон свесились на виски. Сжав руками перекладину и виноватясь взглядом перед людьми, как будто это по его, Обухова, воле мужики завтра отбудут на войну и семигорские дома осиротеют в одночасье, он сказал в молчаливую толпу:

— Селяне! Граждане мои дорогие! Враг напал. Топчет и сквернит нашу святую землю. Война не радость. Война – горе, народное горе. На смертную брань с врагом пойдут наши мужики, сыны наши. Добрые у нас сердца, но рады мы только добрым гостям. К врагу нет у нас пощады! Не бывало такого, чтобы русский человек в ратном деле Россию посрамил. И не будет!

Пока Красная Армия и мужики наши, которых завтра мы проводим на подмогу, защищать страну будут и жизнь нашу, вам, бабоньки, и всем, кто останется здесь, на себя придётся принять заботу о земле, о хлебе – без хлеба солдату врага не одолеть! Теперь здесь, в сёлах и деревнях, вам, жёны наши дорогие, быть главной силой, продовольственной опорой армии и городов, где рабочий класс куёт и подымает оружие победы.

Вы теперь и духовная наша опора, бабоньки мои и девчата. Потому как сердца ваши верные, слова ласки и привета, которые вы будете слать за тыщи вёрст, на край России, для солдата стоят не меньше каравая хлеба и винтовки. Крепитесь, люди мои добрые! Лихую годину насылает на землю нашу враг. Но не остановить ему жизни, не погасить фашистам нашей радости, не склонить высокого нашего красного флага!..

Толпа теперь беспокойно двигалась, но не растекалась по луговине, жаркой от солнца, а стала ещё плотней. Иван Митрофанович поискал глазами среди пёстрых бабьих платков и непокрытых мужичьих голов Макара Разуваева.

Ему одному из первых предстояло в двадцать четыре часа явиться в военкомат для отправки в часть, и хотелось Ивану Митрофановичу, чтобы Макар сказал народу солдатское слово. Но Разуваевского лица среди других он не выглядел. Зато близко от трибуны увидел кумачовую косынку и возбуждённое лицо Жени Киселёвой и, перегнувшись через перила, крикнул:

— Женя, милая! Скажи людям своё горячее трудовое слово...

Женя замотала головой, но руки дружно подтолкнули её к ступеням и проводили на трибуну. Неловко она стояла в своих сатиновых, лоснящихся на солнце шароварах, боком к толпе и как-то даже сердито смотрела на сапоги Ивана Митрофановича. Вдруг сорвала с головы косынку, повернулась к людям и закричала хрипло:

— Вы, мужики, со спокойствием и верой идите и ломайте хребтину фашисту-гаду! Землю мы, бабы, не оставим без заботы. И хлеб дадим! Идите, мужики, воюйте. А коли вас не хватит, вслед за вами пойдём!.. — Женя подняла руку с зажатой в ней косынкой, махнула, как флагом, и спрыгнула с трибуны. Толпа отзывно загудела.

Не скоро разошлись семигорцы. Иван Митрофанович уже был в сельсовете и крутил ручку телефона, стараясь связаться с городом и уточнить порядок мобилизации, а по всей длине широкой улицы всё ходили обеспокоенные бабы и мужики, собирались у домов, у колодцев, у сельпо, тревожно говорили, ещё тревожнее слушали друг друга. И ни одна гармошка в этот будто споткнувшийся воскресный день не позвала молодёжь на гулянье.

Когда июньская заря пригасла и легла на лес, ожидая утра, Иван Митрофанович пришёл в дом Разуваевых, уверенный, что в доме не спят. Опытном лет своих он знал, что и митинг, и речь, которую он сказал, были нужны людям в первый час недоброго известия. Главное началось теперь, после того как он вручил повестки о мобилизации и общее лихо разошлось по домам. В каждом доме, где с гулянкой, где со слезами, обвыкались люди с подступившей к ним переменой жизни. Спать в такой час никто не мог.

Макар сидел на лавке, пришивал лямки к мешку. На столе — припас на долгую дорогу: чистые портянки, обмылок в тряпице, бритва, жестяная кружка, ложка, полкаравая хлеба. На стене на плечиках — выгоревшая, но постиранная и отглаженная гимнастёрка с подшитым воротничком и значками, спортивными и оборонными. Не по времени топилась печь. Тётка Анна творила пироги — руки по локоть в муке. Потерянно глянула на Ивана Митрофановича, вздохнула, отвернулась.

Рядом с Макаром – Витька, по-домашнему босой, в выпущенной поверх штанов рубаше. Младшего Гужавина Макар всё же забрал из химлесхоза. Дал поработать сезон на подсочке и сборе живицы, так сказать, принохаться к самостоятельной рабочей жизни, и забрал к себе в дом, под опеку тётки Анны. В школу Витька не вернулся. Макар устроил его в МТС, сам готовил сразу на тракториста и комбайнёра и поторапливал с ученичеством, будто знал, что скоро придётся приторачивать к плечам солдатский мешок.

С хмуро напряжённым лицом Витька наблюдал сборы на войну.

Иван Митрофанович без радости сел на отставленный к стене табурет, сцепил перед собой худые длинные пальцы, будто это он виновен в том, что Макар снаряжается в дорогу.

Макар пришил лямки, дотянулся до гимнастёрки, вдел в клапан кармана иглу с хвостом суровья, крест-накрест намотал нить на иголку, карман застегнул. Сложил со стола в мешок всё своё нехитрое солдатское снаряжение, петлёй из лямок прихватил верх мешка, накрепко затянул.

— А колобушки?.. А пироги?.. – крикнула от печи тётка Анна.

— Пироги вместе поедем, мама. Перед дорогой, – сказал Макар как-то даже весело, как будто не война дожидалась его за порогом. – Что примолк, Митрофаныч? Или сам распалился воевать?!

— Моя война, Макар, вся тут – с бабами да с детишками, – отшутился Иван Митрофанович. – Чудится мне, что и парни не засидятся. Всё ли собрал для службы? Может, наказ какой дашь?

— Наказ один: мать не в молодых годах. Пока Витя в доме – нужды нет. Но сам понимаешь...

— Мог бы не говорить о том.

Иван Митрофанович завозился на табурете. Всклипнула у печи тётка Анна. Макар быстро подошёл, приобнял мать.

— Ну зачем, мама! Мы же договорились – не навек отлучаюсь. За хозяина пока Витя. Хлеба – с запасом. Дров до второй зимы. Картошку уберёте – тоже будет. А к весне вернусь...

Макар осторожно гладил пригнутую спину матери, лаской и словами возвращал её к привычным заботам. Похоже, сейчас он сам верил, что отлучается ненадолго: поставит на место то, что непредвиденно порушилось где-то там, на западных границах, и возвратится в Семигорье к делам.

Тётка Анна успокоилась ласковым спокойствием Макара. Не вынимая рук из желоба, в котором месила тесто, попросила:

— Оботри-ка мне глаза, Макарушка...

Макар концом фартука вытер у матери слёзы, убрал с её набрякшего морщинами лба волосы.

— Что же, мама, ставьте пироги. Мы пока самоваром займёмся. Ныне всё равно не до сна! – и, поворотившись к Ивану Митрофановичу, объяснил: — Поутру ещё в МТС: Виктору комбайн и дела передаю. Ему же инструмент да ещё кой-какой дефицит. Сейчас каждой железке – золото цена. А хлопотать по ремонту ему придётся, больше некому. Одобряешь?..

Иван Митрофанович пересел на лавку, приобнял Витьку.

— Таких бы пяток да с машинами – горя бы не знал. Ты бы, Витёк, наших хлопцев к машинам приохотил – Ивана Петракова, Ваську моего, Полянина Лёшку. Пока суд да дело, глядишь, урожай уберут.

Иван Митрофанович прощался с Макаром на воле. Оба стояли на выбитой их же ногами тропе, молча смотрели, как опалается над лесом зоревое небо. В домах светились окна, но село к этому часу притихло. Даже петухи не подавали голос. Сквозь лес просочилось солнце, покраснели макушечные листья на уличном тополе.

Хлопнул, как выстрел, пастуший кнут.

Иван Митрофанович от неожиданности даже вздрогнул, повернул голову.

— Война не война, а стадо выгоняй! – сказал Макар; его обрадовало привычное щёлканье подпaska – всё шло своим чередом. Иван Митрофанович в задумчивости отозвался:

— Жизнь войной не задавишь!.. Ты, Макар, вот что, на лёгкую войну не надейся. Сила на нас попёрла потяжелее Деникина и Колчака, так что готовь себя с запасом!.. Хотел одну штуку тебе передать. Не суди старика с нынешней гордостью-то: мол, чувствительность и тому подобное. Я как был, так и живу. И прошу: возьми-ка вот это и спрячь, чтоб при тебе было. Не тяжело, а весит. Землица тут. С Урала, с того места, где Чапая постреляли. Хранил для памяти. В тяжёлую минуту на руку сыпанёшь, думаешь: «Тебе ещё ничего. Ему – хуже...» Возьми-ка вот, спрячь. Уральская, а по духу – своя... Дай-ка обниму тебя!..

Макар почувствовал под ладонями костлявые лопатки Ивана Митрофановича и неожиданно с горечью подумал, что Иван Митрофанович совсем старик!

Он проводил его до калитки, постоял, вслушиваясь в шум и голоса оживающего привычными заботами села.

Всё было, как всегда: с мычанием и блеянием собиралось в улице стадо, торопливо скрипел так никем и не смазанный колодезный журавль, бренчали вёдра, взлаивали собаки, и петухи горланили, но чего-то не доставало этим привычным, как дребезжание стекла в окне, звукам. Макар не сразу уловил чего, но потом понял: проснувшемуся селу не хватало громких бабьих голосов. Всё было, как обычно поутру, а бабьих голосов не было, и от того в наступающем дне чувствовалась затаённая тревога.

Высыпали из домов ребятишки, вслед за стадом, в прогон, поскакали к реке на палках-конях, размахивая прутьями-саблями. До Макара донеслись их тонкие голоса: «Ребя! Бей фашистов!»

Перекрывая утренний шум, рванула не по времени гармонь. Хмельной мужичий голос вдруг выкрикнул:

Тр-р-ри танкиста,
Трри весёлых друга...

И тут полоснул тишину бабий вой.

Макару стало не по себе – чужую боль он всегда чувствовал острее, чем свою.

Вот так он и запомнил это последнее в Семигорье утро: стадо, согнанное без бабьих голосов, мальчишек, радостно проскакавших к реке, гармонь и этот полоснувший по сердцу бабий вой. И запомнил ещё пух, летящий с высоких, красно освещённых солнцем тополей. Пух летел, цепляясь за ветви, плетни, траву, копился в ямах, на завалинках. Лето – а тропа вся запорошена, будто снегом...

2

Красношеин собирался на войну шумно. Опухший от хмельной без отдыха ночи, он с раннего утра вытащил на волю стол, водрузил ведро браги, принесённой от Капитолины, велел Васёнке выставить таз квашеной капусты, выкатил из погреба последний, ещё не початый бочонок с огурцами. Размахивая ковшом, шумел и звал к угощению всех, кто оказывался поблизости.

Васёнка на крыльце, прижимаясь к тёсаному столбику, придерживала за руку Лариску, запавшими за ночь глазами смотрела на Леонида Ивановича, не чувствуя покусанных и опухших губ.

Как азартный торговец на базаре, которому уже всё нипочём, он кричал:

— Прощальный ковш! За матушку-Россию! За победных её солдат! Отхлёбывай от кругового!..

Мужики подходили, снаряжённые в дальнюю дорогу, в окружении ребятишек, баб, старух. Высвобождали руку из цепких и горестных бабьих объятий, принимали ковш, отглатывали, рукавом отирали рот, кланялись Васёнке, шли дальше. Путь у всех был один – к перевозу, в город, к военкомату.

Петраковы вышли всем своим дружным выводком. В окружении малых медленно шёл Василий, держа на руках младшенькую, — ручонкой она обнимала его за шею.

Василий был в старой, с заплатой на локте рубахе, холщовых штанах, снизу охваченных солдатскими обмотками, в новых лаптях. Всё на нём было стираное, глаженое, аккуратно подогнанное, даже в своей поношенной одежде он казался принаряженным. Позади шёл Иван, перекинув через плечо отцов дорожный мешок. Мешок был почти пуст, Васёнка это заметила сразу, как заметила на ногах Ивана и крепкие ботинки Василия, и его солдатскую гимнастёрку, широковатую для узких парнишечьих плеч, — гимнастёрка поверх пояса свисала пузырём.

Сама Маруся шла сбоку, обняв руку Василия, и снизу вверх неотрывно глядела на него. Её всегда худое остроносое лицо было таким потерянным, жалобно-просящим, что у Васёнки от чужого горя прихватило сердце.

Василий прошёл мимо, даже головы не поворотил на зазывный голос Красношеина. Шёл вслед за всеми молчаливый, сосредоточенный на какой-то своей заботе.

Васёнка поглядела на Леонида Ивановича, с хмельной шумливостью гуляющего вокруг стола в обнимку с коротковатым Батиным, и стало ей так горько, как никогда не было: до самой последней минутки своей вольной жизни Леонид Иванович тешил себя, чем мог! И не от жадности к тому, что оставлял. Какой-то смутой была затянута его нехрабрая душа.

Леонид Иванович, не в пример Василию, одет был заглядисто – в лучшие свои диагоналевые галифе, в форменную чёрную гимнастёрку и хромовые, до блеска начищенные Васёнкой сапоги.

На крыльце дожидался хозяина дорожный мешок, под завязку набитый не чем другим, как хлебными караваями да бутылками Капкиного самогона. Когда Леонид Иванович улаживал мешок, Васёнка простодушно подивилась:

— На что тебе в армии такой-то припас?!

Леонид Иванович озлился:

— Видать, что баба, — ума нет. Водка да хлеб — пропуск в райскую жизнь!..

Васёнка смолчала, напекла и от себя добавила в мешок ещё сладких колобушек да вложила своё полотенце, вышитое крестиками. Полотенце Леонид Иванович выбросил, колобушки оставил. Васёнка и тому была рада: хоть короткая память её колобушки, а всё память.

Теперь вот Василий со своими петрочатами прошёл мимо, и не хотела, а подумала она о себе горько: покорила судьбе, а счастья не далось...

Свой мешок Леонид Иванович на плечи не надел — видать, застыдился такого горба за спиной. Перекинул через голову только командирскую планшетку, а мешок взял за ляжки и понёс, как чемодан, припадая от тяжести на ногу.

Васёнка шла следом, обочь пыльной дороги, держа на руках Лариску, и всё ждала от него каких-то важных слов, с которыми она должна была прожить в одиночества долго, коротко ли — никто не знал. Но Леонид Иванович с ней не заговаривал — то ли от хмеля запомнил, что уходит не в ближний лес, то ли отвлекало и веселило его общее движение людей к перевозу: шёл и возбуждённо перекрикивался с мужиками. И на пароме, когда все неподвижно и плотно стояли плечо в плечо, он не сказал ей ничего путного, даже не подержал на руках Лариску. И только у широких ворот военкомата, когда Васёнка попридержала его и сама спросила:

— Что же ничего не наказываешь?! — он будто очнулся от хмельной забывчивости и сказал, и опять не по-доброму, не по-хозяйски, а как-то шутейно:

— Одна остаёшься — гляди! Баба ты завидная. Невтерпёж будет, Лёшку вон директорского приголубь — всё не чужой! Хотя, скажу тебе, лопух он в этих делах!..

— Что ты такое говоришь, Леонид Иванович!

В глазах Васёнки стояли слёзы.

— Ладно, ладно. Знаю вас, баб! Ну, Лариска, воюй тут. Требуй своё. Мамку за подол держи, воли не давай!

Он ткнул пальцем дочке в бочок, да, видать, больно. Лариска покривила рот, захныкала, уткнулась в Васёнкину шею.

— Ну, так батьку на войну провожаешь! Ладно, некогда мне ваши носы утирать. Всего!..

Он приподнял с земли мешок, лениво, как бы нехотя, пошёл в ворота.

Васёнка гладила Лариску по спинке, успокаивала, а сама едва удерживала слёзы — таким обидным и каким-то пустым получилось прощание.

— Не надобно, доченька. Будет! — уговаривала она Лариску. — Смотри, сколько людей. Все провожают. Всем тяжко. Сердца у всех горем обливаются...

Васёнка говорила, пальцем украдкой снимала с глаз слезины. Никто не обращал на неё внимания — что её обида и слёзы в превеликом людском горе!

У ворот прощался с Петраковыми Василий. Васёнка покоила Лариску, а сама — вся слух! — внимала, что наказывал он своим.

— Не забудь, Маруся, возьми получку мою в техникуме. За девять дён, — говорил Василий. — Наперёд всех дел Валюшке к зиме валенки справь. Шерсть вместе с полынькой я в мешок прибрал, в сенях на крюк навесил. Катать отдай горбатуму Митюхе — он совестливый, как надо сделает. Иван в ботинках проходит. Старые, подбитые, как-нибудь с Нюркой поделите... Ты, Нюра, уж потерпи. Возраст твой, понятно, требует вида — не успели. Потерпи малость. Вернусь — справим всё для твоей взрослой жизни. Пока учись да младшеньких не забывай. Иван — за хозяина. Но как важное что, решайте сообща. Главный наказ всем — мать берегите. И ты, Маруся, себя поберегай. Нужна ты нам, всем нужна...

Ну, пора мне. Дело народное, не ждёт...

Всех поочерёдно он привлёк к себе, каждого поцеловал в лоб. Марусю — трижды в губы. Взял из рук Ивана мешок, спокойно и неспешно ушёл в ворота.

Маруся пискнула тонко, как-то по-птичьи, и, закрыв лицо руками, села прямо в пыль улицы. Иван и Нюра бросились к ней, подняли, отвели к забору. Нюра села рядом на траву, обняла, тихонько что-то говорила.

Васёнка не могла больше смотреть на Петраковых — обида на Леонида Ивановича, на свою неладную судьбу вконец расстроила её. Не пряча молчаливых слёз, она прошла сквозь тяжёлую, уже не воспринимающую чьё-то отдельное горе толпу и по улице направилась к пристани, где, сказали ей, мобилизованных ждала баржа.

На штабеле выкатанных из воды брёвен уместилась, прикрыла собой от солнца и укачала Лариску. Так и сидела, одиноко и терпеливо, глядя на тихую, млеющую в жаре Волгу. От сухого корья пахло лесом, от воды — свежестью, от широкой баржи со смолистыми подтёками по пузатому борту доносило запахом дёгтя; было грустно.

У военкомата духовой оркестр ударил марш.

Бодрящие, тугие, точно прыгающие звуки марша приближались, как будто расчищая перед собой дорогу. На спуске показался плотный четырёхугольник оркестра, поблёскивающий трубами, за ним нестройно колыхалась вытянутая колонна мобилизованных в окружении толпы, пёстрой от бабьих кофт и платков.

Васёнка хотела было подняться и подойти к дороге, но раздумала и только повернулась к наплывающим на берег людям. Глазами поискала Леонида Ивановича и нашла среди сизовато отблёскивающих на солнце бритых голов по чёрной форменной фуражке. Он размашисто шёл впереди, перекинув через плечо тяжёлый мешок, красное его лицо было возбуждено. Васёнку он не видел и не искал глазами – весело говорил с соседом.

Васёнка огрустневшим взглядом проводила знакомую чёрную фуражку, губы сами собой сжались в горестную усмешку.

Колонна упёрлась в дебаркадер, остановилась, и сразу внутри её замелькали бабьи платки; колонна будто разбухла, поползла по сторонам. Но оркестр, выстроившийся у трапа, снова грянул марш. Подчиняясь чётким звукам и бухающим ударам барабана, колонна подобралась, уплотнилась, двинулась по трапу, протискиваясь через узкое чело дебаркадера, стала растекаться по открытому пустому пространству баржи. Пространство было большое, но люди всё текли и текли. На барже не стало видать пустого места, а ещё много мобилизованных не убралось. Медленно они надвигались на дебаркадер, осторожно рассекая надвое сгрудившуюся у трапа толпу ребятишек и баб.

Васёнка как-то сразу увидела всех, на барже и на берегу, и в хозяйской, привычной заботе ужаснулась: «Сколько мужиков с земли сняли! Осиротили землю!..»

Уже последние ряды колонны продвигались мимо неё. Васёнка приглядывалась к ним, последним. И вдруг откинула голову, как будто напахнуло ей в лицо огнём, — глаза, знакомые, чуть косящие, смотрели на неё из-под козырька серой приплюснутой кепки. «Господи, откуда у него такая? Никогда не носил!» — подумала, теряясь, Васёнка. Макар протиснулся к краю, направился к ней, с хрустом ломая сапогами сухую еловую кору – весь песок был усыпан корой. В кулаках сдавив лямки заплечного мешка, встал так близко, что она слышала его тяжёлое дыхание, сказал в упрямости:

— Ты вот что, Васёна: туго будет – к матушке моей, Анне Григорьевне, переходи. Вместе с ней да Витькой переживёте лихую годину. Ты, Васёна, судьбе не покорствуй – жить надо! И дочке... жить надо... — С осторожностью он протянул руку, неловко провёл по тёмным Ларискиным волосикам да, видать, и ожёг душу этим неловким касанием – глаза закосили пуще обычного, губы вспухли, как от боли.

Васёнка всё видела. Неизжитая обида на Леонида Ивановича да ещё эта вот неловкая Макарова жалость вконец надорвали её сердце. Она подняла на Макара зачужавший взгляд, недобрым голосом спросила:

— Забыл, видать, что я – мужняя жена?..

— Забыл, Васёна. Забыл!.. Васёнку – помню. Всё другое – забыл... — Косящие глаза Макара глядели неуступчиво, и Васёнка, смятая его словами, не могла выстоять перед Макаровой близостью – губы её задрожали, она опустила голову. – Прощай, ладушка. Где мне ни ходить – со мной будешь... — Макара повернулся, пошёл. Ломалась и трещала под его сапогами кора, оглушая Васёнку. И, как тогда, при первой встрече на Туношне, она, прижав к себе Лариску, выпрямилась, охватила рукой тонкую шею, хотела крикнуть доброе слово вслед уходящему Макару, но голоса не нашла.

Васёнка видела, как вошёл в колонну Макара, как среди других, плечом к плечу, поднялся по трапу и пропал с глаз в затенённом челе дебаркадера. На барже она уже ничего не могла разглядеть: там – будто муравейник! И все головы и плечи, сколько их было на барже, расплывались и сливались в одну большую голову, прикрытую какой-то невиданной серой кепкой с широким козырьком.

Дымил около носа баржи, зачаливаясь, буксир.

Васёнка застылыми глазами смотрела под козырёк этой привидевшейся ей большой кепки, стараясь разглядеть под ней Макара, и наконец увидела такого, какой был он в тот вечер на Туношне: волосы, спутанные, как у цыгана, лоб чумазий, будто нарочно подкопчённый, улыбчивый широкий рот. Вот только глаз не могла разглядеть. Знала, что у Макара добрые глаза, а видела другие: будто сразу огня и холода плеснули в них, да так рядом и остались...

Лариска проснулась на её коленях, тарасила глазёнки на дымящий чёрным дымом пароход, на баржу, полную людей, на Волгу, горестной дорогой уходящую за дальний край горы. И когда, отчаливая, буксир закричал долгим, раздирающим душу криком, Лариска подняла ручонки и ладошками закрыла Васёнке глаза – она не хотела, чтобы мама плакала снова.

— ... Отвлечённого, всеобщего, многомиллионного добра нет, Никтополеон Константинович. Наше большевистское добро – это не дело вообще. Это – конкретные дела в конкретные сроки, для реальных людей, имеющих имена и фамилии. Я просил бы вас помнить об этом...

Степанов медленными тяжёлыми шагами ходил по кабинету. Стулов сидел в кресле перед столом, подтянутый, сдержанно-сосредоточенный, терпеливо слушал. Последние слова Степанова не вызвали в нём согласия, он осторожно возразил:

— А революция? Гражданская война? Наконец, сейчас идущая война? В исторических событиях отдельная личность, я имею в виду – рядовая личность, теряется в силу простого соотношения больших и малых чисел. Разглядывать единицу, когда сталкиваются миллионы...

— Да, мы учитываем борьбу классов, борьба эта определяет человеческую историю. Война — тоже столкновение классов, в этом вы правы. И всё-таки мы не должны, не можем забывать, что класс – это социальная армия, состоящая из своих солдат. И у каждого солдата этой армии – своё лицо и своё имя.

Совершал революцию рабочий класс. Но в революции был и Ленин, и матрос «Авроры», повернувший орудие на Зимний. В гражданскую сражались не просто красные и белые. И Фрунзе, и Чапаев, и Блюхер командовали не номерами армий и дивизий...

Стулов резко повернул голову, но взгляд его матовых глаз не поднялся выше подбородка Степанова. Степанов смотрел на Стулова, выжидая.

— Если вас смутило одно из названных имён, — сказал он подчёркнуто спокойно, — могу сообщить: на Востоке я воевал под началом Василия Константиновича Блюхера. Но мы отвлеклись от сути разговора.

В начавшейся войне важны не только моторы и бомбы. Каждый мотор, каждое орудие приводит в действие человек. И вся совокупность общественных отношений концентрируется в человеке, в его разуме. Главная наша сила, Никтополеон Константинович, — человек, каким сумели мы воспитать его за двадцать три года Советской власти.

Видите ли, борьба – это действие при высшем напряжении всех нравственных сил. Чтобы действовать, имея даже отличное оружие, надо быть убеждённым в правоте своих действий. Я лично верю в нравственную силу нашего человека, в победный разум его, в его убеждённость.

Вам продолжать работу здесь. Какое бы дело ни пришлось вам по необходимости утверждать, оно так же, как река с родника, начнётся с конкретного человека и питаться будет его убеждённостью...

«Зачем я стараюсь внушить ему своё понимание истин? – думал Степанов, осознавая, как смешны его заботы о том, что будет с областью после того, как займёт его место Стулов. – Мои комиссарские наставления нужны ему, как поводыр зрячему! Возьмёт дела в руки и ни слова не вспомнит из того, о чём я стараюсь сейчас! Диктовать ему будет практика военного времени, и поступать он будет сообразно её требованиям...»

И всё-таки, озабоченный уже новыми тревогами, он не мог так просто покинуть кабинет — посадить Стулова на своё место и уйти. Он передавал Стулову не кабинет, вручал ему целую область, жизнь которой ни в первый, ни в последний день его работы здесь не была ему безразлична. Он знал её живой, постоянно развивающийся, сложный организм и по-своему, сдержанно, но верно, любил людей и землю этой малой частицы России. Вопрос был решён, в ЦК удовлетворили его просьбу, он получил высокое назначение в Действующую армию и завтра должен вылететь в Смоленск, но живые нити сходящихся на нём дел всё ещё, и крепко, держали его в кабинете. Он не мог так сразу оборвать их, эти живые нити. По звонкам телефонов, на которые отвечал то он, то Стулов, он чувствовал лихорадочно-напряжённый пульс перестраивающейся на военный лад жизни и, надо полагать, безосновательно тревожился за область и за Стулова.

«Наверное, то же чувствует мать, передавая подросшее своё детище на воспитание в другие руки», — думал Степанов, скрывая от Никтополеона Константиновича своё беспокойство. Будь его воля, он не поторопил бы это не очень приятное для него событие – с выдвижением Стулова разумнее было бы повременить. Но в сложившихся обстоятельствах другого решения он не видел. Он так и сказал расстроенной его отъездом Валентине: «Там – важнее сейчас. Главное – отбить, отстоять Россию. Остальное – потом. Всё, что начато, что не сделано, — всё потом. Пока здесь поработает Стулов...»

Это «пока» было слабым утешением для Валентины. Не успокаивало оно и самого Степанова.

Арсений Георгиевич видел, что Стулов лишь вежливо терпит его разговор и само его присутствие. По сути, они уже на равных, Стулов даже больше хозяин здесь. И только сохранённый им авторитет заставлял Никтополеона Константиновича выслушивать его и терпеливо ждать, когда он, Степанов, сочтёт нужным попрощаться и покинуть кабинет. В какой-то момент Степанов это понял и, умеря своё бесполезное теперь беспокойство за дела, оставляемые Стулову, прошёл за стол.

Стоя, он просматривал и раскладывал в папки бумаги.

В репродукторе тихо звучали марши. Радио с первого дня войны стало как воздух в этом кабинете – не выключалось ни днём, ни ночью.

— Никтополеон Константинович, здесь у меня телеграмма Ивана Петровича Полянина. Он дал согласие принять «Северный». Это сейчас важно. Вы распорядитесь и проследите, чтобы дело довели до конца с его назначением и переездом.

Стулов молча кивнул.

Звучащий по радио марш оборвался. Настораживающая пауза затягивалась, и Степанов снова стал смотреть бумаги.

В репродукторе щёлкнуло. Медлительный голос диктора, напряжённый до дрожи, вошёл в кабинет: «Внимание, внимание! Работают все радиостанции Советского Союза. Сейчас будет передано важное правительственное сообщение... Внимание, внимание...»

Снова и снова диктор повторял уже сказанные слова, призывая людей к репродукторам. Степанов, ожидая, продолжал раскладывать бумаги. Мельком взглянул на календарь, с надеждой подумал: что важное сообщит сейчас радио об одиннадцатом дне войны?

События, складывающиеся на фронте, были для Степанова неожиданны. Красная Армия вынужденно и, видимо, тяжело отступала, знать об этом было горько. Степанов здесь, за тысячами километров, ощущал наступающую на страну силу, и с такой обнажённой отчётливостью, что казалось ему, навалившаяся на Украину, на Белоруссию и Прибалтику сила упёрлась в него и давила до хруста в костях, стараясь сломить его убеждённость и веру.

Степанов был из тех русских людей большевистской закалки, сломить которых извне идущей силой невозможно. Сломать физически – да: и большевики смертны. Но сломить духовно – нет! Такие люди – как невероятной прочности умело закалённые пружины: их можно жать до упора, пока виток не ляжет на виток. А там – или сокрушается металл, или сжатая внутренняя сила отбрасывает враждебную внешнюю силу.

В таком вот нравственном напряжении находился сейчас Степанов. Он не был подавлен тревожными известиями с фронтов войны. Не был растерян. Но недоумение и горечь он чувствовал, как чувствовали их все на огромном пространстве Страны Советов. Как все, он хотел знать правду случившегося отступления и со всё возрастающим чувством внутренней потребности жаждал услышать, что сила Красной Армии остановила и обратила вспять фашистскую силу.

Позывные радиостанции «Коминтерн» наконец замолкли. Разрушая томящую тишину, диктор объявил: «Перед микрофоном председатель Государственного Комитета Обороны товарищ Сталин».

Стулов резко сдвинул тяжёлое кресло, по-солдатски чётко встал, отошёл стол, до полной силы добавил репродуктору звучания.

Степанов задержал в руке бумагу, повернул голову, хотя теперь было отчётливо слышно всё: и сухое потрескивание радиоволн, и позвякивание графина о стакан, и короткое бульканье воды – Сталин не был спокоен.

Первые же слова, которые он сказал как будто с трудом и с особенно заметным грузинским акцентом, были для Степанова неожиданны своим доверительным, открыто тревожным тоном:

«Товарищи! Граждане! Братья и сёстры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!..»

Сталин говорит отрывисто, паузы в его речи и позвякивание стакана, взволнованность, которую он сдерживал, но не почувствовать которую было невозможно, заставляли забыть о всём прочем и слушать и ждать в напряжении каждое его слово.

Степанов без шелеста положил бумагу, медленными осторожными шагами вышел из-за стола, встал у окна, сцепив за спиной руки. На закаменевшего у репродуктора Стулова он не смотрел и не видел того, что было за окном, — он как будто один был со Сталиным и с пристальностью человека, переступившего порог обыденности и уже готового к самоотвержению, следил за словами, за интонацией, с которой слова произносились. Острым и сильным умом, привыкшим к самостоятельности, он взвешивал каждую сталинскую мысль.

Сталин овладел собой, говорил теперь, как всегда, спокойно и убеждённо. И Степанов, как бы собой, своими чувствами и мыслями поверяя каждое его слово, каждую его мысль, чувствовал, как Сталин подчиняет его разум своей уверенной логике.

Причины случившихся горьких событий, которые Сталин назвал, Степанов принял. Он было насторожился, когда Сталин сделал неоправданно сильный, как казалось ему, нажим на беспощадную борьбу с трусами и паникёрами – он не понимал и не принимал эту холодную жёсткость Сталина к партийным работникам и людям вообще. Он и теперь считал, что людям, народу, нужна не жёсткость предупреждений, а определённость и доверие и доброе напутствие на теперешний их ратный труд. Он даже поморщился в этой части сталинской речи. Но Сталин говорил, и Степанов всё яснее ощущал и скрываемую властным сталинским разумом глубину его собственной обеспокоенности, и действительные размеры нависшей над страной опасности. Он всё больше понимал Сталина и всё безоговорочнее соглашался с ним. Холодок тревоги, который и раньше ощущал он, вслушиваясь в сводки Совинформбюро, стал пронзительнее.

Опытом политического деятеля Сталин, видимо, понимал, что жестокой правдой своих слов до предела обострил тревогу за судьбу Родины в миллионах невидимых им, но внимавших ему людей. Как никто, он знал, что тревога – всегда сигнал к действию. И эту возбуждённую им внутреннюю тревожную готовность к действию он чётко направил на неотложные задачи войны.

Степанов слушал, как сжато, по главным направлениям Сталин излагал программу действий целого народа в защиту Отечества, и принимал, как своё, каждое его слово.

Ответственность за судьбу страны и любовь к своей России, которыми он всегда жил, его разум и чувства сейчас плавилась и сливались, заполняя в нём всё до последней клетки. Почти физически он ощущал происходящую в нём сложную работу и чувствовал, как его прояснённые душевные силы выстраиваются для чётких действий.

Сцепив за спиной руки, он стоял в раздумье. Сталин сказал хорошую речь, политически мудрую. Если бы он, Степанов, искал слова напутствия народу, встающему на Великую Отечественную войну, он не нашёл бы лучших слов.

Глухой голос Сталина ещё продолжал звучать в нём. Степанов медленно, отчётливо, как бы стараясь врезать в память слова, повторял про себя: «Дело идёт о жизни и смерти Советского государства, о жизни и смерти народов СССР – о том, быть народам Советского Союза свободными или впасть в порабощение...»

«Вот она, правда, — думал он. – Жестокая, но правда. Не лёгкая победа – долгая и тяжёлая война. Новый смертный поединок, не армий – классов и вовлечённых в него народов. Снова друг против друга два разных мира, человек против человека, с полярной нравственностью этих разных миров. Вопрос: кто кого. Чему жить, чему умереть. Вот – правда. И сказал её Сталин. И пройдёт эта правда вместе с войной по разуму и сердцу каждого».

По радио звучала набатная, уже полюбившаяся Степанову песня:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой...

Он прослушал до конца песню, подошёл, приглушил радио. Стулов всё ещё стоял прямо и неподвижно и глядел перед собой в пустоту кабинета. Степанов близко увидел его глаза, чуть сощуренные и напряжённые, и с удивлением заметил, что с глаз Стулова сошла матовость, даже показалось, что глаза Стулова влажно блестят.

«Да, — думал Степанов, возвращаясь к столу. – Всё упрощается перед лицом войны! Ещё вчера я огорчился неразумной самостоятельностью Кима, ещё сегодня заботился недовыясненными отношениями с Никтополеоном Константиновичем Стуловым, раздражался медлительностью одних, непониманием очевидных истин другими – всеми этими стычками характеров, самолюбий, воли и простого упрямства, которых пруд пруди в каждодневной работе! И всё казалось важным. И всё теперь слетело, как лист с дерева, идущего в зиму! Остались ствол, ветви – сама суть. Всё до предела просто! Всё сдвинулось на полюса, середины нет. Жизнь или смерть. Мы или фашизм. Россия или немецкий сапог на шее.

И нет тишины. Есть расплавленный войной край России. Истекающий кровью край страны. Там сейчас решается судьба всего нашего революционного дела. Судьба Кима, Валентины, всех, отправленных на войну. Моя судьба...»

Стулов снова сел в кресло, теперь он был сосредоточенно-задумчив, как будто тревожно прислушивался к чему-то.

«Может, не так он плох, как мне казалось? – неожиданно подумал Степанов, наблюдая Стулова и чувствуя перемену в нём. – Сейчас время действий, и Стулов может оказаться на месте...»

— Что же, Никтополеон Константинович, садитесь за стол и принимайте дела. Бумаги я разобрал. Эти решены, но пока под контролем. Здесь, в крайней папке, неотложные дела, решать которые придётся уже вам...

Степанов уступил место Стулову, прошёлся к двери, обратно.

Остановился у раскрытого окна, взглядом окинул привычный мир. Сейчас он видел и слышал всё. Видел долину Волги, будто распахнутую до широкого неба, — до самого горизонта Волга отсвечивала вытянутыми плёсами – и тёмные прочерки барж в солнечной ряби, и чёрные дымы неразличимых вдали буксиров – дымы, казалось, столбами поднимались из самой воды. Слышал попыхиванье и посвистыванье поворотных кранов, стрёкот лебёдок, тупые металлические удары, и буханье гулкого железа в грузовом порту, и ровный безостановочный шум мельзавода на берегу. Слышал цоканье подков, стук тележных колёс по мостовой, голоса проходящих внизу людей, смех и крики ребятишек на зелёном откосе, который метко кто-то прозвал «Муравьёвкой», — по воскресным вечерам здесь, понад Волгой, гулял весь город, и людный откос со стороны реки действительно мог кому-то напомнить муравейник.

Вид за окном и звуки были обычными – он привык к ним за многие годы. Но под июльским небом тысяча девятьсот сорок первого года Волга с баржами, буксирами, лодками, колёсными пассажирскими пароходами казалась ему светлее, звуки работ торопливее, голоса людей напряжённее. Чем прежде. И всё, что видел он сейчас, было роднее и необходимее, чем прежде, может быть оттого, что смотрел он на привычный мир за окном в последний раз...

Ну, что же! Всё, что надо, он сделал, дела передал. Стулов уже за столом. Пора. Надо ещё собраться в дальнюю дорогу!

Но уходить он медлил.

С неясным для себя чувством ожидания он наблюдал Стулова: крупная голова наклонена, сцепленные руки – на бумагах. Стулов сидел за столом в хмурой задумчивости. Степанову даже показалось – в растерянности. Может быть, только сейчас его властный и самолюбивый приемник почувствовал, какую ответственность он принял вместе с этим кабинетом!..

Степанову казалось, что сейчас Стулов готов услышать от него напутственное слово – война и Сталин стояли рядом, примиряя их.

— Никтополеон Константинович, под наше с вами прощанье ещё один совет или просьба — принимайте как хотите. – Степанов стоял посреди кабинета, широко расставив ноги, бугристый лоб его чисто выбритой головы был как будто нацелен на Стулова. – Берегите людей, Никтополеон Константинович! Сейчас миллионы уходят на войну. Большую работу, чем делали мы, вам придётся исполнять малыми силами. Людям здесь будет не легче, чем на фронте. Берегите их, Никтополеон Константинович, в труде и жизни людей смысл нашей работы! Вспышки настроений и неуравновешенность наших чувств тяжело отражаются на людях. Человек, особенно наш, русский человек, может перенести всё: невзгоды, холод, голод, раны. Однако ему не под силу грубость и несправедливость. Каждым вашим шагом, даже самым малым, должен руководить разум – ясный, справедливый разум. Говорит это вам опыт всей моей жизни!..

Степанов пристально смотрел в глаза Стулова и, пожалуй, впервые за время совместной работы с ним почувствовал удовлетворение от разговора.

Стулов поднялся, вышел из-за стола, умеряя басовую силу своего голоса, сказал:

— Воюйте спокойно, Арсений Георгиевич, не оглядываясь. Не подведём... Победного вам пути!

Он крепко стиснул Степанову руку.

4

Елена Васильевна нашивала вторую заплату на старые, теперь рабочие, замасленные Алёшкины штаны. Расправляя под иглой машинки материю и снова берясь за ручку и прищуриваясь от луча вечернего солнца, отблёскивающего на выпуклости колеса, она с состраданием поглядывала, как сын жадно и торопливо ел – ложкой сгребал со сковороды обжаренную картошку, запивал из кружки молоком. Он был по-домашнему в майке и трусах, на обожжённых солнцем красных плечах бугрились мускулы, голова прикрыта копной густых, лишь пятернёй расчёсанных волос, почему-то неровно выгоревших – на висках и по краям загорелого лба волосы были почти белыми.

Таковыми же были и брови, с остатками желтизны, колюче и как-то смешно встопорщенные. Алёша страшно похудел: на плечах и груди мускулы, а широкие запястья – одна кость, длинные тощие пальцы – как лапы у курицы, и сплошь в ссадинах. Это увлечение комбайнами вряд ли ему по силам...

— Алёшенька, ты совсем не бываешь дома! – упрекнула Елена Васильевна. – Смотри, на твоём лице остался один нос. Разве можно так истязать себя!

Алёшка возбуждённо смотрел на мать и улыбался белыми от молока губами.

— Не надо, мамочка, упрекать в том, что поправить не в наших силах, — говорил он, явно довольный той новой для себя жизнью, которой сейчас жил. — И моя лёгкая поджарость – всего лишь следствие. А причина... причину ты ведь понимаешь, мам?..

Да, она понимала причину этой Алёшкиной «поджарости» и весёлой возбуждённости. С восьми утра до четырёх дня он безотлучно в школе комбайнёров – собирает и разбирает и учится водить степные корабли. А прибежав домой, отмывшись и пообедав, несётся в город, через две реки, на обязательное свидание с Ниночкой! Любовь всё-таки пришла к нему, и в самое неподходящее время – второй месяц идёт война, сёла обезлюдели, везде суровые и молчаливые женщины, а он, будто иссушенный жаждой, всё видя и понимая, не может оторваться от своего первого чувства. Он знает, что скоро и ему туда, на край России, где война. Елена Васильевна боялась даже представить этот неотвратимый день и в то же время в душе гордилась Алёшей, теми мужественными его шагами, которые он сделал в первые дни, в первый же день войны!

Она ясно помнила всё, как будто день этот остановили в её памяти. Алёша, ещё не остывший от радостей выпускного школьного вечера и ночных гуляний в лугах, у Волги, где у костров он и его друзья, все эти милые мальчишки и девчонки, прощались с юностью, школой и друзьями, ещё счастливо смущённый отличным аттестатом и премией – огромным письменным прибором, который он с неуклюжей бережливостью выставил для обозрения на стол, и возбуждённый сознанием важности совершившегося в его жизни, ясный, устремлённый в будущее, как утро в погожий день, — Алёша ещё ничего не знал. Никто ещё ничего не знал. И вдруг – радио. И выступление Молотова. И сжались губы Алёши ещё пухлые, ещё детски радостно распахнутые глаза потемнели, и родное его лицо стало таким далёким, что она испугалась.

На следующий день вместе с Витей Гужавиным он пошёл в военкомат. Вернулся до неузнаваемости злой, сидел дома, смотрел газеты, ждал отца.

Разговор с Иваном Петровичем был в её присутствии, и, может быть, только тогда, слушая их разговор, она до конца поняла своего Алёшу. Он откинул газету отцовским жестом и обиженно заговорил:

— Папа, ты не мог бы убедить военкома? Человек получил право распоряжаться нашими судьбами и не хочет понять, что мы нужны на фронте...

— Вероятно, ты не один так думаешь, — ответил Иван Петрович, стараясь не показать, что у него тоже есть свои обиды. — Что тебе сказали?

— До осени гуляйте. Нужны будете — вызовем. Так сказали!

Иван Петрович сидел боком к столу с выражением какой-то грустной рассеянности на лице.

— Ты вот что учти, — сказал он, пальцами поправляя очки. — Тебя могут вообще не призвать в армию. У тебя сильная близорукость. Мне, например, отказали по этой самой причине...

Алёша тогда не разобрался в скромном достоинстве отца — слишком был переполнен своими оскорблёнными чувствами. Он почти кричал:

— Но у тебя ещё и сердце?! А я? Ворошиловский стрелок — раз, охотник — два, лыжи, бег, водный марафон... Нет, папа! Если меня не возьмут — умру от стыда. Убегу, уползу, с охотничьим ружьём уйду, а воевать буду!

Елена Васильевна почувствовала, как словно в пустоту упало сердце. Подумала. «И убежит. Она его не остановит. Даже Ниночка не остановит!..»

Иван Петрович, видимо, тоже понял, что сын не шутит. Примиряя его с необходимостью, сказал:

— Хорошо. Возьмут — поедешь... Что ты думаешь делать до осени?

— Об этом и хотел говорить!

Иван Петрович думал, пальцем отстукивая по столу.

— Занять тебя просто, — сказал он. — Надо другое: должна быть отдача, и — быстрая... Курсы открыли при МТС. Месяц учёбы, месяц работы — подойдёт?

Он вопросительно смотрел на Алёшу. Потом перевёл взгляд на Елену Васильевну.

— Как, Лен, одобряешь?

Она молча кивнула: всё-таки ещё два месяца Алёша будет рядом.

Так «на пока», до какого-то страшного, кем-то уже назначенного дня, определилась жизнь её Алёши.

А неожиданное признание Ивана Петровича её даже разволновало – от утаённого его порыва пахнуло боевой романтикой тех прежних, революционных лет!

Елена Васильевна с ровным нажимом крутила ручку машинки, сосредоточенно направляя под иглу материю.

Алёша отнёс сковороду в кухню и теперь пил чай. Низко клонясь к столу, он старательно закрывал чашкой рот и нос до самых глаз и нерешительно поглядывал из-под выцветших своих бровей. Он хотел и стеснялся говорить.

Нетрудно было догадаться, что томит её Алёшу.

Облегчая сыну шаг к откровению, она спросила:

— Как у тебя с Ниной?

Алёшка вспыхнул, закрыл лицо руками. Так сидел с минуту, не дыша, потом опустил руки, елозя чашкой по столу, сказал:

— Всё кончено. И виноват я сам... — Он сказал это мрачно и с такой безнадёжностью, что Елена Васильевна перестала шить.

— Что случилось? – спросила она встревожено.

— Не знаю, мама, не знаю... Я уступил своим низким чувствам, и вот... Скажи, мама, что делают девушки, когда их... ну, вдруг поцелуют?..

Елена Васильевна едва успела скрыть улыбку.

— Обычно убегают, — сказала она.

— Ну, а потом?

— А потом делают вид, что ничего не было.

— Правда? Это правда?! И это их не обижает?..

— Думаю, что нет. Это их смущает...

Алёшка вскочил, обежал стол, ткнулся горячим лбом в её шею.

— Ты у меня хорошая, мама! Я просто не знаю, что бы я без тебя делал!

Он скрылся в комнате и скоро появился в своём первом настоящем костюме – она сама, на свой вкус, выбрала костюм в областном центре и купила ему в подарок. К восемнадцатилетию. Три месяца назад.

Тёмно-серый костюм и белая рубашка-апаш очень шли ему, особенно к теперешнему его загорелому и похудевшему лицу, к его высокой, отлично сложенной фигуре. Похоже, он чувствовал это сам, — проходя мимо зеркала, взглянул на себя, засмеялся.

— Я, мамочка, пойду. Ладно?.. Боюсь, что у меня последний вечер: завтра практика, а послезавтра едем на уборку. Ты чувствуешь, кем становится твой сын? Я уже задумал, мама, — первый мешок заработанного зерна положу к твоим ногам. Сто раз спасибо тебе, мамочка! Я так переживал этот дурацкий поцелуй...

«Боже! — думала Елена Васильевна, провожая Алёшу взглядом. — Война и — поцелуи! И теперь эта работа на полях! Как всё сложно! И как всё просто. Как всё близко одно от другого!..»

5

К вечеру Женя Киселёва своим ХТЗ подтащила бывший разуваевский, теперь молодёжный «Коммунар» к краю поля.

Иван Митрофанович и два семигорских старика делали в поспевшей ржи прокос для трактора. Иван Митрофанович приподнял с головы белую полотняную фуражку, приветственно помахал, снова взялся за косу.

Витька спустился с мостика, пошёл прокосом, по-хозяйски осмотрел места разворота. Он был деловит, озабочен и кому-то явно подражал.

— Лёгкое поле, ровное. Для почина в самый раз, — сказал он, возвратившись. — С него начнёшь поутру, как обсохнет.

— Может, сейчас кружок махнём? — робко предложил Алёшка, ему не терпелось опробовать себя и комбайн в настоящей работе.

— На разворотах ещё не обкосили. Хлеба помнём. Завтра к семи, как из пушки! Ты извини, Лёха, но мне в мастерские — ещё два комбайна выводить... — Он перескочил канаву, трактором размашисто пошёл к селу.

Он изменился, Витька, с того мартовского метельного дня, когда, оскорблённый Капитолиной, ушёл из отцовского дома. Изменился не тем, что вырос, поокреп — по плечам и по росту он и Алёшка шли вровень, как два дерева из одного корня. По заботам обогнал — ушёл и от Волги, и от рыбалки, от вечерних разговоров про чувства и стихи. После работы в химлесхозе он как-то сразу перешагнул себя прежнего.

Возвратился и как будто прилип к Макару – весь ушёл в шестерни, поршни, шатуны, ремонтировал с ним трактора, машины, комбайны. И почти не вылезал из МТС: ходил измазанный, промасленный, с побитыми, неотмываемыми даже в солярке руками, довольный неизвестно чем. Витька нашёл какое-то новое измерение жизни и время отсчитывал теперь не часами – работой. Если ему удавалось втиснуть в день недельное дело, он шёл домой, под разубаевскую крышу, медленно переступая, будто в пудовых сапогах, с пьяной от радости улыбкой на толстых неуклюжих губах и нёс в пропахшей керосином руке обязательный пучок луговых ромашек – для тётки Анны.

Повзрослел Витька особенно за последний месяц, после того как Макар передал ему все ремонтные дела в обезлюдившей МТС и ушёл на войну.

Алёшка сейчас завидовал Витьке – его рабочей хватке, озабоченности, с которой он жил. Кажется, он начал понимать, что взростеют не годами – взростеют ответственностью, когда принимают её на себя.

... Чистое утро быстро обсушивало травы. Когда Алёшка после короткой ночи, ещё сонный, подошёл к полю, трактор Жени Киселёвой работал на холостых, кидая в воздух тёмные дымки. Витька лазил по комбайну, оглядывал цепи. Он был в выцветшей майке-безрукавке, плечи и локти успел измазать.

— Глянь хлеба – не влажны? – крикнул он Алёшке, в озабоченности забыв его поприветствовать.

Алёшка шагнул в рожь. Рожь была высока – колосья клонились прямо к лицу – рукой нагнул, провёл по гладким шелестящим стеблям. Пропустил сквозь кулак тугие усатые колосья, слегка сдавливая, как показывал ему Витька, поглядел на ладонь – суха. Утопил руку в сорном травяном подросте – рука сразу овлажнилась.

— Рано ещё, Вить, — сказал Алёшка, показывая ладонь. — Рожь обсохла, а трава росная. И густая – забьёт!

Витька подумал.

— Время жалко! На первых кругах срез повыше поставишь... Заводи?..

Он и разрешал, и спрашивал, как бы давая Алёшке самому определить свою готовность к первой самостоятельной работе. И всё-таки, когда Алёшка поднялся на мостик и взялся за ручку мотора, обеспокоено скрестил на груди руки, стиснул плечи, наблюдая!

Мотор завёлся с третьей попытки, треском своим заглушил ровное урчанье трактора. Алёшка установил холостые обороты, положил на железное колесо штурвала будто чужие руки. Покрутил, опуская хедер и снова поднимая выше. Почувствовал, как от напряжения побежали струи пота из-под волос, по шее, на спину.

Женя оторвалась от трактора, с ключом в руке подошла к мостику, запрокинула голову, по брови повязанную косынкой, смеялась. Что-то крикнула, но Алёшка, оглохнув от треска мотора и волнения, не расслышал, в ответ только покрутил рукой около уха. Женя сказала что-то Витьке, теперь они смеялись оба, а Алёшка, словно прилипнув к штурвалу, всё пробовал, как опускается и поднимается хедер.

Витька влез на мостик, встал позади.

Впрыгнула на гусеницу трактора Женя, держась за кабину, ждала сигнала. Алёшка, замирая, будто падая с десятиметровой вышки в воду, включил рабочий ход. Комбайн загрохотал всем своим железным нутром, шевельнулось и как-то нехотя закурилось над землёй мотовило. Алёшка установил газ, взялся руками за штурвал и, тяжело вздохнув и закрыв на минуту глаза, кивнул Жене.

До захода солнца попеременно с Витькой они управляли комбайном. Останавливались только выгрузить зерно из бункера да заправить баки – из МТС железные бочки с горючим подвёз им на подводе Иван Петраков.

Домой Алёшка добрался в сумерках. Чувствовал он себя так, как будто его самого пропустили вместе с рожью через утыканный железными зубьями барабан: не было места на теле, которое бы не ныло, рук не поднять, не выговорить слова.

Он как сел за стол, уронил голову на грудь, так и сидел, чему-то блаженно улыбаясь. Елена Васильевна чуть не с ложки кормила его и отпаивала чаем. Не пошёл даже на обещанное Ниночке свидание, не было сил пойти.

Ночью в беспокойном сне он как будто снова работал. Кинолента памяти крутилась то медленно, то быстро, то с конца, то с начала, и рожь плыла навстречу, и планки мотовила били по висячим колосьям и грубо клонили стебли к ножам. Рожь падала, текла в грохочущий позади барабан. Из открытой пасти шнека в бункер как будто горстями швыряли смуглое дождевое зерно. За комбайном тянулась по стерне полоса взбитой, желтеющей на солнце соломы.

— Здорово! Как машинкой по волосам! – возбуждённо кричал Алёшка, оглядывая убранное поле.

Витька сдержанно улыбался, чёрный от пыли, как плугарь на пахоте, Алёшка сам не узнавал своих рук, синей рубашки, чёрных штанов – всё в один густо-серый цвет. Стёкла очков тоже были серыми от пыли.

Женя, когда приходилось останавливаться, прыгивала с трактора, подбегала такая же пепельно-серая, посверкивала глазами, хрипло кричала:

— Молодцы, соколики! Нашим бойцам этот хлеб – что от баб и детишков приветное слово: пуще всякого приказа на врага подымет! Снатужимся, соколы мои, с того поля ещё клин прихватим, а?..

Иван Митрофанович приходил из полей, что лежали в перелесках, – там луговой пестротой мелькали кофты и платки баб, вязавших снопы. Наклонялся над обмолоченной соломой, вытягивал сухие выбитые колосья, смотрел. Не тая удовольствия, хвалил: «Узнаю разубаевскую школу. Достоинно трудитесь, ребята!..»

Женя, как вчера, старательно таскала своим трактором Алёшкин комбайн, не ругалась, когда он отмахивал остановку, и, подшучивая, со старанием помогала ему отлаживать то ножи, то очистки. Только её заботой да неотступностью он выдержал до конца второй день работы.

Третий день Алёшка встретил без радости. Попробовал размять себя зарядкой – не вышло: руки вяло падали, ноги подгибались, тело протестовало против всяких, даже привычных, движений. Сел на кровать, с безнадежностью смотрел в раскрытое окно на шелестящие берёзы. По шелесту он хорошо различал стоящий на воле август – к началу осени лист уплотнялся и берёзы шелестели жёстко, в шуме их, даже в ясные дни, слышалось тревожное ожидание беспросветных сентябрьских дождей, жестоких октябрьских ветров, ноябрьского холодного снега.

В это время он обычно брал ружьё и уходил на первые охоты, сначала в леса, потом – на озёра. Радость вольного беззаботного одиночества надолго селилась в нём.

«А почему... почему бы!...» — сам себе сказал он, и даже оторопь его взяла. Он повернулся, снял со стены ружьё, уместил на коленях, поглаживая холодные, отполированные его рукой до белизны стволы.

Елена Васильевна застала его в эту минуту душевной слабости. Увидела тоскливый Алёшкин взгляд, ружьё на коленях, всё поняла.

— Тебе хочется в лес? – спросила, сострадая сыну. Погладила его спутанные, жёсткие от пыли волосы.

— Может быть, не обязательно тебе так истязать себя? – сказала она. – Сходи в лес. Тебе ведь недолго осталось...

Алёшка, как в прошлой домашней бытности, привычно встрепенулся от доброго маминого разрешения – даже тяжесть накопленной усталости отхлынула под напором взбурливших приятных чувств. Азартно сорвавшись с места, он тут же остановил себя. Нет, он был уже не тот домашний Алёша, которому высший суд – мамино разрешение. Теперь в его душе был суд выше – суд собственного разума. Погрустнев, он повесил ружьё на стену.

— Нет, мамочка, не могу. Нельзя, мам, — сказал он, убеждая не столько её, сколько себя. — Если я сдамся сейчас, что будет там? Там будет труднее. Там не будет «хочу». Там будет одно железное «надо»...

Он заставил себя дойти до поля, хмуро осмотрел комбайн, завёл. Женя поглядывала на него с беспокойством. Но Алёшка работал. Скулы его остро выпирали над стиснутым ртом.

Где-то пополудни Алёшка почувствовал, что руки его сползают с колеса. Рожь расплывалась и волнами плескалась перед глазами. От духоты, пыли и грохота всё настойчивее клонило его перегнуться через железные перильца и упасть в эти расплёсканные перед ним палящие волны.

Как-то зимой, на лыжном кроссе, где-то в начале десятикилометровки, он взял слишком нервный и поспешный темп и сбил дыхание – голова шла кругом, слабели ноги, всё было безразлично, даже победа. Одно желание владело им: сосупить с лыжни, упасть в сугроб, хватить пересохшим ртом хоть горсть холодного снега. Он упал бы, если бы не вспомнил жёсткого напутствия Васи Обухова.

— Смотри, Полянин, собьёшь дыхание – не падай на колени. Зубами тащи себя вперёд. Найдёшь второе дыхание – можешь думать о победе...

В ту секунду отчаяния он устоял. Заставил себя сделать шаг, ещё шаг, ещё и вдруг почувствовал, как словно промыло его свежестью морозного дня: грудь распахнулась, чисто и легко вошёл в неё воздух.

Тогда он нашёл второе дыхание. Хотя и не победителем, но дошёл до конца.

И сейчас он не имел права сойти с лыжни.

Женя остановила трактор, влезла к нему на мостик, крикнула:

— Лёшка, лица на тебе нет! Айда в тени отлежись!.. Глуши мотор!

Алёшка, не отпуская штурвал, повернул серое с белым кругом губ лицо.

— Давай вперёд, Женя... Прошу тебя, вперёд. Не останавливай!.. – Он был слаб и очень силен в эту минуту!

Когда Женя, оглядываясь, двинула вперёд трактор и потянула комбайн на рожь, Алёшка почувствовал, как разом пробил его пот – душевная сила как будто вытолкнула одолевающую его физическую слабость.

Они работали, пока солнце не опустилось на лес. Когда вечерний воздух увлажнился, Алёшка остановил комбайн.

Не сразу он услышал тишину. Гул и грохот медленно стекали с него, как стекает вода с мокрых волос и плеч, когда выходишь из реки.

Он как будто обсыхал от грохота: услышал шелест колосьев, потом на Волге, под горой, — голоса встречных буксиров: один испуганный, другой спокойный, басовитый. От Семигорья, западая на ветру, долетал голос из репродуктора – диктор читал очередную сводку Совинформбюро.

Подошла Женя, одобрительно похлопала по спине, спросила озабоченно:

— Завтрашний день сдюжишь?

Алёшка улыбнулся устало.

— Теперь сдюжу!

Они работали ещё два дня. Убрали едва ли не весь семигорский хлебный клин, доступный для комбайна. Последнее большое поле выстоявшейся чистой пшеницы оставили на венец сработанному делу.

Как всегда, убирать начали с утречка, до обеда смахнули гектара два. А в пополуденной быстро остывающей жаре Алёшка вдруг увидел на дальнем краю недокошенного поля белую девичью фигуру.

От волнения он едва не врезал пальцы работающего хедера в землю.

Ниночку он ждал все дни жатвы. Ведь знала, что он работает на семигорских полях, и не могла не прийти! Так думал он. По крайней мере, если бы они поменялись местами, он пришёл бы к ней, прибежал, прилетел, чтобы увидеть, хотя бы издали махнуть рукой!

Он мечтал показаться перед Ниночкой вот так: на мостике работающего комбайна, у штурвала, в грохоте и облаке пыли и посверкивающей на солнце половы.

Он даже знал, как это случится. Ниночка уговорит Лену Шабанову навестить в Семигорье бабушку: удивительная всё-таки у него Ниночка – при всей своей самостоятельности шагу не сделает в лес или в поле без подруги! И не от страха – была в том какая-то девчоночья хитрость.

Бабушку они навещают. Потом пойдут собирать васильки и случайно – ну, разумеется, случайно! – забредут на то поле, где он работает. Ниночка увидит его и сделает изумлённое лицо – она всегда очень мило изумляется: раскрывает широко глаза, потом часто-часто моргает и при этом улыбается такой обворожительной улыбкой, — ну хоть удивляй её всю жизнь!..

Девичья фигурка была одна и не шла, а летела, тревожно размахивая руками, прямо по скошенному полю, к комбайну.

Женя остановила трактор. Алёшка уже узнал девчонку и, недовольный остановкой, смотрел с мостика на подбегающую Зойку.

— Спустишь-ка, Алёша! – звала Зойка, задыхаясь от бега. – Тебе вот!

Она махала бумажкой.

Алёшка ещё не знал, какую весть принесла Зойка, но стало ему вдруг душно, как будто пришли отнимать у него и комбайн, и радость, и весь этот вольный полевой простор.

Зойка, глядя в его глаза, протянула бумажку:

— Витя велел передать... — выдохнула она. Зойка часто дышала, её полные, как будто всегда надутые, губы были приоткрыты.

Алёшка держал в руках узкий, как лента, отрезок папиросной бумаги и молча и долго читал бледные, под стёртую копирку напечатанные слова. Он уже понял их смысл: «10 августа в 9.00 явиться...», но не поднимал глаз и снова, и снова перечитывал слова, звучащие сухо и жёстко, как команда. Он ждал этой команды и готов был к ней, и всё-таки, как всякая команда, раздалась она неожиданно. Он читал повестку и собирал в кулак свои чувства – ему надо было перестроить себя на другой, совсем на мирный лад.

Зойка и подошедшая Женя молча смотрели на него.

Зойка протянула руку, тронула его плечо. Он скорее угадал, чем почувствовал прикосновение её руки.

— Витя сказал: ты можешь идти домой, Алёша... Комбайн оставь. Завтра он сам доработает поле...

Алёшка взглянул на Женю. Её запылённое лицо с вздёрнутым широким носом и сжатым ртом было скорбно.

Алёшка улыбнулся: он уже овладел собой и знал, что ему делать. Он будто захмелел от ясности, которая была теперь перед ним.

— Поехали, Женя! – крикнул он. – Поле наше, не отдадим его даже Витьке!

Он посмотрел на тревожно замершую Зойку и вдруг увидел, что перед ним уже не девчонка – с заострившегося лица Зойки глядело совсем взрослое горе.

Неожиданно оробев перед Зойкой, Алёшка позвал:

— Зоенька, вместе последний круг! Хочешь?!

Кивком подозвал Зойку. Радуюсь непонятной радостью, осмелевший непонятной смелостью, положил её прохладные руки на штурвал.

Время его мирной жизни, сведённое в два последних коротких дня, начало свой отсчёт.

6

Сухой смолой пахло в остывающем ввечеру бору. Тени от сосен падали поперёк дороги. Алёшке казалось, что они с отцом шагают по стволам.

Тени скользили по плечам, спине, путались под ногами – отец запинаясь об их черноту; запнётся, подкинет голову, нервным движением поправит очки.

Алёшка понимал, как нелегко отцу провожать его на войну. О чём-то думал сейчас отец, его молчаливый, неумелый в заботах, хороший папка!..

Алёшка знал, с каким трудом он оторвался от дел, даже на этот вот час, чтобы проводить его в дорогу. Если и раньше отца трудно было увидеть дома, то теперь он метался по посёлку и Семигорью, как птица, которой никак не дают долететь до гнезда, — на базе техникума отец размещал эвакуированный из Брянска лесной институт. Толпы студентов с чемоданами и рюкзаками, в накинутых на себя, несмотря на жару, пальто, бродили по посёлку. Устроить надо было каждого. Надо было хоть мало-мальски сносно устроить десятки семей преподавателей, разместить оборудование, срочно расширить столовую, добыть продукты. В студенческих общежитиях койки стояли плотнее, чем в казармах. Освобождали кабинеты, настилали там нары, преподавателей расселяли по домам в Семигорье. Отец уступил половину своей квартиры семье преподавателя с двумя маленькими девочками. Заселён был клуб, лесхозовская контора, а нестроенные люди всё ловили и ловили Ивана Петровича на всех возможных тропках и дорогах – он пока был хозяином в посёлке, и заботы тысяч людей стекались к нему, как потоки в реку во время дождя.

Алёшка даже удивился, когда отец всё-таки появился, как раз в ту минуту, когда с рюкзачком в руках он уже стоял у порога. На семейном совете они заранее решили: мама завтра утром придёт к военкомату, сегодня провожает его до парома отец. Вечером Алёшка прощается с Ниночкой, ночует в городе.

Он думал, что отец так и не сумеет его проводить.

Шагали молча и как будто торопились, хотя оба знали, что каждый шаг приближает их к черте, где-то там, за Нёмдой, у которой Иван Петрович остановится.

Дальше Алёшка пойдёт один. Совсем один. Вот с этим охотничьим рюкзачком, в который Елена Васильевна вложила свой материнский, совсем не солдатский припас, да с тем запасом разумности, что собрал он за восемнадцать лет – за восемь тысяч дней жизни...

— Хочу тебя предупредить: наш адрес может измениться.

— Я знаю: леспромхоз «Северный»...

Отец вопросительно смотрит, Алёшка объясняет:

— Ты, папа, плохой конспиратор. Черновик твоей телеграммы Арсению Георгиевичу читали я и мама.

Отец смущённо лезет за платком.

— Понимаешь, пришлось пересмотреть кое-что. «Северный» предлагали раньше, я отказался. Считал, достаточно того, что есть. Теперь, сам видишь, надо исходить не из того, что хочешь, а из того, что можешь... Как отнеслась мама?

— Она тебя поняла. Мне кажется, не всегда понимаешь маму ты. Ты работаешь за двоих, за троих, но это не значит, что мама может обходиться без работы. Ей трудно, пап, без людей, без настоящего дела. Позаботься, пожалуйста, об этом. В любом случае: останетесь ли вы здесь или переедете. Ладно?

Иван Петрович кивнул.

— Я, собственно, никогда не возражал. Так складывались обстоятельства.

Алёшка сбоку хитро посмотрел на отца.

— Кажется, ты всегда был за то, чтобы подчинять обстоятельства разуму!

— В принципе – да...

— Папа, давно хотел спросить, как-то не решался. Но ясность нужна даже в сложных вопросах... пап, почему только теперь ты повесил над столом фотографию Сталина? Ты не любишь его?

Иван Петрович запнулся, поправил очки. Шёл молча, старательно выбирал дорогу: глаза и плечи – опущены.

— Папа, трудно – не отвечай!

— Почему? Отвечу. Только «любовь» — здесь не подходящее слово. Может быть, лучше говорить об уважении? О доверии? Если так, то я – доверяю... Когда-нибудь расскажу тебе о наркоте. Сейчас не время...

— Понимаю, папа. Но хочу сказать: Сталин для меня человек, за которого я могу отдать жизнь!

— Я это знаю. Потому и спокоен за тебя...

По деревянному летнему мосту, над прозрачно-струистой водой, они перешли Нёмду. Алёшка повернул было на тропу, к Волге, отец придержал его.

— Пойдём Семигорьем. Есть место, которое хочу показать...

У могилы деда они стояли в неловком молчании. Алёшка понимал. Что отец привёл его сюда, под берёзы, на погост, для какого-то важного разговора. И терпеливо ждал, рукой чувствуя руку отца. Но уйти отсюда ему хотелось, и скорей: как всякий здоровый человек, он противился сознавать, глядя на поросший травой холмик, что у него, как у всего живущего на земле, тоже есть конец. И ещё: он очень боялся той ненужной значительности, с которой мог сейчас заговорить отец.

Отец, видимо, понял его. Молча обнял за плечи, вывел из деревянной оградки, пошёл с ним к перевозу.

Успокоенный Алёшка благодарно чувствовал рядом молчаливого отца. По странному закону противоречия он теперь хотел, чтобы отец сказал ему то, о чём промолчал там, у деда. Он вспомнил дикую траву за оградой на холмике и, стараясь попасть в тон отцовского раздумья, сказал:

— Мало осталось от деда!..

— Да, мало, — неожиданно согласился отец. — Если забыть о том, что без деда не было бы тебя. Между прочим, тебя он не видел, но знал, что ты будешь, и хотел. Чтобы ты был...

Алёшку задела холодная ирония отца, но то, что отец сказал, было справедливо. Смирив обиду, он спросил:

— Ты рассказывал: дед учительствовал?

— Начинал, как все, с земли: пахал, сеял. Но жил беспокойно. Разуверился в боге, поверил в человека. В Семигорье школу собрал. Случайность или закономерность – не знаю, но Арсений Георгиевич и Иван Митрофанович оба у твоего деда ума-разума набирались. И сейчас помнят...

Вот что, сын: тебя я привёл сюда не для того, чтобы ты помнил о смерти и берёг себя там на войне. Хочу, чтобы ты знал о вечности самой жизни. Умирают люди, остаётся жизнь. И каждый отдаёт жизни либо труд, либо подвиг. Без прошлого нет настоящего, прошлое всегда с нами. Как бы ни было тебе тяжело, помни, что ты не один, не сам по себе. За тобой мы все: дед, мама, Россия. Я надеюсь на тебя и на твою хорошую память...

Отец был взволнован, говорил отрывисто, как бы кидал в Алёшку словами, и, наверное, потому было больно от его слов.

Перед спуском, на виду всей Волги. Отец остановился.

— Прощаемся здесь. Прощаться всегда тяжело, ещё тяжелее прощаться долго. Ну?!

Они обнялись. Отец неумело, сжатыми губами прижался к его губам – губы сухие, руки дрожат. Он повернул Алёшку лицом к Волге, легонько пристукнул по спине.

— Иди!..

И быстро пошёл в гору, опустив голову.

7

Алёшка долго ждал переправы. Паром ходил теперь редко, к тому же время было вечернее. На открытом пустом берегу стояли только две подводы с понурыми лошадьми. Бабы сидели на одной подводе, говорили негромко.

Алёшка присел на выпирающую из песка колоду, от долгого лежания засиженную людьми до костной глади, посматривал на ту сторону, стараясь разглядеть движение у паромной пристани.

Вечер устоялся – тих, ясен. Свет бледно-жёлтых закатных облаков отражался в воде. Волга лениво колыхала спокойную перламутровую ширь воды. За Волгой, в городке, укрытом зеленью, с яркими пятнами крыш по склону, ждала его Ниночка. Но радость близкого свидания сейчас глохла в других чувствах и раздумьях. Смутно было Алёшке и тревожно. Отец всегда был для него немножко загадкой – душевный мир отца, затканный вечными заботами, приоткрывался перед ним лишь изредка. Он хорошо чувствовал отца, но плохо знал. И вдруг в час прощания отец распахнулся и опалил его разум. Дед, прошлое, Россия – об этом думать ему, с этим идти по горячим дорогам войны!

Алёшка знал, что отец беспокоится за его жизнь. Но почувствовал другое: сильнее тревожился отец за то, чтобы он достойно вёл себя на войне.

«А ведь любит...» — думал в смятении Алёшка.

Катерок у кромки дальнего берега задымил. Стало видно, что паром отчалил. Женщины засуетились, подогнали лошадей ближе к пристани.

Алёшка не ждал увидеть знакомых и удивился, когда вслед за съехавшими подводами с парома сошла Женя Киселёва. В нарядном, цветочками, платье, в белых носочках и парусиновых туфлях, аккуратно причёсанная, она торжественно, будто на праздник, вела за руку мальчонку лет шести, с рыжими волосами.

Алёшку она увидела и подошла.

— Сыночек мой! — сказала Женя, выводя мальчонку вперёд себя и обеими руками придерживая за плечи. Волнение проступило даже под чернотой её щёк. — Сколько их, сирот, там, в доме детском! Все с Белоруссии, и все вот таких годочков... Как охороводили меня, ну хоть всех забирай! Глазами глаза мои ищут, ручонки тянут, будто впрямь родная я им мать... А этот мой Лёшенька — нарекли твоим тёзкой! — осторонился от всех, из-под лбишка на меня глядит молчуном. Потом подошёл, взял мою руку. «Тётенка, говорит, возьмите меня. Это ничего, что я рыжий. Я — хороший!»

Обревелась слезьми я там у заведующей! Лёшеньку вот взяла...

Женя была так наполнена случившимся с ней, что не заметила ни Алёшкиного рюкзачка, ни его дорожного вида. Даже забыла попрощаться.

На шаг не отпуская от себя мальчонку, она, не торопясь, шла с ним по тракту вверх, к селу, и вид у неё был такой торжественно-недоступный, что казалось, случись что на дроге, тронь кто её мальчонку, — разорвёт!..

«Вот и Женя нашла, что искала, и где нашла — в войне!» — думал Алёшка, провожая её взглядом.

Юрочка встретил его на крыльце в домашнем виде: розовая рубаха поверх трусов, голые ноги с чернотой волос, старые сандалеты с помятыми задниками.

— Проходи, — сказал Юрочка, щурясь, будто от солнца. По его виду и голосу нельзя было понять, рад он видеть Алёшку или недоволен.

— Мешок до утра можно оставить?

— Оставляй! — разрешил Юрочка. — Тебя что — забирают?..

— Завтра. А ты как?

— Пока милуют. Не знаю кто: бог или военком. Мамочка у меня теперь чин — первый человек в городе! Легче дышать стало... — Юрочка зевнул, ладонью потёр шею. — До утра-то где будешь? Небось к Ниночке закатаешься?..

Юрочка после приступа холодного бешенства у калитки Ниночкиного дома на удивление быстро успокоился: он понял, что Ниночку потерял, и примирился и с потерей. И с Алёшкой. Иногда даже ворчливо спрашивал: «Ты хоть целуешься с ней?..» — и смотрел усмешливо, давая понять, что своё он от Ниночки взял. Алёшка не верил ни Юрочкиной усмешке, ни его снисходительным намёкам — Ниночка была для него божеством, даже тень не могла на неё упасть!..

Он не ответил, только улыбнулся ускользящей мечтательной улыбкой — он не хотел подпускать к своим чувствам никого, тем более Юрочку.

— Ты, чудик, только учти: завтра ты утопаешь, а Ниночка останется!

Он был откровенно насмешлив, и Алёшка, может быть, только сейчас до устрашающей ясности осознал, что Юрочка сказал правду: Ниночка останется. Останется и Юрочка!..

По тихой окраине городка Алёшка бродил до сумерек: он стеснялся показать себя Ниночке в грубых ботинках и в штанах с заплатой. И только когда деревья в небольшом парке при кирпичном здании городского медицинского училища, во дворе которого в деревянном маленьком домике жила Ниночка, слились в одну чёрную громаду. Алёшка, замирая от робости, тихо стукнул в окошко.

Ниночка тотчас заметила, что Алёшка расстроен. Встала перед ним близко, так, что губами он мог коснуться её лба и пышно взбитых волос, спросила удивлённо и обиженно:

— Алёша! Что за грусть ты принёс?.. Можешь хоть на час забыть о войне, о своём папочке, о маме? Выкинь, пожалуйста, из головы всё. Слышишь? Не вижу, что выкинул!.. Ну вот, улыбнулся... А теперь так, — Ниночка наставительно прижала палец к его подбородку. — Ни слова о делах. Сегодня я и ты. И никого больше!..

Она охватила его руку повыше локтя, прижимаясь к нему, повела дорожкой парка в темноту деревьев.

— Так нельзя, Алёша! — упрекала она. — Жду, жду, а тебя в плен забрали эти несносные семигорцы! Ещё бы немного — и от отчаянья я бросилась бы в Волгу! И стала русалкой! И всю жизнь звала бы и манила тебя к себе. И ты исстрадался бы, как я. — Ниночка упрекала, и грозила, и ласкала, и голос её звенел от радостных чувств.

Алёшка не узнавал Ниночку, всегда сдержанную, всегда строгую, всегда застёгнутую на все свои маленькие пуговицы, и в нахлынувшей нежности боялся повернуть голову, сказать слово, чтобы не спугнуть приникшей к его плечу любви.

Ниночка вдруг остановилась, повернула его лицом к себе, взяла за отвороты куртки.

— Алёша! Мама велела передать тебе большое спасибо за твой рыцарский подарок! Ты, знаешь, о чём я говорю?..

Ниночка крепко держала его за отвороты куртки, и Алёшка даже в сумерках видел, как светятся радостным ожиданием её смеющиеся глаза.

Вчера он привёз Ниночкиной матери мешок своей трудовой ржи. Шесть мешков заработанного хлеба он поделил без раздумий: мешок маме с папой, мешок Ниночкиной матери, четыре мешка в фонд обороны. Ниночкина мать, очень простая и очень усталая женщина, даже не удивилась его неожиданному подарку. «Поставь сюда вот, в угол, Алёша...» — сказала она. Но по тёплому её взгляду он понял, что угодил её материнским заботам. Он узнал, что мать Ниночки работает техничкой при училище и живётся им трудно. Ниночка никогда не рассказывала ему о своей матери. И на обратном пути, в Семигорье, вежливо погоняя лошадь хлыстиком, он с какой-то ласкающей грустью думал: «Глупая! За простоту я люблю ещё больше...»

— Так вот, — Ниночка сильнее потянула его за отвороты куртки, — от мамы тебе большое спасибо. И ещё: она сказала, чтобы я тебя поцеловала... Ну, нагнись же! Вымахал, как дерево, не дотянешься!

В шуточной досаде она хлопнула его по плечу. Алёшка, закрыв глаза, покорно нагнулся и почувствовал на своей шее тёплые руки, на губах — горячие мягкие губы. Ниночка долго не отрывала прижатых к нему губ, и Алёшка, повинувшись её зову, нагнулся ниже и взял её на руки.

Так было у них в тот один-единственный вечер, когда впервые он решил проводить её из Дома культуры домой. Не узнавая себя в дерзости, он так же вот поднял её на руки и, гордый своей силой и смелостью, долго нёс над грязью и лужами весенних улиц до деревянных мостков городской окраины. Наверное, её память благодарно хранила тот удивительный вечер, и, наверное, в последнем дне Ниночка хотела повторить день первый. Сейчас она была ему ближе и дороже, и, осторожно ступая, он нёс Ниночку в черноту деревьев и чувствовал на губах её дыхание, и на каждом шагу её жаркая щека касалась его щеки.

Бережно он опустил её на густую, немятую траву. Лёг рядом, положил голову на откинутую Ниночкину руку и благодарно затих. Больше всего другого он боялся разрушить эту вот доверчивую близость последних часов и пугливо замирал от мысли, что Ниночка может не так понять его и подумать о нём плохо.

Так, в томительном молчании, чувствуя тепло друг друга, они терпеливо лежали и смотрели на чёрный полог деревьев с просверками звёзд.

Ниночка ногой водила по ноге, отпугивая комаров, и Алёшка, стараясь оберечь её ноги, ладонью заботливо накрыл её оголённое колено и тут же почувствовал, как пальцы Ниночки поймали его руку и неуверенно задержали.

Он застыдился своей вольности, смущённо пробормотал:

— Это я комаров...

Ниночка согнула руку, дёрнула его за ухо. Алёшка счастливо засмеялся.

— Нин! – шепнул он. – Ты меня будешь ждать?..

Ниночка как-то нервно засмеялась, спутала ему волосы и села.

— Ты в самом деле чудной! – сказала она, стараясь мягкостью голоса сгладить резкость слов. – Конечно, буду!.. Об этом не надо спрашивать. Это надо чувствовать!.. Дай я тебя поцелую, и пойдём в поле. Здесь в самом деле много комаров!..

Она скользнула губами по Алёшкиной щеке, встала. Среди черноты деревьев лицо Ниночки белело как будто вдалеке.

— Пошли, мой милый рыцарь!.. – сказала она и подала Алёшке руку.

Держась за руки, они бродили по окраине уснувшего городка, полевой дорогой ходили к темнеющему у оврага лесу, говорили о всяких пустяках, как дети целовались и смеялись, в рассветном сумраке рвали васильки по краям неубранной ржи.

Алёшка заметил, как суха трава и воздух слишком щедр на запахи – день только начинался, а откуда-то уже двигалось затяжное ненастье.

Они вернулись к парку под крики петухов, когда за Волгой и дальним лесом проступил медленный жар зари.

Ниночка боком прижалась к Алёшке, он её обнял, прислонившись к ребристому заборчику, и так в прощальном молчании они оба смотрели, как тяжело вставало над лесом солнце, краем пробивая хмарь.

В улице появились прохожие, Ниночка забеспокоилась.

— Светло уже. Тебе пора, мой милый рыцарь!.. – Она закинула голову и посмотрела ему в глаза с печальной и сожалеющей улыбкой.

«Мой милый рыцарь...» — надолго останутся в Алёшкиной памяти эти ласковые и грустные слова. Не раз повторит их Ниночка потом в своих письмах, которые не часто, но будут догонять его на изменчивых дорогах войны. И только много лет спустя, когда уже повзрослевший Алёша оживит их в своей памяти, он наконец услышит в ласковых девичьих словах грустную усмешку оскорблённой женщины. Но всё это будет потом...



УХОДЯТ НА ВОЙНУ...

Подводы растянулись по всему видимому тракту, медленно вползали на широкое нагорье. Вправо и влево от придорожных старых берёз томилась в августовском солнце выстоявшаяся пшеница. За ней, выше к селу, в этот час не первых уже проводов сиротно стояли суслоны недокошенного ржаного поля. Жёлтая пыль, как дым от горящего самолёта, стояла над дорогой, медленно отваливала вправо, к берёзам, на поля.

От головных подвод провожающие отстали, возницы прибавили лошадям шаг. Задние подводы были ещё облеплены людьми, и мужики, нетерпеливо перебирая в руках вожжи, придерживали лошадей. Они старались не смотреть в лица матерей, старух, молодух, малых и рослых ребятишек, они упорно смотрели на дорогу, под ноги лошадям, как будто это они, а не проклятая война, как будто они, мужики, увозили парней, отрывали сынов от материнских глаз и рук, от родимых домов, от земли.

Алёшка вместе с двумя парнями ехал на одной из последних подвод. Свесив с телеги ноги в пыль, как будто вспухающую от колёс, он сдержанно уговаривал Елену Васильевну:

— Мама, ну иди... Ну, хватит... Мы уже обо всём говорили... Я буду писать. Часто... Ну, иди, мам!..

Елена Васильевна, как привязанная, шла за телегой. Ноги её подгибались, она не видела ни камней, ни ям, не видела, что пыль окутывает её, и она идёт, как по воде.

Она видела только Алёшу, его худое, прокалённое солнцем лицо с облупившимся носом и обветренными, самолюбиво поджатыми губами. Она не слышала, что он говорит, она знала только, что это родное ей, ещё мальчишеское лицо сейчас уплывает вдаль, в неизвестность, и, может, — всё может быть — останется там, в чёрном дыму войны. Она глядела в беззащитные голубые глаза и не верила, что его сейчас уведут, и шла, и не могла остановить себя, не могла примириться с опустошающей минутой разлуки.

Алёшка видел округлившиеся, сухие от внутреннего жара глаза матери, её изломанные болью брови, видел её опущенные плечи, руки, как будто что-то ищущие, и, не давая пробиться рвущейся из сердца жалости и ответной боли, как заведённый повторял:

— Ну, мам!.. Ну, иди... Ну, хватит...

От последней подводы уже поотстали люди, а Елена Васильевна всё шла и шла, утопая в клубящейся пыли, упрямо наклонив голову, как будто уже одолевала несущийся ей навстречу тяжёлый поток где-то там, в войне, рождающихся бед.

Мужик-возница не выдержал, дёрнул вожжами. Лошадь заторопилась, перешла в рысь. Елена Васильевна побежала было за уплывающей телегой, вдруг остановилась, руками взялась за грудь, отошла в сторону от дороги и, не отнимая от груди рук, опустилась на корни берёз.

Алёшка рванулся соскочить с телеги, возница сердитым криком удержал его:

— Сиди!.. Нешто успокоишь мать!.. На войну идёшь...

Шагом въехали в Семигорье. У притихших домов жались друг к другу молчаливые бабы с ребятишками на руках. Ближе к дороге, опираясь на палки, стояли старики, из-под ладони придирчиво оглядывали бритых парней-новобранцев. У крылец старухи в чёрных платках дрожащими пальцами крестили лбы.

Мальчишки в будёновках, осевших на уши, с болтающимися ниже подбородка ремешками, галопом скакали вдоль обоза, размахивали деревянными саблями, возбуждённо кричали, на скаку рукавами отирая пот и сопли.

У дома Жени Киселёвой, в тени когда-то обгорелого, теперь уже зелёного старого тополя, стояла Васёнка, держа на руке Лариску. Рядом, уцепившись за Васёнкину юбку, замер в новой красной рубашке Рыжик, бывший сирота Лёшка, тот самый, которого Женя взяла из эвакуированного из Белоруссии детского дома.

Алёшка уже знал, что Васёнка сдала лесхозу казённый дом, в котором жила с Леонидом Ивановичем, отказалась принять его дела и переехала с дочкой и Зойкой к Жене. Лариска махала ручонкой. Рыжий Лёшка смотрел на едущих мимо с недетской угрюмостью: он знал, наверное, как безрадостно это движение людей и подвод по дорогам...

Алёшка помахал Васёнке рукой. Она заметила, посветлела лицом, поклонилась.

Проехали кузню с огрузнувшей, казалось, под тяжестью зеленоватого мха крышей. Из короткой кирпичной трубы наносило дымом. У каменного ворота, опираясь на слегу, стоял в залоснённом фартуке Гаврила Федотович. Среди старых борон, разбитых телег, колёс, рядом с чёрной, будто обугленной, кузней с мерцающим в раскрытой двери огнём ссутулившийся Гаврила Федотович был как погорелец на пожарище. Кузня стояла последней из семигорских построек.

Дальше, за придорожными, ещё екатерининских времён, берёзами, шло до самого леса знакомое Алёшке поле с ворохами соломы по стерне, первое в его жизни поле, по хлебам которого он повёл разуваевский «Коммунар». С любопытством и грустной радостью видел он остановившийся комбайн, дымок над трактором, сухую быструю фигуру Жени Киселёвой. Женя стояла на гусенице трактора, прямая и торжественная, как на трибуне отставив в сторону согнутую руку с крепко сжатым кулаком. Сияясь перекрыть хлопки трактора, постук колёс, топ лошадей, она кричала им, едущим на подводах. Алёшка не слышал голоса Жени, но понимал, что кричала она, поняли Женю и другие ребята. Как по команде, взметнули они над головами сжатые кулаки и срывающимися голосами вразнобой закричали:

— No pasaran, Женя!.. Они не пройдут!..

За перелеском, среди тускнеющих красок уходящего лета, неожиданно молодо зазеленели неубранные льны.

На бугре, за льнами, Алёшка заметил яркий белый столбик, как будто одна из берёз отступила в поле, в простор по-весеннему зеленеющей земли. Столбик вдруг ожил, синея макушкой, быстро понёсся через льны к дороге. Алёшка теперь видел, что это девчонка с огромным ворохом васильков торопится к обозу.

Девчонка выскочила на откос и замерла, быстрым взглядом обшаривая подводы. Все лица повернулись, парни на подводах кричали, смеялись, звали девчонку к себе, кто-то озорно свистнул.

Девчонка дерзко стояла у всех на виду, как будто не слыша ни свиста, ни голосов. Глаза её обегали подводу за подводой, кого-то, единственного из всех, девчонка искала.

Алёшка узнал Зойку, заволновался, заёрзал по телеге, потянулся снять очки, но махнул рукой и надвинул глубже на лоб козырёк фуражки. Подвода, на которой сидел Алёшка, поравнялась с Зойкой, и Зойка вдруг встрепенулась, как птица.

— Алёшка-а! – закричала Зойка.

Она рванулась с откоса и, взмахивая рукой, понеслась к подводке.

— Алёшка! Алёшка! — как заведённая твердила Зойка.

Она положила ворох васильков с ним рядом, вцепившись в край телеги, шла как солдатка за солдатом, не спуская с отчуждённого лица Алёшки ласкающих блестящих глаз.

Мужик-возница, придерживавший было лошадь, поглядел на небо, сказал сдержанно:

— Ты, девонька, коли невеста, прощайся чередом. Отставать нам не дозволено...

Алёшка, чувствуя, что Зойка так не уйдёт, что она ждёт и требует от него каких-то слов, соскочил с телеги.

Мимо них с лошадиным топотом, свистом и криками прокатила последняя подвода. Они остались одни на дороге и оба стеснённо замерли, вслушиваясь в затихающий стук колёс.

Зойка снизу вверх глядела на Алёшку ищущими глазами и вдруг сама быстро заговорила:

— Лёшка! Что я тебе скажу... Лёшка... Ты вот сейчас уедешь и не узнаешь... Я люблю тебя, Лёша. Я хочу, чтобы ты там, на войне, это знал!.. Люблю, слышишь?! Ты меня целовать не смей, потому что ты меня не любишь. А я люблю и поцелую. Вот!.. — Зойка встала на носочки, потянулась, охватила Алёшку за шею и губами коснулась Алёшкиных губ. — Вот!.. И знай, Алёшка, даже если замуж за другого выйду, всё равно тебя любить буду!.. Ты когда-нибудь меня полюбишь. Ты это знай! Тогда...

Зойка не сказала, что тогда. Она отступила от Алёшки на шаг, развела руки, словно хотела обнять и Алёшку, и землю, и небо.

— И смотри! Живой возвращайся!.. Чтоб все пули мимо, мимо!.. Мимо!..

Зойка перепрыгнула через канаву, взбежала на откос и встала над зелёными придорожными кустами, подняв кверху руку и покачивая ладонью.

Алёшка в смятении бежал, догоняя подводы, и вслед ему, как осенний птичий клик с неба, летел отчаянный Зойкин голос: «Алёшка-а-а...»

Растянувшийся обоз спустился к Туношне, переломился, головой медленно напоз на гору. Алёшка снял кепку, пальцами робко ощупал гладкую, как огурец, голову. «Что поделаешь, надо привыкать!» — подумал он. Носовым платком протер запylённые стёкла очков, аккуратно зацепил чёрные дужки за уши. Лошадь втянула телегу на мостик, дробный стук колёс по расшатанному настилу гулко катился по низине, как выстрелы. Алёшка сверху взглянул на струящуюся воду Туношны и почувствовал, как сжалось сердце. Что-то чистое и высокое, как летнее утро, что до самой этой минуты было вокруг, было в нём, было воздухом, которым он дышал, было жизнью, оторвалось под этот, похожий на выстрелы, грохот колёс по деревянному настилу и осталось там, за Туношной.

Там была земля, где в заросшей травой могиле покоился дед, не веривший в бога, но поверивший в человека, дед, который никогда не видел его, Алёшку, но хотел, чтобы на земле он был. Там, за Туношной, куда-то торопился в извечном своём непокое отец. Там остался служить Людям и Добру незаметный и необходимый всем Иван Митрофанович Обухов.

Всё было на той оставляемой земле: радость и боль, любовь и скорбь – всё. И первая Алёшкина любовь была той земле, и удивительная Зойка, от которой Алёшку не отделила даже его Ниночка. И невозмутимый Вася Обухов, и Витька, и гордая Грибаниха, и добрая рыжая Фенька, и героическая трактористка семигорских полей Женя Киселёва. Всё было на той, оставляемой им земле. Там, за Туношной, была его Россия, чью силу, терпение и мудрость он вбирал невидимо день за днём, как вбирает соки земли живое дерево.

И с той минуты, как подвода переехала мостик и лошадь тяжело пошла в гору, Алёшка почувствовал, как напряглось его сердце, как будто там, за Туношной, лежит та неподъёмная земная тяга, которую где-то посреди России обронил хлебопашец Микула Селянинович. И только теперь, переехав по простенькому деревянному мостику через Туношну, у начала своей долгой дороги через войну, Алёшка понял, что она – есть.

Он поглядел вперёд и вверх, куда медленно взбирался по старому тракту обоз, и зябко повёл плечами, сжался и даже охватил себя руками, как будто оттуда, сверху, оттесняя жару последних августовских дней, потянуло холодным ветром зимы: из-за горы в зелёно-голубое, дымкой подёрнутое небо вдавилась тяжёлая туча. Солнце ещё светило где-то, и громаду тучи прорезал огненный клин. Туча наплывала, клин сжимался, почти исчез – лишь по краям дымился ярко-жёлтый исступлённый свет закрытого солнца. Сама туча была за горой, но её края распластались по всему видимому горизонту, середина почернела, опустилась, и теперь в закрытой половине неба ясно прочертились зловещие контуры пикирующего самолёта. Провисшей серединой туча наплывала на Семигорье.

— Не миновать грозы! – крикнул возница, склонился, вытянул из-под сена пустые мешки. – На-ка, накроешься... — Один из мешков он бросил Алёшке на колени. Алёшка посмотрел на тучу, на дерюжный мешок – как будто мешок мог оберечь его от непогоды! – и с мудростью взрослого усмехнулся.

Обоз поднимался в гору и медленно уходил под тучу.

1963 – 1973 гг.

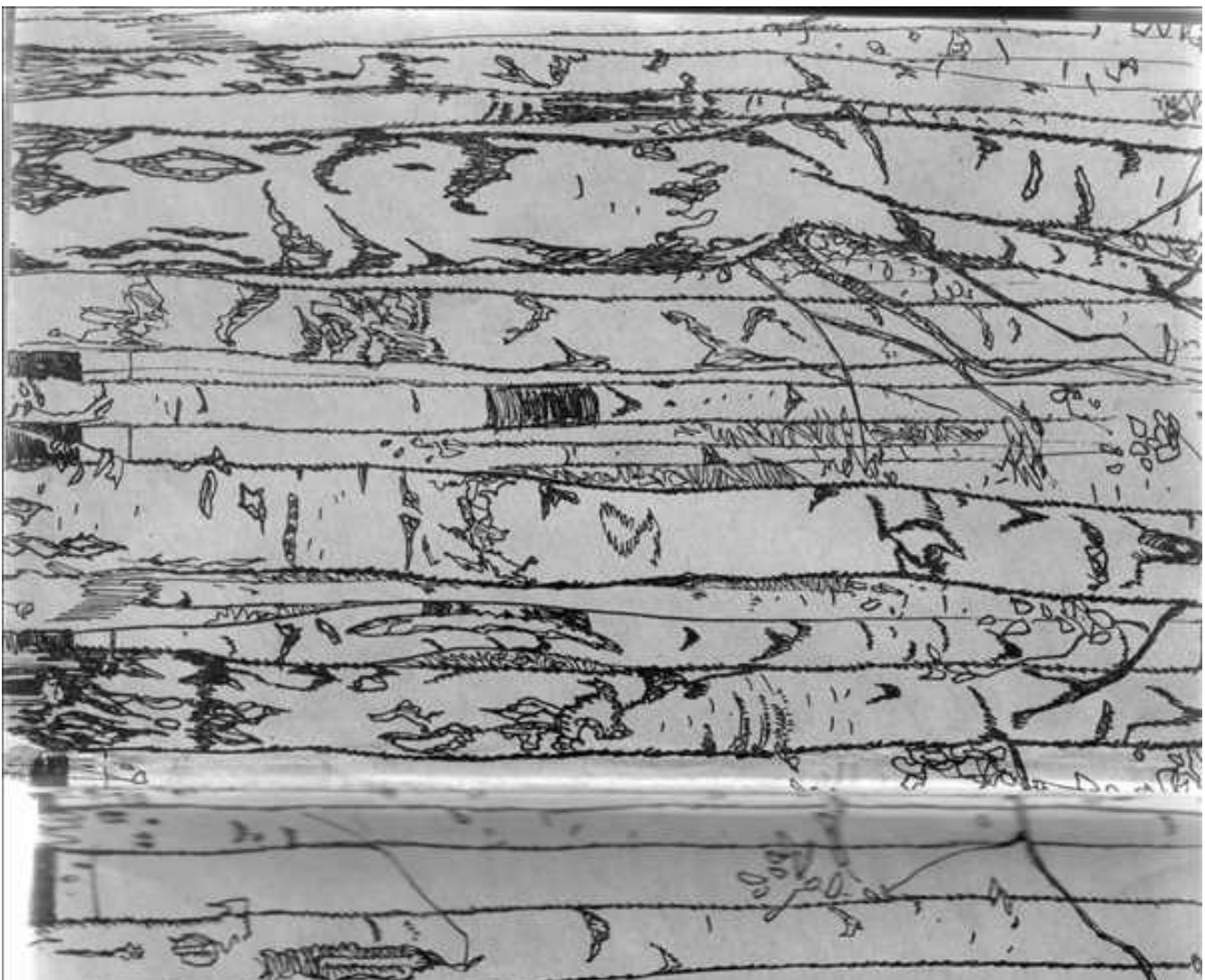


ИЛЛЮСТРАЦИИ

к первому изданию романа

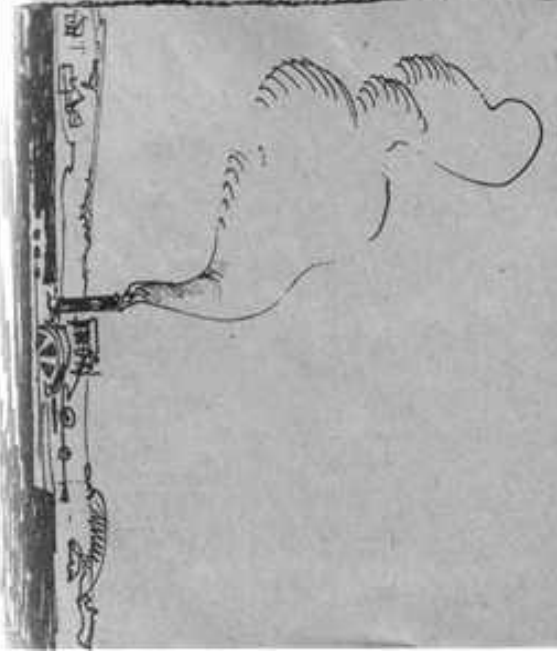
костромского художника

В. Кутилина



В. КОРНИЛОВ

СЕМЬГОРЬЕ

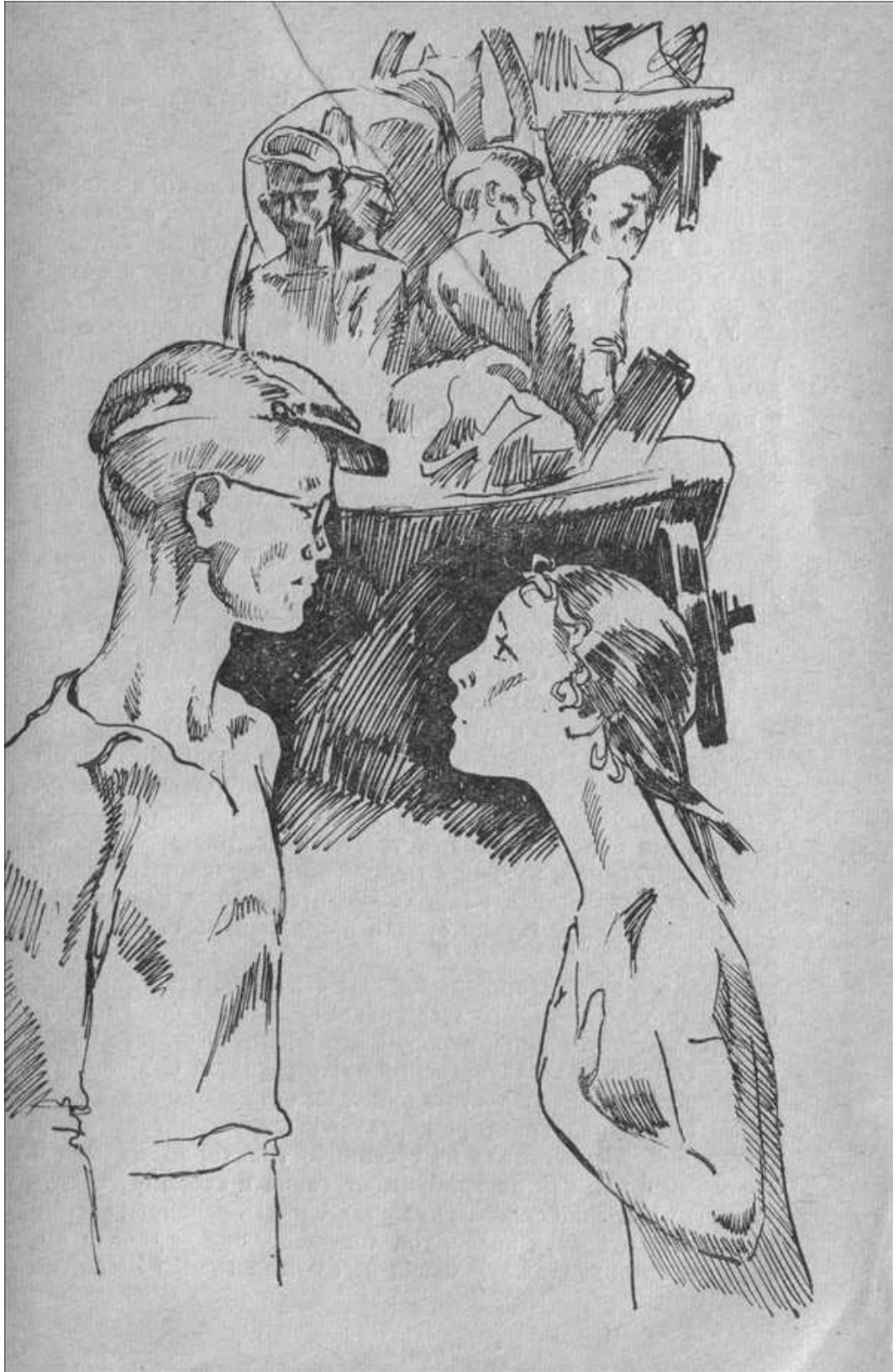




К странице 32



К странице 301



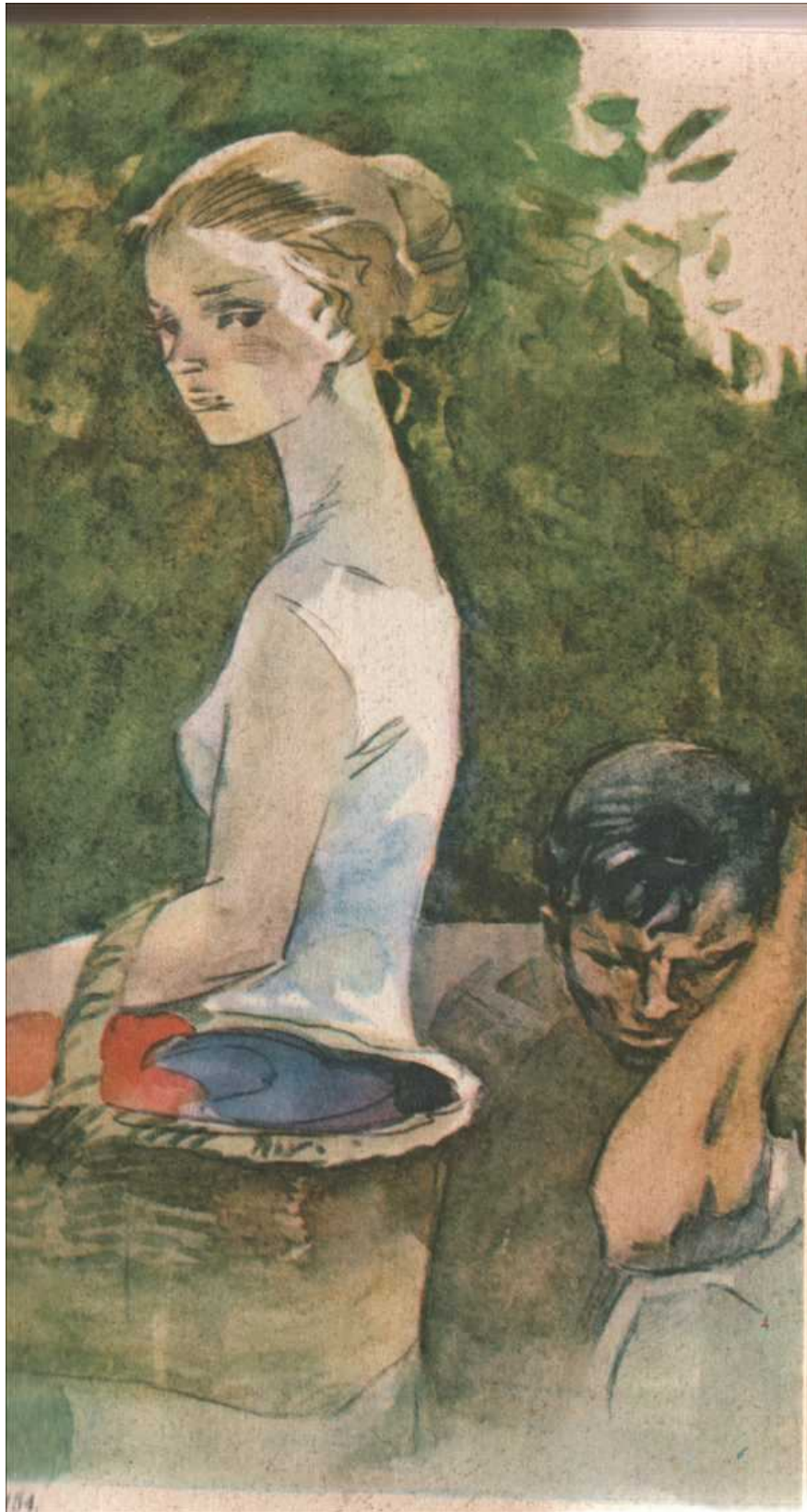
К странице 400



К странице 89



К странице 123



К странице 152



К странице 204

ОГЛАВЛЕНИЕ

Утро	4
Васёнка	11
На новом месте	31
Волга	39
В поле	47
Лесник	52
Чувства	61
Грибаниха	77
Женька	85
Макар	97
Юрочка	102
Василий	115
Банька	130
В праздник	136
У Туношны	150
Маленькая собачка	154
У родных	163
Иван Петрович	198
Вольница	232
Перемены	244
Перепутье	259
Елена Васильевна	267
У костра	277
Степанов	308
Вызов	318
Любовь	334
Ким	344
Перед лицом войны	359
Уходят на войну... ..	397
ИЛЛЮСТРАЦИИ К РОМАНУ	402

Настоящая публикация подготовлена
НКО «Гуманитарный фонд «СВЕТ» имени писателя В.Г.Корнилова
<http://kornilovfund.narod.ru>

Ответственный редактор публикации – © Корнилов И.В. (РФ, г.Кострома)
Ручной набор текста: Инга Юдина (Латвия, г.Рига)

Все замечания и предложения по настоящей публикации просим направлять по
e-mail: fundkornilov@gmail.com ; kornilovfund@yandex.ru

или

почтовому адресу фонда: РФ, 156517, Костромская область, Костромской район,
хутор Заозерье,2

Настоящая публикация подготовлена по последнему прижизненному изданию:
Владимир Корнилов. Избранное, т.1, М., Современник, 1990

Иллюстрации взяты из первого издания романа:

В.Корнилов. Семигорье. Ярославль, Верхнее-Волжское книжное издательство, 1974